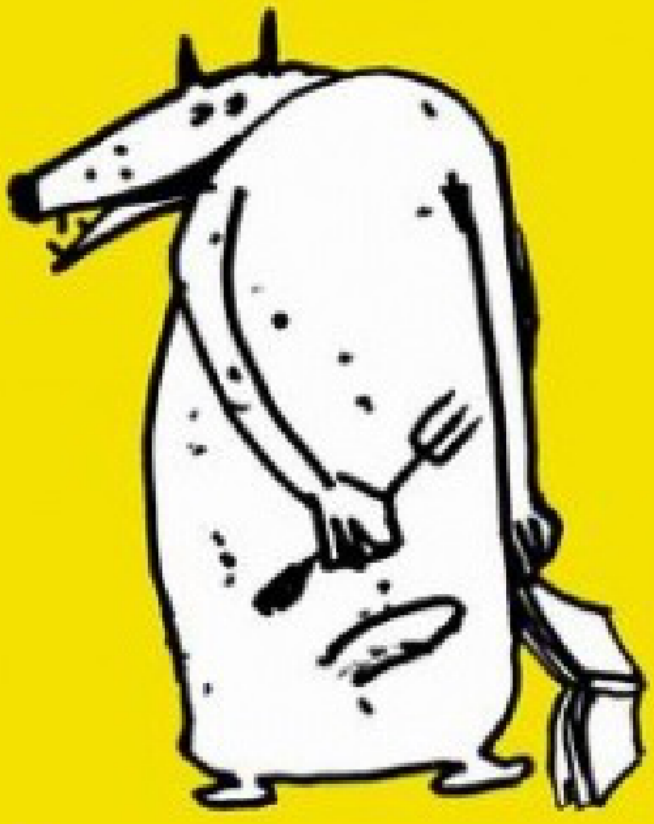
Александр Етоев

книгоЕдство



Выбранные места из книжной истории
всех времен, планет и народов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Совершив подвиг, сравнимый с подвигом Дидро и Д'Аламбера, петербуржец Александр Етоев создал необычную литературную энциклопедию, забавную и увлекательную. В ней полным-полно удивительных персонажей: рядом с Гоголем и Достоевским здесь топчутся злодеи из советских шпионских романов, и у каждого из них в руке — по воздушному шарику. Прочитав «Книгоедство», читатель будет иначе смотреть на Мировую Литературу. Кроме того, он узнает много нового о печальной участи лошадей, блох и котов, о животноводстве и антисанитарии в русской литературе, о водке «Пушкин» и поэтах в противогазах. Как известно, в потрепанных библиотечных томиках между пожелтевших страниц можно найти немало засохших жучков и паучков. Многие оставят бедных козявок без внимания, многие — но не Александр Етоев. Он любит их, как иные любят детей или котят. Ведь парадоксальным образом именно эти неприметные создания творят то, что мы называем Великой Литературой. И последнее. Несмотря на то, что название книги звучит весьма устрашающе, жить в ней уютно и тепло. Добро пожаловать!

- Александр Етоев
  - Предисловие
  - А
    - Автографы
    - Авторская (бардовская) песня
    - Айвазовский
    - Акриды
    - Аксёнов В.
    - «Актерская книга» М. Козакова
    - Акутагава
    - Анекдот
    - Антисанитария и личная гигиена в литературе
    - Аполлинер
    - Апухтин А.
    - «Арап Петра Великого — 2» В. Белоброва и О. Попова
    - «Арбат, режимная улица» Б. Ямпольского
    - Арцыбашев М.
    - «Атака заката. Музыка палиндрома» М. Медведева
    - Ахматова А.

- Б
  - Бабель И.
  - Бадигин К.
  - Бальмонт К.
  - Бедный Д.
  - Белинский В.
  - Белкин Ф.
  - «Белый зодчий» К. Бальмонта
  - Бенедиктов В.
  - Бианки В.
  - Библиотека пионера
  - Блатная песня
  - «Блоха» Е. Замятина
  - Бодлер Ш.
  - «Большая крокодила». Стихи и рисунки Марины Колдобской
  - Бонифаций
  - Братья Стругацкие
  - Буренин В.
- В
  - В защиту лошади
  - В небе грустно без воздушных шаров
  - «В такие дни. Стихи 1919–1920 гг» В. Брюсова
  - «Вальпургиева ночь» В. Ерофеева
  - Веллер М.
  - Верн Ж.
  - «Весь Ленинград на 1926 год. Адресная и справочная книга г. Ленинграда»
  - «Виртуальный свет» У. Гибсона
  - Водка
  - Войнович В.
  - «Волчий паспорт» Е. Евтушенко
  - «Волшебная страна» М. Белозора
  - «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова
  - Волынский А.
  - «Воспоминания» А. Григорьева
  - «Воспоминания» Н. С. Хрущева
  - Врангель Н.
  - «Вселенная, жизнь, разум» И. Шкловского
  - «Всемирная литература» В. Шинкарева
  - «Выбор катастроф» А. Азимова
- Г
  - Газданов Г.
  - Гайдар А.

- География
- Герман Ю.
- Гершензон М. А., писатель и переводчик
- «Гиперборей»
- «Глоссалолия», поэма о звуке Андрея Белого
- Гоголь Н.
- Гоголь у Ленина
- «Голубая книга» М. Зощенко
- Гончаров И.
- «Гора Мборгали» Ч. Амирэджиби
- Горький М.
- Грибоедов А.
- Григорьев Г.
- Гроссман В.

○ Д

- «Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней» В. Брюсова
- Дали С.
- Д'Аннунцио Г.
- Два Петра
- «Двенадцать» и «Скифы» А. Блока
- Дельвиг А.
- «Демон» М. Лермонтова
- Десять книг, которые потрясли XX век: мнение лидеров современного авангарда
- Детгиз
- Детская литература
- Детские книжки Зощенко
- «Детский остров» Саши Черного
- «Детство. Отрочество. Юность» Л. Толстого
- Диккенс Ч.
- «Диккенс» Г. К. Честертона
- «Дневник фокса Микки» Саши Черного
- Довлеющая строка
- Домострой
- Драгунский В.
- «Другие берега» В Набокова
- «Душегубство и живодерство в детской литературе» А. Етоева
- «Дьявол среди людей» С. Ярославцева (А. Стругацкого)
- Дюма А.

○ Е

- Exegi monumentum

- «Евгений Онегин» А. Пушкина
- Египет
- Есенин С.
- Етоев А.

- Ж
  - «Жемчуга» Н. Гумилева
  - «Женщина в естествознании и народоведении» доктора Г. Плосса
  - Животноводство
  - Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия игумена Радонежского и всея России чудотворца
  - Жуковский В.
- З
  - «Загадки русского народа» Д. Садовникова
  - Заказы по Интернету
  - «Закат Европы» О. Шпенглера
  - «Заметки на полях шляпы» Н. Богословского
  - «Записки» Г. Державина
  - «Записки о моей жизни» Н. Греча
  - «Записки о Шерлоке Холмсе» А. Конан Дойла
  - Зеленая Шляпа
  - «Змеиные цветы» К. Бальмонта
  - «Золотой ключик» Алексея Толстого
  - Зощенко М.
- И
  - Иванов Вячеслав
  - Измайлов А. Е.
  - Изобретения, изобретатели
  - Искандер Ф.
  - «Илиада», переведенная Н. Гнедичем
  - «Иной свет, или Государства и империи Луны» Сирано де Бержерака
  - Искусство
  - «История советской фантастики» Р. Каца
- К
  - «Калевала»
  - «Калевала» и Филонов
  - Каменский В.
  - Карамзин Н.
  - «Ким» Р. Киплинга
  - «Кипарисовый ларец» И. Анненского
  - Киплинг в переводах Чуковского
  - «Китайский секрет» Е. Данько

- «Книга флейтиста» Дюши Романова
- Книги нашего детства
- Княжнин Я.
- Коваль Ю.
- «Когда начальство ушло…» В. Розанова
- Козлов И.
- Козьма Прутков
- Коллекции и коллекционеры
- Колоколов Н.
- «Коллекционер» Джона Фаулза
- Кольцов А.
- Коммунальная квартира
- «Кому на Руси жить хорошо» Н. Некрасова
- Конец света
- Конный цирк
- «Костер» Н. Гумилева
- «Кот в сапогах» Ш. Перро в связи с проблемой кастрирования котов
- «Красное сухое» И. Померанцева
- Кристи А.
- Крылов И.
- Кузмин М.
- Купер Дж.
- «Кюхля» Ю. Тынянова

○ Л

- «Легенда об Уленшпигеле» Ш. де Костера
- Ленин в поэзии
- Ленинградский трамвай
- Лень
- Леонтьев К.
- Лермонтов М.
- Лесков Н.
- Литературная критика
- Ломоносов М.
- Лонгинов М.
- Ляпляндия

○ М

- Маканин В.
- Макаренко А.
- «Мать» М. Горького
- «Матренища» М. Зощенко
- Маяковский В.
- Маяковский-самоубийца
- Маяковский за границей

- «Медный всадник» А. Пушкина
- Мей Л.
- «Менделеев в жизни» А. Менделеевой
- Мережковский Д.
- «Мертвые души» Н. Гоголя
- «Месяц Аркашон» А. Тургенева
- Михалков С.
- «Мистерия-буфф» В. Маяковского
- «Молодая гвардия» А. Фадеева
- «Морские стихи» К. Сутягина
- «Москва — Петушки» В. Ерофеева
- Музыка воды

○ Н

- «На Востоке» П. Павленко
- Нансен Ф.
- «Настоящие сказки» Л. Петрушевской
- «Неизбежность ненаписанного» А. Битова
- Некрасов Н.
- Немиров М.
- Ненобелевские премии
- Никитин И.
- «Николай Николаевич» Ю. Алешковского
- Носов Н.
- Нравы и обычаи народов земли

○ О

- «О борьбе КПСС за сплоченность международного коммунистического движения». Доклад М. Суслова на Пленуме ЦК КПСС 14 февраля 1964 года
- О смешном
- «Обертон» В. Астафьева
- Оказывается, что…
- Олейников Н.
- «Орлеанская девственница» Вольтера

○ П

- Павлова К.
- Пародия
- Паскаль Б.
- Пелевин В.
- Первая русская революция 1905–1907 гг.
- Петр Великий
- «Песнослов» Н. Клюева
- Пикуль В.
- Пионер Павел Морозов

- Писарев Д.
- «Письма русского путешественника» Н. Карамзина
- «Повелитель блох» Э. Т. А. Гофмана
- «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка
- «Поворот реки» А. Дмитриева
- Полежаев А.
- «Похвальное слово глупости» Э. Роттердамского
- Поэзия
- Поэзия В. Соловьева
- Поэмы Гомера
- «Поэмы Оссиана» Дж. Макферсона
- «Правдивое комическое жизнеописание Франсиона» Ш. Сореля.
- «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского
- Приключенческая литература
- «Про Чапая»
- «Про Чернышевского, или Как Чернышевский царские загадки отгадывал»
- «Про шпионов»
- Пруст М.
- «Психология бытового шрифта» О. Флоренской
- «Путешествия Лемюэля Гулливера» Дж. Свифта
- Пушкин В.

○ Р

- Райкин А.
- Ремизов А.
- Романов П.
- «Русский школьный фольклор»

○ С

- «Сага о Греттире»
- Санта-Клаус
- «Сатиры» Саши Черного
- Сведенборг Э.
- Семиотика
- «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею» И. Мятлева
- «Сергей Довлатов: время, место, судьба» И. Сухих
- Сказка
- «Соборяне» Н. Лескова
- Собирание бабочек и жуков
- «Солнечная пряжа» К. Бальмонта
- Сочинения И. Сталина

- «Социальная грусть» М. Зощенко
- «Сталин» Г. Леонидзе
- Сталин и партиздат 1930 годов
- Старая Коломна
- Стаут Р.
- Стейнбек Д.
- Стивенсон Р.
- «Суер-Выер» Ю. Коваля
- Сухово-Кобылин А.

○ Т

- «Тайные тропы» Г. Брянцева
- «Таксидермия», «Смиренная архитектура» О. А. Флоренских
- Тан-Богораз В.
- «Татуированный граф» Е. Звягина
- Татуировки заключенных, скопированные и собранные ветераном МВД СССР Балдаевым Д. С. с 1948 по 2000 год
- Твардовский А.
- Твен М.
- Тема денег в жизни Некрасова
- Тихонов Н.
- Толкование сновидений по Зигмунду Фрейду
- Толстой А. К.
- Толстой Л. Н.
- «Три мушкетера» А. Дюма
- Тургенев И.
- Тютчев Ф.

○ У

- Указы императрицы Екатерины
- «Уловка водорастов» Белоброва—Попова
- «Устные рассказы» М. Ромма

○ Ф

- «Фарфоровый павильон» Н. Гумилева
- Ферсман А.
- Фет А.
- «Фимиамы» Ф. Сологуба

○ Х

- «Хазарский словарь» М. Павича
- Хармс Д.
- Хемингуэй Э.
- Хлебников В.
- Хожение за три моря Афанасия Никитина
- «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса

- Ц
  - Циолковский К.
- Ч
  - Чаадаев П.
  - Чарская Л.
  - Черный юмор
  - Честертон Г. К.
  - Чехов А.
  - Читатель и писатель
  - «Что делать?» Н. Чернышевского
- Ш
  - Шагинян М.
  - Шаляпин Ф.
  - Шейнин Л.
  - Шекспир У.
  - Шишкин И.
  - Шкловский В.
- Щ
  - Щеголев П.
- Э
  - Эккермановы «Разговоры с Гете»
  - Эренбург И.
  - «Это случилось у моря» К. Селихова
  - «Эфиоп» Б. Штерна
- Ю
  - Юмор
- Я
  - Японские поэты + Герман Лукомников («Бабочки полет»)
- Приложение
  - Короткое предисловие
  - Поколение Пу
  - Великий маленький Пушкин
  - «Пушкина убил диатез»
  - Пушкин, Чапаев и пустота
  - Пушкин и Буся
  - Пушкин как святой мученик
  - Пушкин как святой мученик (продолжение)
  - Пушкин и русский спорт
  - Пушкин в наколках
  - Лучше Пушкина может быть только Пушкин…
  - Он памятник себе воздвиг
  - Пушкин и коммунизм
  - «Я умираю вором!..»

- Пушкин в ссылке
- Пушкин-сатирик
- Пушкин-юморист
- Автограф Пушкина
- Книжки Пушкина и даже о нем
- Лицо и маска поэта
- Пушкин народный
- Пушкин и мыло
- Пушкин — это наше всё
- Пушкин, путешествующий во времени
- Клуб Александр Сергеичей
- Пушкин и праздник первого огурца
- Пушкин как тип книжного собирателя
- Пушкин как миротворец
- Пушкин № 35
- Пушкин и водка
- Пушкин и словесность
- Короткое послесловие

Александр Етоев

КНИГОЕДСТВО

Выбранные места из книжной истории всех времен, планет и народов

Роман-энциклопедия

Предисловие

Роман-энциклопедия — странное сочетание. Трудно укладывается в голове. Хорошо, а такая форма, как «роман-комментарий», укладывается лучше? Но ведь и «Бледный огонь» Набокова, и «Пути к раю» шведа Корнеля, и «Подлинная история „Зеленых музыкантов“» Евг. Попова — каждое из этих произведений действительно роман-комментарий. А еще есть роман-пергамент («Суер-Выер» Юрия Коваля), роман-пунктир (А. Битов), роман-воспоминание (А. Рыбаков), роман-путеводитель (Н. Анциферов) и много чего еще. Так почему же тогда не быть роману-энциклопедии?

Границы романной формы к XX веку сделались такими же размытыми, как само понятие «реализм». Он и фантастический, и магический, и «без берегов», и еще бог знает какого вида.

Да, скажет суровый критик, только в большинстве из приведенных примеров существует единый стержень — это или главный герой (группа героев), или некая цель (рай), к которой автор в результате приводит (пытается привести) читателя.

Да, отвечу я суровому критику, только почему бы главным героем романа не сделать Книгу, а целью — донести до читателя мое отношение к Книге.

Что я и попытался сделать.

Самое трудное при подготовке этой книги к изданию было придумать ей имя. Первый вариант имени по претенциозности и замаху мог соперничать с такими глыбами космического масштаба, как словарь Брокгауза и Ефрона, Большая советская энциклопедия, Британика и подобные им издания. «Всемирная книжная энциклопедия», ни много ни мало, — так я назвал свое детище. Но, посоветовавшись с собственной совестью, я стал думать над названием поскромнее.

И тут мне помогла классика. Низкий ей от меня поклон и особая благодарность Николаю Васильевичу Гоголю, первым введшему в оборот словосочетание «выбранные места». Оно очень удобно тем, что спасает автора от упреков в предвзятости, верхоглядстве и узколобом подходе к теме. Поэтому второй вариант моего энциклопедического романа я назвал очень по-гоголевски — «Выбранные места из книжной истории всех времен, планет и народов».

Ведь и вправду, вдруг меня спросят: а почему в предложенной выборке отсутствуют Коран, Пополь Вух, «Записки» кавалер-девицы Надежды Дуровой, «Иосиф и его братья» Томаса Манна и книги петербургских фундаменталистов?

Пользуясь же гоголевским приемом, всегда можно ответить на это: да, пока что отсутствуют, но в следующем, дополненном и доработанном издании книги все допущенные автором пропуски будут заполнены обязательно. Мало того, можно даже пообещать, что в авторских планах — полное, без всяких пробелов, описание всех наличествующих в природе книг.

Единственное, чего просит при этом автор, это малой толики снисхождения: планы, как говорится, планами, а жизнь человеческая не так продолжительна, как хотелось бы. За крайне редкими исключениями она даже короче жизни обыкновенного дикого гуся (100 лет), не говоря уже о таких долгожителях, как слон или черепаха.

Итак, «Выбранные места». Когда я поделился своей находкой с одним продвинутым пиар-менеджером, тот мне посоветовал или вовсе отказаться от такого названия, как заведомо непродажного, или хотя бы не выносить его на обложку.

И машина заработала снова. Я прокручивал в голове варианты: «Helluo librorum» («Пожиратель книг»), «Опыт частной книжной энциклопедии», «Частный опыт книжного лексикона», «Библиотропион, или Следование за книгой»… Вариантов было гораздо больше, и наконец я остановился на «Книгоедстве». Во-первых, когда-то у меня выходила книжка «Душегубство и живодерство в детской литературе». То есть преемственность сохраняется, ведь известно, что от душегубства до книгоедства расстояние такое же малое, как от саксофона до финского ножа. Во-вторых, оно хоть и режет слух, но семантически совершенно светлое, ибо соответствует тому же «helluo librorum» или более привычному — «буквоед».

Скажу честно: этот мой «академический» опус вовсе не претендует на академичность. На энциклопедичность, впрочем, он тоже не претендует. Энциклопедия — это серьезный научный труд, который предполагает обстоятельную работу с материалом, четко выстроенные в цепочку факты, полноту освещения предмета, сугубо объективный подход, безэмоциональность, отсутствие иронии, юмора, интонации. Хотя в истории бывали примеры энциклопедий, не очень-то совпадающих с общепринятыми научными требованиями. Та же «Энциклопедия» д’Аламбера и Дидро, например. Или любое энциклопедическое издание советского времени, порезаннное ножницами цензуры.

Мое «Книгоедство», как уже говорилось выше, — художественное произведение, написанное в жанре энциклопедии, и именно так его и нужно воспринимать. Поэтому, кроме чисто книжных статей (или главок, кому как нравится), я включил сюда и маленькие рассказики, замаскированные под

заметки об авторах или книгах («Веллер», «„Выбор катастроф“ Азимова»), и записи о некоторых вещах, вроде бы с литературой не связанных («География», «Конный цирк»), и литературные «факты», основанные на фантастических допущениях («Пушкин»).

И всех их объединил собой.

Руку на сердце положа, книга эта — малая дань моему давнему пристрастию к чтению, обреченная на неудачу попытка заинтересовать как можно больше людей этим небесполезным делом, мой роман с литературой, в конце концов.

И последнее замечание: материалы, вошедшие в книгу, писались с 1991 по 2006 год и не сводились к единому конечному знаменателю, то есть ко мне сегодняшнему.

P.S. А «Выбранные места» я все-таки сохранил — хотя бы в подзаголовке.

A

Автографы

Дураку ясно, что авторская надпись на книге увеличивает ее ценность во много раз, особенно если автор уже в могиле. Сложнее обстоит дело с автографами живых писателей. Один мой знакомый прозаик, имени которого называть не стану, однажды мне сказал следующую парадоксальную вещь: «Неизбежное зло писателя — книги с автографами коллег. Мусор, от которого можно избавиться, но нельзя отказаться». Фраза довольно злая и, наверное, не вполне справедливая. Но какая-то доля правды в ней, согласитесь, есть.

Писатель Андрей Измайлов как-то жаловался мне на писателя Володю Рекшана. Дело в том, что однажды в букинистическом магазине Измайлов обнаружил какую-то из своих книг с собственным же автографом В. Рекшану. Сам Рекшан категорически отрицал свою причастность к факту сдачи книги с автографом. В принципе, ничего зазорного в этом происшествии я не вижу. Всем известно, что у большинства отечественных прозаиков денег не то что нет, но зачастую не предвидится даже в далеком будущем. Поэтому ради элементарного выживания писатель имеет право совершить этот мелкий грех — сдать подписанную ему автором книгу пусть за мелкие, но все-таки деньги. И обижаться тут, по-моему, нечего.

Особый случай с автографами — когда автор ставит перед собой задачу таким способом заработать. Классический пример — вояж Маяковского по Америке. Сопровождавший поэта Давид Бурлюк заставлял гостя из советской страны подписывать свои книги, объясняя это прагматически просто: неподписанная книга стоит 5 долларов, книга же с автографом знаменитого гостя — 20.

Кстати, об автографах Маяковского. Дмитрий Быков в книге о Пастернаке пересказывает показательный факт покупки Осипом Бриком у букиниста в 1939 году книги Маяковского «Хорошо!» с надписью: «Борису Вол с дружбой нежностью любовью уважением товариществом привычкой сочувствием восхищением и пр. и пр. и пр.». У того же букиниста Брик обнаружил и другую книгу, пятый том собрания сочинений Маяковского, также с автографом Пастернаку: «Дорогому Боре Вол 20/XII 1927».

Сам Пастернак категорически отрицал, что эти книги подарены ему и попали к букинисту из его домашней библиотеки. «Это не мои книги, — ответил он Василию Катаняну на заданный по этому поводу вопрос. — И надпись не мне».

Быков связывает факт продажи подписанных книг с

сознательным открещиванием Пастернака от такого поэтического явления, как творчество Маяковского. Так ли это или не так — доказывать литературным историкам. Я привел этот случай в качестве примера, не более.

Авторская (бардовская) песня

Громче всех пел Высоцкий. Тогда, во второй половине 60-х, каждая его магнитофонная запись воспринималась как откровение. Тяжелые катушечные магнитофоны мы таскали из дома в дом, как только у кого-нибудь из знакомых появлялась новая запись. Это были живые песни, в них кипела живая жизнь, неустроенная, непредсказуемая, опасная, которой так всегда не хватает пятнадцатилетнему городскому жителю. Мы записывали эти песни в тетрадки, мы осваивали три-четыре аккорда — «блатные», так их называли в народе, — и орали под портвейн и гитару: «Здесь вам не равнина, здесь климат иной», «В прорыв идут штрафные батальоны» и «Парус, порвали парус». Певец тогда еще только начинал завоевывать пространство русской души. А уже через десять лет Высоцкий для русского человека стал фигурой сродни Гагарину. Даже про Брежнева тогда говорили: «Мелкий политический деятель эпохи Высоцкого».

Потом пришло время Галича. То есть он был и раньше, но громкая муза Высоцкого делала его голос неразличимым. Песню про «Белые столбы» мы пели, даже не зная, что она написана Галичем. Галич для моего поколения, не потерявшегося в пустыне 70-х, — символ совести и свободы. Он учил нас издеваться над глупостью держиморд от советской власти. Стукачей он называл стукачами, а подлость называл подлостью. Хранить пленки с голосом Галича было опасно. Когда со второй половины 70-х пошли повальные обыски по делам, связанным с самиздатом, наряду с книгами и машинописными копиями изымались и записи его песен. Галича сейчас слушают мало. К сожалению, актуальность песен не всегда дает им путевку в вечность. Но с точки зрения поэзии, виртуозности исполнения, художественных находок песням этим наверняка суждена жизнь долгая.

Окуджава. Прежде всего, это человеческая душа. Негромкая, изменчивая, открытая, которую необходимо беречь как искру Божию внутри нас. Все песни его — о душе. Поэтому время на них не действует. Трудно отыскать человека, равнодушного к его голосу. Узнается он везде и всегда. Сразу бросаешь дело, которым бываешь занят, когда по телевизору или радио звучит знакомая, словно голос матери, бесхитростная его мелодия.

Понимание приходит с годами. Раньше для меня Юрий Визбор почему-то оставался в тени. Наверное, тогда я еще просто до него не дорос. Или вовремя не почувствовал доброты его необыкновенного голоса. Потому что именно доброта делает человеческий голос необыкновенным. Теперь песни Визбора

стали близкими моими друзьями. «Ходики», «Волейбол на Сретенке», «Ночная дорога» — всего и не перечислишь.

Хорошее наступило время. Запросто, не боясь, что вломятся и изымут, на полку можно поставить сборник с песнями Галича, изданный не во Франкфурте, а в Москве. Когда-то, совсем недавно, такое даже не снилось. А теперь — «вот она, эта книжка… снимает ее мальчишка с полки в библиотеке». И тираж ее — 5-10-20-25 тысяч, а не тысяча, как мечтал Галич. Галича изучают в школе, как раньше Тихонова и Суркова. Я вспоминаю фразу, прочитанную у кого-то из эмигрантов: «Некто Пастернак, проживающий по улице имени замечательного писателя Павленко». Возвращаются имена и песни. И сейчас, с высоты времени, понимаешь, что главное в этих песнях — голос. Свой, неповторимый, единственный, не похожий ни на какой другой.

Айвазовский

В книге отзывов в музее Айвазовского в Феодосии еще не очень давно можно было прочитать такие интересные записи:

«Великий русский марионист. Зеркало русского флота», ниже подпись — «Подводники».

«Просмотрел картины Айвазовского. Считаю что-то сверх естественное. Смотришь на картину море забывается где находится, хочется бросить в воду камешек». Подпись: «Панфилов».

«Уходя на трудную и опасную работу, я вдохновляюсь картинами Айвазовского. Думаю это мне поможет». Подписано: «Майор Семенов».

Мой знакомый предприниматель, владелец маленького кафе в крымском городке Богатырка, умел складывать из рыбьих костей картину Айвазовского «Пушкин на берегу Черного моря». Эту картину Айвазовскому помогал писать Репин — Айвазовский рисовал воду, а Репин сушу и Пушкина на утесе.

К образу Пушкина Айвазовский обращался и самостоятельно, без помощи Репина: см. картину «Пушкин у Гурзуфских скал».

Все эти примеры говорят о подлинной народности художника Айвазовского, настоящая фамилия которого Айвазян.

И если английский маринист Тёрнер был романтиком-метафизиком, море у которого представляет собой туманный размытый фон, то у русского романтика Айвазовского море совершенно реальное, и если даже в нем бывает туман, то туман этот не выдуманный, природный.

Отношение собратьев-художников к творчеству Айвазовского менялось в зависимости от возраста и уровня популярности. Особенно характерно это выражено у Александра Бенуа, в юности восторгавшегося художником, а в старости бросавшего в своих изданных на Западе мемуарах фразочки типа «Зал завешан морями Айвазовского». Наверное, мир-искусника раздражала цельность. Действительно, всю жизнь рисовать моря — такое постоянство дано не каждому. Это как всю жизнь любить одну женщину, ни с кем ей ни разу не изменив.

Акриды

Обычно первое, что приходит в голову, когда заходит разговор о святых подвижниках и аскетах, это акриды. Действительно, все мы знаем, что подвижник, совершая пустынный подвиг, сводит свой рацион до минимума, и главное блюдо этого минимума — акриды. Нынче ни для кого не секрет, что под акридами в святых житиях подразумевался обыкновенный кузнечик. Да, тот самый полевой-луговой-степной-пустынный прыгун-кузнечик, который, крылышкуя золотописьмом тончайших жил, ел одну лишь травку, не трогал и козявку и с мухами дружил. Кузнечиков запасали в сушеном виде, хранили их и ими питались.

В семидесятые годы века двадцатого в питерской богемной тусовке акридами назывались пельмени. Цитирую К. Кузьминского (в авторской орфографии) из предисловия к книге Леона Богданова «Заметки о чаепитии и землетрясениях» (М.: НЛО, 2002): «Пельмени — 40 коп. пачка (‹…› овчина [В. А. Овчинников] их называл акридами, коими в пустыне монаси-схимники питались, — наш обычный рацион: богданова, шемякина, мой, всехний…)»

Мой приятель тех лет, диссидентствующий врач-психиатр Андрей Васильев, помнится, любил повторять: «Пока в магазинах продаются пельмени, жизнь продолжается».

Сейчас уже отошли в историю такие популярные в недалеком прошлом заведения общепита, как пельменные, сосисочные, котлетные, блинные, шашлычные, чебуречные, рюмочные, пивные, распивочные и проч. Во всяком случае, в городе Петербурге таковых практически нет. Существовал даже особый поджанр фольклора, посвященный этим святым местам.

Мы, когда были студентами славного ленинградского военмеха — гнезда советского шпионажа, как писали о нем тогда за железным занавесом, — пели, собираясь компанией:

Швейцар закрыл за нами двери чебуречной,
Проспект Майорова приветливо мелькнул,
И ветерок с Фонтанки, словно встречный,
В лицо ударил, словно подмигнул.

От чебуречной лишь два шага до шашлычной…
И так далее, куплетов пять или шесть.
Сейчас настало непонятное время — даже хлеб и тот

продается уже в нарезке.

И акрид — то есть, нет, пельменей — в любом продмаге десять разных сортов. А вот пельменных — тех, увы, не осталось. Только в памяти, в песнях да в доброй старой литературе.

Аксёнов В.

…Любовь, как известно, помесь низкого и высокого. Аиста и крокодила. Горек мёд первых любвей, а их бывало с избытком. И Аксёнов одна из них.

Золотое было времечко — шестидесятые годы. Стиляги в «атомных» пиджаках и в ботинках «на манной каше». Первые джинсы, которые тогда назывались «техасами». Джаз, записанный на «костях». А уж эти ужасные мальчики, хиляющие по «бродвею» с гитарой, — это, конечно, мы, помолодевшие на тридцать пять лет.

Жаль, что вас не было с нами, дорогие молодые читатели.

Перечитайте прозу Аксёнова. Веселый разноцветный язык, на котором он говорит, вдруг да сделает и нас, читателей, веселее. Если, конечно, мы, читатели, не страдаем хронической глухотой.

Аксенов остался прежним, такой же разноцветный язык, такие же незадачливые герои. Ну одежды стали чуть-чуть другие, ну действие многих вещей смещается чуть ближе к Америке. Но так же и грустишь, и смеешься — как от встречи со старым другом. И так же жалко на последней странице расставаться с собственной юностью.

Еще об Аксенове

В двадцатых числах июня 1999 года мне и разным моим знакомым была послана E-mail-ом анкета, оформленная в виде письма. Текст, который я получил, полностью звучал так:

> Уважаемый г-н Етоев!
>
> Тайный оргкомитет Первых Аксёновских чтений, которые состоятся 23 июня с.г. в 18.00 в Крымском клубе (Москва, Кутузовский пр., 3, арт-центр «Феникс»), приглашает Вас принять участие в этой акции.
>
> Вне зависимости от того, будет ли у Вас возможность лично посетить Чтения, просим Вас ответить заранее на важные вопросы:
>
> 1. На какое живое существо (птицу, зверя, рептилию, членистоногое, дерево и т. п.) похож В. Аксёнов?
>
> 2. Кем (каким) В.А. мог быть в прежней жизни?
>
> 3. Кем (каким) В.А. может оказаться в следующей?
>
> 4. На какие темы Вы побеседовали бы с В.А., оказавшись с ним в ближайшие дни попутчиком в

самолёте?

5. Прочли ли Вы последний роман В.А. «Новый сладостный стиль»?

6. Чего Вы пожелали бы В.А.?

Дополнительные вопросы:

1. Роль В. Аксёнова в истории русской литературы.

2. Роль В.А. в становлении его эпохи.

3. Роль В.А. в его собственной судьбе.

4. Роль В.А. в Вашей собственной жизни (вплоть до малейших вкусовых, поведенческих и т. п. влияний).

5. В чём уникальность писателя Аксёнова.

Наш адрес: sid@rinet.ru, телефон (095): 345-59-13.

Ваши ответы станут вкладом в сокровищницу мировой культуры.

Считаем себя обязанными сообщить, что близящиеся Чтения — псевдонаучные и входят в цикл акций Крымского клуба «Первые чтения» или «Коллекция интеллектуальных и художественных жестов в сторону знаковых фигур современного искусства» (в 1999 г. проведены Первые Рубинштейнианские, Некрасовские, Приговские чтения).

С надеждой,

Сид.

P.S. Василий Павлович, почётный Президент Крымского Клуба, прибывает в Москву из Вашингтона накануне Чтений и непременно примет в них участие. Ваш ответ будет озвучен во время Чтений и через некоторое время помещён на открываемом в августе 1999 г. сайте Крымского клуба.

Сегодня, в первый день рассылки вопросника (на 21.30 18.06.99 г.) на наши вопросы уже ответили Борис Стругацкий, Михаил Успенский, Максим Мошков, Баян Ширянов.

Не особенно долго думая, я сел за клавиатуру компьютера и скоренько настучал ответ:

Уважаемый тайный оргкомитет!

Отвечаю по пунктам на присланные Вами вопросы.

Основные вопросы.

1. На воздушный шар — самое живое из всех существующих во вселенной живых существ.

а) Воздушный шар — универсальная форма жизни: он одновременно и птица, и зверь, и рептилия, и членистоногое, и дерево, и т. п.

б) Воздушный шар — отражение человека будущего в зеркале современности.

в) В небе грустно без воздушных шаров.

2. Джонни Яблочным Зерном. Был такой реальный человек в истории молодой Америки, который ходил по стране с мешком яблочных зерен и насаживал повсюду яблоневые сады.

Он же, кстати, первый придумал бейсбольную кепку с сильно вытянутым вперед козырьком.

3. Памятником, кем же еще? Моего дедушки Александра Сергеевича с книжкой Етоева в руке.

4. На самые ординарные — быт, здоровье, погода. Может быть, немного о литературе: спросил бы, почему он перестал писать для детей. Дети ведь тоже люди. «Мой дедушка — памятник» давно уже зачитан до дыр. Пора бы переиздать.

5. Стыдно. Год уже как лежит на тумбочке на расстояние полувытянутой руки, а руку все не протянуть полностью — мешает сволочная работа. Но желание прочесть — острое.

6. Первое: добрых и справедливых читателей. Второе: не обижаться на дураков и лентяев.

Дополнительные вопросы.

1. Как роль Петра I в русской истории. Прорубил окно в Америку. Избавил литературу от вшивости. Сбрил бороды и ввел в литобиход джинсы и ботинки на «манной каше». Вместо ансамбля «Березка» утвердил джаз. И так далее.

2. Самая непосредственная. В. Аксенов и поколение его читателей не дали неоперившемуся птенцу свободы: а) пригреться в теплом навозе священной коммунистической коровы; б) замерзнуть, когда ветер в стране сменил направление — с юго-западного умеренного на холодный с севера и востока, то бишь из мордовских лесов и прочих заповедных мест СССР.

3. Как литературный герой порою вдруг выходит из-под контроля автора и начинает жить самостоятельной жизнью, так и автор, подобно этому своему герою, может выйти из-под контроля жизненных обстоятельств и управлять ими по своему разумению.

По-моему, с В. Аксеновым происходило и происходит нечто подобное.

4. Я никогда не был ничьим фанатом. Фанат, по определению, человек слепой и глухой. Хорошо бы он

был еще немым и безруким.

Поэтому богом Василий Аксенов для меня никогда не был.

Он был (и есть) для меня просто живой писатель, показавший живую жизнь, вкрапленную, как пузырек воздуха, в застывшую мертвую массу, которая нас всех тогда окружала.

Я человек эпохи бочкотары, глядите, как на мне топорщится пиджак… Топорщащийся пиджак героев Аксенова мы примеривали к себе. И топорщащаяся проза его рассказов, его блистательная фантасмагоричность, его «Затоваренная бочкотара», «Стальная птица», «Мой дедушка — памятник», «Золотая наша железка», «Поиски жанра» и прочее были как праздничный карнавал, как веселое первомайское шествие, где злодеи соседствуют с мудрецами, а негодяи необязательно берут верх над праведниками, как обычно бывает в жизни.

По-настоящему вещи Аксенова вошли в мою жизнь довольно поздно — где-то с середины 70-х, когда гремевшие десятилетием раньше «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Коллеги», «Пора, мой друг, пора» давно отгремели и воспринимались уже как классика.

Это было время Галича, расцвет диссидентства, самиздата и тамиздата, и поэтому романы Аксенова, особенно изданные за бугром («Стальная птица», «Ожог»), укладывались в контекст охватившего тогда умы вольнодумства.

Когда, уже в 90-х, я перечитывал эти вещи, то прежде всего внимал их неординарной эстетике, а не их политическому заряду. В 70-е же они горячили кровь скорее своей актуальностью и более напрягали мышцы рук и лица, чем те закоулки мозга, что ведают эстетическими пристрастиями.

В конце 80-х, в самом начале горбачевских реформ, я даже написал письмо в журнал «Крокодил» после того, как там напечатали возмущенные письма читателей, якобы бывших когда-то поклонниками творчества Аксенова, но после его антисоветских выступлений на Западе готовых выбросить книги писателя на помойку. Зачем на помойку, писал я в письме, лучше пришлите мне, и далее я прилагал список книг, которые я в то время безуспешно пытался отыскать.

Не знаю, как на меня повлияло творчество Василия

Аксенова. Видимо, повлияло, как вообще влияют хорошие книги на творчество любого писателя.

5. В чем уникальность писателя Аксенова? В чем вообще уникальность любого хорошего писателя? Это вопрос таинственный и очень индивидуальный. Сколько у писателя читателей, столько, видимо, будет и ответов на этот вопрос. А у Аксенова читателей много, я интересовался и знаю. Что касается меня, то мой ответ складывается из суммы предыдущих ответов.

Не знаю, был ли мой ответ озвучен на Чтениях, да это, собственно говоря, и не важно. Главное, анкета дала мне повод высказать свое мнение о писателе, который для меня дорог. Мне этого более чем достаточно.

P.S. «Литературная газета» прокомментировала эту клубную акцию так:

«Крымский клуб под занавес провел Аксеновские чтения, пригласив Василия Павловича послушать, что скажут о нем исследователи и поклонники; вторые явно возобладали, хоть и аттестовали себя по большей части критиками и филологами, а потому мероприятие проиграло в зрелищности аналогичным акциям, героями которых были более радикальные авторы…»

Оставляю этот комментарий без комментариев.

«Актерская книга» М. Козакова

Я очень хорошо помню, как в начале 60-х в кинотеатре «Рекорд», что на углу Лермонтовского и Садовой, первый раз показывали «Человека-амфибию». Мы, мальчишки, бегали чуть ли не каждый день смотреть этот чудо-фильм, клянчили у родителей деньги, на утренники по воскресеньям в кинотеатр было вообще не пробиться — билет на утренние сеансы стоил тогда десять копеек, на копейку дешевле, чем эскимо, — и мы завидовали тем редким счастливцам, кто по болезни не ходил в школу и мог не пропускать ни одного утренника по будним дням.

А потом, после фильма, мы сидели где-нибудь во дворе, на крыше какого-нибудь сарая (во дворах тогда еще доживали свой век сараи), и пели о морском дьяволе, влюбившемся в красавицу Гуттиэре, и о коварном Педро Зурита, охотившемся за человеком-рыбой.

«Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно», — горланили мы звонкими голосами.

«Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино», — подхватывали гулкие подворотни и глухие коломенские дворы.

«Педро Зурита на своем корыте хотел его поймать…» — отвечали мутные волны пиратской реки Фонтанки.

Таким я себе и вижу его с тех пор — тонким узколицым красавцем со злодейским прищуром глаз. Кто из нас тогда знал, что отец его — известный писатель, сполна хлебнувший и милостей, и опалы от великих мира сего? И рассказ Василия Аксенова прочитали мы много позже — про то, как герой молодежи, знаменитый артист Козаков прогуливался в 1956-м по Невскому, а сзади за ним тянулась толпа стиляг — у всех через плечо шарф, в зрачках — драматическая свеча, в точности как у их кумира. И как кумир заходил в рюмочную и, приглашая всех щедрым жестом, провозглашал: «Всех угощаю! Выпьем за искусство, за будущее!»

«Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино», — жаль, что этого «там» у нас уже никогда не будет.

«Актерская книга» написана очень эмоционально. Это личный рассказ о судьбе актера, украшенный множеством зримых деталей. О чем бы и о ком бы Козаков ни писал — о детстве ли, прожитом в Ленинграде, в писательском доме между каналом Грибоедова и улицей Софьи Перовской (теперь она Малая Конюшенная), о роли Гамлета, которую он сыграл у Охлопкова, об Олеге Ефремове и его «Современнике», о чеховской «Чайке», сыгранной в Израиле на иврите, — нигде мы не найдем общих

мест или избитых мыслей. Людей, о которых Козаков пишет, он как бы проигрывает перед нами на сцене. Он и когда пишет — актер. Совершенно замечательно передана, к примеру, выхваченная из детства сцена, когда «дядя Женя Шварц», изображая покупателя и кассиршу, выбивает на своем лице 28 рублей 43 копейки, поочередно мигая то правым, то левым глазом и шевеля носом. А насколько зримо описана сцена с Шкловским у Эйхенбаума и «кочергой русского формализма».

Таких примеров в «Актерской книге» десятки, если не сотни.

Каждый читатель найдет в ней что-нибудь для себя. Не найдет он в ней только одного — скуки.

Акутагава

Великое свойство гения — открытость миру. Мысль эта старая, об этом говорил еще Достоевский в своей пушкинской речи. Удивительно, сколько знаменитых произведений рождено на стыке совершенно разных культур. Европа, открывшая для себя Восток, дала миру Гете и немецких романтиков. Америка дала Вашингтона Ирвинга и его «Альгамбру». Немецкие романтики вдохновили Гоголя, Вашингтон Ирвинг подтолкнул Пушкина на создание «Сказки о золотом петушке». А взять новые времена. Герман Гессе и Сэлинджер. И совсем новые. Наш Пелевин.

Япония дала миру Акутагаву. С тем же правом можно сказать, что Акутагаву дала миру Европа. И Америка. И Россия. Вселенная.

«Жизнь не стоит и одной строчки Бодлера», — напишет он в конце жизни.

А в начале жизни или, может быть, в середине, увидев в витрине книжного магазина репродукцию голландца Ван-Гога, он поймет, что такое живопись. И с тех пор станет пристально вглядываться в изгибы веток и овал женской щеки.

Великий писатель Акутагава — человек мира, всю жизнь проживший в Японии. Истоки его таланта лежат на японской почве. Он чувствовал эту почву, лисьи чары старой японской прозы рождали его фантастику. Скупая точность японской живописи придавала ей особую силу. Европейская роскошь Флобера расцвечивала ее в космополитические цвета. Он свободно впускал на свои страницы героя гоголевской «Шинели», переписывал по-японски Свифта, мост через Совиный ручей переносил на родную землю. Кем он был? Для чего он жил?

Он шел с одним студентом по полю.

— У вас у всех, вероятно, еще сильна жажда жизни, а?

— Да… Но ведь и у вас…

— У меня ее нет! У меня есть только жажда творчества, но…

— Жажда творчества — это тоже жажда жизни.

Он ничего не ответил. За полем над красноватыми колосьями отчетливо вырисовывался вулкан. Он почувствовал к этому вулкану что-то похожее на зависть. Но отчего, он и сам не знал.

Это отрывок из повести «Жизнь идиота». «Он» — это сам писатель, творчество ставивший выше жизни. Это тоже главное свойство гения — ставить творчество выше жизни.

Далеко, на востоке мира, отчетливо проступает вулкан. Я чувствую к нему что-то похожее на зависть. Я знаю, отчего.

Анекдот

Этот литературный жанр ближе всего к фольклору, в нем, как и в фольклоре, трудно выявить автора. Автор, понятно, есть, но он не претендует на авторство, а если бы даже претендовал, это было бы само по себе анекдотом из-за абсурдности подобной претензии. Есть, конечно, случаи исключений, когда кто-то из писательской братии печатает анекдот в книге, таким образом визируя его своим копирайтом и превратив анекдот в товар. Или нынешние эстрадники, которые, как плесень или грибок, с какой-то устрашающей быстротой размножаются в ящиках телевизоров, те тоже питаются анекдотами по недостатку собственного таланта.

Вообще же, публикация анекдота в печатном виде противоречит определению жанра: по-гречески «анекдот» — «неизданный». Единственное, что оправдывает появление таких публикаций, — академическая фиксация текста как факта литературной истории. Опять же такую книгу удобно иметь в компании. Как во времена моего детства в какой-то момент застолья родители извлекали из шкафа песенник, так, наверное, и в наступившие времена на смену песеннику пришел анекдотник.

Говорят, что все анекдоты придумывает один человек. Если так, то он или вечный жид Агасфер, или какая-то новая ипостась Бога, или сам Бог и есть, что очень даже правдоподобно.

А еще говорят, что все анекдоты придумывает спецотдел ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ (чего там еще на «Б»?) и специально провоцирует население, чтобы проще было решать проблему заполняемости наших тюрем и лагерей.

А еще «еще говорят», что самый первый анекдот родился в Одессе. См., например, Высоцкого:

> Лучший юмор в мире — это юмор наш,
> Первый анекдот родился здесь, и
> Лучший пляж на свете — наш одесский пляж,
> Лучший вид на море — из Одессы.

Очень хорошо про анекдот написал петербуржец Сергей Коровин в мемориальном очерке о Сергее Хренове («Беспокойники города Питера». СПб.: Амфора, 2006).

«Есть люди, — пишет Коровин, — кого занимают проблемы вроде того, что вот был, например, Чапаев когда-то — реальный унтер-офицер, полный георгиевский кавалер, потом красный

командир; и есть герой романа Фурманова; и ходит по свету персонаж анекдотов, так вот: как они все между собой соотносятся? Но мы тут не будем ломать свои головы: как, как? Да неизвестно как, потому что всю твою жизнь от рассвета до заката — фабулу трагедии и все детали — знает только Бог и никому не говорит, а Фурманов, хоть и был знаком с тем красным командиром, в своем произведении решает задачи сугубо сюжетные — нечеловеческие, и Чапаев у него какой-то немыслимый пидарас, выкованный с головы до ног из чистой стали, а что до анекдотов, то традиция пародийной травестии известна с гомеровских времен и ничего не отражает — там Геракл — обжора и пьяница, а Одиссей, чтобы уклониться от участия в войне, симулирует безумие в дурацком колпаке, то есть, конечно, анекдот — народная мифология — пересказывает отдельные моменты сюжета, но без эпического пафоса. Пафос совершенно чужд обыденной жизни, вот почему анекдот переводит героя на арену повседневности, тем самым занижая его до уровня обыкновенного человека».

И возвращаясь полустраницей позже к Чапаеву, Коровин заключает: «Если бы мы спросили Чапаева, где он хотел бы обрести бессмертие, то есть персонажем эпоса, романа или анекдота, то неизвестно, что бы он выбрал».

Вот такая сложная и простая штука — его шутейшество/величество анекдот.

Антисанитария и личная гигиена в литературе

Примеры чисто утилитарного подхода к поэзии известны издавна. Медицинские трактаты в стихах, стихотворные лечебники, травники и тому подобная агитация вещей полезных и нужных всякому здоровому человеку ходили в списках и всегда издавались в первую очередь, т. е. раньше настоящей поэзии. Вот пример народной лубочной агитки середины XIX века на тему антисанитарии и личной гигиены русского человека (Хрестоматия по детской литературе. Том 1. М., 1940):

Оглянись назад, Ипатка,
Что за чучелы там ходят,
То Антипка и Филатка
Все одни как стены ходят.
Их все девки убегают,
В хороводы не пускают.
Не пугайтесь так вы нас,
Были б мы не хуже вас,
Нас отцы наши сгубили,
Коровьей оспы не привили.
Как наносная напала,
Так и рожи нам вспахала.

Аполлинер

Аполлинер был похож на римлянина, и друзья его называли в шутку «le Pape» — Папа Римский. Он увлекался классической латинской культурой, любил и ценил ее, но никогда свою любовь не выставлял напоказ, наоборот, если в разговоре кто-нибудь упоминал имя Расина, Аполлинер мог переспросить говорившего: «Расин? Ах да! Это вроде такой поэт…» В жизни Аполлинер занимался всякими непоэтическими вещами. Служил в Париже биржевым маклером. Издавал порнографические книжки. Вообще был яростным пропагандистом запрещенных изданий — первым издав, пусть в усеченном виде, маркиза де Сада. Аполлинера обвинили в краже из Лувра «Джоконды», и десять дней поэт провел за решеткой, питаясь отваром из желтых кувшинок и написав там одно из лучших своих стихотворений «В тюрьме Санте». Французского гражданства Аполлинер не имел, по происхождению он был из поляков (настоящее имя поэта — Вильгельм Аполлинарий Костровицкий), и поэтому каждый месяц был вынужден отмечаться в полицейском участке. Во время Первой мировой войны Аполлинер добровольцем пошел на фронт. Умирал, раненый в голову, в итальянском госпитале, перенес трепанацию черепа, выжил и был удостоен ордена Почетного легиона. Умер Аполлинер в Париже в 1918 году от «испанки» и перенесенного фронтового ранения. В день его смерти официально было объявлено об окончании войны, и весь Париж праздновал и веселился. В тот же день, когда объявили мир, в Париже умирает Ростан. Две процессии тянутся за двумя катафалками, в обоих лежат поэты.

Мать Аполлинера говорит тем, кто обращается к ней с соболезнованиями: «Мой сын поэт? Бездельник он, а не поэт. Вот Ростан — поэт!»

Такова краткая история жизни поэта Гийома Аполлинера.

Апухтин А.

Льется вино. Усачи полукругом,
Черны, небриты, стоят, не моргнут,
Смуглые феи сидят друг за другом:
Саша, Параша и Маша — все тут…
Липочка «Няню» давно пробасила…
«Утро туманное» Саша пропела…

Хороший поэт Апухтин, что там ни говори — хороший. И этот отрывочек из его цыганского цикла, который я вам привел, подтверждает мои слова.

А совсем недавно я перечитывал любимого моего поэта Олега Чухонцева и нашел у него из Апухтина эпиграф: «Садись ко мне поближе, говори…» То есть до сих пор апухтинская поэзия подвигает кого-то на новое, на своё. А это уже знак качества — раз подвигает.

Да, он был меланхолик и нелюдим, но кто, положа руку на сердце, не без этого? Да, стихи его порою упаднические и не влекут нас к светлым высотам, не зовут на подвиг и труд. Но иногда нам мило и маленькое болотце, особенно если там морошка и клюква, а печка и усталая лень иногда привлекают больше, чем переход Суворова через Альпы.

Апухтину, между прочим, в возрасте двенадцати лет уже прочили славу Пушкина. Конечно, погорячились, но тем не менее такой факт имел место быть. Сам же поэт не носился со своими стихами, как с писаной торбой, и не кричал на каждом углу о своей гениальности. Стихов своих не берег, сам их никогда не печатал, и то, что опубликовано после смерти, оказалось сохранено благодаря родственникам и знакомым. Может ли какой-нибудь из поэтов нынешних рассчитывать на такое к себе посмертное отношение? Да большинство из них просто забудут к дьяволу вместе с их рифмоплетством и бумагомаранием. А вот Апухтина люди помнили и любили. Поэтому и сохранили для нас.

Форму своего творческого поведения Апухтин определял как дилетантизм. «Я дилетант, я дилетант», — повторяет он в своем едва ли не программном стихотворении, которое так и называется — «Дилетант». Он сознательно открещивается от писательства как профессии и всячески язвит по отношению к большинству современных ему авторов, называя их политиканами и семинаристами. Даже типографский станок, по Апухтину,

изобретение дьявола: станок «обесчещивает» созданное произведение. Он и рукописей-то своих не хранил, а что и было, сам же уничтожил. То, что есть апухтинского в печати, сохранилось благодаря друзьям, переписывавшим его стихи в тетради. Вот такой был поэт Апухтин, и принимать его нужно именно исходя из этого.

Нынешнее поколение связывает имя Апухтина исключительно с романсом «Пара гнедых»:

Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тощих, голодных и грустных на вид,
Вечно бредете вы мелкой рысцою,
Вечно куда-то ваш кучер спешит…

И далее — про хозяйку этих состарившихся лошадок, про былую ее красоту, про былых любовников:

Грек из Одессы и жид из Варшавы,
Юный корнет и седой генерал —
Каждый искал в ней любви и забавы
И на груди у нее засыпал…

Потому я так подробно остановился на этом известном стихотворении, что в нем, как в капле, отражается суть апухтинской музы, виден весь его мир, поэтический и реальный. Гедонизм, чувственность, желание взять от жизни как можно больше, презрение к труду «как величайшему наказанию, посланному на долю человеку» и вместе с тем острое ощущение скоротечности жизни, ее обманчивости и возникающее на этой почве разочарование.

«Цыганские, апухтинские годы» — так назвал Александр Блок эпоху 1880-х годов, закончившуюся всемирным обвалом и переходом на новый круг.

«Арап Петра Великого — 2» В. Белоброва и О. Попова

Эта книжка — настоящий маленький (из-за ее объема) шедевр. Сам учитель А. Пушкин с радостью согласился бы поставить свое побежденное имя рядом с именами победителей-учеников Белоброва и Попова. Книжка раскрывает одну из тайн отечественной истории, а именно тайну Занзибала, брата единокровного Ганнибала, того, от которого род Пушкиных и сам Александр Сергеевич происхождение ведут. Шедевр же книжка не потому, что про Занзибала; шедевр она потому, что веселая, интересная и живая по сюжету, картинкам и языку. Если б я написал такую, я б три дня ходил сам не свой, как Блок, когда написал «Двенадцать». И говорил бы встречным и поперечным: «Какой я мельник, я — гений!»

«Арбат, режимная улица» Б. Ямпольского

Если вы любите прозу Бабеля и краски Шагала, вы полюбите эту книгу. Если у вас замирает сердце от мелодии «Книги Иова» и начинает бешено колотиться от радостной «Песни Песней», вы полюбите эту книгу. Я стыдился, что так поздно ее открыл для себя. Я завидую тем, кто прочитает ее впервые. Эта книга веселья сердечного и печали сердечной. Эта книга очень еврейская и очень всечеловеческая. Я отказываюсь исправить безграмотность предыдущей фразы. Пусть останется так как есть — «очень всечеловеческая», я настаиваю.

Когда-то меня сильно раздражали «избранные сочинения» писателей. Я имею в виду писателей, которые не могут постоять за себя. Потому что их уже с нами нет. Раздражали тем, что кто-то мне неизвестный избирает произведения так, как хочется не мне, а ему. Навязывает мне свои вкусы. Нарушался принцип свободы выбора, и это мне сильно не нравилось.

Посмертно выпущенная книга Бориса Ямпольского в этом смысле выглядит сбалансированной и цельной. Ну, может быть, стоило поменять местами роман и повесть — чтобы читатель сразу же, с головой, погрузился в безумный мир местечковой ярмарки и увидел, как «тяжело прошла женщина с железной ногой, пронесся загадочный человек в синих очках…». Как «понурые евреи вели танцующих медведей в железных ошейниках и ошалелых рыжих мартышек; колючих ежей, приученных к ласке, и наглых ярко-желтых попугаев, обученных матерщине».

Уже после, когда книга была прочитана и прочувствована, мне попались на глаза строчки Иосифа Бродского, настолько точно передающие суть моих ощущений от чтения, что я удивился странному этому совпадению:

> Что нужно для чуда? Кожух овчара,
> щепотка сегодня, крупица вчера,
> и к пригоршне завтра добавь на глазок
> огрызок пространства и неба кусок…

А потом я понял: ничего удивительного. Ведь существо чуда в том именно и состоит, что вмещает в себя всего человека сразу — и вчерашнего, и сегодняшнего, и завтрашнего. И мир, в котором живет человек, со всеми его страхами, радостями, рождениями, смертями, надеждами, существует не где-то рядом, он находится внутри человека.

И есть река, в которую можно ступить дважды; называется она — наша память.

Арцыбашев М.

В первую очередь писатель Михаил Арцыбашев — автор романа «Санин». Позволю себе привести довольно пространную цитату из Василия Розанова по этому поводу:

> — Дайте мне «Санина» Арцыбашева.
> — Запрещен.
> — Запрещен?!!
> — Запрещен и весь продан.
> Я так удивился, что вмешался в разговор приказчика и покупателя.
> — В самом деле такое совпадение?
> — Да. Весь распродали. И когда распродали, то пришло запрещение: не продавать более.

Далее Розанов комментирует этот курьезный факт:

> Ну, чисто «по-русски»! Печаталось, что «Санин» разошелся в эту зиму в сотнях тысяч экземпляров, о нем долго и много говорила вся печать, начав целый поход против него; им обзавелись все библиотеки, все книжные шкафы и студенческие «полочки» для книг, и в то же время печаталось, что «не разрешены к представлению на сцене» семь — целых семь! — театральных переделок романа. И когда все это произошло и шумело целую зиму, приходит в литературу генерал-исправник, важно садится в кресло и произносит:
> — Я запрещаю «Санина».

Запрет на книгу — и в те времена, и в эти — означает самый мощный пиар роману, какой только может быть. И соответственно все книги писателя, написанные и до и после, также обречены на успех.

Роман не приняли ни прогрессисты, ни революционеры, ни черносотенцы. Церковь грозила автору романа анафемой. Против Арцыбашева по инициативе Синода было начато уголовное дело по обвинению в порнографии и кощунстве.

Сам Арцыбашев называл себя «единственным представителем экклезиастизма» в литературе, а своим предшественником объявил не кого иного, как библейского царя Соломона.

С 1923 года Арцыбашев эмигрант, живет в Польше, в Варшаве, активно сотрудничает в белогвардейских изданиях,

выступая «с позиций крайнего антисоветизма», как пишут в соответствующей статье «Библиографического словаря русских писателей» М. П. Лепехин и А. В. Чанцев.

«Атака заката. Музыка палиндрома» М. Медведева

Один мой знакомый писатель, тоже в свое время грешивший этой хитрой поэтической формой, однажды мне по секрету признался, что не покончи он вовремя с этим опасным делом, то вязать бы ему сейчас веники на Пряжке или в Скворцова-Степанова.

То есть известная строчка Высоцкого про поэтов, которые пятками ходят по лезвию… и т. д., к поэтам-палиндромистам (или палиндромщикам? Не знаю, как правильно) применима на 100 %.

Поэтому я склоняю голову перед мужеством этих сильных людей и перед автором этой книжки в частности.

Казалось бы, все дело в уме, в способности видеть строчки в пространстве, чтобы бегать по ним туда и обратно, отбраковывая неправильные слова. Нет, оказывается, не так, не в одном уме дело, нужно еще и то, что люди творческие называют «талант». Без таланта палиндром не сочинишь, разве что какую-нибудь уродину, вроде «топот» или «кабак».

Скажите, ну разве не гениален такой вот поэтический перевертыш:

> И-и-и!
> Моцарта — матрацом!

Это из маленькой полиндромической поэмки Михаила Медведева «Минор уроним». И ведь вся поэма не просто упражнение в палиндромической технике. Она о музыке. О Моцарте и Сальери. О гении и злодействе, которые даже в палиндроме не совместимы.

А вот отрывок из другого стихотворения-перевертыша:

> Оголи жопу пожилого,
> а там окна банкомата,

и

> Макаренко в окне — раком:
> «Ково, совок?..»

Здорово, ничего не скажешь. Это вам не роза на лапу Азора, это умно и весело, и, главное, попадает в точку.

Ахматова А.

Трагическая и гордая фигура Анны Ахматовой в русской литературе, пожалуй, не имеет аналогов. Вообще, женщин в литературе можно пересчитать по пальцам. Гениальных же — и того меньше. Ахматова — гениальна бесспорно. Лишь для тугоухих людей требуются этому доказательства. Но для тугоухих людей и Пушкин — только памятник в сквере. И надо было такому случиться, что подонок на генеральском посту публично на всю страну обозвал гения шлюхой. Отголосок 46-го года докатился и до поздних времен. Я очень хорошо помню, как на уроке литературы в школе (было это в 1970 году) моя классная воспитательница Мария Пантелеймоновна Вишнева говорила, примерно, следующее: «В то время, как поэт Алексей Сурков воевал на фронте с фашистами, такие поэты, как Ахматова, отсиживались в тихом Ташкенте». Почему-то преподавательница не вспомнила, что в Ташкенте в военные годы «отсиживался» и Алексей Толстой, который, кстати, был не женщиной, а мужчиной.

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Эти строки из эпиграфа к «Реквиему» можно отнести не только к 37 году, о котором поэма была написана, но и ко временам военным. Да что там говорить — и в мирные, послевоенные годы эти строчки звучали столь же трагически актуально, особенно для русской поэзии. Потому что мирных времен для поэзии выпадает очень немного. А для поэзии Анны Ахматовой их было и того меньше.

Б

Бабель И.

Еще не улеглась пыль от грохота копыт бабелевской «Конармии», а красный кентавр Буденный уже бьет по клеветнику-писателю сталью негодующих слов: «Он смотрит на мир, „как на луг, по которому ходят голые бабы, жеребцы и кобылы“… Для нас это не ново, что старая, гнилая, дегенеративная интеллигенция грязна и развратна. Ее яркие представители: Куприн… и другие, — естественным образом очутились по ту сторону баррикады, а вот Бабель, оставшийся, благодаря ли своей трусости или случайным обстоятельствам здесь, рассказывает нам старый бред, который преломился через призму его садизма и дегенерации, и нагло называет это „Из книги Конармия“…»

Сегодня творчество Бабеля изучают в школе. Бабель — классик, и это не удивительно. Удивительно, что этот факт так долго не признавали красные вожди государства. Впрочем, и это не удивительно. У вождей своя правда, а у литературы — своя.

«Конармия» — фантастическая поэма о революционной войне, и именно ее фантастичность сделала ее подлинно жизненной. Жизненность в искусстве — это не следование занонам жизни. Это не списывание с действительности, а придумывание ее заново.

«И „Сорок первый“ Бориса Лавренева и „Железный поток“ Александра Серафимовича тоже правда, но это скорее правда жизни, нежели правда литературы, и оттого правда скучная, как диагноз», — пишет Вячеслав Пьецух в своей статье о творчестве Бабеля.

И далее продолжает: «Только всевидящее око большого таланта способно углядеть все ответвления правды и сфокусировать их в художественную действительность, каковая может быть даже более действительной, нежели сама действительность, тем, что мы называем — всем правдам правда».

Проза Бабеля есть поэзия бунтующей плоти. Смертной плоти, которую только и можно было воспеть языком одесских биндюжников и бандитов и красками жизнелюбивых фламандцев. Он и сам был человеком необыкновенным, как его необыкновенная проза. Перепробовал в жизни все, испытывая особую тягу к вещам, лежащим на грани.

«Лишь то, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья» — эти пушкинские слова применимы к Бабелю целиком и полностью.

Он воевал на всевозможных фронтах, работал в

«чрезвычайке», наблюдал в глазок кремацию Эдуарда Багрицкого, в Киеве ходил смотреть на голубятника, застрелившего другого голубятника из обреза, приятельствовал с наркомом Ежовым. Писал он трудно и медленно, а как — этого не видел никто.

Но пережитое, увиденное и придуманное сплавлялось в единый стиль, который называется языком Бабеля.

Бадигин К.

С именем Константина Бадигина, писателя, полярника, исследователя Севера, капитана ледокола «Георгий Седов», совершившего в 1937-40 гг. знаменитый дрейф в Ледовитом океане, связана неприятная филологическая история, тень которой долгое время давила и на самого Бадигина, и на удивительного мастера художественного слова, писателя и художника Бориса Шергина, ставшего невольным инициатором скандала, разразившегося в академических кругах.

Суть истории в следующем. Бадигин в начале 50-х писал диссертацию о ледовых плаваниях русских людей в древние времена. Борис Шергин, друживший с Бадигиным, передал ему некоторые материалы из своего архива, в частности так называемый «Морской уставец Ивана Новгородского», подлинник которого, хранившийся в Соловках, Шергин, будучи подростком-гимназистом, переписывал в 1910 году. Копия была далеко не первой, восстановленной по памяти Шергиным в середине 20-х годов, когда писатель читал перед юношеской аудиторией цикл рассказов о Русском Севере.

Сам «Уставец» написан в XV веке и рассказывает о «хожении Ивана Олельковича, сына Новгородца» на Гандвик, Студеное море. Ничего в этом оригинального нет, никто из ученых не оспаривает, что русские промышленники еще в XV веке ходили в северные моря. Но в «Уставце» говорится, что Иван Новгородец ходил морскими путями, которыми ходили его деды и прадеды.

И Константин Бадигин в своей диссертации делает вывод: «Мы относим начало русского мореходства к XII веку».

Мнение Бадигина разделили многие ученые, в том числе академик А. Тихомиров и известный ученый-полярник Отто Юльевич Шмидт, и решение Ученого Совета географического факультета МГУ после проведенной защиты было такое: «Просить Ученый Совет МГУ присвоить Герою Советского Союза К. С. Бадигину степень кандидата географических наук».

Когда, уже после присуждения степени, на одном из съездов Географического общества Бадигин делал доклад о своем открытии, один из краеведов Севера (К. П. Гемп) публично подверг сомнениям подлинность представленных съезду материалов.

В ответ на это обвинение НИИ Арктики обратился в Пушкинский дом с просьбой рассмотреть представленные Бадигиным материалы. И эксперты (известные ученые Д. Лихачев, В. Адрианова-Перетц, В. Малышев) выдали заключение: «Бадигин

привлек к исследованию грубые подделки под старинные документы и на основании их пытался пересмотреть всю систему наших знаний о великих русских географических открытиях… подобные исследования принесли не пользу, а вред нашей науке».

Затем последовала статья в «Литературной газете», направленная против Бадигина и Бориса Шергина. Шергин в ней обвинялся в сознательном подлоге с целью поправить свое материальное состояние, якобы промотанное в результате беспробудного пьянства.

Обвинения абсолютно не соответствовали истине, тем более что Шергин вообще алкоголя не употреблял, и писатель одно за другим шлет письма во все инстанции, пытаясь оправдать Бадигина и защитить свою правоту. Результата это не дало никакого. Шергина перестали печатать, зарубили готовившуюся в Географгизе книгу и потребовали возвратить аванс. И только вмешательство Леонида Леонова выправило несправедливую ситуацию: книга Шергина «Океан — море русское» вышла в 1959 году, но не в Географгизе, а в «Молодой гвардии».

Бальмонт К.

Бальмонт был человеком незаурядным, особенно когда дело касалось выпивки. Вот что писал по этому поводу композитор Игорь Стравинский:

«Я не был знаком с Бальмонтом, хотя и видел его… (ярко-рыжие волосы и козлиная бородка) мертвецки пьяным — обычное для него состояние от самого рождения до смерти».

Известен случай, когда Бальмонт вместе с друзьями собирался на какой-то концерт, дожидаясь их в гостиничном номере. Так вот, друзья, зашедшие за поэтом в номер, нашли его недождавшимся уже до такой степени, что порешили оставить стихотворца как есть, взяв слово с гостиничной прислуги, чтобы тому больше ни грамма не наливали. Бальмонт после ухода друзей потребовал у прислуги выпивки, а когда та ему в выпивке отказала, нашел в номере бутылку одеколона и опорожнил ее в два глотка. Потом начал крушить на лестнице мраморные статуи негров. Самое в этом случае любопытное — то, что Бальмонта нисколько не наказали. Оказывается, хозяин гостиницы был страстным почитателем его лиры и списал причиненные разрушения на счет заведения.

Бедный Д.

Странно, что мужик вредный Демьян Бедный ни разу не издавался в Большой серии «Библиотеки поэта», как всем хотелось бы, а был издан лишь в Малой серии. Это несправедливо, ведь говорят, что именно он убил в кремлевском саду и собственноручно в железной бочке сжег эсерку Фанни Каплан, якобы помилованную Лениным. Тем более что к поэзии — в той форме, в какой ее понимал и пропагандировал Демьян Бедный, — это имеет прямое отношение. Форма же эта — поэтическая агрессия, та самая знаменитая заряженная винтовка, временно — на период строительства коммунизма — приравненная к перу. Даже в современной Демьяну Бедному критике его стихи иначе как «агитками» не назывались. Хотя в народе самого Бедного считали сыном кого-то из великих князей. Действительно, если твоя паспортная фамилия Придворов, значит, ты родился не иначе как при дворе, и — это уж само собой — при дворе царском.

Примеры поэтической стрельбы Бедного по живым мишеням приводить не буду, отстрелялся он в 1945 году. Но вот что интересно, спустя семь лет, в 1952 году, «Правда» публикует партийное постановление с этаким ненавязчивым заголовком: «О фактах грубейших политических искажений текстов произведений Демьяна Бедного». Не трудно себе представить судьбу тех, кто этими «искажениями» занимался.

Кстати, в одной из инструкций 1929 года по поводу чисток советских библиотек говорится: «из стихотворений достаточно иметь — Пушкина, Некрасова, Демьяна Бедного, и довольно. Остальных старых и новых, дворянских и буржуазных поэтов достаточно иметь в тех выборках, какие дают хрестоматии».

Поэтому я и начал заметочку про Демьяна Бедного с естественного читательского недоумения: «Почему в Малой, а не в Большой, как Пушкина и Некрасова?»

Белинский В.

Русский «патриот» пошел от Карамзина, певец — от Пушкина, ученый — от Ломоносова. Но от Белинского пошел кто-то еще важнейший, еще более первоначальный и еще более обобщенный: русский «идейный человек», горячий, волнующийся, спешащий, ошибающийся, отрекающийся от себя и вновь и вновь ишущий истины… Ищущий — лучшего. Ищущий — другого, чем что есть…

Наверное, этими словами Василия Розанова можно было бы и ограничиться, характеризуя явление русской жизни и русской литературы по имени «Виссарион Белинский». Они достаточно сердечны и справедливы. Но у нас же в литературе принято, чтобы сердечно и справедливо сказанные о ком-то слова обязательно соседствовали с несправедливыми. Справедливости, так сказать, ради. Что ж, извольте.

«Следовать за Белинским может только отпетый дурак» (П. Вяземский).

«Белинский есть самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни» (Ф. Достоевский).

Так же плохо о Белинском высказывался Толстой.

Конечно же, Белинский был гений. Иначе не было бы и полярных суждений, и не ломались бы в течение почти столетия копья хулителей и защитников его имени («Один журнал ссылается на Белинского как на столп просвещенного западничества; другой видит в нем истинно русского человека и толкует его слова в совершенно славянофильском духе; третий ставит его на одну доску с утопистом Чернышевским». — Н. Страхов). Не прожив на свете и сорока лет, Белинский тем не менее создал направление русской жизни, пусть неправильное, пусть поверхностное, как кому-то тогда казалось, но отличающееся напряженной работой сердца и ума.

Даже литература, классиком которой (в критической области) он считается, привлекала его не своей художественной стороной, а тем, что она занята проблемами человека, его судьбой. Его интересовала правда о человеке, а не то, какими словами эта правда выражена.

И еще: как когда-то Пушкин посвятил своего «Бориса Годунова» памяти Карамзина, так Тургенев, не последний, кстати, в нашей литературе писатель, посвятил «Отцов и детей» Белинскому.

Белкин Ф.

Имя это вряд ли что-нибудь скажет сегодняшнему читателю. Я не имею в виду вымышленного автора знаменитых пушкинских повестей. Я говорю о другом Белкине — Федоре Парфеновиче, советском поэте, выпустившем при жизни пять книжек своих стихов. Вы наверняка удивитесь: ну Белкин, ну Федор, так ведь не Тютчев же! Да, не Тютчев и даже не Эдуард Асадов. Вот образец его поэтического таланта:

Вставала застава из мутных берез,
Имевших родство с облаками,
Шипя, нарушители шли на допрос
С воздетыми к небу руками.

Поэта Белкина я включил в «Книгоедство» исключительно как пример, иллюстрирующий формулу Пастернака «Быть знаменитым некрасиво» с несколько неожиданной стороны. Дело в том… Впрочем, процитирую работу Арлена Блюма «Запрещенные книги русских писателей и литературоведов 1917–1991» (СПб., 1993):

«Белкин оказался жертвой начинавшегося тогда телевидения. В конце 50-х гг. он травил в печати И. Эренбурга и М. Алигер. „Белкин до того разгулялся, — вспоминает писатель Григорий Свиридов, — что все эти погромные идеи решил повторить перед телевизором. И тут произошла осечка… Один старый следователь из Минска случайно, в московской гостинице, увидел выступление Федора Белкина. И ахнул… Оказывается, он 15 лет искал Федора Белкина, начальника окружной гитлеровской жандармерии, лично, из револьвера, расстрелявшего сотни партизан и евреев“».

В результате Белкин был арестован и отправлен в места не столь отдаленные, как хотелось бы.

Так что, дорогие мои писатели и поэты, прежде чем поддаваться искушению массового успеха, подумайте хорошенько: а если и у вас за душой водится что-нибудь нехорошее?

«Белый зодчий» К. Бальмонта

В этой книге много бубенчиков («Качается, качается бубенчик золотой»), колокольчиков («И колокольчики журчат в мечтах рассветных») и паутинящихся на половицах лучей («Я смотрел на луч на половице, Как в окне он по-иному паутинится»).

Этот мой иронический тон всего лишь прием, не более. И еще — настроение виновато. Сегодня оно у меня радостное, «приподнятое», как часто пишется в плохой прозе.

Бальмонт — поэт большой. И стихи у него большие и разные. И вообще дурная привычка: выдирать из книги отдельные строки для каких-то никому не ведомых целей.

Другой поэт, Марина Цветаева, говорила, что в жизни боялась только двух человек. Один из этих двоих — Бальмонт. Это «боюсь» в цветаевском понимании означает: «Боюсь не угодить, задеть, потерять в глазах — высшего».

Бальмонт для Марины Цветаевой был человеком иного мира — мира абсолютной поэзии, мира гордо поднятой головы, мира «не от мира сего».

Даже когда судьба поставила его на грань слепоты, он говорил смиренно: «Если мне суждено ослепнуть, я и это приму. Слепота — прекрасная беда. И… я не один. У меня были великие предшественники: Гомер, Мильтон…»

Ну кто из нас, современников, способен сказать такое? То есть себя с Гомером мы еще способны сравнить, но вот принять Гомерову слепоту…

Бальмонт — великий труженик. Им написаны 35 книг стихов и 20 книг прозы. Им переведены более 10 000 печатных страниц иностранных авторов, среди которых Шелли, Уайльд, Эдгар По, Лопе де Вега, Кальдерон, Руставели, Асвагоша, Калидаса и т. д., и т. д., и т. д.

И какие бы храмы ни возводил этот белый зодчий, неважно под каким небом — под северным ли, российским, или под южным, Франции, — своей музе он не изменял никогда и был верен ей до самой кончины.

Бенедиктов В.

К 1835 году от поэзии Пушкина в России устали. Читателям захотелось чего-то новенького. Отыскался народный поэт Кольцов, книжка которого сразу же после выхода была объявлена прогрессивной критикой во главе с Белинским новым словом в отечественной поэзии. Кольцов был поэт хороший, «дитя природы… до десяти лет учившийся грамоте в училище и с того времени пасущий и гоняющий стада свои в степях» (П. Вяземский).

Но одного Кольцова русской словесности было мало. Тогда Сенковский вытаскивает на свет божий начинающего поэта А. Тимофеева, про которого знают сегодня только узчайшие из узких специалистов. На Тимофеева публика отреагировала прохладно.

И вдруг — как гром среди тихого российского неба… Старик Жуковский бегает по царскосельскому парку, сшибая на ходу статуи, и читает вслух из тоненькой книжечки никому неведомого поэта:

Небо полночное звезд мириадами,
Взором бессонным блестит.
Дивный венец его светит Плеядами,
Альдебараном горит…

Студент Тургенев наслаждается «дивными звуками» новой поэтической речи. Фету, приобретшему в лавке книжку, приказчик, передавая в руки покупку, доверительно сообщает: «Этот-то почище Пушкина будет». В Ярославле молодой гимназист Некрасов откровенно подражает новому имени.

Владимир Бенедиктов после выхода в 1935 году книжки стихотворений в одночасье становится знаменитым. Вся Россия декламирует его строки, дамы переписывают стихи в альбомы, сам Пушкин, встретив Бенедиктова однажды на улице, похвалил поэта, сказав: «У вас удивительные рифмы — ни у кого нет таких рифм».

Слава Бенедиктова продолжалась ровно семь лет, до 1842 года. Вышедшие в том же году третьим изданием «Стихотворения» прочно осели на магазинных полках. Публика, как когда-то от Пушкина, устала от своего очередного кумира, критика от него отвернулась и, видно, устыдившись былых восторгов, вылила на ею же возвеличенного поэта ушаты грязи.

Пункты обвинительного приговора вчерашнему олимпийцу сформулированы Белинским. Их три (цитирую по книге И. Розанова «Литературные репутации»): 1) Бенедиктов не поэт. Стихи его — риторика. 2) Он придумывал новые, ненужные слова. 3) Многие стихи его непристойны.

Согласитесь, из этих пунктов серьезно можно воспринимать только первый.

Интересно, что сам поэт в жизни был человеком скромным, популярности своей скорее чурался, чем ее безоговорочно принимал, и никакого головокружения от успехов вроде бы не испытывал. И, в общем-то, не его вина, что в нужном месте в нужное время оказался именно он, а, к примеру, не вышеупомянутый Тимофеев. Если рак на безрыбье рыба, то не надо его после этого распинать с особой жестокостью. Хотя что там говорить о безрыбьи! Пушкин в 1835 году издает четверую часть «Стихотворений», а перед этим «Полтаву» и седьмую главу «Онегина». В том же 1835 году выходят «Стихотворения» Баратынского.

Виноваты критики и читатель, которые, как это ни горько, мало изменились с тех пор.

Бианки В.

1.

«Никогда я не писал для какого-то определенного возраста, — рассказывал Виталий Бианки в предисловии к одной из своих поздних книг. — Уже на готовых книжках педагоги помечали: „Для старшего дошкольного“, „Для младшего и среднего школьного“. Я всегда старался писать свои сказки и рассказы так, чтобы они были доступны и взрослым. А теперь понял, что всю жизнь писал и для взрослых, сохранивших в душе ребенка».

О встречах с Виталием Бианки есть замечательные отрывки в «Телефонной книжке» Евгения Шварца: «Бианки я встретил в первый раз у Маршака… Увидел я, что он здоров, красив, прост до наивности… Возник он тогда с первым вариантом „Лесной газеты“. И выносил бесконечные переделки как мужчина, натуралист и охотник… Однажды он тяжело меня обидел. Я стоял в редакции у стола, перебирал рукописи. Вдруг с хохотом и гоготом, с беспричинным безумным оживлением, что, бывало, нападало на всех нас тогда, вбежали Бианки и Курдов. И Бианки схватил меня за ноги, перевернул вверх ногами и с хохотом держал так, не давая вывернуться…»

А вот кусочек из дневниковых записей того же Евгения Шварца про юбилей Бианки в 1954 году: «Слушал я речи с двойственным ощущением — удовольствия и отвращения. Удовольствия — оттого, что хвалят, а не ругают. И хвалят человека простого, который прожил жизнь по-мужски. Пил зверски, но и работал и в свою работу веровал. И если принимать во внимание все, то он, со своим высоким ростом и маленькой головой, с чуть-чуть птичьим выражением черных глаз, с черными густыми волосами назад, маленьким красивым ртом, — похож на свои книжки».

2.

В краткой биографии Виталия Валентиновича Бианки (1894–1959), которую я прочел во вступлении к одной из подборок его рассказов, говорится следующее: «…В 1915 году мобилизован на фронт. После Февральской революции избран солдатами в Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. После

демобилизации уехал в Бийск, где при власти Колчака жил на нелегальном положении, скрываясь у партизан. В 1922 году стал членом кружка детских писателей при Петроградском педагогическом институте…»

В этом приведенном фрагменте больше всего меня заинтересовала фраза про Колчака. Дело в том, что отец писателя, профессор-орнитолог Валентин Львович Бианки, с Александром Васильевичем Колчаком состоял в довольно-таки тесном контакте во время организации и проведения русской полярной экспедиции (РПЭ) 1903–1904 года по поискам и спасению пропавшего руководителя РПЭ барона Толля. Валентин Львович был ученым секретарем комисии по снаряжению экспедиции, которую возглавил Колчак, и сохранилась обстоятельная переписка между будущим Верховным правителем России и отцом будущего писателя, частично опубликованная (см. книгу В. Синюкова «Александр Васильевич Колчак как исследователь Арктики»). Маловероятно, что десятилетний Виталий Бианки не знал о случившейся тогда полярной трагедии и мужестве офицера российского флота Александра Колчака, тем более что отец Бианки принимал в этой истории непосредственное участие. И вряд ли белый адмирал, с ноября 1918 по начало января 1920 года представлявший в Сибири интересы старой России, стал бы домогаться репрессий против сына недавнего своего коллеги по ученым занятиям.

Словом, в писательской биографии явно присутствовала какая-то неувязка, а возможно — недоговоренность.

Договорил за писателя его сын, Виталий Витальевич, в беседе с детской писательницей Татьяной Кудрявцевой.

Бежал, оказывается, Виталий Бианки на Алтай от красных, а не от белых, когда в России был объявлен революционный террор и начались массовые расстрелы чуждых революции элементов. Он даже сменил фамилию — из Бианки превратился в Белянина, простого школьного учителя одной из алтайских школ. Кроме преподавания, усиленно занимался краеведением и основал Алтайский краеведческий музей, директором которого в первое время состоял. Кстати, Зоологический музей в Петербурге появился во многом благодаря стараниям отца писателя, Валентина Львовича, погибшего от голода в 1920 году.

Писательская судьба Бианки сложилась довольно счастливо, хотя бывали в его жизни и суровые времена. Я имею в виду нападки на детскую литературу в конце 20-х годов, о чем так живо и красочно написал Чуковский («От двух до пяти»).

Особо тяжким грехом в детской литературе тогда считался антропоморфизм — наделение животных человеческими чертами.

Это, с точки зрения советской педагогики того времени: во-первых, искажает реальность — действительно, согласитесь, невозможно найти в природе ни говорящих рыб, ни наивных волков, которые по лисьей наводке ловят в проруби рыбу при помощи собственного хвоста, ни умных лошадей, которым в одно ухо войдешь, а из другого выйдешь, чтобы поменять внешность; во-вторых, деформирует неоформившуюся детскую психику, то есть встретит, допустим, ребенок в лесу медведя и начнет с ним говорить на человеческом языке, а мишка косолапый возьми да и ответь ему по-своему, по-медвежьи.

«Борьба, воспеваемая Бианки, это не революционная борьба, это не борьба, которая движет миром, которая несет с собой прогресс и развитие, это наконец не борьба угнетенных против угнетателей… Бианки смотрит на мир через кривое зеркало, упорно игнорирует современность…» — такую критическую цитату о Бианки из литературы тех лет приводит А. Блюм («Советская цензура в эпоху тотального террора». СПб.: Академический проект, 2000).

В опубликованных в 1929 году «черных списках» писателей, произведения которых не рекомендованы для детского чтения, значится и имя Бианки.

Сейчас это воспринимается как гримаса истории.

Библиотека пионера

Плохо жить на свете
Пионеру Пете,
Октябренку Вове
И того фиговей.

Это печальное четверостишие вкупе с двенадцатью красными томами старой «Библиотеки пионера» — хороший повод поговорить об истоках, трудностях и проблемах общественного движения «пионеров» и «октябрят», руководимого большевистской партией еще в недавние времена на всей обширной территории бывшего Советского государства.

Открываю 1-й номер журнала «Еж» за 1928 год и в разделе под названием «Стенгазета» читаю «письмо» октябренка «из Туркестана»:

> Мать поставила передо мной чашку с пловом и сказала:
>
> — Ешь.
>
> Плов самая вкусная еда на свете. Это — рис, перемешанный с кусочками баранины.
>
> Я посмотрел на чашку и не стал есть.
>
> — Чего ж ты ждешь? — спросила мать.
>
> — Ложку, — сказал я.
>
> Тут поднялся со своего места отец, схватил меня за плечи и тряхнул изо всех сил.
>
> — А пальцы у тебя на что, — закричал он. — Это у вас коммунисты на детской площадке выдумывают разные ложки. Ешь руками.

Далее — продолжение «письма»:

> Однажды на детской площадке руководительница сказала:
>
> — Ребята, сейчас уже жарко, начинайте носить трусики.
>
> Я пришел домой и попросил мать сшить мне трусики. Мать испугалась и рассказала отцу.
>
> Отец ничего не сказал, зверем посмотрел на меня и ушел из дому. Вечером он вернулся.
>
> Он вынул деревянную ложку и подал ее мне.

— Вот, Гассан, бери. Можешь есть плов ложкой. Можешь и губы после еды полотенцем вытирать. Но только не вздумай носить трусиков. Если увижу — убью. Пусть русские носят, а для нас, для узбеков, это страшный грех.

Вот как трудно октябрятам у нас в Узбекистане проводить революцию. Но ложку я уже отвоевал. Может, отвоюю и трусики.

Понятно, судя по стилю, что «письмо из Туркестана» писано в Ленинграде в редакции самого «Ежа» — может быть, Евгением Шварцем, или Николаем Олейниковым, или Александом Введенским, — словом, кем-нибудь из компании Маршака. Но события, в нем описываемые, — вполне реальные, ничуть не придуманные, только наверняка смягченные, расчитанные на читателей неокрепших, чтобы не бередить им нервы. То, что происходило в действительности, было много мучительней и кровавей, чем об этом рассказывается в «Еже». И отцовское «убью» из письма было вовсе не словесной угрозой. Вот где, между прочим, истоки сегодняшней национальной вражды и вчерашнего распада Эсэсэсэра. В навязанной сверху борьбе с традициями, в пионерско-октябрятско-комсомольском движении на территориях, извека принадлежащих исламу. Во всяком случае, это одна из капель, переполнивших чашу.

Блатная песня

Какой русский не любит блатную песню! Наверное, лишь такой, который русский только по паспорту.

Вот вы, кто, вполне возможно, эти строчки сейчас читаете, скажите честно, любили вы бывший советский государственный гимн? На сто процентов уверен, что, в лучшем случае, относились к нему равнодушно. А в худшем — с ненавистью, как доперестроечный школьник к передаче «Пионерская зорька» (была такая на радио). Потому что каждое божье утро под звуки гимна человеку приходилось вставать и как проклятому переть на работу.

Про слова гимна я даже не спрашиваю. Всех слов его не помнит ни один человек, кроме, разве что, самих авторов — Эль-Регистана и Михалкова. Да и они — вряд ли.

А вот услышав, к примеру, ненавязчивую мелодию «Мурки», любой ловит себя на том, что губы независимо от сознания шевелятся, подпевая.

«Блоха» Е. Замятина

При жизни писателя Евгения Замятина некоторые называли Англичанином. Прилипла к нему эта безобидная кличка после поездки в Англию в качестве инженера-судостроителя, откуда он пригнал а Россию, уже советскую, два ледокола — «Ленин» (б. «Святой Александр Невский») и «Красин» (б. «Святогор»).

Еще Замятин привез из Англии повесть «Островитяне», прочтя которую, Корней Чуковский воскликнул: «Гоголь! Новый Гоголь явился!»

С той «островитянской» поры Англия и английская тема нет-нет да и всплывает желтой подводной лодкой в творчестве Замятина-Англичанина.

Вот и маленькая пьеса «Блоха» идет от этого его англичанства.

Надо сказать, что после путешествия в Англию никаким англолюбом автор «Островитян» не стал и восторгами по поводу чудес иностранной жизни, быта, техники, науки и проч. не разражался. Смотрит он на жизнь чужого народа, мягко говоря, не политкорректно, издевательски смотрит он на жизнь друзей-англичан, без всякого по отношению к ним пиетета.

Источник «Блохи» Замятина тот же самый, что и источник «Левши» Лескова. Это старинный бродячий народный сказ о тульских мастерах и блохе, как они нос Аглицким мастерам утёрли, подковавши механическую блоху.

О том, как «Блоха» писалась, можно выяснить из анкеты, которую заполнил Замятин в конце 20-х годов для сборника «Как мы пишем»:

> Сначала является отвлеченный тезис, идея вещи, она долго живет в сознании, в верхних этажах — и никак не хочет спуститься вниз, обрасти мясом и кожей. Беременность длится, ей не видно конца. Приходится держать строгую диету — читать только книги, не выходящие из круга определенных идей или определенной эпохи. Помню, что для «Блохи» этот период продолжался месяца четыре, не меньше. Диета была такая: русские народные комедии и сказки, пьесы Гоцци и кое-что из Гольдони, балаганные афиши, старые русские лубки, книги Ровинского. Сама работа над пьесой, от первой строки до последней, заняла всего пять недель.

От себя скажу, что в отечественной «блошиной» литературе пьеса Замятина стоит в одном ряду с такими замечательными сочинениями, как упомянутый выше «Левша» Лескова и непереиздававшийся с 1930 года (ау, книгоиздатели!) «Блошиный учитель» Николая Олейникова (Макара Свирепого).

Бодлер Ш.

К сожалению, русская земля не родила ни одного собственного Бодлера, хотя «прОклятых» поэтов у нас в России всегда хватало с избытком. Бодлеры это вам не Невтоны, тут недостаточно падения на голову яблока или путешествия пешим ходом из Холмогор в Москву. Чтобы стать Бодлером, мало перенять чужой стихотворный опыт, как это сделали наши Брюсов с Бальмонтом. Мало уметь рифмовать и декламировать за богемным столиком где-нибудь в ресторане «Вена», чтобы вырифмовалось-сдекламировалось такое:

Душа наша — корабль, идущий в Эльдорадо,
В блаженную страну ведет — какой пролив?
Вдруг среди гор и бездн, и гидр морского ада —
Крик вахтенного: — Рай! Любовь! Блаженство! — Риф…

О, жалкий сумасброд, всегда кричащий: берег!
Скормить его зыбям иль в цепи заковать, —
Безвинного лгуна, выдумщика Америк,
От вымысла чьего еще серее гладь…

Бодлер равен лишь себе самому, и других Бодлеров в природе не было и не будет. Впрочем, уникальность таланта — тема избитая до оскомины, и повторяться не вижу смысла.

Такой жизни, какой прожил Бодлер, не пожелаешь даже врагу. Припадки, нервные срывы, наркотики, алкоголь. И конечно, дамоклов меч власти, навязанная извне «прОклятость», лишившая его литературных доходов и сделавшая поэта изгоем общества. Жизнь, превратившаяся в медленное умирание, забытость, бедность, болезнь…

В свое время меня поразил такой бодлеровский афоризм: «Первое условие поэтического вдохновения — сытый желудок». Были в нем вызов и откровенный, вульгарный материализм. Еще бы — святое искусство поэзии, и вдруг — сытый желудок! Низкое и высокое. Но именно на стыке низкого и высокого рождается все великое. Рабле, Сервантес, Шекспир, английские просветители с Филдингом во главе… Застенчивость убивает литературу. И весь Бодлер в этом — в противопоставлении низкого и высокого. Поэтому он — Бодлер.

«Большая крокодила». Стихи и рисунки Марины Колдобской

Как и митьки, Марина Колдобская — фигура в Питере культовая. Кем ее только ни называли — от тотального диверсанта в юбке до «господина всего и ничего» (последнее, впрочем, ее собственное определение — по-моему). То есть провокационный характер ее всевозможных деятельностей вроде бы очевиден. «Вроде бы» — потому что внешнее не всегда равнозначно внутреннему.

Внутренний человек проявляется в стихах и любви. Вот стихи Марины Колдобской из ее «Большой крокодилы» (отрывки, разумеется):

лепим, лепим из говна.
а страна у нас одна.

по полу катались,
крепко целовались,
тесто засохло,
невеста издохла.

на чем стоим —
о том поем.
кому хотим —
тому даем.
кому дала —
тому жена,
страна,
война
и мать родна.

Ну и рисунки, конечно. Они у Колдобской такие же простые, как и ее стихи. И такие же умные.

Бонифаций

Бонифаций — это второе имя поэта Германа Геннадьевича Лукомникова. Почему именно Бонифаций, а не Проперций и не Катулл — не знаю. Возможно, от счастливой судьбы, которую обещает имя, если его с латыни перевести на русский.

Лукомников-Бонифаций поэт хороший. Он пишет много и издает свои стихи посезонно в желтых таких тетрадочках, ностальгически напоминающих школьные. В книжках этих по два раздела: просто стихи и стихи плохие. Подход честный — и для автора, и для его читателей. Но не только в этих тетрадочках, поэт Лукомников-Бонифаций печатается и в толстых журналах. Вот что было напечатано, например, в «Знамени»:

> Я так мечтал о воздушных шарах,
> Чтоб их иголочкой: шарах!.. шарах!..

Я, как автор работы «В небе грустно без воздушных шаров», конечно возмутился подобному. И если бы не талант автора, затаил бы на последнего зло. Но талант он и есть талант — чего мы ему только не прощаем.

Существуют у Бонифация и книжки с картинками — например, одна такая книжка выходила у Сапеги в «Красном матросе» (Бонифаций. Стихи. Художник Эврика! Джанглл. СПб.: Красный матрос, 1997). Стихи в ней лаконичные до предела, что вообще очень свойственно для Лукомникова. По форме это двустишия, состоящие из двух рифмованных слов. А между этими рифмованными словами нарисована поясняющая картинка, придающая Бонифациевым стихам дополнительные глубину и силу. Так, в стихотворении:

> Рубаха
> Баха

— нарисована висящая на прищепках тельняшка, на которой, как в тетрадке для нот, беглым почерком записаны то ли знаменитые фуги, то ли что-то еще из бессмертного наследия композитора.

Братья Стругацкие

Когда памятью возвращаешься в детство, вдруг ясно и чётко осознаёшь: кроме книг, в те легкие годы у тебя не было ничего. Книга, свет лампы-гриба в клетушке коммунальной квартиры и глаза, удивленные и живые, проглатывающие за страницей страницу.

Жизнь человека начинается с первой прочитанной книги. Нам, родившимся в начале 50-х и приобщившихся к тайне чтения спустя 7 или 10 лет, удивительно повезло. Первые книги братьев Стругацких совпали по времени выхода с нашим превращением в читателей. Мы взрослели — и выходили их повести. Мы читали их жадно и наскоро, потом перечитывали не спеша и ждали, когда будут другие. Минуло почти сорок лет, а живет еще запах страниц и не стерлись удивительные детали, вроде снежной корки на подоконнике, когда ты сидишь у окна и читаешь главы из «Возвращения».

Чем же они нас брали, писатели братья Стругацкие? Нет, не магией слова. Настоящие кудесники слова входят в круг чтения позже, когда начинаешь чувствовать волшебство мира вокруг и ищешь соответствия слова той зыбкой, неуловимой основе, из которой соткана жизнь.

В первом томе первого собрания сочинений писателей, вышедшего в свое время в издательстве «Текст», в статье, предваряющей том, читаем: «Слово Стругацких звенит, словно вдоль строк протянута тончайшая нить радости».

Так писатель написал о писателях. Друг написал о друзьях. Это и есть та ключевая фраза, определяющая нашу любовь к их книгам.

Радостью, простотой и тайной, открытостью для открытого сердца и открытием небывалого мира, в котором хочется жить. Чем, как не такими вещами, можно завоевать на всю жизнь человеческое сердце читателя.

Буренин В.

…Пишут Зайцы, Обелисковы,
Вся родня их и знакомые,
Жак-Лефрены, Благомудровы
И иные насекомые…

— так неизвестный анонимный поэт характеризует литературную обстановку шестидесятых годов девятнадцатого, теперь уже далекого, века. Имена здесь все, естественно, зашифрованы; впрочем, для тогдашних читателей расшифровка их не представляла труда.

Так вот, под именем Обелискова обозначен в этой пародии всем известный до революции петербургский литературный зоил В. Буренин, выступавший одно время под псевдонимом В. Монументов. Зоилом, или вечным хулителем, В. Буренин стал уже во второй половине своей литературной карьеры. В первой он был прогрессивным критиком, писателем и поэтом-сатириком, высоко оцененным Толстым, Некрасовым, Лесковым и Достоевским. Те же самые литературные деятели, что когда-то его хвалили, стали его позже ругать за беспринципность и полное отрицание каких бы то ни было идеалов — демократических, самодержавных, любых.

Тем не менее, даже «Новое время», возглавляемое суровым Сувориным, который Буренина ненавидел и постоянно про него говорил, что тот «глумится и презирает литературу», охотно его печатало без всякой цензуры и сокращений.

Объяснялся сей парадокс просто — Буренин приносил прибыль. Публике ведь что интересно — не то, как писатель пишет, а сколько у него тайных любовниц и какая по счету бутылка шампанского все-таки угодила в голову хозяина ресторана, а не порушила, как все предыдущие, венецианское зеркало и мраморного фавна при входе.

«Неприличие тона, сальность и мерзость выражений переходят решительно за границы всякого приличия» (П. И. Чайковский).

«Бесцеремонный циник, часто пренебрегающий приличиями в печати» (И. Тургенев).

«Только и делает, что выискивает, чем бы человека обидеть, приписав ему что-либо пошлое» (Н. Лесков).

Вот несколько характерных отзывов о литературной деятельности Буренина.

Но тот же Блок, стихи которого Буренин пародировал зло и грубо, знал пародии на себя хулимого наизусть и часто с удовольствием их цитировал. Все-таки талант есть талант. Его как не пропьешь, так и не перекрасишь из крапивного в бруснично-песочный цвет.

Вам пример? Извольте пример:

В спальне свет. Готова ванна,
Ночь, как тетерев, глуха.
Спит, раскинув руки, донна Анна
И под нею прыгает блоха.

Дон-Жуан летит в автомобиле,
На моторе мчится командор,
Трех старух дорогой задавили…
Черный, как сова, отстал мотор…

И так далее, продолжать не буду. По-моему, талант налицо.

B

В защиту лошади

В одном из номеров юношеского журнала «Борьба миров» за 1930 год, издававшегося в «Молодой гвардии», перепечатан из журнала «Прожектор» такой вот плакат-лубок: на переднем плане улыбающийся командарм Буденный с усам раза в полтора шире румяных щек показывает рукой за плечо. Там, за спиной Буденного, видны лошадь — справа — и — слева — советский трактор. Вверху надпись «В защиту лошади» и цитата из буденновской речи: «Спутником развития машины должно быть столь подвижное животное, как лошадь». Внизу, под плакатом, еще одна буденновская цитата: «Я не против трактора. Но почему бы к 10 лошадиным силам не прибавить одиннадцатую?»

Плакат нарисовал замечательный иллюстратор художник Константин Ротов, известный по картинкам к «Старику Хоттабычу», «Приключениям капитана Врунгеля» и множеству других книжек. Но сейчас я говорю не о нем. Сейчас разговор — о лошади.

Дело в том, что публикация в журнале плаката работы Ротова действительно связана с проходившей в начале 30-х годов кампанией в защиту братьев наших меньших — лошадок. При этом лошадь рассматривалась не как существо живое, а исключительно как средство механизации типа трактора или телеги.

Так в постановлении ЦИК и СНК СССР о запрещении убоя лошадей и об ответственности за их хищническую эксплуатацию, подписанном 7 декабря 1931 г. Калининым, Куйбышевым и Енукидзе, устанавливались следующие репрессивные меры: за незаконный убой хозяйственно-пригодной лошади налагался штраф в десять раз выше ее стоимости, а для так называемых «кулаков» предполагалась конфискация всего скота и тюрьма. Одновременно проводилась и очередная политкампания — месячник коня во главе с Буденным.

Отметим справедливости ради, что легендарный командарм Первой конной действительно сыграл огромную роль как в улучшении качества породы, так и — в период коллективизации — в сохранении всего русского коневодства. В книге Е. Кожевникова и Д. Гуревича «Отечественное коневодство: история, современность, проблемы» (М.: Агропромиздат, 1990) находим следующее:

> С появлением на полях тракторов и прочей машинной техники в советском обществе стало

утверждаться мнение об отмирании лошади. Это явилось причиной массового забоя полноценных, а иногда и племенных лошадей. Конское поголовье сократилось за 6 лет (1928–1933) более чем вдвое. Летом 1930 года состоялся XVI съезд ВКП(б). На съезде с речью выступил С. М. Буденный. Он отметил тот факт, что за полтора года количество лошадей в стране уменьшилось на 4 млн голов. Это был очень смелый, по тем временам, шаг, который спас российское коневодство и помог сохранить остатки племенных лошадей. В начале 30-х годов стало развиваться племенное коневодство. Большой известностью пользовалась артель им. С. М. Буденного на берегах Маныча, разводящая донских, арабо-донских и англо-донских лошадей, позднее, в 1948 году, группа лошадей таких помесей была зарегистрирована как Буденновская порода.

Вот вам и товарищ Буденный. Оказывается, кабы не он, хана бы всем российским лошадкам. Не зря главным призом на конных соревнованиях считается приз им. Семена Буденного.

В небе грустно без воздушных шаров

У меня есть приятель Валентин Стайер (сейчас он живет в Америке), который в середине семидесятых построил воздушный шар. Кто не помнит 70-е годы, напоминаю: самым ходовым словом в разговорах тех лет было слово «достал». Не «купил» — купить что-либо было не так-то просто, — а именно что «достал». Достал второй том «Анжелики», достал финский костюм, достал две банки сгущенки и т. д. Это сейчас слово «достал» имеет негативный оттенок: «Ну, ты меня достал». В смысле, иди-ка ты, брат, подальше и не надоедай. Так вот — о воздушном шаре. Все материалы, нужные для его постройки, Валька Стайер достал. На фабрике договорился с рабочими, и те за литр портвейна перекинули Вальке через забор несколько рулонов материи, пошедшей на оболочку шара. С завода за пару бутылок водки ему вынесли алюминий. Валентин был по специальности химик, и друзья его, тоже химики, натаскали ему из лаборатории кислоты. Объясняю для неспециалистов: алюминий и кислота необходимы для получения водорода, которым и наполняют воздушный шар, чтобы тот взлетел. Валькина знакомая, работавшая в научной библиотеке, принесла ему «Метеорологические таблицы», полный комплект, начиная с 1860 года. Они были ему нужны для расчета направления ветра.

Несколько месяцев подряд Валентин свозил все это хозяйство под Выборг и прятал материалы в специально выкопанной землянке, чтобы их случайно не нашли грибники. Место для старта он выбрал тоже не просто так. Для этого Валентин в каждую свою выборгскую поездку поднимался на знаменитую башню, местную достопримечательность, и тщательно изучал окрестности: стартовая площадка должна была находиться на максимальном удалении от пограничных вышек — чтобы шар не успели расстрелять в воздухе пограничники. Выборг, как известно, входит в пограничную зону, и если залезть на башню, то большинство военных и пограничных объектов видны оттуда как на ладони. В одиночку справиться с подготовкой и стартом трудно, практически невозможно, и Валя Стайер уговорил своего лучшего друга Шуру Тарасова участвовать в перелете века. Да, забыл сказать главное: лететь они собрались в Швецию или Норвегию, точно не помню, словом — в одну из стран Скандинавии, исключая Финляндию. Финны, как известно, всегда выдавали беглецов из-за железного занавеса.

Назначили они время вылета — середина осени, и пока Валентин устраивал свои последние городские дела, Шурик на

неделю ушел в поход — по грибы, по ягоды и вообще развеяться на природе. В назначенный день Валька приезжает под Выборг, ждет час, ждет другой, а Шуры все нет и нет. Тогда он начинает тихонько нервничать — в одиночку-то воздушный шар не запустишь. Короче говоря, прождал он друга до вечера, уже и ветер переменился, и в лесу стало хмуро и холодно, спрятал свое хозяйство в землянку и вернулся на электричке в город.

Так и не состоялось это славное воздушное плавание. Только не надо думать, что Шура Тарасов струсил. Шура не струсил, Шура, когда был в походе, приготовил из мухоморов священный напиток «сому», но по неопытности нарушил пропорции и поэтому был доставлен в 6-ю психиатрическую больницу города Ленинграда, что на Обводном канале возле площади Александра Невского.

Я завел этот разговор неслучайно. Тема воздушного шара занимала меня всегда. И в жизни и в литературе особенно. Потому что это одна из самых удачных и благодатных в литературе тем. Взять хотя бы Жюля Верна, одно из самых великих открытий моего детства: «Таинственный остров» и «Пять недель на воздушном шаре».

Если вдуматься, свифтовская Лапута — тот же воздушный шар, только твердый и плоский, как летающая тарелка.

А сцена в «Трех толстяках» Олеши, когда прижимистый продавец воздушных шаров летит над галдящим городом.

И домик девочки Дороти из повести Фрэнка Баума — это тоже воздушный шар, только его уносит не на жюльверновский таинственный остров, а в сказочную страну Жевунов. Да и сам Чародей Оз улетает из своих изумрудных владений не на каком-нибудь современном лайнере, а на летучем воздушном шаре.

Достаточно поднапрячь память, и вспомнятся десятки примеров, иллюстрирующих эту простую мысль.

Крылатый дядюшка Эйнар у Рея Бредбери.

Незнайкин воздушный шар, поднявшийся из Цветочного города, что на Огурцовой реке, и перенесший маленьких человечков в Зеленый город.

Доктор Кейвор с его волшебным веществом кейворитом из романа Уэллса.

Ковры-самолеты из «Тысячи и одной ночи» и «Старика Хоттабыча», дикие гуси Нильса и лягушка-путешественница у Гаршина…

Самолет Экзюпери, ракета Хайнлайна — все это продолжение воздушного шара. По сути вся литература состоит из множества воздушных шаров, которые украшают небо. Звезды холодны, они принадлежат ночи. Ангелы косноязычны и принадлежат Богу.

Демоны — глухонемые все как один. Воздушный шар — самое человеческое создание, когда-нибудь придуманное людьми. Ну, может быть, еще — паровоз. Дневное небо должны наполнять воздушные шары. Большие, как бегемоты, и маленькие, как полевые мыши. Если бы я был политиком, я создал бы общественное движение под лозунгом: «Небо — для воздушных шаров!»

Почему-то, как я заметил, больше всего воздушных шаров запускают на окраинах мира.

Хорхе Борхес — далекая Аргентина. Кастанеда — Мексика. Африка — любитель пальмового вина Амос Тотуола. Сербия — Милорад Павич. Дино Буццати и Итало Кальвино — Италия, задворки Европы. В Евразии — покойные Боря Штерн и Юрий Коваль. И живые (и дай им Бог подольше побыть на свете!) Виктор Пелевин, Марина Москвина, Паша Крусанов, Сережа Носов.

Ни Центральная Европа, ни великая Америка за последние годы не построили ни одного воздушного шара, который был бы достоин неба. Наверное, поэтому там так скучно живут.

Всё рассказанное выше не эскапизм. Это реальная возможность подняться к небу и посмотреть с высоты на Землю. Увидеть те вещи, которые мы не видим, стоя здесь, на земле. Таинственное племя хазар. Настоятеля древнего итальянского монастыря, подобно сказочному Кащею чахнущего над книгой-убийцей. Черный чапаевский броневик, плывущий в пустоте времени. Ухмыляющихся африканских богов. Старый фрегат «Лавр Георгиевич», построенный по образцу знаменитой Пантагрюэлевой «Таламеги». И много чего другого.

В небе грустно без воздушных шаров. Они нужны человеку, как воздух и как любовь. И давайте побережем их создателей — они делают очень нужное дело.

«В такие дни. Стихи 1919–1920 гг» В. Брюсова

До 1919 года Валерий Брюсов к революционной тематике вроде бы ни разу не обращался. Но то ли революция стала донимать его своей колючей щетиной, то ли революционеры… Словом, теоретик и первый практик русского символизма, как игумен Пафнутий в «Идиоте» у Достоевского, руку приложил и к этой многообещающей теме.

Получилось у него так:

> Пусть гнал нас временный ущерб
> В тьму, в стужу, в пораженья, в голод:
> Нет, не случайно новый герб
> Зажжен над миром — Серп и Молот.

И так:

> …И, когда в Москве трагические
> Залпы радовали слух,
> Были жутки в ней — классические
> Силуэты трех старух.
>
> То народными пирожницами,
> То крестьянками в лаптях,
> Пробегали всюду — с ножницами
> В дряхлых, скорченных руках…

Это про трех парок, перерезывающих нить истории. Хорошее стихотворение, мне нравится.

Два приведенных примера двух разных стихотворений, взятых из одного сборника, показывают типичный подход поэта советской эпохи к своему творчеству. То есть, чтобы в книжку попали стихи хорошие, надо проложить их вещами пафосными, плохими, второго сорта, иначе следующей книжки дождешься разве что к десятилетию собственной смерти.

Сборник Брюсова революционная критика приняла по-революционному резко. Вот что писали про книгу ЛЕФовцы: «Основная черта буржуазной поэзии заключается в том, что она резко противопоставляет себя действительности… Ахилл для нее „эстетичнее“ Архипа, Киферы звучат „красивее“, чем Конотоп…»

На что Брюсов отвечал не по-символистки прямо: «Ахилл в самом деле „эстетичнее“ Архипа, то есть пригоднее для поэзии. „Ахилл“ имеет огромное содержание; „Архип“ — никакого: это только собственное, „крестильное“ имя, и ничего больше».

И ведь действительно, с поэтом трудно не согласиться.

«Вальпургиева ночь» В. Ерофеева

Как известно, лучшая книжка Ерофеева «Москва — Петушки», написанная в 1970 году, сразу же стала в России главным бестселлером самиздата. За нее его теребили власти, только много теребить было трудно — не имея постоянного места жительства, Ерофеев был не очень-то теребим.

Когда кого-то из знакомых писателя в 1974 году вызвали в КГБ и спросили: «Чем сейчас занимается Ерофеев?», тот ответил: «Как это чем? Как всегда пьет».

И Ерофеева не трогали до поры: наконец-то человек занялся делом.

Вот отрывок из дневников Натальи Шмельковой за 1985 год:

> 17 февраля: …В разговоре с Ерофеевым спросила: «А над чем вы сейчас работаете?» Ответил, что заканчивает «Вальпургиеву ночь», что действие происходит в дурдоме. «А что вас натолкнуло на этот сюжет?» Рассказал, что не так давно пребывал в Кащенко, наблюдал, как на 1 мая для больных мужского и женского отделения устроили вечер танцев…

Первая журнальная публикация пьесы на Западе — в «Континенте». Первая книжная публикация здесь, в России, — в сборнике «Восемь нехороших пьес».

«Ночи» предпослано посвящение Владимиру Муравьеву, Муру, переводчику английской литературы (это он вместе с А. Кистяковским впервые перевел на русский трилогию Толкина):

> Досточтимый Мур!
>
> Отдаю на твой суд, с посвящением тебе, первый свой драматический опыт: «Вальпургиева ночь» (или, если угодно, «Шаги Командора»). Трагедия в пяти актах. Она должна составить вторую часть триптиха «Драй Нэхте».
>
> Первая ночь, «Ночь на Ивана Купала» (или проще — «Диссиденты»), сделана пока только на одну четверть и обещает быть самой веселой и самой гибельной для всех персонажей. Тоже трагедия, и тоже в пяти актах. Третью — «Ночь перед Рождеством» — намерен кончить к началу этой зимы.
>
> Все буаловские каноны во всех трех «Ночах» будут неукоснительно соблюдены:
>
> Эрсте Нахт — приемный пункт винной посуды;

Цвайте Нахт — 31-е отделение психбольницы;

Дритте Нахт — православный храм, от паперти до трапезной. И время: вечер — ночь — рассвет.

Если «Вальпургиева ночь» придется тебе не по вкусу — я отбрасываю к свиньям собачьим все остальные ночи и сажусь переводить кого-нибудь из нынешних немцев. А ты подскажешь мне, кто из них этого заслуживает.

Венедикт Ер.

Весна 85 г.

Ни начала, ни продолжения «Вальпургиевой ночи» Ерофеев так и не написал. Рак горла помешал ему это сделать.

В. Муравьев, комментируя (уже после смерти автора) творчество Ерофеева, о пьесе говорит так: «Персонажи „Вальпургиевой ночи“ — застывшие маски, как нельзя более уместные в трагедии (или трагикомедии) античного толка. Это чистая трагедия рока: в ней тоже, собственно, ничего не происходит, кроме дружного отравления палаты психиатрической лечебницы метиловым спиртом, — но превращается оно в пляску смерти и гибельное действо, достойно завершающее игры воображения персонажей. Каждый из них выполняет свое речевое задание — и умирает либо пропадает за сценой. Два ерофеевских затейника организуют, направляют и комментируют действие… И как в „купе“ электрички, следующей в Петушки и подвозящей Веничку к гибели, в палате становится празднично. Празднуется встреча со смертью. Метиловый спирт вкушается как причастие, и действительность (не больничная, а историческая, „современная“, советская) претворяется в мистерию…»

Веллер М.

Жил в городе Ленинграде мальчик Миша.

Во дворе, когда собирались мальчишки и спорили, кто кем будет, Колька говорил: «Моряком», Васька говорил: «Летчиком», а Димка из соседнего дома собирался пойти в танкисты.

Мишка мечтал быть дворником.

Он так всем и говорил:

— Хочу быть дворником.

Но самое интересное в этом рассказе другое.

Васька, который хотел стать летчиком, торгует вениками на Ситном рынке.

Колька, мечтавший о морях-океанах, принимает на Лиговке вторсырье.

Димка играет по электричкам на аккордеоне.

Один Мишка стал, кем хотел, — дворником.

Ведь должны же мечты хоть у кого-то сбываться. Иначе ради чего жить?

Само собой, рассказ этот с Михаилом Веллером не имеет ничего общего. Веллер, как известно, дворником так и не стал и поэтому был вынужден податься в писатели. Поступок он совершил правильный. Неизвестно еще, какой бы из Веллера вышел дворник, а вот писатель из Веллера получился вполне хороший.

Верн Ж.

Жюль Верн бесспорно из всех иностранных писателей фантастов и приключенцев самый переводимый в России. Лев Толстой, и тот настолько увлекался этим писателем, что намеренно рекомендовал включать в круг обязательного детского чтения его романы. Уговорил даже писательницу Марко Вовчок перевести некоторые из них.

Если бы в XIX веке был широко развит кинематограф, то каждый новый роман писателя был бы мгновенно экранизирован. За неимением же этой возможности на сценах шли спектакли по его книгам.

В моей библиотеке есть книжечка под названием «Вокруг света в 80 дней. Большое представление в 5 действиях и 14 картинах с прологом. Сочинение Жюля Верна».

Издана эта книжка в Москве в 1875 году, на титуле в качестве переводчика названа фамилия Танеева С. В., не имеющего, видимо, отношения к известному композитору — тот по отчеству был Ивановичем, — если только в инициалы не вкралась опечатка.

Из маленького предисловия к книжке узнаем, что «в пьесу включены, между прочими, три важных эпизода из путешествия, каких нет в рассказе». А именно: «1) Приключение в Змеиной пещере на острове Борнео, 2) Лестница великанов в Америке и 3) Гибель парохода „Св. Генриэтта“».

Вот отрывочек из «Приключения в Змеиной пещере», 6-й картины этой феерической пьесы: «Лишь только Ауда (г-жа Струкова) и Немея (г-жа Таланова) заснули от усталости в этой пещере, как вдруг из всех ее расщелин сверху, снизу и с боков выползла масса ядовитых змей. Змеи направили свои жалы на одиноких женщин. Обе проснулись, но поздно…» Здесь позвольте поставить многоточие. Сами догадывайтесь, что произошло дальше.

Кстати, о подобной постановке на сцене романа Жюля Верна вспоминает и А. Бенуа: «Я живо помнил тех краснокожих, которых я „сам видел“ нападавшими на поезд Филеаса Фогга в одной из сцен феерии „80 дней вокруг света“».

И что греха таить — я сам пару лет назад открыл «Пятнадцатилетнего капитана» и так и не оторвался, пока не дочитал до последней строчки.

«Весь Ленинград на 1926 год. Адресная и справочная книга г. Ленинграда»

Если Петроград 1919-1920-х годов более всего напоминал город-призрак (см. Н. Анциферов «Душа Петербурга») — безлюдный, бестранспортный, смесь развалин греческого Акрополя и фантастических картин будущего из «Машины времени» Герберта Уэллса, то Ленинград 1926-го с косноязычной зощенковской толпой на улицах представлял собой скорее некий мещанский рай, карикатурный гибрид недоразвитого социализма и коммунизма профессора Выбегалло с его идеей идеального потребителя.

Новая экономическая политика, временно залатавшая дыры, проеденные в корпусе краснозвездного советского корабля за годы военного коммунизма, создала и новый тип человека — не советский, не буржуазный, не деревенский, не городской, а смежный, идеально нарисованный Зощенко и частично сохраненный для нас в образах совслужащих-бюрократов из довоенных советских кинокомедий.

Показательна реклама тех лет. Она живо напоминает рекламу из дореволюционной «Нивы», только местами слегка революционизированную в угоду времени:

> ВСЕ ДЛЯ ПИОНЕРОВ!!! БАРАБАНЫ звучные и прочные: разм. 5 1/4 по цене 12 руб, 6 1/4 по цене 14 руб… 8 1/4 по цене 21 руб. ТРУБЫ с флагами и кистями — 16 руб. ТО ЖЕ, но никелированные — 17 руб. 15 коп. ФАНФАРЫ с флагами и кистями — 18 руб. Оптовым покупателям льготные условия. КАЧЕСТВО ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ.
>
> ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО УБРАНСТВА колхозов, сельсоветов, райсоветов, красных уголков, школ, клубов и т. п. ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ во всех культмагазинах БАРЕЛЬЕФЫ Маркса, Энгельса, Ленина, Ворошилова, Калинина…

Время это продолжалось недолго. Предприимчивым Бендерам и неудачливым Воробьяниновым не дали долго гоняться за антикварными стульями мадам Петуховой. К 28-му году золотые времена кончились. Новая сталинская эпоха дала новую пищу обществу и поставила перед ним новые, великие цели.

«Виртуальный свет» У. Гибсона

Про Уильяма Гибсона я впервые услышал в 91-м году от Андрея Черткова, главного тогдашнего пропагандиста и популяризатора киберпанка в России. А уже в начале 92-го мы перелопачивали с ним с нечитаемого подстрочника (авторства Миши Коркина, ныне американца) рассказы «Джонни-мнемоник» и «Сожжение Хром» для задуманного в то время сборника. Позже я проработал в качестве редактора все изданные на сегодняшний день романы этого канадоамериканца — от «Нейроманта» до «Виртуального света» включительно — и очень этим горжусь.

Не могу сказать, что Гибсон мой любимый писатель, но если мне вдруг хочется драйва, взрывных киношных светоэффектов, жутковатых андеграундных сцен и просто ухода на недолгое время из мира осточертелой реальности, то я беру наугад любой из его романов, открываю практически на любой странице, читаю и получаю нужное.

В «Виртуальном свете» есть все упомянутое в предыдущем абзаце.

Суть романа простая. Северная Калифорния, Сан-Франциско. Девушка — почтовый курьер, попав случайно на элитную вечеринку, крадет у некоего пережравшегося хмыря очки в дорогом футляре. Крадет просто так, со зла, в отместку за его хамские домогательства. Отсюда и пошел весь сыр-бор. Очки-то ведь не просто очки, а устройство виртуального вИдения — нацепишь такие на нос и увидишь, в какой цветок превратится нынешний Сан-Франциско, когда коррумпированные городские чиновники продадут этот зачуханный городишко, чтобы полностью его перестроить. Бешеная беготня за очками и составляет весь романный сюжет.

Только, ради Бога, не думайте, что в моем урезанном пересказе умещается вещество романа. Гибсон — мастер лепить из всякого подручного хлама непривычные, фантастические конструкции. Верхний город в «Джонни-мнемонике», жизнь моста — в «Виртуальном свете». И люди, которыми он населяет пространство своих романов, не вырезанные из фанеры придурки, вроде мишеней в тире, — это я, он, ты, она, только выпавшие из обыденных обстоятельств и пытающиеся ужиться в новых.

Водка

Иосиф Сталин на XV съезде партии высказал по алкогольной проблеме следующее конкретное предложение: «Я думаю, что можно было бы начать постепенное свертывание выпуска водки, вводя в дело вместо водки такие источники дохода, как радио и кино».

Призыв был подхвачен, но ни радио, ни кино с поставленной задачей не справились. Водка, как и в дикие времена царизма, продолжала оставаться главным источником дохода.

Пьянство к концу 20-х годов прошлого века достигло в России масштабов поистине фантастических. Оно проникло даже в физкультуру и спорт. Вот заметка из ленинградской спортивной газеты тех лет:

> Недавно на хоккейную игру в Сестрорецке игрок последнего М. Жизневский явился в пьяном виде. Пробовали его уговаривать не играть, но игрок начал буянить, ругаясь нецензурными словами. На уговоры товарищей Жизневский запустил стулом в одного из товарищей. Другой случай 10 февраля, в том же Сестрорецке. Играли 1-е команды: Кр. Путиловец «Б» — Сестрорецк. Вратарь Сестрорецка Вагин пришел на игру в нетрезвом виде. Капитан сестрорецкой команды Бобров потребовал от Вагина покинуть поле. В ответ на это Вагин разбил в кровь лицо Боброва. Бобров не остался в долгу и ударил Вагина клюшкой. Оба предаются общественному суду, а Вагина завод требует, кроме того, исключить из рядов ВКП(б).

Борьба с пьянством во второй половине 20-х годов прошлого века сводилась в основном к массовым антиалкогольным компаниям типа «крестовых» походов детей по городским улицам с лозунгами: «Вылить всю водку!», «Расстреливать пьяниц!» и прочими. На Украине появился первый антиалкогольный театр. В Ленинграде 14 ноября 1931 года на ул. Марата, дом 79, открылся первый в стране медвытрезвитель, причем в связи с этим был принят специальный циркуляр Главного управления милиции при СНК РСФСР, в котором говорилось, что «отобранные спиртные напитки подлежат возврату их владельцам по вытрезвлении».

Не осталась в стороне от антиалкогольной борьбы и литература. Маяковский, А. Н. Толстой, В. Катаев, М. Светлов, А. Аверченко и многие-многие-многие-многие другие писатели и

поэты посвятили этой теме отнюдь не самые худшие страницы своего творчества.

Лучшее же, на мой взгляд, что написано в литературе о водке, — это маленький стихотворный опус петербуржца Александра Макарова, обнаруженный мной случайно:

Вот послушай-ка, дружок,
Я прочту тебе стишок:
Если б водку было можно
Переделать в порошок
И насыпать осторожно
Этот порошок в мешок,
То тогда бы мы с дружком
Всюду бегали с мешком,
Поедая из мешка
Водку в виде порошка.

Хорошая, кстати, постановка задачи для наших будущих менделеевых — создать сыпучий вариант водки или любой другой спиртосодержащей жидкости, чтобы покончить наконец-то на веки с неудобной бутылочной и баночной тарой.

Войнович В.

1. Фантастика Владимира Войновича

Не каждый писатель может похвастать настоящей народной книгой. У писателя Владимира Войновича такая книга в запасе есть. Она называется «Приключения солдата Чонкина». И не каждый поэт может похвастать настоящей народной песней. У поэта Владимира Войновича такая тоже имеется. «Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом» — это она. В начале 60-х ее пела вся наша страна от Бреста до Владивостока и от мальчишек до космонавтов включительно. Даже сам Хрущев ее пел.

Сейчас говорят, что вся литература — фантастика. Пожалуй, говорят правильно. Обратного, к сожалению, не скажешь. То есть среди фантастики попадается очень много хорошего. Правда, этого хорошего очень мало. Так вот — писатель Владимир Войнович как раз и принадлежит к тому очень многому фантастическому хорошему, которого очень мало. Сейчас я все это поясню на примере сказочного романа писателя «Москва 2042 года».

Какие сказки нравятся детям? С картинками и чтоб совсем без политики. А взрослым, значит, наоборот — без картинок и чтоб с политикой. Будто им газет не хватает. Такую сказку и написал Войнович. Правда, в отличие от газет, сказка эта получилась смешная и толстая. Наверное, потому и смешная, что толстая. Если б было наоборот, то есть тоненькая и скучная, или того хуже — толстая и вдобавок скучная — кто б ее стал читать, какой такой ненормальный взрослый?

Действие этой сказки происходит не то чтобы в тридесятом царстве, но все равно от нас далеко. И добраться до тамошних мест можно только на машине времени производства германской компании «Люфтганза». Потому что никакая другая компания в мире еще не научилась такие машины строить. А «Люфтганза» уже умеет, правда, билет пока не всем по карману. В Москву 2042 года, куда отправился герой этой сказки, билет стоит 4 578 843 немецких марки, что в переводе на доллары будет что-то около двух миллионов, а если переводить на нынешние наши рубли, то никаких пальцев на руках и ногах не хватит, такая большая сумма. Герой сказки платил, понятно, не из своих, но денег все равно жалко.

Пересказывать приключения героя в сказочной стране будущего я не стану — это все равно что рассказывать анекдот

про Чапаева с помощью языка свиста. Скажу одно — герой оттуда вернулся, причем здоровый и невредимый. И кстати, этот самый герой что-то очень уж сильно похож на Владимира Николаевича Войновича, сочинившего эту сказку.

2. Нефантастика Владимира Войновича

Если в добрые старые времена ты числился хорошим писателем, то писать тебе следовало так:

> Директор завода Дубенко вызвал к себе начальника мартеновского цеха и молча вручил ему толстую тетрадь. Это была инструкция по выплавке и прокатке стали новой марки.
>
> — Будем варить сталь сложнейшего состава, товарищ Крайнев, — сказал Дубенко. — Бронетанковую.

За такую добрую хорошую прозу тебя вполне могли наградить Сталинской премией, как, к примеру, писателя Владимира Попова за роман «Сталь и шлак», начало которого я только что процитировал.

А если бы ты написал, например, вот так:

> Для расследования происшествий приезжала высокая комиссия во главе с генералом. Целыми днями генерал в длинных синих трусах лазил с бреднем по местной речке Граковке, а по ночам играл в преферанс со старшими офицерами. Проиграл, говорят, четыре рубля…

— тогда не то что премий, света белого тебе бы тогда не взвидеть, и лучше бы тебе вообще не соваться в литературу, а тачать населению сапоги в каком-нибудь заштатном городе Сестрорецке, как это делал Михаил Михайлович Зощенко после известного постановления.

Я позволил себе маленький перебор во времени, но сороковые-пятидесятые годы по сути мало чем отличались от шестидесятых-семидесятых — эстетические пристрастия власть предержащих заметных изменений не претерпели.

Поэтому писатель Владимир Войнович и уехал писать в Германию.

Впервые прозу этого замечательного писателя я прочитал в начале семидесятых, это была небольшая повесть «Путем взаимной переписки», напечатанная, кажется, в «Гранях». Фраза

про синие генеральские трусы, запомнившаяся мне с тех былинных времен самиздата и тамиздата, взята оттуда.

А еще Владимир Войнович — мастер метких, скупых метафор, которые надолго сохраняются в памяти. Таких, например, как эта, выбранная из той же повести: «Выползали старухи, черные, как жуки».

Пишет Владимир Войнович по-человечески просто, и это, пожалуй, главное достоинство его прозы (хотя на деле внешняя простота дается каждому писателю нелегко, поверьте).

А смех, которым она внезапно заражает читателя и который порою совершенно нельзя сдержать (проверено в городском общественном транспорте на примере «Чонкина»), — делает ее вдвойне притягательной. Отсюда огромная популярность всего, что выходит из-под пера писателя.

Житейский, почти бытовой характер — вот что объединяет прозу Войновича, но все мы плаваем по морю житейскому, а быт — штука сложная и коварная, даже первый наш певец революции в свое время относился к нему с опаской — вспомните хотя бы его знаменитую любовную лодку, которая разбилась о быт.

Поэтому странные повороты судьбы отдельно взятого человека, которые писатель описывает, странным опять же образом сливаются в некую всемирно-историческую картину, где мы находим себя, своих друзей и знакомых, и это созвучие жизни выдуманной и жизни реальной — первый признак того, что книги, подаренные нам писателем, достойны читательского признания.

«Волчий паспорт» Е. Евтушенко

Я расстаюсь с двадцатым веком,
как сам с собой.

Евгений Евтушенко

Безвозвратно кануло в прошлое время поэтических стадионов и безумных очередей за свежей книжкой стихов. Даже не верится, что тогда, в далекие 50-е годы, страна дышала поэзией, как дышат, выйдя на чистый воздух после спертого воздуха коммуналки. Вознесенский, Рождественский, Евтушенко — вот кумиры тогдашних лет. Громогласные их голоса разносились над всей Россией. И Евтушенко из этой троицы, пожалуй, был самым громким.

Евтушенко — человек настолько сросшийся со своим временем, что представить его вне эпохи — все равно, что представить Ленина не вождем победившего пролетариата, а банальным продавцом рыбы на банальном городском рынке.

«Попробуйте меня от века оторвать» — эти слова другого поэта, сказанные в другое время, касаются Евтушенко полностью. И прощаясь с XX веком, как написано в его мемуарах, поэт не просто отдает дань риторике, он действительно прощается сам с собой.

Чувствуется, как ему это больно: расставаться с самим собой, с былой своей звездной славой — к сожалению, закатной, смеркшейся, как закатывается за гору век и меркнет его величие в глазах нового поколения.

Может быть, оттого мемуары его так откровенны.

Евтушенко не знает меры, он ее просто не признает. Он срывает с себя одежды. Он срывает платья и лифчики со всех своих бывших и настоящих жен. Он срывает покров с времени — существа среднего рода с головой Медузы Горгоны и с туловищем Минотавра, выращенного советскими скотоводами.

Мемуары его очень страстны, и в этой своей безжалостной страстности, наверное, очень несправедливы. Но все мемуары, написанные не водою, а кровью, — очень несправедливы. Те же воспоминания вдовы Мандельштама тому пример.

Тем не менее, это и есть высшая справедливость — говорить такие слова эпохе, которая тебя сделала и которая вложила тебе в уста пылающий угль правды.

Эпоха этого заслужила. Эпоха — это не вечный май и взлетающая в его синеву мирная голубка Пикассо. Это еще и

мертвые блокадные январи, это август сорок шестого, это вычеркнутый из жизни Зощенко и выкинутый из страны Солженицын, это танки на Вроцлавской площади и умерший на чужбине Бродский.

И вопрос о справедливости и несправедливости снимается сам собой. Справедливо только молчание. Справедливо справедливостью рыб.

Поэт прощается с веком, выдавшим ему волчий паспорт. Век уходит, но поэзия остается.

«Волшебная страна» М. Белозора

> Никто из нас не допивался до белой горячки. Слава Богу! Правда, у Гоши росли копыта. За Асатуровым по дому гонялась живая рыба. Авдею Степановичу, когда он ехал в поезде, несколько часов пела невидимая тетка. С Брунько разговаривал будильник, причем стихами…

Это книжка, цитату из которой я сейчас вам привел, о поколении, чьи творческие порывы пришлись на 80-е годы. Наверно, это было самое пьяное время в жизни нашей страны. Пили все поголовно, и лучшие люди, и худшие, и маленькие, и большие, и средние. Вот об этом-то пьяном времени и написана эта грустная и смешная книжка. Смешная она потому, что рассказывает всякие забавные случаи, происходившие с друзьями писателя в пьяном виде. Грустная она потому, что большинства участников этих забавных случаев уже нет на свете. Именно по причине пьянства.

В послесловии Владимира Шинкарева, напечатанном на задней стороне обложки, рассказывается такая история. Цитирую этот рассказ дословно:

> Видный митьковский художник Владимир Яшке понял, что алкогольные проблемы становятся опасными для жизни, и пошел на собрание Анонимных Алкоголиков. Там как раз говорили о радостях трезвой жизни. Когда дошла очередь до Яшки, он сказал: «В кинофильме „Бег“ генгерал Чарнота сидит в исподнем где-то в Константинополе и вспоминает — ах, как хорош был бой под Киевом! Эх, какой бой был под Киевом! Вот так и я — ну, брошу пить, и что останется — сидеть и вспоминать, какой был бой под Киевом…»

Далее Шинкарев заключает свой рассказ так: «Книга „Волшебная страна“ — и есть воспоминание об этом волшебном бое под Киевом…»

И о солдатах, павших ни за что ни про что на поле этого волшебного боя, — добавляю я уже от себя.

«Волшебник Изумрудного города» А. Волкова

В 1999 году исполнилось ровно 60 лет со дня выхода «Волшебника Изумрудного города». Книга вышла в 1939 и сразу же стала любимым чтением подростков довоенного поколения. Трех первых изданий книги (два в 1939 и одно в 1941 году) сегодня днем с огнем не сыскать — «Волшебника» зачитывали до дыр, в библиотеках за ней подолгу стояли в очереди, книгу чуть ли не от руки переписывали и слезно молили редакцию детской литературы переиздать ее еще раз. В руки нашего поколения «Волшебник Изумрудного города» попал только в начале 60-х, уже в переработанном виде, с чудесными картинками художника Л. Владимирского (в первых изданиях книгу иллюстрировал Николай Радлов). С тех пор он переиздается едва ли не каждый год и пользуется неизменным успехом.

В свое время мне приходилось слышать странное мнение, будто писатель Александр Волков, подаривший нам эту книгу, на самом деле никакой не писатель: мол, какой же тут писательский труд — переделать иностранную сказку и выдать ее за собственную. На самом деле то, что «Волшебник» — переработка, никогда не скрывалось. Еще в 1939 году «Литературная газета», сообщая о выходе книги в свет, писала, что это «переработка известной сказки американского писателя Фрэнка Баума „Мудрец из страны Оз“».

Единственное, в чем газета ошиблась, — это в том, что сказка «известная». Сам А. Волков комментирует сообщение газеты так: «Насчет известности сказки — они козырнули. Сказка в СССР совершенно неизвестна. Редакция „ЛГ“ первая о ней не знает!..» Действительно, Фрэнку Бауму в России не повезло. О нем мы узнали буквально в последние десять лет. До этого даже в Краткой литературной энциклопедии (другой у нас просто не было) о знаменитом американском сказочнике было лишь слегка упомянуто (в связи с именем А. Волкова). То есть имя Баума мы с грехом пополам знали — а вот книги его могли прочесть разве что по-английски. Сегодня, к счастью, эта несправедливость исправлена. Книги Баума переводятся, и наконец-то можно сравнить переделку с оригиналом. В чем же сходство и в чем различие этих текстов?

Вот что пишет по этому поводу в письме Маршаку сам Волков: «Я значительно сократил книгу, выжал из нее воду, вытравил типичную для англосаксонской литературы мещанскую

мораль, написал новые главы, ввел новых героев». Насчет значительных сокращений писатель слегка слукавил — из «Мудреца» Баума убрано всего две главы. Что касается выжатой из книги воды — тоже не совсем ясно. Ничего лишнего в книге Баума нет. События сменяются быстро и строго подчинены сюжету. Фраза про мещанскую мораль, должно быть, всего лишь дань советской газетной эстетике. Никакой мещанской морали американский писатель не исповедовал — наоборот, он был четким последователем идей американских романтиков — Генри Торо и Ральфа Уолдо Эмерсона. Доверять самому себе, раскрывать в себе скрытые внутренние способности, преодолевать страх — вот чему учит Баум. Даже помощь, которой ищут герои у загадочного мудреца Оза, в итоге им оказывается не нужна — вера в самих себя, обретенная на пути в Изумрудный город, заменила им авторитет мудреца. А если уж развенчивать до конца фразу о мещанской морали, то стоит сказать про деньги, двигатель многих «американских» сюжетов. Так вот, мотива обогащения в повести нет совсем.

Для русского варианта сказки Александр Волков написал три новых главы: «Элли в плену у людоеда», «Наводнение» и «В поисках друзей». А вставки и дополнения, по словам автора, «все невозможно перечислить — их слишком много». Но все это не самое главное. Исправляй, дописывай, вырезай — чтобы сделать из «чужой» книги «свою», а из «своей» — «нашу», здесь не справятся ни чернила, ни ножницы. Автор должен внести такое, чтобы книга заиграла по-новому — как листочки на чудо-дереве, пересаженном на другую почву. И писателю Александру Волкову это действительно удалось. Помогли ему в этом спасительное чувство иронии плюс живая жизнь мелочей, которыми он наполнил книгу. Вот сцена, где девочка Элли стоит в комнате перед таинственной Головой с вращающимися глазами. Обратите внимание: когда эти глаза вращались, «в тишине зала слышался скрип». Вроде мелочь — какой-то скрип, а сколько жизни он добавляет в сцену. А вот сцена, где мигуны «так усердно подмигивали друг другу, что к вечеру ничего не видели вокруг себя». Или место про жевунов, которые «сняли шляпы и поставили их на землю, чтобы колокольчики своим звоном не мешали им рыдать».

Автор — дитя эпохи, и, будучи человеком советским, не мог не привнести в свою книгу соответствующий эпохе дух. Особенно это чувствуется в добавленной им главе «Наводнение». Папанин и герои-челюскинцы, героика борьбы и победы — отзвук этого в книге есть. Еще до выхода «Волшебника» в свет Маршак, прочитав рукопись, упрекал автора, что его сказка как бы существует вне

времени, то есть зло в ней, говоря другими словами, — отвлеченное, не конкретное зло, не то, которое в литературе тех лет традиционно подавали в классовой упаковке с надписью «Враг не дремлет!». Взять на выбор почти любую довоенную книжку из круга чтения тогдашних подростков — «Морскую тайну» М. Розенфельда, «Арктанию» Г. Гребнева, «Истребитель 2Z» С. Беляева, «Тайну двух океанов» А. Адамова, «Пылающий остров» А. Казанцева… Посмотрите, кто в этих книгах враги. Японцы, немцы, диверсанты, шпионы, капиталисты. У всех у них одинаковые картонные лица, единственное, что их различает, — цвет кожи и разрез глаз. Вот и к сказке в соответствии с этим железобетонным принципом следовало подходить с той же меркой.

На самом деле (я сужу по себе) читающему подростку абсолютно неважно, в какую политическую одежку наряжен тот или иной персонаж. С точки зрения психологии детства, в книге главное — борьба и победа. Замени агента империалистов каким-нибудь инопланетным чудовищем — для подростка-читателя он будет просто отрицательный полюс книги, злая сила, создающая эмоциональное напряжение, не более. Все это оболочка, молодому читателю безразлично, действует ли в романе японский шпион Горелов или зловредная колдунья Бастинда. Только взрослые с их многомудрым опытом могут в сказке о сером волке видеть классовую борьбу в деревне, где волк — это мироед-кулак, а заяц — бедняк-крестьянин, побеждающий его сметкой и хитростью. Или у Пушкина в «Годунове» в сцене с безмолствующим народом разглядеть пророчество нашего национального гения о будущей октябрьской революции, как бывало у советских пушкиноведов.

Сам Волков наверняка не вкладывал в свою сказку никакого политического подтекста. Этого просто быть не могло. Но такой уж в нашей стране читатель, что даже в сказке, рассказанной для детей, всегда отыщет что-нибудь политическое. Так вышло и с книгой Волкова. Вспомните, как боятся жители Изумрудного города признаться и себе и другим, что все, что их окружает, — ложь. Что все это — видимость, оптический обман, свойство зеленых стеклышек, которые в приказном порядке обязан носить каждый подданный Гудвина — Великого и Ужасного. Что действительность безотрадна, а сам Гудвин, их повелитель, — всего лишь жалкий обманщик, а не тот мудрец и провидец, за которого он себя выдает. Даже славный добряк Страшила, лишь только оказывается у власти, превращается в самовлюбленного дурака, и неизвестно еще, что будет со страной и ее запуганным населением. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сделать

соответствующие выводы. И в глухие 70-е годы многие воспринимали «Волшебника» как пародию на советскую власть.

В сказке Баума ничего подобного нет. Подданные мудреца Оза действительно живут счастливо. И зеленые очки, которые они носят, здесь отнюдь не символ намеренного обмана — это ключ к великой философской проблеме, которую в сказочном, игровом сюжете старается разрешить автор. Мир в действительности такой, каким мы его видим и ощущаем, или же мы привносим в него свойства своего зрения и ощущений, то есть искажаем правильные его черты? Эту мысль подбросил человечеству еще Кант, и с тех пор почти каждый думающий и пишущий старается разрешить великую загадку философа. И «волшебные» очки Оза — метафора из того же ряда.

Сегодня мало кому известно, что «Волшебник» довоенных изданий и «Волшебник» 62-го года — две совершенно разные книги. Разные не в плане приключений героев, а по идее, вложенной автором в послевоенный вариант повести. Вот как выразил эту идею автор: «Я ввел в сказку предсказание доброй феи Виллины…». Предсказание читатель помнит из текста повести: «Великий волшебник Гудвин вернет домой маленькую девочку, занесенную в его страну ураганом, если она поможет трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний…». То есть сказке был придан стержень, на который теперь нанизывался сюжет. Все поступки девочки Элли сразу делались обоснованными. «Я — вам, а вы — мне» — так другими словами можно сформулировать этот принцип автора. Бескорыстные, идущие от сердца поступки превращаются в подобие сделки. Получилось это, конечно, невольно, но тем не менее — получилось. Не в вину автору будет сказано. Конечно, это заметит только взрослый читатель, для подростка — это такая же несущественная проблема, что и книжный облик врага.

Наверное, было бы неплохо переиздать довоенный вариант сказки, и когда-нибудь это будет. Но и так, в том виде, к которому мы привыкли с детства, сказка делает свое хорошее дело — дарит радостные минуты чтения и отучает наших детей скучать.

P.S. Огромное спасибо писателю Мирону Покровскому, материалы которого я использовал в этой статье.

Волынский А.

Аким Львович Волынский (Хаим Лейбович Флексер) — фигура в отечественной культуре, выставленная в мемуарах современников в довольно карикатурном свете. Андрей Белый в своих тысячестраничных воспоминаниях упоминает Волынского всего один раз — в связи со своей борьбой с Достоевским как со знаменем главенствующего тогда философского направления. Он пишет, как тогдашние достоевсковеды и достоевсколюбы во главе с Мережковским, Волынским и другими критиками и философами ужаснулись нападкам Белого на их святыню.

Александр Бенуа в книге «Мои воспоминания» рассказывает как на посиделки к Мережковским «явился господин очень гордого вида, горбоносый, совершенно бритый, в застегнутой на все пуговицы жакетке… То был „философ“ Флексер, впоследствии прославившийся под псевдонимом „Волынский“ в качестве балетного критика и идеолога». Далее Бенуа излагает ходивший в то время по Петербургу слух об интимной близости жены Мережковского Зинаиды Гиппиус с этим человеком. И что Мережковский якобы поощрял эту их связь, потому что сам некогда навязал жене прозвище «белой дьяволицы», «воплощения греха» и прочие атрибуты роковой женщины «конца века». Бенуа приводит анекдотический случай, когда Мережковский, войдя в комнату и застав жену с Волынским в пикантный момент, говорит укоризненно: «Зина! Хоть бы ты запирала дверь!».

О Волынском живо вспоминает Владислав Ходасевич в своих очерках о петроградском Доме Искусств 1921-22 года: «Аким Львович Волынский был человек умный, но ум у него был взбалмошный, беспорядочный — недаром в конце его мысль запуталась где-то между историей религии и историей балета. В молодости он сильно пострадал от каких-то интриг, и в нем осталась глубокая уязвленность, к тому же питаемая тайной неуверенностью в себе, запрятанною в душе опаскою, что, может быть, враги, некогда объявившие его ничтожеством, были правы». Ходасевич рассказывает, как Волынский явился однажды к себе в Дом Искусств с совершенно безумным видом и с газетой в руке. Когда к нему зашел Ходасевич и спросил о чем-то, Волынский сказал: «Простите. Я слишком взволнован. Мне нужно побыть одному, чтобы пережить то, что свершилось». Свершилось же то, что в еженедельной газетке «Жизнь искусства» появилась первая за много лет хвалебная статья о нем, написанная Мариэттой Шагинян. «Он ходил с газетой по всему Дому Искусств, всем показывая и бормоча что-то о нелицеприятном суде грядущей

России. Смотреть на него было жалко. Бледная улыбка славы лишила его душевного равновесия». Так заканчивает Ходасевич свои записи о Волынском.

Умер Аким Волынский в 1926 году.

«Воспоминания» А. Григорьева

О поэте Аполлоне Григорьеве современный читатель в основном знает по его «Венгерской цыганочке» («Басан, басан, басаната…»), столь удачно осовремененной Александром Галичем, да по картине Перова «Бобыль», на которой в образе запойного гитариста изображен запойный поэт Григорьев.

Вообще поэтам с фамилией Григорьев в жизни никогда не везло. Стоило им более-менее утвердиться в литературе, как тут же вылезал из своей пещеры зеленый колдун Алкоголь, и они за бутылку водки и хвост селедки отдавали ему талант, здоровье, а зачастую и саму жизнь.

Два питерских однофамильца Аполлона Григорьева, покойный Олег и здравствующий Геннадий, тому пример. (Диму Григорьева в расчет не беру, алкоголю тот предпочитает более экзотические способы умерщвления плоти.)

«О как мы тогда пламенно верили в свое дело, какие высокие пророческие речи лились, бывало, на попойках из уст Островского, как сознательно, несмотря на пьянство и безобразие, шли мы все тогда к великой и честной цели», — вспоминает Григорьев свои молодые годы, проведенные в богемных тусовках Замоскворечья.

Ударные слова в этой цитате все же «пьянство», «безобразие» и «попойки», а не «высокие» и «пророческие». Я-то знаю, я-то сам бессчетно участвовал в подобных мероприятиях, когда мера выпитого многократно перевешивает меру сказанного высоким штилем.

Что-то меня зациклило на теме пьянства в русской литературе. Пора бы уж перейти и к собственно литературе. Так вот, поэт Аполлон Григорьев, постоянно мечущийся между раем и адом, более принадлежит к раю. И не только потому, что это он первый ввел в оборот такие понятия, как «почва», «почвенничество». Григорьев, как до него Пушкин, примирил жизнь и литературу, сделал их в своем творчестве неразделимыми, как Бог Отец и Бог Сын.

В заключении повторю все того же Розанова, которого готов цитировать постоянно: «Среди людей ему жилось плохо. Но у Бога ему хорошо».

«Воспоминания» Н. С. Хрущева

Мне было лет шесть или семь, когда в стране разыгралась великая битва за кукурузу. Я хорошо помню, как возле дверей булочной на углу проспекта Маклина и Прядильной улицы подвешивали на стене на веревочке черствый десятикопеечный батон из кукурузной муки и писали под ним мелом: «Русское чудо». Кто не знает, «Русское чудо» это был такой популярный документальный фильм о достижениях нашей страны. Вечерами на коммунальной кухне наш сосед-инвалид материл почем зря «Никиту» и пел какие-то про него куплеты, из которых я запомнил только две строчки: «…Чтобы лысый пидарас не угнетал рабочий класс».

То есть люди рабочие чувствовали при нем себя оскорбленными и униженными. Еще бы: после временного обилия середины 50-х получить в результате хлеб из кукурузной муки, черствеющий прямо у тебя на глазах.

Чувствовала себя оскорбленной и художественная интеллигенция. Действительно, человек, открыто разоблачивший культ Сталина и подаривший людям надежду на переоценку культурных и социальных ценностей, устраивает настоящую «охоту на ведьм» в лице художников-абстракционистов и им сочувствующих.

Чем-то, по-моему, Никита Сергеевич напоминает нынешнего белорусского премьера А. Лукашенко. Тот так же способен сорвать в запале с ноги ботинок и грохнуть им о трибуну на Совете ООН. Не говорю, что это хорошо, но это говорит о характере. Лучший памятник Никите Сергеевичу (и, кстати, единственный уцелевший) — это его надгробие на Новодевичьем кладбище работы Эрнста Неизвестного. Левая половина — белый мрамор, правая половина — черный. Два начала — божеское и дьявольское без всякой золотой середины.

Врангель Н.

Помните популярную советскую песню времен Гражданской войны:

Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон?..

Так вот, барон Николай Николаевич Врангель был родным братом того самого генерала Врангеля, возглавившего белое движение на юге России и бешено ненавидимого большевиками, о котором поется в песне. К брату и военной линии в семье Врангелей Николай Николаевич имеет малое отношение. Всю свою недолгую жизнь (1880–1915) Н. Н. Врангель занимался русским искусством, его современностью и историей. Род Врангелей нес в своих жилах арабо-негритянскую кровь и вел свое происхождение от «арапа Петра Великого», таким образом состоя в родстве с Пушкиным и Ганнибалом. Это проявлялось и во внешнем облике семейства Врангелей.

«Что-то арабское было и в Коке (Николае Врангеле. — *А.Е.*), и не только в смуглости лица и в каком-то своеобразном блеске глаз, но и в сложении, во всей его повадке, в его чрезвычайной живости и подвижности, в чем-то жгучем и бурном, что сразу проявлялось, как только он чем-нибудь заинтересовывался, да и в манере относиться к людям не было ничего славянского или германского, скандинавского, словом — арийского или европейского».

Так описывает облик Врангеля Александр Бенуа.

Главным детищем Николая Врангеля были «Старые годы», ежемесячный журнал для любителей старины. Хотя инициатором этого издания был художник В. Верещагин, а издателем и финансистом П. Вейнер, душой журнала был Николай Врангель, и основная масса статей писалась именно им.

«В своей неистовой деятельности он был совершенно бескорыстен, — отмечает А. Бенуа главную человеческую черту барона Н. Врангеля и добавляет: — Это был дилетант в самом благородном понимании слова: он служил искусству для искусства».

Умер Врангель от острого воспаления почек во время Первой мировой войны, служа добровольцем на санитарном фронте.

«В этом отношении, — пишет А. Бенуа, — судьба оказалась милостива к Врангелю — она не дала ему увидеть всю мерзость

запустения и крушение всего нашего мира. Он не познал и этого чувства никчемности, выброшенности за борт, которое отравило нам жизнь с самого 1917 года».

«Вселенная, жизнь, разум» И. Шкловского

Бенедикт Сарнов в своей книге «Перестаньте удивляться» рассказывает следующую удивительную историю о великом астрофизике Иосифе Шкловском.

Оказывается, если бы не знаменитое дело врачей-убийц, никогда не стать бы Иосифу Самуиловичу всемирно знаменитым ученым.

Знаменитым же Шкловский стал благодаря открытию электромагнитной природы звездного излучения.

Дело происходило так (естественно, по Бенедикту Сарнову). 4 апреля 1953 года Шкловский вышел из дома, терзаемый двумя мыслями. Первая — о Крабовидной туманности. Почему ее излучение по всем полученным в результате исследований параметрам не является тепловым. Вторая мысль — вот явится он сейчас в университет и увидит себя в списке уволенных по причине еврейского происхождения. Стоит Шкловский на остановке, думает, ждет трамвая и случайно натыкается взглядом на свежий номер газеты «Правда» на стенде рядом с собой. А там — на первой странице — сообщение, что врачи-убийцы никакие, оказывается, не убийцы, просто вышла, как говорится, ошибочка, и отныне принадлежность к еврейской нации не является государственным преступлением. Вот тогда-то в голове у ученого и отщелкивается запирающая задвижка. Ну, конечно, излучение не тепловое, мгновенно соображает Шкловский. Конечно, это радиоизлучение. Затем он вскакивает на площадку трамвая и, пока едет до Воробьевых гор, в уме просчитывает свою гипотезу.

Так случилось одно из главных открытий в астрофизике XX века.

Ну а второе его открытие — что оба спутника красной планеты построены марсианами — после полета к Марсу американского «Маринера» пришлось отменить. Подгадили нашему академику пройдохи-американосы, а ведь могли бы и подыграть — закатили же в 1969 году мировое шоу с высадкой Армстронга и Олдрина на Луну, отснятое, как позже выяснилось, в Голливуде.

«Всемирная литература» В. Шинкарева

Тот самый идеолог митьковщины, написавший все главные сочинения, освещающие это общественное явление, Шинкарев — человек заметный: и в живописи, и в литературе, и с виду. Сам высокий, широкоплечий, статный, именно такой художник как Шинкарев и мог взяться за исполинский проект под названием «Всемирная литература».

Проект этот заключается в следующем: берется литературный текст, к примеру, «Илиада» Гомера, и переводится на язык живописи. Таких переложений-перелицовок в альбоме Шинкарева шестнадцать, причем не все из них высокая классика. Есть здесь вещи не столь известные, во всяком случае в мировом масштабе, — «В лесу родилась елочка», например. Или народный гимн северного народа фижмы.

Сложность дела, задуманного художником, состоит в том, что ему нужно не проиллюстрировать книгу, как делали до него другие, а выделить в книге главное и перенести это в цвете на полотно.

Сам художник комментирует свое дело так: «Механизм перевода прост: пишу до тех пор, пока ощущение от картины не совпадет с ощущением от литературного произведения. Во многих случаях я его и не перечитывал — ведь тогда это будет „изучение“, и пыльца ощущения сдуется».

«Выбор катастроф» А. Азимова

Прихожу я к своему приятелю Рукавицыну, захожу в квартиру и ужасаюсь. Стены голые, вокруг запустение, даже комнатное растение кактус, предмет гордости и любви хозяина, стоит грустное в горшочке на подоконнике с облетевшими от грусти иголками. Сам хозяин сидит на кухне, и лицо у него не веселее кактуса. Я спрашиваю:

— Рукавицын, ты болен?

— Я не болен, — отвечает приятель, вынимает из-под чайника книжку и со вздохом передает мне.

— Айзек Азимов. — Я пожимаю плечами. — Ну, про роботов, нашел о чем горевать.

— Про каких таких, к черту, роботов! Про бессмысленность нашей жизни.

И загибая на руках пальцы, Рукавицын начинает перечислять все беды, которые неминуемо обрушатся на голову человечества и истребят его на хрен к едрене-фене.

Пальцев на руках не хватило, потому как бед оказалось ровным счетом 15 — от гибели Вселенной до тотального мирового голода как следствия перенаселенности планеты.

— Так что работай не работай, поливай кактус не поливай, все одно — хана, — сказал Рукавицын и задумчиво посмотрел на меня.

— Слушай, — он почесал в затылке, — а ведь это хороший повод устроить небольшие поминки. По человечеству. Ты как, за?

В глазах его запрыгали огоньки. Я понял, что на ближайшее время гибель человечества отменяется и полез в карман за бумажником.

Г

Газданов Г.

Эмигрант эмигранту рознь. Если Бунин, Зайцев и Осоргин до конца своих дней писали исключительно о России, то Газданов о родине, которую покинул в 16 лет, писал мало. Исключение — рассказы и «Вечер у Клэр», первый роман писателя, где в ретроспективе показаны жизнь и мытарства молодого солдата добровольческой белой армии, — роман, основанный на собственном коротком, но страшном опыте автора.

«Я плохо и мало знаю Россию, т. к. уехал оттуда, когда мне было 16 лет; но Россия моя родина, и ни на каком другом языке, кроме русского, я не могу и не буду писать», — писал он Горькому из Парижа в 1930 году.

Прозу Газданова сравнивали с прозой Набокова (тогда Сирина) и Марселя Пруста.

Здесь позволю себе короткое отступление о так называемом сравнительном методе в литературной критике. Когда человеку, пишущему о книге, сказать о ней нечего, но сказать надо (за рецензии платят деньги), тогда он и прибегает к вышеупомянутому методу, т. е. начинает сравнивать книгу с произведениями уже существующими и как-то себя зарекомендовавшими. При этом, если критик сравнивает автора, например, с Прустом, самого Пруста критику знать вовсе не обязательно, про Пруста, его стиль, манеру и прочее написаны десятки исследований. Метод Пруста — метод импрессионистического письма, запись мгновенных впечатлений, и если у сравниваемого автора обнаруживается что-нибудь сходное, то критик смело напишет: «в манере Пруста». Причем достаточно расставить те или иные акценты, как статья (рецензия) становится или положительной или отрицательной: «в лучших традициях» такого-то (Пруста, Гоголя, Достоевского…) или «слепо следует манере» такого-то (список тот же).

На примере Газданова в очередной раз убеждаешься, что во все времена критика, даже благожелательная, необъективна.

Все, написанное словами, сопоставимо. И когда все активно стали искать истоки Гайзданова в Прусте, вдруг выяснилось, что Пруста тот не читал вообще. Конечно, опытный критик вывернется и начнет рассуждать о незримых течениях духа и неисповедимых путях искусства, по которым независимо от писателя одни и те же идеи перемещаются от автора к автору.

Но почему-то про самобытность начинают вспоминать лишь тогда, когда писатель лежит в могиле — под небом Франции ли, России, неважно какой страны.

Гайдар А.

Мне Гайдар нравится — просто потому, что нравится, вот и все.

«Жил человек в лесу возле Синих гор», — разве плохой писатель может так начать книгу?

А все это «советское» — «несоветское», «наше» — «не наше» — дурость и блажь, и блажные дураки те, кто такое деление принимает. За хорошие книги, неважно, когда написанные — при советской власти, при несоветской, — стыдиться стыдно — извините за тавтологию.

Жизнь и творчество этого «писателя от природы» (определение мое. — *А.Е.*) было не таким уж безоблачным, как о нем писали в прежних гайдаровских биографиях. То есть, понятно — бои, контузии, в двадцать лет увольнение «в бессрочный отпуск» из Красной Армии, без которой сын комдива Гайдар жизни своей не мыслил, — одно это добавит всякому на лицо морщин.

Но были и другие печали, о которых в биографиях не рассказывали. А именно — цензурные ножницы, режущие по-живому художественную кожу произведения в зависимости от перемены климата.

Вот случай, о котором сообщает историк отечественной цензуры Арлен Блюм. Он сравнивает известный рассказ писателя «Голубая чашка» в варианте 1936 и 1940 года.

1936: «Есть в Германии город Дрезден, и вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей…»

1940: «Есть за границей какой-то город, и вот из этого города убежал один рабочий…»

1936: «„Дура, жидовка! — орет Пашка. — Чтоб ты в свою Германию обратно провалилась!“ А Берта дуру по-русски хорошо понимает, а жидовку еще не понимает никак. Подходит она ко мне и спрашивает: „Это что такое жидовка?“ А мне и сказать совестно. Подождал — и вижу: на глазах у нее слезы. Значит, сама догадалась… Я и думаю: „Ну погоди, приятель Санька, это тебе не Германия, с твоим-то фашизмом мы и сами справимся!“»

1940: «Дура, обманщица! Чтоб ты в свою заграницу обратно провалилась! А Берта по-русски хорошо понимает, а дуру и обманщицу еще не понимает никак. Подходит ко мне и спрашивает: „Это что такое дура?“ А мне и сказать совестно… Я и думаю: „Ну погоди, приятель Санька, с твоим-то буржуйством мы и сами справимся!“»

Все понятно: в 1936 году Германия была стране Советов

врагом, а в 1940, после пакта Молотова — Риббентропа, стала лучшей ее подругой.

В послесловии к «правдинскому» изданию ранних повестей Гайдара (сборник «Лесные братья», М.: Правда, 1987) рассказывается история первых публикаций повести «Р.В.С.».

Когда в июне 1926 года повесть вышла в Госиздате, в Москве, Гайдар, прочитав напечатанное под его именем издание книги, отрекся от этого «сочинения», и его «отречение» тогда же напечатала «Правда». Вот оно:

> Уважаемый товарищ редактор! Вчера я увидел свою книгу РВС — повесть для юношества. Эту книгу теперь я своей назвать не могу и не хочу. Она дополнена чьими-то отсебятинами, вставленными нравоучениями, и теперь в ней больше всего той самой «сопливой сусальности», полное отсутствие которой так восхваляли при приеме госиздатовские рецензенты. Слащавость, подделывание под пионера и фальш проглядывают на каждой ее странице. Обработанная таким образом книга — насмешка над детской литературой и издевательство над автором.
>
> *Арк. Голиков-Гайдар.*

Прав был Александр Сергеевич, который нашу отечественную цензуру только с «дурой» и рифмовал.

География

Кажется, что может быть обыденнее и проще географической науки. Все белые пятна на карте мира уже давно закрашены в соответствующие цвета. Все дороги, реки, болота, моря, пустыни пронумерованы, классифицированы и внесены в реестр. Но вот открываю недавно в ЖЖ страницу Мирослава Немирова и там читаю:

> Самая ‹…› река в Казахстане — это река Куланотпес («Кулан не пройдет»), которая впадает в озеро Тениз с юго-востока. Так как она со снеговым питанием, то после половодья уровень там сильно падает, но в озеро впадает река Нура с северо-востока, и, если у Нуры очень большой расход, то иногда, из-за малого уклона, река Куланотпес течет в обратную сторону.

Многоточием в угловых скобках я засекретил неприличное слово, но даже это нисколько не умаляет удивления от подобного сообщения! Река, текущая то вправо, то влево — это, согласитесь, не слабо!

А как вам нравится озеро, которое перемещается, меняя свое расположение каждые три года, так что нет никакой возможности изобразить его на географической карте? Вот сообщение Екатерины Таратуты на эту тему: «Оно (это озеро. — *А.Е.*) велико, но лодки по нему не ходят, потому что его вода такова, что пропитывает любую лодку в считанные минуты, как ее ни смоли. Пить эту воду нельзя, и тот, кто хочет не умереть в тех краях от жажды, должен уметь проглатывать лошадиную кровь». Добавлю для любознательных, что государство, где находится это озеро, называется Крорайна, или Кроран, части же его называются Чалмадана, Нина и Сача.

Да что далеко ходить! Буквально у нас под боком, в России, между станцией Кушавера и деревней Дворищи Хвойнинского района Новгородской области (или губернии? как там нынче делится территория?) есть такое озеро Светлое, которое раз в году проваливается в подземную щель и появляется в трех километрах к северу, возле поселка Прядино. Здесь его называют Мутным. Вместе с озером уходит вся рыба, и, говорят, был однажды случай, когда заснувший в лодке рыбак проснулся, причалил к берегу и не нашел дорогу домой. Потому что заснул на Светлом, а пробудился уже на Мутном.

Вот такие чудеса и открытия случаются еще в географии,

если вы, конечно, интересуетесь в жизни чем-то большим, чем телевизор.

Герман Ю.

Писателя Юрия Германа интеллигенция 30-х годов сильно невзлюбила за то, что он написал сборник рассказов про железного Феликса. Его прозвали после этого то ли «певцом ЧК», то ли «чекистским подпевалой», не помню точно.

У меня были две книги этих рассказов в детлитовском довоенном издании с забавными картинками, опять же — забыл кого. На одной иллюстрации была изображена Каплан, которую схватили чекисты сразу после выстрела в Ленина, — замечательная картинка, особенно удался оскал на лице эсеровской террористки.

Обе книжки я подарил современному эмигрантскому писателю номер один Андрею Куркову, который в то время собирал любые книги о Ленине и называл свое увлечение «моя лениниана».

Бог с ним, с Курковым, вернемся к Герману. Его книги написаны очень стильно, это действительно хорошие книги. И «Один год», и трилогия о докторе Устименко, и повести предвоенных лет.

В дневниковых записях Евгения Шварца много говорится про Германа.

3-4 февраля 1946 г.: «…А в двенадцать приехал Юра Герман. Он прочел за ужином отрывок из своего романа. Интересно, весело, уютно, в меру точно, в меру мягко…».

27-28 апреля 1946 г.: «…Он умеет создавать в своих вещах (как и Каверин) уютную, как бы диккенсовскую обстановку. Только у Германа она ближе к жизни, и люди сложней, и любовь не столь пасторальная…».

А вот про личные отношения — запись 3 ноября 1953 г.: «… Друзьями не были мы никогда. Я в свое время, еще до войны, испугался некоторых не темных, а уж слишком ясных его черт, и мне с тех пор с ним неловко. Он обладает тем бесстыдным бешенством желания, которое украшает мужчину, когда дело касается женщины, и уродует, когда вопрос идет о собачьей чуши. Все позволено в любви и на войне. Возможно. Но есть еще и мир. Он талантлив. С ним не скучно. В Москве было даже весело. Но, увы, мне с ним неловко».

К списку достоинств Юрия Германа можно прибавить еще и то, что он дал русской культуре двух талантливых сыновей — Алексея и Михаила. Первый снимает хорошие кинокартины, в том числе и по книгам отца. Второй немножко пошел по отцовской линии, тоже пишет книги — правда,

искусствоведческие и мемуарные.

Ну а про железного Феликса — почему нет? Жил на свете такой человек Дзержинский — хороший, плохой, не важно. След в истории оставил заметный — значит, по-своему, замечательный человек. А жизнь любого заметного в истории человека должна быть увековечена. Что Юрий Герман и сделал в меру своих способностей.

Гершензон М. А., писатель и переводчик

Давно, когда я был маленьким, радио в жизни в людей значило не меньше, чем теперь телевизор. Я очень хорошо помню, как буквально замирал от тревоги, слушая радиопостановку о Робин Гуде, самое ее начало — там, где два монаха едут на лошадях через лес. Шум деревьев, лесные шорохи, пересвист птиц, напряженный разговор всадников — все это создавало атмосферу беспокойства, чуть ли не страха; предчувствие грозящей опасности пугало и одновременно притягивало — хотелось спрятаться, убежать и невозможно было не слушать дальше. Потом появлялся Робин Гуд, начинались веселые приключения и напряжение исчезало.

Сама повесть Михаила Гершензона о Робин Гуде, по которой была сделана постановка, мной прочитана много позже. Читал я ее уже иными глазами, чем в детстве, уже замечая хитрости и всяческие тонкости мастерства, без которых печатный текст превращается в казенщину и тоску; читал глазами читателя, которому важно не только «что», но и «как».

Ведь бывает, в детстве книгу проглатываешь взахлеб, она врывается в твой мир, как комета, а потом, годы спустя, перечитывая книгу взрослым, замечаешь, как беден ее язык, как невзрачен он и убог, и герои в ней не люди, а манекены.

Вообще очень важно, как автор делает вещь, и особенно вещь для детей. Если книга сделана мастерски, если писатель чувствует, что именно этого слова требует эпизод или фраза, то он выигрывает у возраста, книга перерастает детство и становится достоянием всех. Андерсен, Кэрролл, Стивенсон, Марк Твен, Лев Толстой, Платонов, Евгений Шварц. Примеры можно множить и множить.

Стрела «воткнулась в землю, дрожа от злости».

«Дрожа от злости» — это находка. Таких находок у Гершензона много. Почти вся книга про Робин Гуда состоит из находок. Гершензон — человек большого литературного вкуса. Это для писателя много значит. И тем более — для читателя.

Вкус автора виден с первой же строчки, с первого предложения, как видны безвкусица и халтура. Ни того, ни другого не скроешь от умного, внимательного читателя.

Но по-настоящему я оценил талант и мастерство Гершензона, когда читал «Сказки дядюшки Римуса» Джоэля Харриса.

Мы не знаем, как звучат эти сказки в оригинале. Язык, на котором они написаны, настолько сложен и дик, столько вобрал он в себя ломанных, искаженных слов, которыми изъяснялось

между собой местное негритянское население, жившее в позапрошлом веке по берегам Миссисиппи, что переводить его значит примерно то же, что со старофранцузского Вийона или Рабле. Или переводить на английский наших Бориса Шергина и Степана Писахова с их северным хитроватым говором.

Сам Джоэль Харрис, писатель и фольклорист, сказал о своей книге так:

«Моей задачей было передать легенды в их оригинальной простоте и в тесной связи с причудливым диалектом».

Поэтому писатель Михаил Гершензон эти сказки не совсем перевел, он их просто пересказал по-своему, словами, понятными нашим уху, уму и голосу. Точно также сделал позже Борис Заходер, переводя-пересказывая «Алису в Стране Чудес», «Мэри Поппинс» и «Винни-Пуха». Главное в переводе — не буква, главное — передать суть.

Имя Михаила Абрамовича Гершензона можно смело ставить на обложку «Сказок дядюшки Римуса» рядом с именем Джоэля Харриса. Он этого заслужил.

Книгу Харриса Гершензон перевел еще до войны, в 1936 году. Перевод Гершензона давно стал классикой. По-моему, невозможно уже представить Братца Кролика, Братца Лиса, Матушку Мидоус, Братца Черепаху и других персонажей сказки иначе, чем они существуют у Гершензона.

Если «Алиса в Стране чудес» может жить и читаться в переводах Демуровой, Щербакова, Набокова и так далее, и во всех она одинаково интересна, то со «Сказками дядюшки Римуса» такое вряд ли получится.

> — Эй, там, погоди, Братец Кролик! — сказал Лис. — …Мне с тобой поболтать охота.
>
> — Ладно, Братец Лис. Только ты оттуда кричи, где стоишь, не подходи ко мне близко: блох у меня сегодня, блох!

Эти «эй, там, погоди!» и «блох у меня сегодня, блох», органически вписывающиеся в разговор двух вечных соперников, Братца Лиса и Братца Кролика, сродни знаменитому «А вот она я!» Наташи Ростовой.

Я не знаю, почему это хорошо. Хорошо, и всё. Талант не подлежит объяснению.

А звуки, которыми буквально наполнена книга о Братце Кролике, — все эти «блям», «блип», «керблинк», «липпити-клиппити», издаваемые то дверьми, то лягушками, то коровьими рогами о ствол дерева, то водой, то лапами по пыльной дороге.

Ситуации, в которые попадают герои харрисовских историй,

знакомы нам по множеству вариаций. Подобных сказочных сюжетов в фольклоре народов мира хоть пруд пруди. Но веселость и легкость, с которыми они поданы нам Харрисом-Гершензоном, я думаю, не имеет аналогов.

Вот обычные с виду фразы:

> — Здравствуй, Братец Кролик! Ты-то как поживаешь?
> — Да так, ничего, спасибо, Братец Медведь, — говорит Кролик.

Приветствие, вроде бы, как приветствие. Вроде бы, да только не так. Братец Кролик ведь произносит эти слова, будучи подвешенным на веревке к верхушке дерева. Ничего, мол, нормально, вишу себе помаленьку. И Медведь, он тоже ведь не удивился ничуть, увидев висящего Кролика. Как будто это дело обыкновенное.

Из таких «вроде бы, да не так» состоит эта небольшая книжка. Не удержусь, чтобы не сделать еще несколько выписок.

> Вернется (Это про Братца Колика. — *А.Е.*), сидит у огня, газету читает, как полагается семейному человеку.

> Как-то ночью Братец Опоссум зашел к Братцу Еноту; опростали они большую миску тушеной моркови, выкурили по сигаре, а потом отправились погулять, посмотреть, как поживают соседи.

> Пролетал мимо Братец Сарыч. Увидал, что Лис лежит как дохлый, — дай, думает, закушу дохлятинкой.

> Так вот, Братец Кролик постучался в крышу и спросил, дома ли хозяин. А Братец Черепаха ответил, что дома.

В последней фразе тоже скрытый подвох. Ведь крыша дома Братца Черепахи не что иное как черепаший панцирь.

Про Джоэля Харриса мне известно немного. Писатель, собиратель фольклора американских негров. Годы жизни — 1848–1908. Образ дядюшки Римуса писателем не придуман. Действительно, у Джоэля Харриса был знакомый негр, которого звали Тирель; с него-то и списан старый добрый слуга, рассказывающий мальчику Джоэлю бесконечные поучительные истории. Тирель был рабом на плантации в штате Джорджия, от него-то Харрис и записал множество негритянских сказок, легенд, песен и поговорок.

Наиболее живо и интересно про Джоэля Харриса рассказал Марк Твен в «Жизни на Миссисиппи».

Русский соавтор книги про Братца Кролика, писатель и переводчик Михаил Абрамович Гершензон погиб в 1942 году на передовой, в бою: повел за собой батальон, встав на место убитого командира.

Михаил Гершензон много чего успел сделать как писатель и переводчик. В число его работ входят книги о Салтыкове-Щедрине и о естествоиспытателе Фабре, переводы английских поэтов-романтиков и рассказов и легенд Вашингтона Ирвинга.

Но лучший памятник этому замечательному писателю и смелому человеку — его книга про Братца Кролика.

Где ты, Братец Кролик?
Сидишь на крылечке,
Куришь сигару,
Пускаешь колечки?

«Гиперборей»

Лучше Георгия Иванова про журнал и литературное сообщество одного имени с печатным изданием трудно что-либо написать — впрочем, строгие литературные дамы Надежда Мандельштам и Анна Ахматова иначе как очернительством мемуары Г. Иванова не называли. Поэтому цитирую очернителя:

> Зимою 12-го — 13-го года каждую пятницу в квартире М. Л. Лозинского на Тучковой набережной происходили собрания «Гиперборея». «Гиперборей» — ежемесячник стихов и критики, как значилось на титульном листе, был маленький журнальчик — 32 страницы в восьмую долю. Печаталось экземпляров двести. Расходилось… хорошо, если четверть… Подписчики вместе с сотрудниками собирались в большом кабинете с желтыми кожаными креслами, толстым ковром и огромным окном на Малую Невку, Тучков Буян, бесконечный ряд парусников и барок на фоне красного зимнего заката… Сначала приходила мелкота… Мэтры прибывали позже, по-генеральски… С царскосельским поездом приезжали супруги Гумилев и Ахматова. Вбегал Мандельштам и, не здороваясь, искал «мецената», который бы заплатил за его извозчика. Потом бросался в кресло, требовал коньяку в свой чай, чтобы согреться, и тут же опрокидывал чашку на ковер или письменный стол. Мандельштам вечно мерз, шубы не имел, кутался поверх осеннего пальто в башлыки или шарфы, что плохо помогало. Однажды он ехал с Гумилевым в «Гиперборей» на извозчике и вел какой-то литературный спор. Гумилев не заметил, что ядовитые реплики из-под башлыка становятся все реже и короче. И вдруг уже недалеко от гиперборейского подъезда на колени Гумилеву падает совсем бесчувственный Мандельштам. Споря, он замерз… Поэт Владимир Нарбут потом требовал себе медаль за спасение погибающего. Он уверял, что пока все без толку хлопотали над замерзшим, он догадался поднести к его носу трехрублевку. Близость столь крупной суммы будто бы и подействовала оживляюще на всегда безденежного поэта…
>
> Центральной фигурой гиперборейских собраний был, конечно, Гумилев. В длинном сюртуке, в желтом

галстуке, с головой почти наголо обритой, он здоровался со всеми со старомодной церемонностью. Потом садился, вынимал огромный, точно сахарница, портсигар, закуривал… Когда все в сборе, коллегия, т. е. Гумилев, Городецкий и Лозинский, удаляется в соседнюю комнату на редакционное совещание. Здесь решается судьба стихов, безжалостно мараются рецензии, назначается день ближайшего цехового собрания…

Так жили поэты-гиперборейцы, «и каждый встречал другого с надменной улыбкой». Закавыченное — цитата из Блока.

«Глоссалолия», поэма о звуке Андрея Белого

Был когда-то такой журнал «На посту», от него еще произошло выражение «напостовцы», ныне крепко забытое, — по аналогии с вохровцами, чубаровцами, комсомольцами и т. д. В 1927 году в этом самом журнале некто Евтихий Подгребщиков (наверняка псевдоним) напечатал длинный поэтический опус под названием «Наставления советскому поэту». В нем Е. П. как бы учит своего сына на случай, если б тот решил стать поэтом.

«Бойся пуще огня…» — наставляет сына отец, и далее идет целый список, чего бояться. Бояться же надо следующего:

> Пастерначьей учености,
> Заумной кручености,
> Осипа Брика
> Лефоформалистики,
> Всеволода Иванова
> Беллетристики,
> Вячеслава Иванова мистики…

И так далее.

В этом перечне литературных грехов наряду с «ходасевическим эмиграчеством» и «эренбурговским рвачеством» порицается и «андрее-беловское чудачество».

Чудачество в жизненной = творческой биографии Андрея Белого всегда играло важную роль (знак «равно» поставлен по той причине, что у Белого, как, возможно, ни у какого другого писателя, жизнь и творчество шли в ногу настолько тесно, что не всегда бывает понятно, конкретное ли жизненное событие вытекает из творческого порыва или наоборот). Это и «мистические любови», и анонимные эпистолярные исповеди, и несостоявшиеся дуэли с Брюсовым и Блоком, и переквалификация в резчика по дереву на постройке Гётеанума, антропософского храма в Дорнахе (Швейцария). Это и обожествление ритма в прозе, и чудаковатые герои романов (сенатор Аблеухов, профессор Коробкин), и сами названия книг («Записки чудака», «Московский чудак»).

Поэма «Глоссалолия», созданная в 1917 году в Царском Селе и изданная в Берлине в 22-м, вполне вписывается в чудаческую вселенную Белого.

Вот три вырывки из поэмы — из вступления, начала и из

конца:

> «Глоссалолия» есть звуковая поэма. Среди поэм, мной написанных, — она наиболее удачная поэма. За таковую и прошу я ее принимать. Критиковать научно меня вполне бессмысленно.
>
> Глубокие тайны лежат в языке: в громе говоров — смыслы огромного слова; но громы говоров и мгновенные молнии смыслов укрыты метафорным облаком, проливающим из себя в волны времени линии неизливных понятий…
>
> И бирюзеющий купол молчал; вечерело; оттуда, где гребни Эльзаса туманно протянуты издали, тявкала пушка.
>
> Да будет же братство народов: язык языков разорвет языки; и свершится второе пришествие Слова.

Все сочинения Белого, и поэтические, и в прозе, — лишь текстовые иллюстрации к звукам; он сам неоднократно на этом настаивал (и ритмы его прозы — из этого).

«Примат звука — мой выношенный 30-летний опыт» (см. ответы писателя на анкету для сборника «Как мы пишем»: «Издательство писателей в Ленинграде», 1930. Переиздано: М.: «Книга», 1989).

«Глоссалолия» — чудачество гения, и, следовательно, с точки зрения здравого смысла, подлежит осмеянию.

Ибо «все подлинные художники слова подлежат осмеянию» (А. Белый).

Гоголь Н.

1.

Мне очень хотелось начать заметку о Гоголе с такой вот чисто литературной фразы: «Что больше всего мне нравится у Гоголя, так это его нос».

Понравилась она мне, конечно, своей двусмысленностью. То есть как бы нос это нос, то, что у каждого человека растет спереди, на лице. С другой стороны, здесь как бы намек на известное сочинение о носе майора Ковалева. А потом я решил, что фразу эту я опущу совсем. Потому что она не моя — заимствованная. Это чуть переделанное начало «Васи Куролесова» Юрия Коваля. Только у Коваля говорится не про Гоголя, а про черных лебедей, если кто помнит. И вообще, причем тут Гоголь-писатель, о котором я собрался писать. Поэтому считайте, что этой фразы не существует, а начинается заметочка по-другому.

Вот так: прозу Гоголя знают больше и лучше, чем прозу Пушкина. Во-первых, она считается очень смешной. Это отчасти верно. Во-вторых, она местами бывает страшной, как детские страшилки про черную руку или летающую по ночам простыню («Вий»). В-третьих, Гоголь много места уделяет еде, а какой же русский не любит вволю поесть.

У Пушкина всего этого тоже хватает — и смешного, и про еду, и страшного («Гробовщик»). Но у Гоголя это как-то выпяченнее, на виду, как на картинах Снейдерса в Эрмитаже («Рыбная лавка»).

Пушкин Гоголя очень любил, это хрестоматийная истина. Даже дарил Николаю Васильевичу сюжеты. И печатал его в своем «Современнике» в первую очередь («Коляска», «Нос»). Хотя других печатал не очень, потому что главной литературой считал не литературу художественную, а литературу факта: «Пишите просто собственные записки, не гоняясь за фантазиею и не называя их романом; тогда ваша книга будет иметь интерес всякой летописи, и произойдет еще та выгода, что вас будут читать люди не с намерением читать роман: ибо такое расположение духа в читателе гибельно для всего того, что вы почитаете лучшим в своем сочинении».

То есть читатель не должен в угоду литературным изыскам забывать о мысли, вложенной в книгу автором.

Гоголь же был, действительно, не облекателем каких-то

глобальных идей в доступную литературную форму. Он просто радовался живому слову, не обличал, но смешил, любил поесть и писал об этом, и прочее, и тому подобное.

А когда он попытался однажды поставить очередное свое сочинение на колеса христианской идеи, то вышло из этого невесть что, а именно «Выбранные места из переписки с друзьями».

И продолжение «Мертвых душ» было сожжено по этой причине. Как Саванарола когда-то внушил Ботичелли, что его картины полны язычества и противоречат истинам христианства, и художник, просветленный, сжег их во славу Господа, так и с Гоголем случилось нечто подобное.

Сложное явление — литератор. Лучше его почаще печатать. А то напишет он что-нибудь гениальное, и будет лежать этот шедевр невостребованным в столе, а затем придет писателю мысль, что написанное — ложь и неправда, и нате вам — щелчок зажигалки, и нету никакого шедевра. Напечатанную же вещь не сожжешь. Придется выкупать весь тираж, а денег у писателя, известно, — никогда не бывает.

2.

Более всего Гоголь не любил холод. Он всегда мерз, даже на жаре, летом, а потому, где бы ни появлялся, приказывал жарко натопить печь, кутался во все теплое и тем не менее согреться никак не мог.

Аксаков в «Истории моего знакомства с Гоголем» с удивлением вспоминает подсмотренный им момент работы писателя над рукописью какого-то из сочинений. Гоголь был в толстых женских чулках выше колен, в фантастических размеров и формы бабьем чепце и чем-то еще, столь же нелепом и поразительном.

Мы-то понимаем, что так автор «Ревизора» и «Мертвых душ» спасался от вечно мучившего его озноба.

Кстати, и причину своего бегства из России в Италию, в Рим, Гоголь объясняет хронической нелюбовью к холоду. То есть Россию и православие, которые он воспевал не единожды (см. хотя бы «Тараса Бульбу»), он по этой объективной причине легко меняет на Рим, оплот католицизма и папства.

«Настоящей родиной моей души» называет он в письмах этот город всех городов. В Риме же Гоголем написано главное его сочинение «Мертвые души». Самое русское и одновременно самое антирусское произведение великой русской литературы.

Василий Розанов в одной из своих заметок о Гоголе сравнивает последнего с Улиссом, создателем деревянного коня, сгубившего Трою:

> Так Гоголь, маленький, незаметный чиновничек «департамента подлостей и вздоров», сжег николаевскую Русь… «Илион» императора Николая он в самом деле обрек в уме своем «на сожжение» и начинал «Ревизором» и «Мертвыми душами» пожар едва ли только «художественно-бессознательно». Гоголь — великий творец фантаст; но припомним же, сколько в нем было преднамеренности, обдуманности, сколько было дальновидной хитрости в его хилом и странном тельце.

Обобщая, скажу: наверное, этот общественно-литературный поджог был для Гоголя еще одним способом, вроде чепца и чулков выше колен, спасти себя от того великого холода, который его мучил в России.

3.

Сам Гоголь был человек малообщительный и людей не очень-то уважал. Друзей у него было раз-два и обчелся, а те мемуаристы, кто позже кичился свой дружбой с автором «Мертвых душ», в большинстве своем откровенно преувеличивают.

> Я был и с Гоголем знаком.
> Ценю такую роль:
> Он как-то в цирке каблуком
> Мне отдавил мозоль…

— вот характерная для XIX века пародия на авторов таких мемуаров (в конкретном случае сочинитель пародирует воспоминания графа В. Соллогуба).

При царизме Гоголя ругали за то, что он писал не людей, а типы людей, обобщая человеческие слабости, недостатки и возводя их в некий отрицательный абсолют. При советской власти, наоборот, Гоголя за это хвалили и возвели на демократический пьедестал как чуть ли не певца революции. Как и Пушкина, которого советские критики сделали провозвестником будущего народного гнева, исходя из молчаливой цитаты, следовавшей в трагедии о царе Борисе вслед

за авторской ремаркой: «Народ безмолствует».

А Гоголя всего лишь тошнило от хамства, подхалимства, лени, скверных дорог, жульничества, тысячи других особенностей русской равнины, которые у любого здорового человека вызывают такие же судороги в желудке.

Поэтому, любя Россию и православие, он жил практически от них вдалеке, предпочитая вечерам на х. близ Диканьки классические венецьянские прохлады. Дело было в физиологии организма: у одних — аллергия на хамство и плохие рессоры брички; у других те же самые раздражители вызывают положительную реакцию.

Слава богу, сейчас уже не те времена, когда любое сочинение любого автора берут под социальный прицел. Гоголь — прежде всего писатель, большой писатель, возможно, лучший писатель, сказавший о нас такое, что другому никогда и не выговорить, просто не хватит слов.

4.

Василий Розанов всю жизнь корил Гоголя за «Мертвые души», «Ревизора» и другие его «антирусские» сочинения. Он считал Гоголя виноватым в том, что, опошлив русского человека-хозяина, «оноздрёвив» его, «очичиковив», окарикатурив до балаганного шаржа, он не понял его внутренней сути, надсмеялся над ним и заставил зубоскалить других. По Розанову, Гоголь — один из тех, кто толкал Россию на край той пропасти, в которую она, действительно, в конце концов угодила.

Вообще это свойство всякого культурного русского человека прошлого и позапрошлых веков — видеть в литературе и литераторах ответственных за повороты истории в худшую или иную сторону, за всевозможные перекосы в обществе и в его сознании, за настоящее и будущее России. Слава Богу, в нынешнем веке положение в корне переменилось. Литература утратила свои былые позиции врачевательницы, умиротворительницы, равно как и дьявола-искусителя широких народных масс. Сейчас она если и дьявол, то отнюдь не в плане общественно-политическом. Скорее уж в бытовом, интимном, каком угодно другом.

Гоголь у Ленина

В 1936 году М. В. Нечкина, будущий академик, а тогда скромный боец филологического фронта Академии наук СССР, выпустила книжку с очень интересным названием. «Гоголь у Ленина» — вот как она называлась, ни много ни мало.

Сразу представляется классическая история в духе Хармса: «Приходит как-то Гоголь к Ленину…» и так далее. На самом же деле книга посвящена гоголевским образам и цитатам, встречающимся в ленинских текстах. Так вот, будущий академик нашел на страницах Ленина двадцать четыре гоголевских типа, что же касается цитат из Николая Васильевича, то их в сочинениях Владимира Ильича насчитывается ровно сто двадцать пять.

Я по этому случаю предлагаю читателям следующую увлекательную игру. Пусть каждый возьмет с полки сочинения Гоголя и быстренько их перечитает с карандашом в руке. И отметит в сочинениях те места, в которых Гоголь цитирует или хотя бы только упоминает Ленина и его работы.

Читатель, отыскавший наибольшее число ленинских мест у Гоголя, будет считаться выигравшим и получит приз — хотя бы эту энциклопедию.

«Голубая книга» М. Зощенко

Честно говоря, даже и не знаю! В смысле, если трагическую историю пересказать обывательским языком, так, чтобы получилось смешно, то какая степень трагизма остается от нее в результате?

Вот любимое мое место из «Голубой книги» — вернее, одно из многих любимых мест. Про императора Суллу и цену в двенадцать тысяч динариев, которую он назначил за отрубленные головы его врагов. Помните сцену в приемной у императора?

— Сюда, что ли?.. С головой-то… — говорит убийца, робко стуча в дверь.

Раб докладывает об очередном визитере императору, который в сандалиях на босу ногу ставит пометки и птички на полях в списке жертв. Далее, после того, как входит убийца, держа в руках голову, происходит следующий диалог:

— Позволь, — говорит Сулла. — Ты чего принес? Это что?

— Обыкновенно-с… Голова…

— Сам вижу, что голова. Да какая это голова? Ты что мне тычешь?..

— Обыкновенная-с голова… Как велели приказать…

— Велели… Да этой головы у меня и в списках-то нет. Это чья голова? Господин секретарь, будьте любезны посмотреть, что это за голова.

— Какая-то, видать, посторонняя голова, — говорит секретарь, — не могу знать… голова неизвестного происхождения, видать, отрезанная у какого-нибудь мужчины.

Убийца робко извинялся:

— Извиняюсь… Не на того, наверно, напоролся. Бывают, конечно, ошибки, ежели спешка. Возьмите тогда вот эту головку. Вот эта головка, без сомнения, правильная. Она у меня взята у одного сенатора.

— Ну, вот это другое дело, — говорит Сулла, ставя в списках галочку против имени сенатора. — Дайте ему там двенадцать тысяч… Клади сюда голову. А эту забирай к черту. Ишь, зря отрезал у кого-то…

— Извиняюсь… подвернулся.

— Подвернулся… Это каждый настрижет у прохожих голов — денег не напасешься…

Сомневаюсь же я, процитировав эпизод, вот в чем. Допустим, мы заменим Суллу на Сталина… Или даже возьмем пример, более нам близкий по времени. Горный лагерь чеченских боевиков, и в помещении вместо Суллы Дудаев…

Будет ли смешное смешным, если время не успело загладить боль от произошедшей трагедии? Не кощунством ли будет смех, вытекающий из стилистики изложения?

Не знаю. Честное слово. А Зощенко я очень люблю. Это мой любимый писатель.

Гончаров И.

Его Обломов перерос из человека в человеческий тип. В школе мы Обломова осуждали, предпочитая ему деятельного трудягу Штольца. Лично я не променяю десяток Штольцев на один промятый обломовский диван. Хотя в Штольце, как во всех гончаровских героях, очень много симпатичных мне черт.

Главное достоинство Гончарова — отсутствие того утомительного, избыточного психологизма, которым грешила, грешит и, видимо, грешить будет русская литература.

Гончаров описывает — описывает детально, — рисует тщательную картину, не забывая ни про одну подробность, но вот зануднейших описаний человека внутреннего или длиннейших разговоров о вечном вы в его сочинениях не найдете. В этом, между прочим, его современность. Этому у него нужно учиться.

«Преобладание оптики над акустикой» — так охарактеризовал манеру письма Гончарова И. Анненский.

У Гончарова нет плаксивой сентиментальщины, нет богоискательства, мистики. Для кого-то это, может быть, минус, для меня — плюс. От героев Достоевского устаешь. От гончаровского Обломова — никогда.

Гончаров вырос из гоголевских одёжек. Но по объемности человеческих образов он много перерос их.

Все-таки у Гоголя не люди, а куклы, раскрашенные карикатуры на людей. У Гончарова людей можно пощупать, пощекотать, почувствовать, как в них бьется живая кровь, и не отбросить в сторону, наигравшись.

«Видел ли кто на свете белое дерево? — спрашивает у нас с вами Василий Розанов. — Белое, как сахар, как платьице на девушке в Христов день? И вот весь он, наш Гончаров, — такая же красота, белизна и успокоение. Вечная ему память».

«Гора Мборгали» Ч. Амирэджиби

Однажды, гуляя с друзьями по старым тбилисским улочкам, я увидел на доме вывеску: «Танцую я, танцуют все — кому хорошо, кому не». И рисунок: усатый розовощекий грузин в папахе весело отплясывает лезгинку.

Я читаю роман Чабуа Амирэджиби и вспоминаю эти слова. «Кому хорошо, кому не»…

Дед главного героя романа старый Иагор Каргаретели повесил в изголовье постели внука бумагу с надписью: «Господи, пошли мне беды, чтоб закалилась душа моя, но беды такие, чтоб бедствовал один я». Господь внял мудрым словам только наполовину. Беды пали не на одного Гору Мборгали, внука старого Иагора. По всей Грузии, как и по всей земле, прокатилось красное колесо, давя на своем пути людские тела и души.

И вот что еще завещал дед внуку: «Нравственный идеал содержит четыре добродетели — мужество, справедливость, сдержанность и разумность».

Гора Мборгали, чья судьба это цепь побегов из лагерей и тюрем, вспоминая дедов завет, рассуждает так: «Может, оттого я все время бегаю, что тюрьма и лагерь — это те места, где следовать всем четырем добродетелям или трудно, или невозможно… А может, наоборот? Тюрьма и лагерь — это то поприще, где цель жизни настоящего человека — блюсти эти добродетели?..»

Монументальный роман Амирэджиби — книга памяти.

Жизнь — это то, что помнишь. Остальное существование.

Осмысление трагического пути Грузии, ее истории и судьбы дается через описание судеб ее сынов, галерею которых мастерски разворачивает перед нами автор.

А еще это книга Исхода, книга бегства из плена египетского и от ложных кумиров времени. Ведь Гора по-грузински — Георгий; и вечное стремление героя к свободе — символический путь Грузии, страны святого Георгия.

Горький М.

Несмотря на лавры отца-основателя самого жизнеутверждающего метода в истории литературы — метода социалистического реализма, — Горький был человек улыбчивый и очень ценивший юмор. Юмор, правда, был у него несколько странный, черноватый, какой-то слегка кладбищенский.

Михаил Ромм вспоминает случай в Горках под Москвой, где жил в последние годы Горький. Знаменитый кинорежиссер снял тогда «Пышку» по Мопассану, и избранную группу киношников, участвовавших в проекте, направили в Горки к Горькому на встречу с Роменом Ролланом.

Вот прибывшие сидят, ждут классика французской литературы, атмосфера напряженная, хмурая, сам Горький почему-то не в духе. И чтобы разрядить обстановку, Ромм обращается к Алексею Максимовичу, которому его картина понравилась: мол, некоторые зрители говорят, что кино неправильное, и Франция в нем не Франция, и французы там не французы. Потому что все французы нечистоплотные, а в картине один из героев моется.

На что Горький Ромму и отвечает: «Это хорошо, что он моется. Вот могучая сила кино! Никогда не знал, что у Горюнова (актер, игравший героя, который моется. — *А.Е.*) такая волосатая спина, а вот узнал».

Далее кто-то из гостей спрашивает: «А как мы узнаем, что Ромен Роллан устал? Чтобы нам вовремя уйти».

Горький и на это дает ответ: «А он не будет стесняться. Он ведь скоро умрет, а человек, который скоро помрет, не стесняется. Устанет — встанет и уйдет».

Вот какой был весельчак, этот Горький.

Вообще же, смеховая стихия Горького то и дело пробивается и в его реалистических сочинениях, не давая читателю погрузиться в иссушающую серьезность.

А если честно, то очень жаль, что за последние пару десятков лет имя этого несомненного мастера оттеснено на задворки. Он достоин читательского внимания — и за книги свои, и за то, что он делал для русской литературы в не лучшие для нее времена.

Грибоедов А.

1.

Хотя официально реформатором русского литературного языка считается Карамзин, на деле оживили его два человека — Крылов и Грибоедов.

Это мнение Александра Сергеевича Пушкина, считавшего и того и другого главными своими учителями.

Они ввели в литературу живую речь, не скованную политкорректными нормами. В баснях первого и в комедии второго наконец-то заговорили на своем языке московские кумушки и питерские извозчики, картавящие по-французски хлыщи и пропахшие навозом крестьяне.

Судьба даровала Грибоедову жизнь странную и короткую — впрочем, прожитую поэтом блестяще.

Замечательна история дуэли Грибоедова с Якубовичем.

Красавица Авдотья Истомина, балерина, ученица Дидло, повздорила с графом Шереметевым, своим покровителем, и по уговору Грибоедова зашла на чашку чая к поэту домой, где тот проживал вместе с графом Завадовским. Последний был безумно влюблен в Истомину, и Шереметев об этом знал, поэтому счел случившееся за измену.

По совету Якубовича, знаменитого дуэлянта, Шереметев вызвал Грибоедова и Завадовского на «четверную» дуэль — четвертым участником дуэли был Якубович. Первыми выпало стреляться Завадовскому с Шереметевым, Грибоедову с Якубовичем, соответственно, — вторыми. Дуэль проходила на Волковом Поле осенью 1817 года.

Первый выстрел достался Шереметеву: пуля графа вырвала клок воротника на сюртуке противника.

«Он покушался на мою жизнь!» — в гневе воскликнул граф Завадовский и сделал смертельный выстрел.

«Вот тебе и репка», — сказал, глядя на мертвое тело, секундант Завадовского Каверин.

Из-за гибели участника дуэль Грибоедова с Якубовичем пришлось отложить, и состоялась она через год в Тифлисе.

Якубович, первоклассный стрелок, зная пристрастие Грибоедова к музицированию на фортепьяно, прострелил противнику ладонь левой руки и повредил тому мизинец. Этот-то скрюченный мизинец и помог опознать обезображенное до неузнаваемости тело поэта, когда последний пал жертвой

обезумевшей мусульманской толпы в Тегеране летом 1829 года.

А потом была дорога в Арзрум, и Пушкину, встретившему на горном перевале арбу с покойником, на вопрос: «Кого там везут?» — скажут в ответ: «Грибоеда».

2.

Восточная, вернее мусульманская, тема нынче актуальна как никогда. Известные всем события — Чечня, Палестина — тому причиной. Впрочем, и во времена Грибоедова тема эта волновала умы людей. Более того — возможно, что не будь тех знаменитых кавказских рейдов генерала Ермолова, не было бы нынешней злобы чеченцев к русским, не было бы мертвых русских мужчин и женщин, погибших от ножа, фугаса, автомата Калашникова и прочих разновидностей орудий убийств, которые чеченская сторона с выгодой покупает на оборачиваемые в той же России деньги.

Вот как хотелось видеть трагические тегеранские (не чеченские) события 1829 года российскому правительству (из сообщения тогдашнего министра иностранных дел командующему Кавказским корпусом):

> При сем горестном событии (гибель Грибоедова. — *А.Е.*) его величеству отрадна была бы уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному и бесчеловечному умыслу и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам усердия покойного Грибоедова, не соображавшего поведение свое с грубыми обычаями и понятиями черни тегеранской…

Вот так. Вышел господин Грибоедов и в одиночку, по глупости, иначе говоря — опрометчивости, попёр на толпу мусульманской черни. Дурак был, вроде Чацкого из своей комедии. Не рассчитал сил. За это и поплатился.

Примерно то же самое было и в достопамятные советские времена, когда чечен (не тегеранец) и русский были братья навек и всякие там отдельные мордобои, переходящие в смертоубийство и поножовщину, не имели, якобы, под собой ни исторических, ни национальных корней.

Чего-то меня понесло в политику. Наверное, насмотрелся балабановских фильмов, которые, кстати, мне очень нравятся, в особенности — «Война». Возвращаясь же к Грибоедову, сообщаю: у автора хрестоматийного «Горя от ума», кроме этого самого «Горя», есть не менее достойные сочинения. Стихотворение

«Лубочный театр», например. Вот какое у него примечательное начало:

Эй! Господа!
Сюда! сюда!
Для деловых людей и праздных
Есть тьма у нас оказий разных:
Есть дикий человек, безрукая мадам…

Вот на этой-то безрукой мадам я и ставлю не точку, а многоточие, надеясь, что заинтересовал читателей.

Григорьев Г.

Питерскому поэту Геннадию Григорьеву однажды я посвятил рассказ. Историю про человека в противогазе. Привожу его целиком, благо рассказ короткий.

Чтобы и другим было весело

Поэту Гене Григорьеву

Прогуливаюсь я с утра возле дома, а навстречу мне мой сосед Морковкин.

— Здравствуйте, — говорю, — Иван Иваныч, как внуки?

Морковкин смотрит как-то подозрительно косо, а сам все к стеночке, к стеночке — а потом как припустит от меня рысью к парадной, только пятки, фигурально говоря, засверкали.

Я не понял, пожал плечами, гуляю дальше.

Тут навстречу мне Булкина Елена Антоновна, соседка из квартиры напротив. В руках авоська, на голове шляпка.

— С добрым утречком, Елена Антоновна, — говорю. — Уже с покупками? Донести не помочь?

Соседка тоже повела себя непонятно — прижала к груди авоську и нервно засеменила к дому. И пока бежала до двери, все оглядывалась на меня из-за плечика и все чего-то бормотала себе под нос.

Ладно, думаю, всякое под старость бывает. Не с той ноги, может, встала или в магазине обвесили.

Тут навстречу мне первоклассник Федька, моего друга Янушковского сын.

— Ну что, — говорю, — брат Федор, опять двойка?

Федька меня увидел, весь затрясся, стоит и плачет.

Я его, как мог, успокоил, а сам стою возле скамейки и размышляю. Что ж, думаю, все от меня шарахаются? Ну надел я противогаз, подумаешь! Может, у меня веселое настроение, и хочется, чтобы и другим было весело.

В основу этой миниатюры положен реальный случай. Дело в том, что в конце 80-х годов вечный бунтарь Григорьев приобрел

скандальную славу, явившись в противогазе на поэтический семинар Александра Кушнера, который в те времена посещал. Со стороны Григорьева это был акт протеста против затхлой атмосферы петербургской поэтической секции, где настоящему поэту вроде Григорьева нечем дышать. Так он и просидел весь вечер, парясь в своей резине. Вообще-то поэт Григорьев что в противогазе, что без — разницы практически никакой, и если бы дело происходило где-нибудь в писательском кабаке, никто бы не обратил внимания. Но дело происходило на семинаре, и акцию бунтующего поэта присутствовавшие восприняли адекватно. Даже был поставлен вопрос об исключении хулигана Григорьева из членов писательского союза, в котором тот состоял. Но все потом как-то сгладилось, из писателей Гену не исключили, скажу больше — его фигура приобрела мифологические черты, стала чем-то вроде святого Георгия, который с копьем и в противогазе сражается с многоглавым змеем.

Гроссман В.

Сила Гроссмана в его человечности. Не декларируемой, не выставляемой напоказ — какой там показ, последнее десятилетие жизни писателя его не то чтобы печатать, о нем и упоминать-то многие не решались. Он был зачумленным автором. У него «репрессировали» роман, именно таким словом назвал акт изъятия рукописи романа «Жизнь и судьба» Д. Поликарпов, тогдашний завотделом культуры ЦК, самолично и приложивший руку к этому постыдному акту.

«Справедливость в человечности, — писал Гроссман в 1958 году своему другу, переводчику Семену Липкину. — Жалость к падшим, к слабым, виновным».

В этом смысл творчества этого большого писателя. Именно так следует понимать его писательскую жизнь и судьбу.

Замечательный очерк о Василии Гроссмане написал другой писатель, тоже уже покойный, Борис Ямпольский. Он писал:

> Гремели литературные диспуты, симпозиумы, форумы, кипела муравьиная суета, паучья толкотня, подымали на щит жуликов, ловчили, печатали миллионными тиражами и награждали Государственными премиями книги, набитые ватой, которые не только через год, но уже в дни награждения читали только обманутые, дезориентированные, сбитые критическим шумом фальшивомонетчиков, а Василий Семенович Гроссман в своей тусклой, сумрачной комнатке выстукивал одним пальцем на старой разбитой машинке слова, которые будут сжимать сердца людей и через сто лет.

Это не красивая фраза. Откройте его роман, почитайте его рассказы и прислушайтесь к своему сердцу. Сердце редко обманывает.

Когда Гроссмана хоронили, вспоминает Борис Ямпольский, не было того привычного, торжественно-печального настроения, которое обыкновенно бывает на похоронах писателей. Все было как-то тихо, таинственно, и одна женщина вдруг сказала: «Так хоронят самоубийц».

«Он и был самоубийца, — добавляет Ямпольский далее, — писал, что хотел и как хотел, не желал входить в мутную общую струю».

Вот это нежелание подделываться под время, смешивать себя

с общей мутью бескостных слов и отличает писателя Гроссмана от большинства его пишущих современников, поднимает писателя над эпохой и делает его приближенным к вечности.

Сам же Гроссман говорил о своем творчестве просто: «Я пишу только то, что видел, а выдумать я мог бы что угодно».

Д

«Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней» В. Брюсова

Книга Брюсова, хотя и имеет подзаголовок «От Тютчева до…», на самом деле посвящена современной поэзии и поэтам (современным на то время, естественно, то есть на 10-е годы XX века).

Брюсов в книге умен и едок, он умеет выделять строчки, украсившие бы любой бармалярий, и сопровождает их забавными комментариями.

Вот, к примеру, он пишет в очерке про поэта Минского (ученика Надсона) о его стихотворении «Гимн рабочих», цитируя из стихотворения следующие «незаурядные» строки:

> Станем стражей вкруг всего земного шара,
> И по знаку, в час урочный, все вперед.

Далее идет брюсовский комментарий: «Образ рати, ставшей вокруг земного шара, хотя бы по экватору, и, по знаку, шествующей вперед, т. е. к одному из полюсов, где все должны стукнуться лбами, — высоко комичен. По счастию, пролетарии не приняли ни предложения Минского, ни его гимна».

Большинство характеристик поэтов в книге содержательные и уважительные. Еще бы не писать уважительно о таких явлениях русской поэзии, как Анненский, Белый, Блок, Сологуб, Вяч. Иванов, Бунин.

Но и о молодых на то время Кузмине, Волошине, Цветаевой, Бенедикте Лифшице, Эренбурге Брюсов пишет как о будущем современной поэзии и находит для них поощрительные слова.

А где как не в брюсовской книге вы можете прочитать про таких поэтов минувших дней, как Н. Животов, А. Булдеев, Н. Сакина, А. Котомкин? Да нигде. Разве что у героев Хармса вы найдете созвучные им фамилии.

Вот что пишет язвительное перо Брюсова про книгу Булдеева «Потерянный Эдем»: «Книга г. Булдеева издана очень мило, чуть что не изящно, во всяком случае старательно; рисунок обложки умеренно модернизирован, а ее заглавие так и хочется перевести на французский язык: „L'Eden Perdu“».

Вот на этом самом «Perdu» я позволю себе закончить заметочку о брюсовской книге.

Дали С.

Великий и ужасный Дали, сражавший пиками своих пиратских усов ветряные мельницы реализма. Когда художник в 1934 году первый раз посетил Америку (его картины уже пользовались там безумным успехом и покупались, благодаря выставкам 1931-34 годов), он спустился на берег Нью-Йорка, опоясанный спасательным жилетом и с длинным, двадцатиметровым батоном хлеба в руке. За ним шла Гала, жена художника, молчаливая словно сфинкс, а сам Дали протягивал свободной рукой репортерам ее фотографию, где она снята в шляпке с бараньими котлетами. Никто ничего не понял. Тогда Дали через переводчика объяснил, что на свете любит всего две вещи: жену и котлеты из баранины, — и не представляет их порознь. Когда кто-то из журналистов удивился изображению Галы с жареными котлетами, Дали ответил: «Котлеты не жареные, они — сырые. Потому что Гала тоже сырая».

Вот таким непредсказуемым человеком был художник-искуситель Дали. Кстати, я заметил, что многие неординарные люди тяготеют к котлетам. Иосиф Бродский, нобелевский поэт, признался как-то, что для полного счастья ему нужно немного: чтобы рядом была кастрюля с котлетами и он мог спокойно таскать их оттуда одна за одной.

Американцы, когда приехал Дали, также не ударили в грязь лицом и устроили художнику большой сюрреалистический праздник в кафе «Красный петух» на 56-й улице. Внизу, на первом этаже, находился макет быка с содранной кожей, в животе у которого мужчина с дочкой пили за столиком чай. На лестнице в неустойчивом положении стояла ванна с водой, каждую секунду готовая опрокинуться. Публика была тоже в соответствующих нарядах. Женщины были кто в короне из зеленых помидоров, кто в длинном вечернем платье, закрытом спереди и совершенно открытом сзади, кто с нарисованными на лице шрамами, из которых торчали булавки. Словом, оттягивались по полной. Сам Дали был в смокинге, с забинтованной головой и с дырой в том месте, где сердце. Дыра была подсвечена изнутри, и в ней виднелись женские груди в лифчике.

В Испании, у себя дома, художник также сумасбродствовал, как хотел. Жил он в замке, обмазанном характерной краской, по цвету не отличимой от экскрементов. Но это все, конечно, поверхность. В глубине он был художником, каких мало. Достаточно посмотреть его графику, а не безумные, эпатажные композиции, к которым пришпилено его имя, чтобы сказать: «Да,

он велик».

Д'Аннунцио Г.

В сентябре 1919 года итальянский писатель Габриэле д'Аннунцио с небольшим отрядом единомышленников занимает город Фиуме и учреждает в нем Карнарское государство. Дело в том, что Италия, в ходе 1-й мировой бойни присоединившись к союзу с Великобританией и Францией, в результате осталась с носом. То есть президент Вильсон, наобещав с три короба, в результате не дал союзникам с Аппенин ни клочка обещанного. Вот писатель д'Аннунцио, отождествив себя с обманутой родиной, и взял в качестве контрибуции хорватский городок Фиуме (нынешняя Риека), входивший до 1918 года в состав Австро-Венгерской империи.

Конституция Карнарского государства, написанная д'Аннунцио, такой же литературный памятник, как и многие его сочинения. Так, например, в статье 14 провозглашается символ веры нового государственного образования. Он короток: «Жизнь прекрасна». Музыка, в соответствии с 64-й статьей, объявляется «религиозным и социальным учреждением». Основная обязанность законодательной власти, по Конституции, — «говорить короче». Исполнительная власть избирается «из людей тонкого вкуса и отличных способностей».

Самое удивительное, что государство Габриэле д'Аннунцио продержалось целых полтора года. Лишь когда страны-союзники упрекнули власти Италии в попустительстве политическому авантюризму отдельных ее представителей, на д'Аннунцио стали наезжать. Поначалу мягко, потому что Муссолини негласно поддерживал правителя Карнарского государства. Но когда д'Аннунцио издал политический манифест, в котором… Впрочем, вот из него отрывки: «Франция не может вмешаться в это дело (Имеется в виду вооруженная интервенция против Карнарского государства. — *А.Е.*): она импотентна, как и все ее мужское население. Англия тоже не вмешается, ибо в Ирландии, Индии и Египте ее трясет сифилитическая лихорадка. Что же касается до убогого (Вильсона. — *А.Е.*), то ему скоро придется сдаться…» Согласитесь, сказано смело.

Короче, после этой д'артаньянско-д'аннуцианской бравады правительство Италии скрепя сердце (как же, обидели и Францию, и Англию, и самого Вудро Вильсона!) направляет к Фиуме войска, а с моря делает по дворцу, где вершит государственные дела д'Аннунцио, несколько залпов из карабельных пушек.

И вот тут-то начинается самое интересное. Женщины, что

жили в домах, окна которых выходили на море, все, как одна, повыскакивали на балконы с грудными младенцами на руках. Пусть погибнут они и их дети, но родное Карнарское государство не отдаст своей независимости!

Д'Аннунцио поступает мудро. Кровь христианских младенцев для него важнее, чем власть. «Что с того, что я побежден в пространстве, — говорит он, — если меня ждет победа во времени». И оставляет город.

Далее Муссолини дарует д'Аннунцио титул князя, тот, в свою очередь, в благодарственном письме Муссолини дарует последнему титул дуче, кем тот и становится вскоре, возглавив итальянских фашистов.

Д'Аннунцио в нашей литературе считается проповедником сильной имперской власти (вот откуда родом питерские фундаменталисты во главе с Крусановым и Секацким!). Да, он любил власть, но — читай выше — в момент испытания совестью поступает по-христиански. Он, которого папская церковь однажды едва не объявила антихристом!

Умер писатель в 1938 году. Осуществив на деле летучую фразу Гюго, которую д'Аннунцио любил повторять при жизни: «Хватит загромождать собою свой век».

Два Петра

Сидячий сиднем, гладкий и бесполый,
он дум не полн великих, ибо — полый.
И сны ему державные не снятся.
Туристы многие желают рядом сняться.
Французы, англичане, нидерландцы,
новозеландцы, шведы и посланцы
Российской Федерации субъектов,
а также неопознанных объектов.
Вот, говорят, что вроде не пристало,
но ничего: сидит без пьедестала.
Иные залезают на колено,
а он молчит и терпит, как полено.
Как хочется, как хочется потрогать
лицо его, похожее на ноготь.
Поскольку монументы не кусаются,
иные в самом деле прикасаются.

Это ехиднейшее антишемякинское стихотворение написано ехиднейшим питерским романистом Сергеем Носовым, и оно действительно замечательно сделано — со всех точек зрения. Умный Сережа Носов явно противопоставил субтильную шемякинскую почти что восковую персону фальконетовскому Медному всаднику, которого, попробуй, коснись какой-нибудь туристишка-лягушатник и которому, рискни, залезь на колено какой-нибудь засранец посланец из бывших республик СССР. Медный Петр, оживающий по ночам, настигнет и выбьет дурь и последние остатки ума из любого гордого человека, как выбил их из пушкинского Евгения, посмевшего выкрикнуть в пароксизме ненависти свое яростное «Ужо тебе!».

«Двенадцать» и «Скифы» А. Блока

«„Двенадцать“ появились впервые в газете „Знамя труда“, „Скифы“ — в журнале „Наш путь“. Затем „Двенадцать“ и „Скифы“ были напечатаны в московском издательстве „Революционный социализм“…» — находим мы в первой биографии Александра Блока, написанной М. Бекетовой и вышедшей спустя год после смерти поэта.

В дневниковых записях самого Блока за 1918 года читаем:

> Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, Англия, Франция. Мы свою историческую миссию выполним.
>
> Если вы хоть «демократическим миром» не смоете позор вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит, вы уже не арийцы больше… Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольется Восток.
>
> Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины… Мы — варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары…

Это запись от 11 января. А 30 января написано стихотворение «Скифы», в котором ритмом и стихотворным размером переданы те же самые мысли.

«Меня все невзлюбили. Как-то сразу возненавидели», — жаловался поэт после выхода поэмы «Двенадцать». Действительно, в литературных кругах поэму принимали либо восторженно, либо не принимали вовсе. К числу последних относилось большое число людей, которых поэт еще недавно причислял к кругу самых своих близких знакомых. Это его тяготило до самых последних дней.

Новая, революционная, власть отнеслась к «Двенадцати» равнодушно («Блока обидело еще то, что революция почти никак не откликнулась на „Двенадцать“». — Е. Зозуля. «Встречи». М., 1927), хотя отклики поэма нашла. «Конечно, Блок не наш, — писал Троцкий (правда, в 28-м году, когда поэта уже семь лет как не стало). — Но он рванулся к нам. Рванувшись, надорвался. Но плодом его порыва явилось самое значительное произведение нашей эпохи. Поэма „Двенадцать“ останется навсегда».

Можно бы, конечно, и кончить рассказ о книге на этой доброй

троцкистской ноте, но лучше дадим слово самому Блоку — как он сам, какими глазами видел свою поэму и какое сулил ей будущее. «Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее разложит и замутит все остальное; может быть, она не убьет смысла поэмы; может быть, наконец, — кто знает! — она окажется бродилом, благодаря которому „Двенадцать“ прочтут когда-нибудь в не наши времена».

Дельвиг А.

Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой,
Товарищ радостей минувших,
Товарищ ясных дней, недавно надо мной
Мечтой веселою мелькнувших?..

Эти строчки из послания Баратынского 1820 года перекликаются с пушкинскими:

И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых…

— написанными в 1831 году, когда Дельвига уже не было на земле.

Дельвиг сделался для русской литературы неким символом чего-то безвозвратно ушедшего, того яркого и ясного мира, который был и которого вдруг не стало, и время разделилось на золотое вчера и пасмурное сегодня, и стена между ними непреодолима на этом свете. Недаром Андрей Белый в «Петербурге» делает эти строки Пушкина лейтмотивом всего романа, повторяя их с печальной настойчивостью, когда говорит о поколениях отцов и детей.

Но мне больше по сердцу Дельвиг другой, живой, который снимет телефонную трубку и позовет тебя, по-юношески картавя:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла, яйц гнилых, —
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.

«Демон» М. Лермонтова

Художник Михаил Врубель, выставив на экспозиции «Мира искусства» в 1902 году своего «Поверженного Демона», продолжал работать над картиной даже на глазах публики и испортил ее. Наверное, «Демона» просто сглазили, или сам Демон навел на картину порчу. Точно также и Лермонтов, чья поэма послужила источником вдохновения Врубеля, работал над «Демоном» едва ли не всю жизнь — переделывая, подгоняя под условия времени, добавляя новые строфы, вычеркивая ненужные и т. д. Существует 8 авторских редакций поэмы, последняя закончена за несколько месяцев до смерти.

«Печальный Демон, дух изгнанья» был родствен и художнику, и поэту. Сначала молодой Лермонтов поселил Демона в отвлеченном мире, лишенном конкретных черт, и только после первой кавказской ссылки местом действия становится Грузия, а соперник Демона из Ангела превращается в жениха Тамары, молодого князя, «властителя Синодала». Природа становится осязаемой, описываемые места — узнаваемыми, поскольку списаны поэтом с натуры.

При жизни Лермонтова «Демона» так и не напечатали. Надежды были, особенно в 1841 году, когда поэму читали при дворе наследника. Специально ради этого поэт выпустил из поэмы крамольные, по его мнению, места и завершил «Демона» спасением души Тамары. Не помогло. Демон есть Демон, нераскаявшийся соперник Бога, и духовная цензура в России не могла допустить существования в печатном виде мятежного, вольнолюбивого сочинения.

Поверженный демон Врубеля отомстил художнику, наслав на него безумие, приведшее к смерти. Побежденный Демон Лермонтова проклял свои мечты и остался, как и был, в одиночестве — завещав свое одиночество своему создателю. А одиночество, как и безумие, приводит к одному результату.

Десять книг, которые потрясли XX век: мнение лидеров современного авангарда

Газета «КоммерсантЪ» решила повторить опыт Запада и предложить публике список лучших романов XX века. Только в отличие от подобной попытки в Соединенных Штатах число романов было сокращено до десятка и мнение высказывалось конкретными представителями современной пишущей братии, а не условным «интеллигентным» читателем. Поводырями стали известнейшие из известных ныне писателей — Владимир Сорокин и Виктор Пелевин.

Вот что выбрал Сорокин:

Джеймс Джойс. «Улисс»
Франц Кафка. «Процесс»
Владимир Набоков. «Лолита»
Андрей Платонов. «Котлован»
Томас Манн. «Волшебная гора»
Генри Миллер. «Тропик Рака»
Варлам Шаламов. «Колымские рассказы»
Луи Фердинанд Селин. «Путешествие на край ночи»
Уильям Берроуз. «Голый завтрак»
Джордж Оруэлл. «1984»

Виктор Пелевин, по сообщению «Коммерсанта», сопроводил свой выбор следующим комментарием: «Есть, — сказал он, — какой-то фашизм в том, чтобы задавать такой вопрос. Их не вспомнить десять, они появляются и исчезают. Нет десяти лучших, есть один из всех — лучший. Мы реально говорим о лучших романах, которые донеслись до нас за последние три года, может быть, пять лет. Потому что за XX век отвечают только Евгений Евтушенко, дай Бог ему удачи, и Андрей Вознесенский, будь он проклят, да еще академические институты».

Для Виктора Пелевина лучшими романами являются следующие:

Роберт Пирсиг. «Дзен и искусство ремонта мотоцикла»
Роберт Пирсиг. «Лайла»
Джон Фаулз. «Волхв»
Джон Фаулз. «Коллекционер»
Дж. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи»
Карлос Кастанеда. 1-я и 8-я книги
Марсель Пруст. «У Германтов»
Джозеф Уоллес. «Бесконечный жест»
Виктор Пелевин. «Чапаев и Пустота»

Владимир Набоков. «Дар»

Одиннадцатым номером он добавил собственную новую книгу, над которой работал в тот момент (как выяснилось в дальнейшем, это был роман «Generation П»). «Она, — сказал писатель, — реально все накроет и все объяснит. А если еще за нее мне и денег дадут, то все вообще будет замечательно».

Мой комментарий

Понятно, что очень трудно конкретному человеку, будь он даже самим Пелевиным, выражать мнение нескольких читательских поколений. Тем более что поколений этих за сто промелькнувших лет сменилось не одно и не два. На каждого человека влияют свои, какие-то очень личные книги, и, возможно, не отыщется в мире и двух читателей, на которых одинаково повлияло одно и то же произведение. Да и, пожалуй, как-то неловко говорить от лица всего человечества — ляпнешь про какого-нибудь Майн-Рида, над которым ты проливал слезы с 10 до 19 лет, и красней потом перед XXI веком.

В этом смысле Владимир Сорокин подошел к выбору более строго, более, так сказать, наступая на горло собственной постмодернистской песне — как солдат-пограничник, за плечами которого вся страна и от него одного зависят ее мир и покой. Наверное, ему правильнее объяснили задачу — назвать не то, что нравится ему лично, а те неординарные вещи, повлиявшие на судьбу века.

Виктор Пелевин, верный своей религиозной доктрине, увидел себя гигантом Чапаевым, кентавром всех времен и народов, и человечество ему представляется огромною вселенскою пустотой, из которой иногда конденсируются какие-то пыльные похмельные лица и, зевая, высовывают лиловые свои языки в поисках утренней опохмелки. Поэтому он и выбрал, полагаясь исключительно на себя и не видя вокруг себя ни одной публичной библиотеки.

А в общем-то, такой двоякий подход можно только приветствовать — во всяком случае, находишь в списках непривычные имена, какие-то мотоциклетные дзены и сразу понимаешь, что век, за которым мы опускаем занавес, состоял не из одних литературоведов.

P.S. Непонятно только, что Виктор Пелевин подразумевал под словом «накроет».

Детгиз

В 2007 году в Детгизе вышла моя новая книжка «Правило левой ноги». Это моя десятая книжка, и мне очень приятно, что вышла она именно здесь, в Детгизе.

Дело в том, что Детгиз — главное издательство моего детства, и, пожалуй, не было бы его — не было бы и меня как писателя. Когда нас, коломенских младшеклассников (я учился в 260-й школе на углу Лермонтовского и Садовой), привозили чуть ли не ежегодно на набережную Невы, где в то время находился Детгиз (Детлит), я специально экономил на школьных завтраках, чтобы приобрести в издательстве несколько новых книжек. А еще там был удивительный стенд, где стояли за стеклом книги моей мечты — «Страна багровых туч», «220 дней на звездолете», сборники «Миров приключений»… Сейчас, когда в стране не существует книжного дефицита, эти книги переизданы, может быть, по десятку раз, но тогда, в начале 60-х, их нельзя было найти даже в библиотеке.

Я совсем не хочу сказать, что приверженность к литературной фантастике берет начало из моих походов в издательство. Наверное, это свойство времени — облекать свою мальчишескую мечту в ту материю, которая имеется под руками. Так молодость 20-х годов свято верила революционным заветам. Мальчишки военных лет готовы были с игрушечным автоматом идти защищать родину. Мы, послевоенное поколение, повернули свое лицо к космосу. Я не говорю обо всех. Кто-то был увлечен морем. Кто-то мечтал о музыке. Тогда, в 60-е годы, вообще было повальное увлечение посещать какие-нибудь кружки — шахматы, фотография, моделирование, — кружки были даже при жилконторах, школьники увлекались всем, и отбою не было от желающих. Потом это у большинства проходило, но у кого-то задерживалось надолго.

Старая, еще советская формула, что фантастика — это литература мечты, до сих пор применима к детству. Очень хочется переделать мир, а где, как не в ней, фантастике, такое возможно сделать. Или так его изменить, чтобы ты, десятилетний подросток, почувствовал свою причастность к событиям, к которым в реальной жизни тебя взрослые на километр не подпустят.

Я не верю унылым людям, утверждающим, что фантастика это книги второго сорта. Что фантастика это поле, где буйным цветом цветет посредственность. Что есть литература, а есть фантастика, и они, как гений и злодейство, две несовместимые

вещи.

Фантастика — это наша молодость, это альфа и омега литературы. Это интересно, в конце концов, а интересно это значит — любимо.

Детская литература

Если бросить взгляд на литературу для детей в целом, то можно заметить, что в ней явно выделяются два разновеликих пласта. Это книги, специально написанные для детской аудитории, и книги, пришедшие в детскую литературу из литературы взрослой. За примерами второй группы далеко ходить не приходиться, они очевидны. Свифт, Дефо, Диккенс, Марк Твен, далее — многоточие. Наверное, это процесс естественный — возрастное снижение читательской планки, и ничего в этом обидного нет.

Ко второму пласту также можно отнести обширную группу книг, насильно переведенных в детские. Это книги, входившие в обязательные школьные программы и за счет этого перешедшие в разряд детской литературы. Типичный пример — «Как закалялась сталь» Н. Островского и «Молодая гвардия» А. Фадеева.

Чем первый пласт детской литературы отличается от второго? Тут тоже все относительно просто. В первом — главный герой ребенок, подросток, юноша. Или сказочный персонаж. Во втором детский персонаж более исключение, нежели правило. Если вспомним, у того же Жюля Верна несовершеннолетних героев в романах не так уж и много — Дик Сэнд, дети капитана Гранта. Наверное, встречаются и еще, но мне на память никто более не приходит.

Это все вопросы формальные, теперь главный вопрос: чем детская литература отличается от взрослой?

В родовом аспекте детская литература мало чем от нее отличается. Это те же проза, поэзия, драматургия. Отличие ее именно в слове «детская», т. е. в читательской аудитории, и, следовательно, в вопросе подхода.

Писатель, когда пишет для детской аудитории, сдерживает себя во многих вещах. Не следует давать затянутые психологические портреты. Не следует долго топтаться на одном месте — картинки должны меняться достаточно быстро. Не следует задерживаться на длительных описаниях пейзажа.

Но при всех этих ограничениях главное, на что писатель не имеет права, — это искусственно занижать художественный уровень произведения. То есть перестраивать себя на уровне языка и стиля. Нельзя искусственно обеднять язык, когда пишешь для детей. В этом случае пример Толстого и его «Детских рассказов» скорее отрицателен, нежели положителен.

И еще: детская литература должна быть абсолютно лишена того, что теперь называют политкорректностью. Она не должна

быть беззубой, стерильной или процеженной, как пища для младенцев. Иначе будет невозможен ни «Геккльбери Финн», ни «Старик Хоттабыч», ни даже Николай Носов с его Незнайкой.

Детские книжки Зощенко

Зощенко — писатель для взрослых. Но любой писатель для взрослых хотя бы раз в жизни обязательно напишет что-нибудь для детей. Если, конечно, он настоящий писатель. Возьмем, например, писателя Льва Толстого. Ведь он не только «Войну и мир» написал. У него целый том страниц на пятьсот — и весь состоит из детских рассказов. Вот что значит — настоящий писатель. А всё, я думаю, оттого, что в каждом настоящем писателе живет маленький озорной мальчишка, который наблюдает в щелочку за людьми и видит, кто из этих людей читал когда-то хорошие книжки, а кто не читал. Ведь взрослые бывают черствыми и унылыми в основном потому, что в детстве они мало читали хороших книжек.

Рассказы Зощенко читать очень весело. Они смешные и одновременно умные.

Возьмем, для примера, рассказ «Приключения обезьяны». Вот как он начинается:

> В одном городе на юге был зоологический сад. Небольшой зоологический сад, в котором находились один тигр, два крокодила, три змеи, зебра, страус и одна обезьяна или, попросту говоря, мартышка. И, конечно, разная мелочь — птички, рыбки, лягушки и прочая незначительная чепуха из жизни животных…

Трудно не улыбнуться, когда читаешь такое начало, правда?

Дальше, по ходу рассказа, обезьянка убегает из клетки, потому что фашистская бомба (действие происходит во время войны) попала прямо в зоологический сад и клетку опрокинуло воздушной волной. Потом обезьянка попадает в соседний город, ворует в магазине морковку — она же обезьяна, она же не понимает, что за морковку надо платить. За ней гонятся, и обезьянка, спасаясь от погони, попадает к мальчику Алеше Попову, который очень любил обезьян и всю жизнь мечтал за ними ухаживать. Мальчик приносит обезьянку домой, поит чаем и собирается воспитать ее как человека. А с Алешей жила его бабушка, которая сильно невзлюбила обезьянку за то, что та съела ее надкушенную конфету. И когда на другой день Алеша ушел в школу, она не стала за обезьянкой присматривать и нарочно заснула в кресле. Обезьянка вылезла через открытую форточку и стала прогуливаться по улице, по солнечной стороне. А в это время по той же улице, тоже по солнечной стороне,

проходил инвалид Гаврилыч. Он направлялся в баню. Увидев обезьянку, инвалид сперва не поверил, подумал, что ему показалось, потому что перед этим он выпил кружку пива. Но потом до инвалида дошло, что обезьяна-то настоящая, и решил он ее словить. Словить, снести на рынок, продать ее там за сто рублей и выпить на эти деньги десять кружек пива подряд. Но перед этим помыть обезьянку в бане, чтобы она стала чистенькая, приятненькая и ее легче было продать. Но в бане в глаза мартышке попало мыло, и она укусила инвалида за палец и убежала снова. И опять за ней погналась вся улица — мальчишки, взрослые, а за ними милиционер со свистком, а за милиционером престарелый Гаврилыч с укушенным пальцем и сапогами в руках. А мальчик Алеша Попов, который к тому времени уже обнаружил пропажу и сильно из-за этого опечалился, решил пойти прогуляться, развеять свою грусть и печаль. Вышел он со двора и видит — шум, крики, народ. А навстречу ему — его обезьянка. Алеша схватил обезьянку на руки и прижал к груди. Но тут из толпы вышел престарелый Гаврилыч, сказал, что обезьянка его, что он завтра хочет ее продать, и в доказательство предъявил народу свой укушенный палец. Нет, сказал на это Алеша, обезьянка его, Алешина, иначе с какой бы стати она прыгнула к нему на руки. Но тут из толпы вышел шофер, тот самый, который привез обезьянку в город, и сказал, что обезьянка принадлежит ему, но он, так и быть, подарит ее тому, кто так бережно и с любовью держит ее на руках, а не тому, кто хочет ее безжалостно продать ради выпивки.

Пересказ получился долгим и утомительным. Самого Зощенко читать веселее. Но на примере этого рассказа про обезьянку я хотел показать, как важно умную воспитательную идею окружить маленькими смешными деталями, а не подавать ее в голом виде, тряся при этом указательным пальцем.

«Детский остров» Саши Черного

Поэт Саша Черный вообще известен своим чадолюбием. Он доказывал это неоднократно и стихами, и прозой, и «Детский остров» — реальное тому подтверждение. Как и прозаический «Дневник фокса Микки». Но мы сейчас не о прозе, а о поэзии.

Самое вредное для детей — это плохие стихи. Главный же признак плохих стихов — это нравоучительство, проглядывающий сквозь строчки строгий палец наставника, указывающий, как надо поступать правильно, в какой руке держать вилку, зубную щетку и, соответственно, в какой руке не держать.

Так вот — у Саши Черного никакого пальца из стихов не высовывается. Там все много веселее и интереснее.

Разве мальчики — творог?
Разве девочки — картошка?

— спрашивает поэт Саша Черный у пугливых детей, которые думают, что главная профессия трубочиста — это кушать мальчиков и девочек на обед.

Советы детям он, конечно, дает. Очень, между прочим, правильные советы. Например, как лучше назвать котенка. Разве вам, если вы ребенок, придет в голову дать котенку имя Дзинь Ли-дзянь? Или назвать вашего котенка Пономарем? Вы и слов-то таких не знаете — «пономарь», — если вы, конечно, еще ребенок. Вот тут-то вам и понадобится помощь такого знатока интересных и новых слов, как поэт Саша Черный.

А еще он с удовольствием вам посоветует, чем кормить вашего домашнего поросенка.

Ведро помоев,
Решето с шелухою,
Пуд вареной картошки,
Миску окрошки,
Полсотни гнилых огурцов,
Остатки рубцов,
Горшок вчерашней каши
И жбан простокваши.

И, заметьте, советы у Саши Черного все хорошие. Не то что у какого-нибудь современного Григория Остера, у которого только

одни плохие.

«Детство. Отрочество. Юность» Л. Толстого

У великих даже промахи и огрехи не более чем признак величия и поэтому не подлежат обсуждению. Но все же трудно удержаться, чтобы не процитировать некоторые места автобиографической трилогии Толстого и не прокомментировать их с точки зрения нынешнего редактора.

«Я так увлекся перечитыванием незнакомого мне урока, что послышавшийся в передней стук снимания калош внезапно поразил меня» (стр. 101. Здесь и далее все номера страниц даны по изданию «Детство. Отрочество. Юность» в серии «Литературные памятники»). Современный редактор за «стук снимания калош» немедля поставил бы автора сочинения к стенке и проткнул его рабочим карандашом. А во времена Толстого прошло.

«Пройдя шагов тысячу, стали попадаться люди и женщины, шедшие с корзинками на рынок» (стр. 144). Фраза, в принципе, мало чем отличается от знаменитой чеховской пародийной: «Проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа». Современный редактор так же наверняка придрался бы к обороту «люди и женщины». «А женщины что, не люди?» — задал бы он вопрос автору и был бы, пожалуй, прав.

«Как будто все здоровье ее ей подступило кверху с такой силой, что всякую минуту угрожало задушить ее» (стр. 183). «Ее — ей — ее». За обилие однородных местоимений современный автор тоже бы получил нагоняй.

«Что я сказал, что у князя Ивана Иваныча есть дача — это потому, что я не нашел лучшего предлога рассказать про свое родство с князем Иваном Иванычем и про то, что я нынче у него обедал» (стр. 192). Сейчас четырехкратное повторение «что» в одном предложении подчеркивается красным цветом, а рукопись передается на доработку.

«Ее… лицо и ее… фигура, казалось, постоянно говорили вам: „Извольте, можете смотреть на меня“. Но, несмотря на живой характер…» (стр. 213). «Смотреть — несмотря» — два следом идущих одинаковых оборота также не поощряются.

Все это лишь избранные примеры, в книге их значительно больше. Вот и позавидуешь классикам за наивность и свободу выражения мыслей посредством слов во времена, когда страшная тень редактора не нависала над их мудрыми головами.

Диккенс Ч.

Во времена моего детства во всех витринах всех букинистических магазинов тогдашнего Ленинграда лежали покрытые пылью зеленые томики Чарльза Диккенса. Не дореволюционного, сойкинского, а советского, начала 60-х, выходившего в 30-ти томах. Тома Диккенса в начале 70-х уценивались до 10 копеек, и весь комплект продавался за 3 тогдашних рубля. Поэтому для меня Диккенс всегда ассоциировался со скукой, витринной пылью, литературой какого-то позавчерашнего дня. Переворот в моем отношении к Диккенсу произошел уже в 80-е годы, когда моя будущая жена всучила мне в руки «Дэвида Копперфильда» и сказала буквально следующее: «Если не прочитаешь, хер когда на мне женишься!». Я был вынужден взяться за этот многостраничный том. Результатом стали покупка вышеупомянутого зеленого многотомника и далее запойное чтение всех вошедших туда романов. Поэтому, говоря о Диккенсе, я говорю про него пристрастно.

У Диккенса хорошо практически все. И сентиментальные слезы его рождественских повестей, и гротескные фигуры злодеев, и фантастические описания существующих и несуществующих городов, и благородные поступки героев, и хэппи-энды его ранних романов.

Не помню точно, но, кажется, это фраза из Иосифа Бродского — о человечестве, которое деградирует исключительно потому, что не читает романов Диккенса. В этой мысли поэта-лауреата — суть такого общечеловеческого явления, как творчество писателя Диккенса. Дело в том, что его книги не просто книги. Как те капли из песенки Окуджавы, которые всех лекарств полезней, его книги помогают практически избавиться от недугов сердца. И от главной болезни — черствости, самой заразительной и опасной.

Садясь писать, я думал обойтись несколькими цитатами из книги Гильберта Честертона, сказавшем лучшие слова об английском классике, и на том успокоиться. В книжке Честертона, действительно, что ни страница, то ода моему любимому автору. А потом я вспомнил про грустные впечатления детства и решил написать по-своему. И, может быть, у меня получилось.

«Диккенс» Г. К. Честертона

Действительно, кому как не Честертону было браться писать о Диккенсе. Проза первого и романы второго родственны и близки по духу. Герои Честертона и Диккенса — чудаки, искатели истины, попадающие в невероятные ситуации и выбирающиеся из них пусть потрепанными, но всегда с честью и на коне.

Диккенс — главная литературная любовь Честертона. А когда человека любишь, прощаешь ему если не все, то многое.

Одну из главок книги о Диккенсе (о Пиквике и Пиквикском клубе) Честертон начинает с рассказа о слабости диккенсовского характера, выражавшейся в том, что буквально каждый мог вывести его из себя. Какой-нибудь безумец, вздумавший утверждать, что «Мартина Чезлвита» написал он, а не Диккенс. Мелкий репортеришка, тиснувший где-нибудь материал о том, что Диккенс не носит крахмальных воротничков. Писатель обижался на всех, стремился оправдаться перед любым глупцом и нахалом, когда надо было просто не обращать внимания.

Уже появление его первого романа, знаменитых «Записок Пиквикского клуба», было связано со скандалом. Дело в том, что Диккенс был взят издателем в качестве автора текста к серии картинок известного в то время карикатуриста Сеймура. После седьмого номера Сеймур застрелился, и Диккенс пригласил на его место художника Физа, чьи иллюстрации до сих пор украшают все издания этой книги. Вдова же художника, уже после того, как роман был написан и принес писателю заслуженную славу, подала на Диккенса в суд — якобы идея и замысел произведения принадлежат ее покойному мужу, а Диккенс — лицо второстепенное.

Неважно, чем дело кончилось. Я этот пример привел для того, чтобы показать, как мысль Честертона от малого поднимается до великого. Начало книги, говорит Честертон, Диккенс мог взять у кого угодно. Он больше, чем просто писатель. Он может написать все. Он вдохнул бы жизнь в любых героев. Ему достаточно любой фразы из любого учебника или даже с клочка газеты, чтобы на их основе сделать великую вещь. Подать идею Диккенсу все равно что подлить воды в Ниагару.

Честертон, анализируя творчество писателя, утверждает, что Диккенс не был писателем в привычном смысле этого слова. Он был создателем мифов, последним — и величайшим — из мифотворцев. Ему не всегда удавалось написать человека, но всегда удавалось создать божество. Его герои, пишет Честертон, как Петрушка или как Дед Мороз. Время на них не влияет никак.

Его книги о причудах вечной, неменяющейся души человека, ее странствиях, ее приключениях. Она, душа, есть центр мира. И Диккенс — самый человеческий из писателей.

«Дневник фокса Микки» Саши Черного

В Париже Саша Черный жил хорошо. Но случалось, что иногда грустил. И тогда сочинял такие, к примеру, стихи:

С девчонками Тосей и Инной
В сиреневый утренний час
Мы вырыли в пляже пустынном
Кривой и глубокий баркас.

Борта из песчаного крема.
На скамьях пестрели кремни.
Из ракушек гордое «Nemo»
Вдоль носа белело в тени.

Мы влезли в корабль наш пузатый.
Я взял капитанскую власть.
Купальный костюм полосатый
На палке зареял, как снасть.

Так много чудес есть на свете!
Земля — неизведанный сад…
«На Яву?» Но странные дети
Шепнули, склонясь: «В Петроград»…

Ну и так далее. Это грустное эмигрантское стихотворение называется «Мираж». Вообще-то, грусть для поэта примерно то же, что для растения дождь. Погрустит поэт, погрустит, и родится очередной шедевр. Но грусть — штука не вечная (и скучная, если говорить честно). Больше поэту пристало радоваться жизни, шутить, пить пиво, вино, коньяк (которые для поэтов тоже примерно то же, что для растения дождь), а в перерывах между этими легкомысленными занятиями писать смешную детскую прозу.

Почему смешную? Потому что — детскую. Детская проза не может быть не смешной. То есть быть-то, конечно, может (примеров хоть отбавляй), но тогда она автоматически переходит в разряд взрослой, которую пишут такие писатели, как небезызвестные Василий Прокофьевич, Анна Ивановна и Мария Петровна — злые старички и старушки из «Сказки о потерянном времени».

К счастью для себя и для всех, Саша Черный писал смешно.

Даже письма. Вот коротенький отрывочек из письма к знакомому:

> У нас здесь чудесно. Пилю, крашу, собираю хворост и думаю, что к концу лета впаду в такое первобытное состояние, что начну давать молоко…

Про детскую прозу и говорить нечего. Цитирую из «Дневника фокса Микки»:

> Почему, когда я себя веду дурно, на меня надевают намордник, а садовник два раза в неделю напивается, буянит, как бешеный бык, — и хоть бы что?! Зинин дядя говорит, что садовник был контужен(?) и поэтому надо к нему относиться снисходительно. Непременно узнаю, что такое «контужен», и тоже контужусь. Пусть ко мне относятся снисходительно.

А вот про цирк, оттуда же:

> …Потом летали тарелки, ножи, лампы, зонтики, мальчики и девочки.

А вот про возвращение в Париж после летнего отдыха на берегу моря:

> Простился с лавочницей. Она тоже скучная. Сезон кончился, а тухлые кильки так и не распроданы.

А вот что писал про детские книжки Саши Черного другой небезызвестный писатель тогдашнего русского зарубежья Владимир Владимирович Набоков:

> Ребенок бессознательно требует от книг изысканную простоту слога, — без сюсюканья и без пословиц, — и тщательную изящность иллюстраций.

Выделим во фразе Набокова три последних слова: тщательная изящность иллюстраций.

Ходожник Рожанковский проиллюстрировал книжку про фокса Микки не то что изящно — наверное, это образцовый пример того, как следует иллюстрировать хорошую детскую книгу. Плохую можно иллюстрировать как угодно, слишком большая честь для плохой книжки — быть украшенной изящными иллюстрациями.

Наверняка фокс Микки, когда увидел картинки к своему дневнику, лизал художника в обе щеки и вывихнул себе от

радости хвост.

Да и как тут не радоваться, если получилась такая изящная и смешная книжка про большую собачью жизнь.

Довлеющая строка

Бывает, или так выходит невольно, что автор пишет стихотворение ради единственной какой-нибудь строчки. Или нескольких строк. Вернее, пишет-то он стихотворение целиком и самому ему оно видится цельным, но в результате одна строчка начинает довлеть над прочими, вытеснять их из памяти и из текста, и получается, что стихотворная вещь ужимается до размеров строки. Сами по себе эти строки в пространстве существовать не могут, как плоды не могут расти без стебля. Стебель, фон, поддерживающий такую довлеющую строку, ее текстовое сопровождение, контекст, — вещь не видная, но структурно необходимая.

Впрочем, это слабое утешение. Автору, если он понимает внутреннюю трагедию текста, бывает порой обидно оттого, что вот он, поэт, трудится, как вол, над страницей, а от страницы остается всего какое-нибудь «И дольше века длится день» — да, гениальное, да, у всех на слуху, но почему всё остальное в тени? Почему всё другое у читателя пропадает в памяти? Хотя, возможно, это всего лишь ее дефекты? У одних она работает цепче, он помнит стихотворение полностью, а другие видят только яркие блики на поверхности стихотворной ткани.

Аналогичную мысль — о строках, довлеющих над другими, бросающих на другие тень, — я встретил в книге Дмитрия Быкова о «Пастернаке»:

> …Манера — особенно заметная в переводах — ради двух главных строк в четверостишии подбирать две первые полуслучайно, как бы проборматывая («Не буду бить в набат, не поглядевши в святцы» — ради осмысленного и главного: «Куда ведет судьба, пойму лет через двадцать»; ср.: «В родстве со всем, что есть, уверясь, и знаясь с будущим в быту», — достаточно случайные слова, — «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту»).

Пастернак, в данном случае, лишь пример — возможно, наиболее яркий, — подтверждающий мое наблюдение.

Домострой

Не надо путать домостроительство с домоводством.

Домостроительство божие есть правильное устроение дома, где живет человек, по законам, данным ему от Бога. То есть по заповедям Господним и советам наших отцов. Домоводство же это правильное ведение хозяйства в доме, уже построенном по божьим законам.

Все это довольно хитро и путано, и вот, чтобы в этих хитростях разобраться, в XVI веке в Москве благовещенский поп Сильвестр заново редактирует и называет тем именем, которое нам известно поныне, — «Домострой», — свод уже ходивших в миру законов правильной жизни. Полное название Сильвестрова сборника — «Книга глаголемая Домострой, имеет в себе вещи зело полезны, поучение и наказание всякому православному христианину, мужу и жене и чадом и рабом и рабыням». Делится «Домострой» на три части. В первой говорится о том, «како веровати» и «поклонятися». И «како царя чтити». Во второй — «како жити с женами и детьми и с домочадцы». В третьей — собственно «о домовом строении», то есть о домовом хозяйстве.

Регламентируется и раскладывается по полочкам в «Домострое» буквально все, всякая незаметная мелочь. «И пришед да сняв платейце, высушить и вымять и вытереть и выпахать хорошенько, укласть и упрятать, где то живет». Или: «А про всяку вину ни по уху, ни по видению не бити, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть, ни каким железным или деревянным».

Регламентируется даже праздничное обжорство — впрочем, нам бы такой регламент:

> С Пасхи в мясоед к столу подают: лебедей, потроха лебяжьи, журавлей, цапель, уток, тетеревов, рябчиков, почки заячьи на вертеле, кур соленых (и желудок, шейку да печень куриные), баранину соленую да баранину печеную, куриный бульон, крутую кашу, солонину, полотки, язык, лосину и зайчатину в латках, зайчатину соленую, заячьи пупки, кур жареных (кишечки, желудок да печень куриные), жаворонков, потрошок, бараний сандрик, свинину, ветчину, карасей, сморчки, кундумы, двойные щи.
>
> А к ужину подают из рябчиков студень, зайчатину верченую, да уток, рябчиков жареных, да тетеревов, баранину в полотках, зайчатину заливную, кур жареных,

свинину, да ветчину.

А еще в пасхальный мясоед к столу еду подают рыбную: сельдь на пару, щуку на пару, леща на пару, лососину сушеную, белорыбицу сушеную, осетрину сушеную, спинки стерляжьи, белужину сушеную, спинки белужьи, спинки белорыбицы на пару, лещей на пару, уху с шафраном, уху из окуней, из плотиц, из лещей, из карасей.

Из заливных подают: белорыбицу свежую, стерлядь свежую, осетрину свежую, щучьи головы с чесноком, гольцов, осетрину шехонскую, осетрину косячную.

«Домострой» как памятник общественного и частного быта широко использовался писателями — от Грибоедова до Гоголя и Островского. Гоголевские подробные перечисления всяких мелких вещей, хранящихся в домах и амбарах провинциальных жителей, взяты из «Домостроя». Старый московский быт, подробнейше описанный у Островского, тоже из «Домостроя». Лермонтовское бунтарство — также благодаря «Домострою», вернее — ему вопреки.

И еще — это дивный литературный памятник, заглядывать в который небесполезно и в наше время.

Драгунский В.

Жил-был такой Кондрат Тимофеевич Подвальчук, украинец с 1915 года. Служил он в страховой кассе, но душою был великий артист. Однажды, не вынеся мук безвестности, Кондрат Тимофеевич написал письмо в Горконцерт.

Прошу, просил он в письме, превратить меня в артиста гастрольных концертов и зарубежных поездок. И прилагал составленную им за ночь афишу с описанием собственных достижений. Вот она:

Кондрат Подвальчук!
Имитатор и звукоподражатель!
Без всяких инструментов!
Только при помощи ротового отверстия!!!
Подражает разных птиц и животных!
Не уступает известных Кобзонов и другие!!!
В зале смех и так до бесконечности!

Не то чтобы Кондрат Тимофеевич был фигурой совсем безвестной. В селе, где Подвальчук проживал, он пользовался определенным успехом. Особенно у мальчишек и пионеров. Они бегали за ним стайками и кричали: «Дяденька, хрюкни! Дяденька, хрюкни!». И очень его этим разозлевали.

Мы не знаем, что ответил Подвальчуку Горконцерт. Может быть, оставил его письмо без ответа. И сидит себе тихонечко Кондрат Тимофеевич в страховой кассе, имитируя при помощи ротового отверстия разных кошек, гусей и прочее. И никто о нем до сих пор не знает.

А вот писателя Виктора Драгунского представлять не нужно. Зачем представлять писателя, пишущего смешно. Не тужащегося, как некоторые, а просто пишущего как пишется.

Смех — великая сила и лекарство от большинства болезней. Смехом можно лечить от глупости, жадности и даже от сволочизма. И от много чего еще, включая плоскостопие и лишай.

> И тут я увидел, что все униформисты тоже засмеялись, и я похлопал по животу Жилкина, он стоял первым к публике, он наш председатель месткома, и когда я его похлопал, он прямо покатился со смеху, и лицо у него стало глупым и добрым, хотя в жизни Жилкин довольно сволочеватый старик.

Это из «взрослой» повести Драгунского «Сегодня и ежедневно». Повесть рассказывает про человека, чья работа — смешить людей. Про циркового клоуна.

В одном месте он говорит о себе так:

> Понимаешь, я какой-то странный, чокнутый, наверное. Мне хочется, чтобы они действительно смеялись. Наяву. Раз я клоун и раз я к ним вышел, они должны смеяться… Иначе я никуда не гожусь… Если они не смеются, если они не будут смеяться, когда я выхожу в манеж, можете послать меня ко всем собачьим свиньям. Меня вместе с моим париком, штанами и репертуарным отделом Главного управления цирков.

На самом деле клоун, о котором идет речь в повести, сам писатель Драгунский. До того, как начать писать, он был клоуном, был актером, был создателем, режиссером и бессменным руководителем театра литературных и театральных пародий «Синяя птичка».

Поэт Михаил Светлов на банкете после премьеры одного из спектаклей «Птички» поднялся из-за стола и спел на мотив знаменитой когда-то песенки:

> И Светлов — хорошо,
> И Бахнов — хорошо,
> Костюковский — хорошо,
> А Драгунский лучше!

Виктор Драгунский жил, всегда окруженный смехом. Он и родился-то не как все нормальные люди, вернее — не там: в Нью-Йорке! Даже не в Нью-Йорке — в «Нью-Йоркске», как значилось в домовой книге напротив фамилии жильца Виктора Юзефовича Драгунского, проживающего по такому-то адресу.

Свою первую книжку Виктор Драгунский выпустил в 48 лет. Называлась она «Он живой и светится». И сам рассказ, давший книге название, и другие рассказы сборника давно уже стали классикой.

После этой книжки писатель выпустил много разных других — не только про одного Дениску.

Помните «Волшебную силу искусства» в исполнении Аркадия Райкина? Это тоже по рассказу Драгунского. И история про Кондрата Тимофеевича Подвальчука, украинца с 1915 года, тоже принадлежит ему.

У Драгунского вышло несколько книжек сатирической и

юмористической прозы — «Железный характер», «Шиворот навыворот», «Январский сенокос» и др Выходили две взрослые повести — «Он упал на траву» и «Сегодня и ежедневно».

Но самое вечное, самое помнимое, самое читаемое и перечитываемое у писателя — конечно, это «Денискины рассказы».

С Дениской знакомы все — дети и юноши, мальчики и старушки, милиционеры и пожилые люди.

> Когда у меня хорошее настроение, я люблю скакать. Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице, и он спросил:
>
> — Ты что скачешь?
>
> А я сказал:
>
> — Я скачу, что ты мой папа!
>
> Он понял.

Мы тоже, читая детские рассказы Драгунского, понимаем все с полуслова. Мы любим то, что любит Дениска. Любим слушать, как жук копается в коробочке; любим стоять перед зеркалом и гримасничать; любим плавать там, где мелко, чтобы можно было держаться руками за песчаное дно; любим гостей и, особенно, лошадей за их такие красивые и добрые лица.

И не любим то, что не любит он. Не любим, когда задаются; не любим, чтобы в соседней комнате пели хором «Ландыши, ландыши…», когда мы ложимся спать; не любим, что по радио мальчишки и девчонки говорят старушечьими голосами…

Лично я, вспоминая себя другого, того, что остался в прошлом, узнаю в себе маленького Дениску, и, наверно, любой из нас в своем детстве смотрел на мир такими же открытыми, как у Дениски, глазами.

Я тоже строил у себя во дворе настоящую космическую ракету. И подбрасывал знакомым записки со зловещей подписью «Фантомас». Такие, как у Дениски, помните? «Биреги сваю плету. Она ща как подзарвется!». Или: «Выходи ночю на двор. Убю!». Я тоже двадцать лет провел под кроватью и еще десять лет — в платяном шкафу, но это уже моя история. А уж сколько книжек про шпиона Гадюкина прочитал я в те далекие годы, сколько было школьных спектаклей, в которых мне довелось сыграть: и «Собаке — собачья смерть», и «Пионер Павлик Морозов», и «Общество чистых тарелок», и много всяких других, от которых и названий-то в памяти не осталось.

Конечно, в детстве были не одни светлые дни. Это нам, сегодняшним, с высоты наших седовласых лет, детство представляется легким и беззаботным праздником. Были в нем

опасности и подвохи, были страхи в темных парадных и подворотнях, были коммунальные дрязги и жестокие уличные разборки.

Да, все это было, но почему-то вспоминается свет. Вот и книги Драгунского наполнены этим светом детства, от которого прыгают по одежде зайчики, а заботу и тени на наших лицах сменяет веселый смех.

Сам Драгунский ушел. Это единственная печаль, которая никогда не оставляет меня после чтения его рассказов. Но печаль эта какая-то легкая. Я ведь помню его слова, переданные героем повести:

> Главное было позади. Я отработал. Дал, что мог. И не впустую, нет, они смеялись. Если так будет всегда, то жить можно.

«Другие берега» В Набокова

В 1932 году Набоков переводит на русский язык «Посвящение к „Фаусту“» Гете:

> Вы снова близко, реющие тени…
> Встает любовь и дружба молодая,
> Как полузвук, преданье, старина…
> Ушли друзья, и замер отзвук дальний
> Их первого привета…
> Все настоящее вдали пропало,
> А прошлое действительностью стало.

Если скрыть, что это строчки из «Фауста», простодушного читателя-дилетанта легко можно обвести вокруг пальца, убедив, что это стихотворные вставки из какого-нибудь набоковского романа, настолько откровенно и выпукло звучит здесь вечная тема писателя — тема возвращения в прошлое.

Тема России присутствует у него всегда — явно ли или тайно, но всегда это Россия Набокова, то есть та, которую он когда-то оставил и которая до конца дней продолжала жить в его сердце. России Новой для Набокова не существовало.

«Вот уже скоро полвека чернеет слепое пятно на востоке моего сознания…» — напишет он в послесловии к русскому переводу «Лолиты».

Даже если писатель и совершал туда фантастические вояжи, как герой его рассказа «Посещение музея», то это была другая страна — «не Россия моей памяти, а всамделишняя, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно рабская и безнадежно родная».

В этом главный набоковский парадокс. Одна Россия — всамделишная, сегодняшняя, но… которой не существует реально. Другая — существующая исключительно в его памяти и одновременно реальная и живая.

Первая версия «Других берегов» появилась в 1951 году на английском. В 1954 году вышел русский перевод книги, выполненный самим писателем. Переводить себя с английского на русский автор пробовал и до этого, и всегда это было мучительно трудно.

> Телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливающиеся оттенки природы, все нежно-человеческое (как ни

странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно-похабное выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски; но столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов — все это, а также все относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям — становится по-русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма.

Поэтому русский вариант книги — это по сути не перевод, а вполне самостоятельное произведение. Вообще Набоков как переводчик — тема интересная сама по себе Вспомним хотя бы его ранние переводы из классики: Алиса у него стала Аней, и весь мир кэрролловских героев приобрел едва ли не пародийные черты русских народных сказок. Ну а Кола Брюньон под его рукой превратился в Николку Персика.

Книгу «Другие берега» трудно назвать мемуарами в прямом смысле этого слова. Скорее, это роман о себе. Может быть, такое сравнение и покажется кому-то несостоятельным, но я бы сравнил эту книгу с «Жизнью Арсеньева» Бунина. Да, книги разные, и эстетика их несхожа. Бунинская Россия — усадебная, закатная, полевая. У Набокова она совсем не такая — аристократически яркая, с линейками петербургских улиц и летними выездами на дачу. Но отношение к прошлому, к своей России, которой уже не будет и которая все равно реальнее настоящей, у обоих писателей одинаковое.

Русский язык Набокова богат и неповторим. «Живым, ручным существом» называл свой язык писатель. Но если внимательно приглядеться, писатель он сугубо рациональный. Проза его, как шахматная задача, — продумана, выверена, точна. Даже моменты иррациональные вставлены в нее из разумных соображений — чтобы разбавить логику и создать ощущение тайны.

Это не недостаток. Это признак высокого мастерства. Известно, что в своих идеальных текстах писатель намеренно допускал огрехи, чтобы не было ощущения олимпийской холодности и расчета. А шахматные композиции, прославившие его в мире шахмат, приравнивал к композициям стихотворным и даже выпустил в 1970 году сборную книгу шахматных задач и стихов, которую так и назвал — «Стихи и шахматные задачи».

Даже с Богом у писателя были собственные своеобразные отношения. Бог был для Набокова кем-то вроде шахматного гроссмейстера. Партнера сильного, уровня Капабланки, выиграть

партию у которого неимоверно сложно, но уже в силу этой неимоверной сложности вступить в игру было делом профессиональной чести.

Влияние, оказанное Набоковым на литературу, огромно. Явный или не явный, след его мастерства легко отыщется у многих разноязычных писателей. Пример, который сразу идет на ум, — роман «Коллекционер» англичанина Джона Фаулза. Но сам Набоков неповторим. И открывая его страницы, всякий раз испытываешь несказанную радость встречи со свободным словом писателя.

«Душегубство и живодерство в детской литературе» А. Етоева

О содержании этого сочинения ничего говорить не буду, оно очевидно, а расскажу лучше об истории ее написания.

Ярчайшее событие моего детства — падение Тунгусского метеорита.

Самое яркое событие последнего времени — встреча и сотрудничество с митьковским издательством «Красный матрос».

Невероятно, но два эти внешне не близкие ни по времени, ни по масштабам события неразрывно друг с другом связаны. Дело в том, что историю с Тунгусским метеоритом я впервые узнал из прочитанного в детстве романа писателя Казанцева «Пылающий остров». От этой книги и еще от нескольких ей подобных берет начало моя детская страсть к той огромной части литературы, которая — и вполне справедливо — среди людей культурно продвинутых называется литературой 2-го сорта.

Все мое детство прошло под знаком литературы 2-го сорта. Слова «приключения» и «фантастика» были для меня святыми словами, как для верующего «Бог Отец» и «Бог Сын» в Символе христианской веры. У меня дрожали руки, когда в них попадал маленький томик из «Библиотечки военных приключений» с косой полосой на обложке. Любая книжка, название которой начиналось со слова «Тайна», прочитывалась мною мгновенно, правда, так же мгновенно и забывалась. Кстати, в этом, возможно, и заключалась притягательная сила литературы такого рода — ее скорая забываемость.

С тех пор прошло много лет. Мой круг чтения переменился. Но временами нападала тоска, и мне хотелось если не перечесть, то хотя бы отдать дань памяти, рассказать, написать, с кем-нибудь поделиться воспоминаниями о тех книжках детства, о которых, не вспомни я, никто уже никогда не вспомнит. Никакая история литературы этой литературой не занимается. Не существует истории массовой литературы. Лишь маргинальные упоминания о ней — в лучшем случае в снисходительном, а в основном — в уничижительном тоне. В библиотеках этих книг нет, у букинистов их практически не бывает, у современного читателя они не востребованы и потому не переиздаются.

Передо мной встал вопрос: как о них написать? Писать напрямую — не поймут, скажут: «Кому теперь эта макулатура нужна?» Поэтому пришлось пойти на обман, придумать хитроумную комбинацию. Опосредованно, через некий

концептуальный прием, а именно через линию душегубства и живодерства, протащить эти книги — где в коротеньких выдержках, где в собственном пересказе — к читателю.

И помог мне в этом «Красный матрос». Вот поэтому те яркие впечатления жизни, о которых я рассказал вначале, так тесно друг с другом связаны.

P.S. Между прочим, если бы не название, моя книжка никогда не увидела бы читателя Единственное, на что клюнул издатель, — это ее название. Поэтому, дорогие авторы, к названиям своих сочинений подходите с особой строгостью. А то назовете роман каким-нибудь «Романом № 4», как попробовал это сделать писатель Сережа Носов, и хрен какому издателю вам удастся роман всучить. Слава Богу, Сережа Носов вовремя осознал ошибку и быстренько переназвал свой роман в «Грачи улетели».

P.P.S. Мне недавно в руки попалась книжка поэта Сергея Зубарева, изданная за свой счет в 1990 году в Воронеже. Называется она «Сквозь людоедство и пеплолёдство». Мое «Душегубство» вышло позже на десять лет, и попадись мне вовремя книжка Зубарева, я бы, конечно, никогда не взял для своей такого созвучного с «Людоедством» названия.

«Дьявол среди людей» С. Ярославцева (А. Стругацкого)

Давайте выпьем за хорошую книгу!

За умную, хорошую книгу грех не выпить. Как и за умного, хорошего человека.

Я помню осень в девяносто первом году, какой была в ту осень Москва — вся в мягких иглах облетающих лиственниц.

Мы пили коньяк, стоя в крематорской ограде, день был солнечный, пьяный — мы пили за умного, хорошего человека.

Прошли годы. Хороших, умных людей стало еще меньше. Их и всегда-то было немного.

Аркадию Натановичу повезло. Нет, не потому, что он здесь родился и выжил. Повезло — что, родившись здесь, он был таким, каким был.

Он прочитал много книг, много хороших книг, а человек, прочитавший много хороших книг, ни на какую кривую дорожку не съедет. Что там ни говори.

Как христиане меряют свою жизнь по Евангелию, так и хороший человек меряет шаги своего сердца по хорошим книгам.

Настоящее пространство жизни — это книга.

Книга всегда больше жизни. Всё меньше книги — жизнь, вселенная, солнце. Даже сам человек.

Вначале была Книга, — сказал великий писатель Бог.

Русский, не прочитавший «Капитанскую дочку», — это русский дурак.

Русский, не прочитавший «Приключения Гекльберри Финна» и «Трех мушкетеров», «Дэвида Копперфилда» и «Остров сокровищ» — это не просто русский дурак, это злой, чванливый русский дурак.

Я не говорю о том, что такого человека и близко нельзя подпускать к литературе — даже корректором.

Но я утверждаю, что такой человек — тайный, если не явный нацист. Во всяком случае, если, не дай Бог, до власти дорвется паучья свора русоволосых чернорубашечников, выбор этого человека будет ясно какой. И свой выбор он оправдает любовью к родине. Это он-то, не прочитавший «Капитанскую дочку»!

Вера есть облечение плотью вещей невидимых.

Неверие, к сожалению, тоже.

Абсолютная вера и абсолютное неверие приводит к одинаковым результатам.

В Германии начала века кто верил, что будет с ней в середине

30-х? Не верили. Нипочем не верили. И неверие обросло плотью.

Говорят: «Фашизм не пройдет!». Говорят: «У нас в России такого не выйдет. Мы же сами их били на Волге». А верно ли, не пройдет?

Давайте лучше верить в то, что пройдет. В то, что наши дети, десятки из тысяч наших детей, которые останутся живы, смоют пыль со своих сапог в теплых волнах Индийского океана.

Давайте верить и делать все, чтобы эта вера не обросла плотью.

И читать. Читать хорошие книги. И чтобы дети наши эти книги читали.

Давайте выпьем за умную, хорошую книгу!

Помянем Аркадия Натановича, доброго человека.

— Да, Россия отстала в цивилизации от Европы, — передает Панаева сетования Тургенева в одной из его бесед с Некрасовым, — разве у нас могут народиться такие великие писатели, как Данте, Шекспир?

— И нас бог не обидел, Тургенев, — заметил Некрасов, — для русских Гоголь — Шекспир.

Тургенев снисходительно улыбнулся и произнес:

— Хватил любезный друг через край! Ты сообрази громадную разницу: Шекспира читают все образованные нации на всем земном шаре уже несколько веков и бесконечно будут читать. Это мировые писатели, а Гоголя будут читать только одни русские, да и то несколько тысяч, а Европа не будет и знать даже об его существовании!

Тяжко вздохнув, Тургенев уныло продолжал:

— Печальна вообще участь русских писателей, они какие-то отверженники, их жалкое существование кратковременно и бесцветно! Право, обидно: даже какого-нибудь Дюма все европейские нации переводят и читают.

Конечно, в этих словах обида звучит не за Гоголя В основном, Тургенев жалеет себя, жалеет ту выгоду, которую он мог бы иметь, переводись его сочинения на европейские языки, жалеет об упущенной мировой славе и малой вероятности ее в будущем…

Беседа эта происходила в 1852 году, а ровно через шесть лет этого «какого-нибудь» Дюма по приезде его в Россию те же самые литераторы едва не на руках носят.

Многие и сейчас, и раньше задаются и задавались вопросом: как это один человек за непродолжительную в общем-то жизнь смог столько всего написать? Действительно, число сочинений, вышедших из-под руки мастера, превышает несколько сотен. Резонны обывательские сомнения: а не работали ли на мэтра негры?

Привожу для сомневающихся умов выдержку из той же Панаевой:

> Я полюбопытствовала узнать у секретаря — правда ли, что Дюма последние свои романы заказывал писать другим, маленьким литераторам, а сам только редактировал их.
>
> — О нет! Когда я вел переговоры с ним о поступлении к нему секретарем, то имел счастье видеть, как он сочиняет свои романы. У него в загородном доме

большой кабинет, он то ходит, то ляжет на турецкий диван, то качается в гамаке, а сам все диктует и так скоро, что его секретарь едва успевает писать. Я видел рукопись; в ней ничего нельзя понять; для сокращения вместо слов поставлены какие-то знаки. Секретарь испишет лист и бросит его на стол другому секретарю, который должен переписать, превратить знаки в слова. До дурноты доводит их мосье Дюма работой, встает сам рано и до двенадцати часов не дает передышки — все диктует; позавтракают, опять за работу до шести часов. И как только у мосье Дюма хватает здоровья! Ведь он каждый день обедает с компанией, потом едет в театр, потом ужинает до рассвета. Удивительный человек!

Когда Добролюбов однажды полюбопытствовал у Панаевой: «Что за личность Дюма?», та ему ответила так: «Интересного ничего не могу сообщить о нем». — «Однако какое он сделал на вас впечатление?» — не отступался от вопросов демократ-критик. «Он произвел на меня одно впечатление, что у него большой аппетит и что он очень храбрый человек», — сказала Панаева. «В чем он проявил свою храбрость?» — продолжал допрос Добролюбов. «Ел по две тарелки ботвиньи, жареные грибы, пироги, поросенка с кашей, — все зараз! На это надо иметь большую храбрость, особенно иностранцу, отроду не пробовавшему таких блюд…»

E

Exegi monumentum

Идея коллекционировать памятники возникла не у меня. Ее подарил мне мой приятель Юра Степанов, когда мы вместе путешествовали по Вологодчине. Не тайна, что в советские времена в каждом городе, городке и поселке, в каждой местности нашей обширной страны непременным и классическим украшением были памятники Владимиру Ильичу Ленину. И чем больше и богаче был населенный пункт, тем обильней и монументальней устанавливались в нем памятники вождю. Это было мерилом любви народной и духовного полета администрации.

Плыли мы по реке Сухоне. Через Тотьму, Великий Устюг, мимо мертвых обезлюдевших деревень, останавливаясь у каждой пристани, чтобы взять на борт теплохода какого-нибудь дядьку с аккордеоном или выпустить на деревянный причал двух-трех школьников, возвращающихся из школы. Сухона — река медленная. Мы тоже никуда не спешили Устав прохлаждаться на палубе, сходили где-нибудь в Тотьме и оставались там до ближайшего теплохода, изучая местные нравы и загорая на речном бережку.

Целью нашего путешествия была Северная Двина. Мы рассчитывали добраться до Котласа, а оттуда плыть на Архангельск.

Я не буду останавливаться подробно на деталях нашего путешествия. Интересного было много. В Тотьме, в местной гостинице, мы любовались «Бурлаками на Сухоне», довольно точным и убедительным вариантом знаменитых репинских «Бурлаков». В Котласе, сходя с теплохода, мы попали в колонну зэков, этапируемых с пристани на вокзал. И так далее.

Разговор сейчас не об этом. Памятники. Началось это с Великого Устюга. Мы гуляли по городу, фотографировали себя на фоне шедевров архитектуры и рассматривали живописные виды.

Гуляли мы так, гуляли и вдруг на какой-то улице натолкнулись на удивительную картину. Представьте себе — забор, у забора невысокая будка, на будке массивный шар, весь в сетке меридианов и параллелей. А на шаре — кто бы, вы думали? — на шаре стоит Ильич. И если бы он просто стоял, так он еще при этом гудит. Серьезно, стоит Ильич и распространяет вокруг себя гудение. Это мы позднее сообразили, что памятник Владимиру Ильичу установлен на трансформаторной будке. Электрификация плюс советская власть в наглядном, так сказать, варианте. И будка, когда мы пригляделись, оказалась не просто

будкой. Она была копией Мавзолея — в уменьшенных, конечно, пропорциях. Даже строгая надпись «ЛЕНИН» стилистически повторяла оригинал.

А годы были, сами понимаете, неспокойные. В стране тогда бесчинствовал диссидент. Всякие «свободные голоса» вещали о правах человека. В трамваях неизвестные личности под видом книжки Горького «Мать» «забывали» на последнем сиденье клеветнические опусы Солженицына. Неуловимые агенты Моссада распространяли антисоветские анекдоты.

Вот и мы, я и Степанов, чтобы нас не заподозрили в святотатстве, сфотографировались на фоне вождя и быстренько удалились с места. Тогда-то, уже в гостинице, и родилась замечательная идея — коллекционировать памятники. И первым экземпляром коллекции стал, естественно, великоустюжский Ленин.

Только не подумайте, ради Бога, что мы тайно сняли памятник с пьедестала, спрятали его в чемодан или под видом неподъемного собутыльника доставили, поддерживая под ручки, из Устюга в родной Ленинград.

Нет, чтобы составить коллекцию, достаточно одной памяти. Увидел сам, рассказали другие, прочитал о памятнике в газете. Так и создавалась коллекция, совсем не занимая жилплощади и не выталкивая никого из квартиры.

Второй экспонат в коллекцию добавил мне город Котлас. И опять это был Ильич. Огромный, угольно-черный, он встретил нас на площади над рекой, когда мы поднимались на берег. Символ свободы Африки. Или венецианский мавр Единственное, что выдавало его причастность к европейской цивилизации, это знаменитая рабочая кепка.

Интересный памятник Ильичу установлен в Новокузнецке. Вождь стоит посередине фонтана, и по кругу от него из воды высовываются металлические лягушки. А из пасти каждой по Ленину бьет тоненькая струйка воды. Простенько, но с изюмом, как выражаются герои Аксенова.

В коллекции есть не только Ленины, есть и Сталины. История их напоминает ночной кошмар — когда идешь по гулкому подземному коридору, а навстречу из провала дверей вышагивает безмолвным строем каменная процессия двойников.

Шутка в том, что все это не ночной кошмар. Это было на самом деле И не с кем-нибудь, а лично со мной.

Работал я тогда в Эрмитаже. И однажды, не помню уже зачем, меня и пару других «обозников» послали в эрмитажный подвал. Понятие «эрмитажный подвал» — загадочное и очень зыбкое. Оно из того же ряда, что и легендарные пещеры Лихтвейса, критский

лабиринт царя Миноса или истоки реки Амазонки. То есть многие что-то слышали, но толком никто не знает.

По сути, эрмитажный подвал — это сетка сообщающихся сосудов, наполненных предметами и явлениями.

Где-то здесь под плитами пола лежит тонкая золотая пластина, положенная когда-то на счастье при закладке дворца.

Здесь живет призрак террориста Халтурина; его видели не однажды то крадущимся с адской машиной, то прячущим под полу халата упаковку с надписью «Динамитъ».

И подобных «здесь» в эрмитажном подвале столько, что на все не хватит чернил.

Итак — послали нас однажды в подвал. Вел нас местный Дерсу Узала, великий мастер такелажных работ и бригадир всех эрмитажных «обозников» Валерий Кобылин-старший. Фонарик в его руке выхватывал из подвальной тьмы то какого-нибудь сантехника дядю Лешу, прикорнувшего на мохнатом ватнике в ожидании ближайшей получки, то фрагменты Пергамского алтаря, позаимствованные среди прочих трофеев из собрания Дрезденской галереи. Под ногами визжали кошки, огромные подвальные пауки провожали нас печальными взглядами. Идти было зябко и неуютно, и вовсе не от подвальной сырости. Если бы не Кобылин-старший, неизвестно какими жертвами обернулся бы нам этот поход. Сколько мы шли, не помню. Кажется, очень долго. И вот рука бригадира отпирает стальную дверь, яркий свет фонаря наполняет каменную пещеру… А дальше — чистый сюрреализм.

Помните песню Галича: «Вижу, бронзовый генералиссимус шутовскую ведет процессию»? Здесь было то же самое. Бюсты, памятники, мрамор, бронза, гранит. И все — одному божеству. Все — «великому Сталину». От югославских коммунистов, от команды рыболовецкого траулера, от пионерской организации города Луга…

Для чего это все хранилось? И почему в Эрмитаже? Или вправду — «уверена даже пуговица, что сгодится еще при случае»? Я не знаю.

Тревожную эту ноту хочется сменить на веселую. А что может быть веселее, чем подвыпивший Чижик-Пыжик? Или принюхивающийся к уличному бензину на Вознесенском проспекте нос майора Ковалева?

Мы с вами живем в удачное время. Разве при коммунисте-генсеке можно было подумать о памятнике Чижику-Пыжику? Да любому советскому скульптору, будь ты хоть самим Аникушиным, стоило лишь заикнуться об этом, и психушка ему была обеспечена стопроцентно.

Самый веселый памятник, переживший все советские времена и который мы любим с детства, — это памятник дедушке Крылову в Летнем саду. Ну еще, быть может, — женщина с веслом на ВДНХ. Хотя мне ее почему-то жалко. Кстати, о веслах. Однажды в лесу близ дороги на Белозерск я встретил ее двойняшку — гипсовую женщину с осетром. То есть вышли мы с приятелем на автобусной остановке, отбежали в придорожный лесок и только, что называется, стали справлять нужду, как увидели эту женщину. Она была прекрасна, как Галатея. Или как дочь морского царя из оперы Римского-Корсакова «Садко». В руках у нее трепетал осетр. В мудрых его глазах отражалось вологодское небо. Вокруг на тысячи километров раскинулась родная земля.

А бронзовый Чижик-Пыжик вот уже шестой год пьет водку близ Пантелеймоновского моста на великой реке Фонтанке. Первую рюмку — за дедушку Крылова, как водится. Вторую — за Резо Габриадзе. Третью — за всех веселых людей, которые еще не перевелись на Руси.

Особую (и любимую) полку в моем монументальном собрании составляют памятники литераторам и героям литературных произведений.

Про Чижика-Пыжика короткий разговор уже был. Про гоголевский нос (естественно, не в прямом смысле) упоминалось тоже.

А знаете ли вы историю с памятником П. А. Павленко, писателю, ныне, увы, основательно подзабытому. Установлен он был еще при жизни писателя в далеком Владивостоке в 1948 году (по случаю присуждения автору высшей тогдашней литературной награды родины — Сталинской премии 1-й степени за роман «Счастье»). Памятник интересен тем, что за пятьдесят два года существования повернулся на 28 градусов на восток и стал при этом на 5 сантиметров ниже.

Самой любопытной идеей последних лет мне кажется идея проекта памятника Муму, активно развиваемая в кругах столичной интеллигенции. Из множества проектов четвероногой героине русской литературы особенно впечатляет вздыбленная на манер Медного всадника огромной величины Муму, лапой указывающая на Запад. И еще непотопляемая Муму, поставленная на якоре на Москва-реке и совмещающая функции речного буйка.

Про памятники Остапу Бендеру, наверное, знают все. Из новых памятников любимому в народе герою стоит упомянуть Бендера, поставленного в Элисте, столице Калмыкии, с шахматной фигуркой в руке. Памятник установлен на одноименном проспекте, причем в начале проспекта имени товарища Бендера стоит бронзовый двугорбый верблюд, тоже

герой романа о похождениях великого комбинатора.

А в Киеве по Крещатику идет, увековеченный в бронзе, с палочкой в руке Паниковский, он же Зиновий Гердт.

А в Москве на Курском вокзале ждет поезда в далекие Петушки незабвенный Веничка. Тоже в бронзе. И девушка с золотой косой встречает его в Петушках на площади перед магазином. Тоже бронзовая.

А Пушкин сидит на лавочке и читает голубям и прохожим знаменитое стихотворение «Памятник».

И все это у меня в коллекции, которая принадлежит всем.

P.S. Сейчас, спустя много лет перечитывая свой рассказ о памятниках, я подумал с грустной улыбкой: а ведь многого из того, о чем я написал в очерке, уже просто не существует. В стране, где народ по бедности залезает в шахты метро и срезает медные кабели или, рискуя жизнью, проникает в колодцы лифтов и свинчивает, отпиливает, снимает все, что из цветного металла, или на пустующих дачах ворует чайники, самовары, котлы для бани, или… да что там перечислять подробно. В этом смысле памятники, мемориальные доски, кресты, надгробные украшения — для охотников за цветным металлом добыча из самых легких. И я очень сомневаюсь, что в Петушках стоит девушка с золотой косой на площади перед магазином. Бронзовая.

«Евгений Онегин» А. Пушкина

«Евгений Онегин» Пушкина — самый популярный русский роман в стихах, и популярности его в настоящем и близком будущем может помешать разве что тотальное одичание, которое явно подбирается к человечеству и знаки которого мы видим чуть ли не ежечасно, выйдя из квартиры на улицу или просто глядя в окно на безумные дворовые сцены.

У «Евгения Онегина» были лучшие комментаторы — Юрий Лотман и Владимир Набоков, его переводили на языки мира лучшие из писателей — тот же русско-американский Набоков или же великий поляк Юлиан Тувим, — то есть слава «Онегина» распространилась по земле широко, и в мировой культуре это произведение держится надежно и прочно.

Сейчас же я хочу рассказать о двух произведения Пушкина, о которых современный читатель практически ничего не знает. Это два рассказа поэта — «Русская история» и «Прощание».

Действие второго рассказа происходит в Сибири между городом *Иркустом* и деревней *Мохоткин,* сценическое пространство рассказа — русская крестьянская изба. Главный герой рассказа бедный молодой крестьянин *Арсантье* Владимиров попадает под рекрутский набор, и вначале описывается сцена прощания героя с любимой женой и домом. Есть в этой сцене традиционные для русского быта народный напиток *квас* и народная еда *щи.* Далее Арсантье Владимиров мчится на тройке в город, там садится в вагон и отправляется на верную гибель в развязанной царизмом войне. Действие «Русской истории» тоже происходит в Сибири, и атрибутика рассказа (квас, щи, изба) примерно та же, что и в «Прощании».

Почему же, спросите вы, эти сочинения Пушкина не вошли ни в одно собрание и никак не замечены пушкинистами. Дело в том, что рассказы эти записаны непосредственно со слов Пушкина, но не при жизни, а через много лет после его трагической гибели. Не удивляйтесь, рассказал их дух Пушкина, вызванный на спиритическом сеансе в одном из парижских салонов в начале XX века. И зафиксирован этот научно-литературный факт в вышедшем во французской столице сборнике, составленном Шарлем Дорино.

Я же почерпнул эти сведения из очерка М. Алданова.

Египет

Теперь-то нам хорошо известно, что никаких древних египтян не было и в помине, а были это древние русичи, родина которых исконно русские земли Причерноморья, откуда, оседлав крылатые корабли древности, наши любознательные матросы и доплыли до северных берегов черного континента. Кстати, само слово матрос, если правильно его расчленить на корни, доказывает приоритет наших русских предков в таком важном деле, как мореплавание. «Рос» — естественный русский корень, от которого идет и Россия, и росс, и великоросс, и множество других производных. «Мат» же — профессиональный морской жаргон, на котором изъяснялись русские мореплаватели.

И все, чем славен Египет, включая религию и культуру, — начало ведет от русичей. Ра, например, — древний славянский бог, имя которого сохранилось в большом количестве слов нашего языка — храм, брат, рай, разум, аврал и проч. Кстати, и животное крокодил, которое в древние времена водилось у нас практически в любом водоеме (см. работы академика Б. Рыбакова) и так же, как и в Египте, считалось повсеместно священным, в имени своем содержит божественную частицу. «К-Ра-ходил» — вот как первоначально звучало имя русского ящера. Слово «кража» раньше тоже имело вовсе не то значение, какое имеет сейчас. Когда в древности русского человека спрашивали, зачем он присвоил себе чужое, русский человек отвечал: «К-Ра-же», т. е. давал понять, что брал не корысти ради, а чтобы взятое посвятить божеству.

Некоторые из породы людей, той, что даже на солнце в первую очередь видят пятна, наверняка, зададут вопрос: а почему солнечный бог оказался в слове «дуРАк»? А потому, господа скептики, что дурак это суть убогий, то есть человек, богом меченый, состоящий у бога на примете, избранный солнечным божеством для каких-то ему одному ведомых целей.

Завершаю свою заметочку строчками из раннего Гумилева:

Мореплаватель Павзаний
с берегов далеких Нила
в Рим привез и шкуры ланей,
и египетские ткани,
и большого крокодила.

Привожу я их исключительно для того, чтобы ярче и

наглядней проиллюстрировать, как культура древней Руси (в стихотворении — материальная, но без духовной культуры никакая иная попросту невозможна), избрав себе плацдармом Древний Египет, широко распространилась по всему миру — от Европы по Антарктиду включительно.

Есенин С.

В развернутом плане статьи «Голоса поэтов» Волошин характеризует Клюева и Есенина следующими словами: «Деланно-залихватское треньканье на балалайке, игра на гармошке и подлинно русские захватывающие голоса».

На этом контрасте «деланно — подлинно» и строится, на мой взгляд, творчество «самого народного из поэтов», как говорили на любом перекрестке в уже ушедшие советские времена.

Есенин был в народе любим. В книге А. Топорова «Крестьяне о писателях», выходившей первым изданием в 1930 году, приводятся такие высказывания о его творчестве в связи с прочтением и обсуждением стихотворения «Письмо матери»:

> Связность в словах прозористая. Написано размывчато. Человечество у него явилось. А то, бывало, сброд несет в некоторых…

Под «сбродом» имеются в виду его запойно-хулиганские стихи из «Москвы кабацкой», «Песен хулигана» и некоторые другие.

Поэты смотрели на Есенина по-разному, но в основном любили, исключая, конечно, таких ортодоксов прошлого, как Иван Бунин. Маяковский Есенина осудил за то, что его муза («песенно-есененный напев», так, кажется, у В.М.?) ведет к веревке в гостинице «Англетер».

Интеллигенция 70-80-х относилась к поэту искоса, но в основном по причине его явного успеха в народе, выражавшегося в застольных песнях «Клен ты мой опавший», «Не жалею, не зову, не плачу» и некоторых других. И еще она Есенина ревновала к «проклятым и забытым» Осипу Мандельштаму, Марине Цветаевой, Николаю Гумилеву и другим поэтам, прочесть которых в те унылые времена можно было разве что в самиздате.

Я думаю, сейчас к стихам Сергея Есенина у читателей нет претензий. Из народа ли эти читатели, из других ли групп населения, перемешавшихся за последний век в такое невообразимое крошево, что нет уже причин для раздоров на социально-родовой почве.

Етоев А.

Интереснее всего об Александре Етоеве — правда, не о Етоеве-писателе, а о Етоеве-антисоветчике, — рассказал Андрей Мадисон в «Русском журнале» (http://www.zhurnal.ru/staff/Mirza/madis.htm). Вот дословно эта заметка Обратите внимание на абберацию памяти автора — в тексте я Итоев, а не Етоев. Итак:

Пришествие мертвого сезона

Мир и благоволение в человецех! Российский демос, как известно, крепко уставший от политики, может, наконец, отдохнуть. Я бы даже сказал: упокоиться. Все за него решено, все избрано и все сбалансировано. Осталось только предаться на полную катушку стабильности, а тем, кому по нраву великие потрясения, так пусть они исходят злобой в иссохшийся кулачок. Против исторической закономерности нет приема — кроме, разве что, исторического рока, объяснять которым происходящее на Руси считается хорошим тоном, но, как правило, уже на следующем относительно любого предыдущего витке ее непонятного развития.

Впрочем, даже навязанный телеологизм не способен посягнуть на возможность заняться любовными играми с собственной историей. Тем более, что если всю российскую историю воспринимать только всерьез, то можно запросто ума лишиться. Поэтому, вместо определения с места в карьер исторического смысла перехода власти от Ельцина к Путину, я начну с одного личностного воспоминания.

Итак, дело было лет восемнадцать назад в городе тогда еще Ленинграде. Зимой, в выстуженной холодом и застоем окружающей среде. Я приехал к своему другу Андрюше Васильеву, который снимал тогда комнату на Обводном, а вскорости оказался обвинен в осквернении кумачового символа советской власти (чего не было) и посажен. На самом деле — за чтение и распространение не тех, что надо, книжек, а также за неверное понимание прочитанного. По ленинградскому телевидению время спустя даже показали о нем соответствующий фильм с толково придуманным зачином: река, в ней

единодушное течение воды, и только один неумный мужик в лодке пытается выгребать против течения, но его все время сносит, сносит и сносит…

Однако в момент моего приезда ничем таким еще не пахло, и на следующий после момента день мы с Андрюшей преспокойно отправились праздновать день рождения к молодому диссиденту и книжнику Саше Итоеву. Итоев трудился в Эрмитаже то ли уборщиком, то ли вахтером — точно не помню. И был уже вовсю на примете у органов. Тем не менее, дома у него на самом видном месте вызывающе красовалась фотография Солженицына. Когда органы явились к нему как-то домой и, дотошно все обшманав, поинтересовались, что это за тип изображен на снимке, Итоев честно сказал, что это его дедушка. И ему поверили.

На день рождения к нему явились, естественно, тоже одни книжники и диссиденты. Отчего говорилось между ними либо о редких изданиях Сведенборга и Эккартсхаузена, либо о советской власти. О первых — с деловитой любовью, о власти — с легко объяснимой составом общества недоброжелательностью. Водки при этом на столах стояло немерено, с музыкой же, напротив, вышел напряг. То есть имелась жесткая альтернатива: или единственная пластинка Окуджавы, или богатства европейской классики. После третьей рюмки я решил ее для себя в пользу классики — сковырнул с проигрывателя Окуджаву и водрузил на него вагнеровского «Тангейзера». Мне хотелось — танцевать.

Ни до, ни после этого Вагнера на днях рождения я не слышал. Присутствовавшие, видимо, тоже. Возможно, это и вызвало у них чувство некоторого дискомфорта. Но я его как бы не хотел ощущать, помня завет Верлена: «Музыка прежде всего».

Тут-то и явился к нам в компанию запоздалый гость. Поначалу он привлек мое внимание единственно тем, что был меньше всех ростом. Однако не прошло и четверти часа, как он сказочно вырос в моих глазах. Дело в том, что он достал из пакета заранее принесенную пластинку и предложил заменить ею Вагнера. Увидев, чем именно, я с энтузиазмом его поддержал. Пластинка называлась — Rainbow, «Stargazer».

Уже через минуту диссиденты зашипели: «Потише, потише», — и лишь я один сопротивлялся — мол,

«погромче, погромче», но не преуспел: антисоветчики задавили чисто по-советски — количеством. И музыки не стало вовсе.

Ж

«Жемчуга» Н. Гумилева

Если уж говорить об экзотике в поэзии, то пройти мимо такого мастера экзотического жанра, как Николай Степанович Гумилев, попросту невозможно. Если Мей писал про шевелящихся аллигаторов и дикарей с головоломом в руке, руководствуясь источниками литературными, то Гумилев и крокодилов, и дикарей видел, как мы с вами ежедневно видим трамваи, шевелящиеся на петербургских улицах.

Как писал Сергей Городецкий в одной из своих ранних статей, «первым этапом выявления любви к миру была экзотика. Как бы вновь сотворенные, в поэзию хлынули звери: слоны, жирафы, львы, попугаи с антильских островов наполняли ранние стихи Н. Гумилева».

Все это имеется в «Жемчугах», третьем сборнике основоположника акмеизма, впервые вышедшем в 1910 и переизданном в 1918-м.

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей…

Это стихотворение из «Жемчугов» заодно с «Бригантиной» Когана стало едва ли не гимном постаревших русских романтиков, родившихся в 50-60-х.

А «Старый конкистадор», а «Скрипка»… Все это мы помним и повторяем бог знает с каких времен.

Гумилев — это поэзия вечная. Вечная, потому что детская. Она нас возвращает туда, где живут Буссенар и Стивенсон, Киплинг и капитан Марриэт; и эскапизма в этом нету ни грамма — это просто возвращение в детство.

«Женщина в естествознании и народоведении» доктора Г. Плосса

Почти 2000 страниц текста работы немецкого исследователя дают нам полный физиологический, исторический, антропологический, этнографический, медицинский и прочая и прочая портрет представительниц лучшей половины человечества.

Я думаю, что многие из экзотических примеров бытия женщины практически неизвестны большинству современных людей. Что может, например, сказать современный читатель о женском обрезании? Да ничего толком. А вот доктор Плосс на нескольких страницах дает подробный исторический очерк этого экзотического процесса, по научному называемого эксцизией.

А знает ли кто-нибудь сегодня, что такое готтентотский передник? Оказывается, это странное естественное удлинение малых срамных губ у женщин-бушменок и готтентоток, достигающее порою 18 сантиметров. В книге Плосса это отклонение поэтически сравнивается с цветком герани: «Странное удлинение наружных половых частей у африканок можно сравнить с удлинением известных цветков, растущих под тем же небом, напр. герани, верхние лепестки которой длиннее нижних, быть может, для того чтобы закрывать органы размножения и защищать их от палящих лучей африканского солнца».

Из книги Плосса можно узнать о некоторых юридических вопросах брачных отношений у народов мира. Так, «у тунгусов длинные волосы в области половых частей женщины считаются уродством, ниспосланным злыми духами, поэтому муж имеет право развестись с женой, отличающейся таким волосяным покровом».

Книгу Плосса можно рассматривать, с одной стороны, как научную, с другой — как некую кунсткамеру всевозможных удивительных фактов, о которых в обычной жизни не то что не думаешь, просто не придет в голову, что такое может существовать.

Животноводство

Хочу рассказать интересный случай, имевший место несколько лет назад в петербургском Центре современной литературы и книги, именуемом также Центром Каралиса. Был какой-то литературный вечер, какой не помню, и вот в один из моментов вечера подсаживается ко мне за стол питерский поэт-хулиган Геннадий Григорьев и улыбается своей дурацкой улыбкой. Я, говорит Григорьев, придумал на тебя рифму. И тут же мне выдает двустишие:

Вот сидит и не знает Етоев,
как достичь повышенья удоев.

Честно говоря, меня это немножечко зацепило. Дело в том, что поэт Григорьев, прославившийся сидением в противогазе на поэтическом семинаре Кушнера (потому-то и поэт-хулиган), давно на меня в обиде за придуманный мной когда-то вопрос: в чем разница между поэтом Шумахером и поэтом Херасковым? Ответ на этот вопрос простой: разница между ними такая же, как между херувимом и парикмахером. Обиделся Григорьев на то, что загадку эту должен был придумать не я, а он, и всякий раз при встречах мне об этом напоминает.

Прошел день, а у меня все не выходило из головы брошенное мне Григорьевым обвинение. Ведь действительно я понятия не имею, как этих чертовых удоев достичь. И тогда в порыве поэтической злости я ответил Григорьеву продолжением его двустишия. Вот что у меня получилось:

Вот сидит и не знает Етоев,
как достичь повышенья удоев,
а Григорьев, подлец, хоть и знает,
но скрывает, паскуда, скрывает.
Вот и жди от подобного скотства
возрождения животноводства.

Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему за точку отсчета я выбрал тему животноводства.

Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия игумена Радонежского и всея России чудотворца

Детская вера в чудо — вот что отличает прежние времена от нынешних.

Святой Франциск в Италии, проповедующий птицам. Святые Сергий и Серафим, делящиеся последним куском с лесным медведем.

А вот какой замечательный пример попался мне в «Описании живущих в Сибирской губернии в Березовском уезде иноверческих народов остяков и самоедцев», сочинении русского географа и этнографа, спутника Палласа в его путешествиях, Василия Федоровича Зуева:

> Около Мангазеи и Туруханского монастыря, что на Енисее, белых медведев такое множество, что в ином месте столько не сыщется черных; там оне очень смирны и с коровами так, как дворовый скот, вместе ходят. Причину тому мне сказывали, будто бы им есть запрещение от святых мощей Василия Мангазейского, чтоб скот не губили.

Для меня почему-то самые трогательные в житиях святых именно те места, где описываются чудеса, связанные с животными. Наверное, оттого что в детстве у меня в доме не было ни собак, ни кошек, ни ежиков, ни морских свинок.

Вообще же, святой Сергий Радонежский олицетворяет воинственную, активную сторону русской церковной жизни, сторону победительную, а не ту, смиренническую, чисто молитвенную, характерную для большинства святых русской Церкви. Самый яркий тому пример — деятельное участие святого в знаменитой битве русских войск под предводительством великого князя Дмитрия Иоанновича с полчищами Мамая на Куликовом поле.

Лавра Святого Сергия и посейчас считается духовным центром России. И мне нравится, что культура народная в этих святых местах странным образом соединяется с культурой церковной. Живой пример тому — события середины июля, праздник тепловых аэростатов в Сергиевом Посаде, транслировавшийся по многим телеканалам. Воздушные шары в виде колокола, церковных луковок, в виде желтой битловской

подводной лодки и просто разноцветные, разноликие путешественники, соединяющие небо и землю.

Жуковский В.

Василий Андреевич Жуковский — родоначальник русской литературы ужасов, или хоррора, как выражается известный петербургский фантастиковед Василий Владимирский.

Не надо далеко ходить за примерами, чтобы доказать этот очевидный факт. Вот начало любимого мной с детства «Ночного смотра»:

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик…

А вот отрывочек из «Светланы»:

…Виден ей в избушке свет;
Вот перекрестилась;
В дверь с молитвою стучит…
Дверь шатнулася… скрыпит…
Тихо растворилась.

Что ж?.. В избушке гроб; накрыт
Белою запоной…

Под запоной естественно — оживающий мертвец, который скрежещет зубами и пугает девицу сверканием грозных очей.

И так далее — примеров хоть отбавляй.

Конечно же, это не главная заслуга Жуковского перед отечеством. Он много чего успел сделать за свою долгую жизнь. Перевел «Одиссею», дружил с Пушкиным и оставил нам хронику его последних часов, воспитывал императорских детей. Полный список литературных трудов Жуковского составил бы не один том, такой он был трудолюбивый писатель.

Росту Жуковский был невысокого, судя по известной картине Г Чернецова «Парад на Царицыном лугу», где поэт предстает перед нами в компании с Пушкиным, Крыловым и Гнедичем.

Кстати, к поэтической табели о рангах среди писателей того времени. Вот как описывает современник чередование тостов на обеде у книгопродавца А. Ф. Смирдина 19 февраля 1832 года:

> Провозглашен тост: здравие государя императора, сочинителя прекрасной книги «Устав цензуры»… Чрез несколько времени: здравие И. А. Крылова… Иван

> Андреевич встал с рюмкою шампанского и хотел предложить здоровье Пушкина; я остановил его и шепнул ему довольно громко: здоровье В. А. Жуковского; и за здоровье Жуковского усердно и добродушно было пито, потом уже за здоровье Пушкина.

Символ веры у Жуковского был простой. Вот как он сам излагает его в письме к Пушкину: «Крылья у души есть! Вышины она не побоится! Дай свободу этим крыльям, и небо твое. Вот моя вера».

3

«Загадки русского народа» Д. Садовникова

Кто-то собирает этикетки от вин и водок, кто-то ношеные вещи от светил шоу-бизнеса, кто-то тщательно списывает в тетрадки надписи со стен общественных туалетов. И первое, и второе, и даже третье если и сделает вас богаче в плане духовном, то отечеству от этой вашей собирательской деятельности прибыли никакой. Ибо только тот настоящий коллекционер, кто, складывая в копилку частную, прибавляет, вольно или невольно, к общему национальному достоянию. Из великих собирателей настоящего это, в первую очередь, Илья Зильберштейн. Из великих коллекционеров прошлого — это Даль, Афанасьев, Рыбников, Гильфердинг, Третьяков, Щукин.

Человек, о котором сегодня речь, тоже из их породы.

Вряд ли кто мне поверит, если я скажу, что русскую народную песню «Из-за острова на стрежень» про Стеньку Разина сочинил не безымянный человек из народа, а очень даже конкретная личность с именем и фамилией. Так вот, автор песни — Дмитрий Николаевич Садовников, русский ученый, писатель, фольклорист, человек разносторонних занятий и широчайшей литературной деятельности. В 9 лет у него уже лежит готовая рукопись «Жаркие страны» — конспект прочитанного за четыре года по естественным наукам, в 13 Садовников пишет сочинение «Космос для детей», в 20 лет переводит «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, а в 21 публикует свои стихи в московской «Иллюстрированной газете». В 1874 году (Садовникову — 27 лет) в Москве выходит его книга «Наши землепроходцы (рассказы о заселении Сибири)», в 1875, в Санкт-Петербурге, — переводные «Норвежские сказки», а через год, снова в невской столице, напечатана главная работа писателя — книга «Загадки русского народа».

При переиздании «Загадок» в 1959 году (изд. МГУ) книгу предваряет предисловие В. Аникина, в котором читаем: «Многое в сборнике устарело. Не все в нем носит подлинно народный характер. Таковы некоторые загадки на религиозные темы. Все они опущены. Сохранены лишь те из них, в которых выразилось свободомыслие народа, его критическое отношение к религии. Ряд текстов отличается тем „озорством мысли“, которая не боится двусмысленностей. Из-за этого многие тексты, крайне неудобные в печати, пришлось из сборника изъять».

И все равно, даже после изъятия, двусмысленностей в текстах книги сохранилось более чем достаточно. Вот, например, загадка из раздела «Люди и строение их тела»:

Стоит хата,
Кругом мохната,
Одно окно,
Да и то мокро.

Или — из того же раздела:

Два яичка в моху,
Да морковка наверху.

Ответ на первую, оказывается: «Рот в бороде», а на вторую: «Нос и глаза». Правда, почему нос наверху — то есть над, а не под глазами, — этого я не понял. Наверное, носы в старые времена росли несколько иначе, чем в нынешние.

Все загадки сборника Рыбникова обладают поэтическим строем. Собственно, это маленькие стихотворения в две-четыре строки. Законченные, потому что подразумевают озвученный ответ на вопрос.

Еще одно достоинство книг, подобных сборнику загадок Садовникова, в том, что они вольно или невольно подвигают человека на творчество. Я вот тоже взял грех на душу и сочинил по образу загадок из сборника несколько своих.

Предлагаю вам две из них:

1.

Летит муха,
Три головы, два уха.

2.

Скачет всадница,
Вместо головы задница.

Ответов намеренно не даю Как говорилось в старинной радиопередаче моего детства:

Кто загадки любит,
Тот их и услышит.

Кто их угадает,
Тот нам и напишет.

Заказы по Интернету

Очень часто нормальные с виду люди совершают совершенно ненормальные действия.

Василий Иванович Чапаев, политически грамотный, вроде бы, человек, специально шел мыться в баню, чтобы отыскать на себе потерянную когда-то майку.

Экипаж подводной лодки «Пионер» черт те сколько драгоценного времени провел на дне не одного океана, гоняясь за какой-то там тайной.

Инженер Лось, чтобы найти свою любовь Аэлиту, построил во дворе дома № 11 по набережной реки Ждановки в Петрограде настоящую космическую ракету и отправился в ней на Марс.

Дон Жуан ради первой подвернувшейся юбки готов был прыгнуть в жерло Везувия и купить билет на «Титаник».

Для чего они это делали — непонятно. Ведь достаточно щелкнуть кнопочкой компьютерной мыши по корзине заказов любого Интернет-магазина, и вы получите все, что хотите. И тайну двух океанов, и марсианскую девушку Аэлиту, и потерянную майку Чапаева, и даже почти неношенные фирменные кроссовки самого господина Гейтса, главного плетельщика мировой паутины.

Не верите?

А вы попробуйте, попытка не пытка.

«Закат Европы» О. Шпенглера

«Закат Европы» — одна из самых знаменитых книг XX века. Книге Шпенглера повезло — она вышла к месту и вовремя. 1918 год. Бог Танатос властвует в военной Европе. Ощущение гибели культуры присуще буквально каждому мыслящему и чувствующему человеку. Мировая война, революция и красный террор в России, разруха, всеобщее обнищание. Люди творчества кожей чувствовали направленные на них смертельные жерла пушек цивилизации. «Век девятнадцатый, железный» сменился новым, двадцатым, с его безвременьем и бездомьем, с его дымными заводскими трубами, коптящими небо Петрополя («Твой брат, Петрополь, умирает» — О. Мандельштам), с немецкими ядовитыми газами, ползущими по больной земле, с ленинскими концлагерями, с людьми в кожанках и с портфелями, мчащимися в автомобилях по голодным московским улицам.

В России перевод «Заката Европы» появился в 1923 году и мгновенно нашел сочувствие в мыслях тогдашней интеллигенции. Спекулятивная теория замкнутых мировых циклов, змей истории Уроборос, пожирающий свой собственный хвост, плюс гигантский мавзолей фактов и озарений, на котором все это выстроено, убеждало, волновало, тревожило — тем более подкрепленное свидетельством собственных читательских глаз.

Долго еще потом мысли и идеи философа возрождались, пересказанные по-новому, — взять хотя бы англичанина Тойнби или нашего соотечественника Льва Гумилева.

В моей библиотеке хранится сборник «О методах и приемах иностранных разведывательных органов и их троцкистско-бухаринской агентуры», выпущенный Партиздатом ЦК ВКП(б) в 1937 году, в самый разгар ежовщины. В книге имеется статья П. Винокурова «О некоторых методах вражеской работы в печати». Цитирую из нее отрывок: «Иногда враждебные теории и теорийки протаскиваются в печать под прикрытием романтики и „научной“ фантастики. Ленинградское отделение Госиздата выпустило роман-утопию А. Деблина „Горы, моря и гиганты“. События развертываются в XXIII–XXVII столетиях, но, судя по всему, автор трактует вопросы сегодняшнего дня. Построенная на основе фашистской, реакционной, шпенглеровской теории о неизбежности катастрофической гибели человечества, книга проповедует борьбу с техникой, разрушение машин и возврат к первобытному, кочевому образу жизни. Таков путь человечества, „живописуемый“ Деблином. О существовании СССР автор не упоминает. Народы, населяющие территорию нашей страны, по

воле „утописта“ Деблина, стираются с лица земли мистической стихийной силой уральской войны».

Из приведенной цитаты видно, что Освальд Шпенглер в предвоенные годы ассоциировался у идеологов коммунизма исключительно с фашистской идеологией. Первое и единственное вышедшее на русском в советский период издание первого тома «Заката Европы» (М.-Пг.: Изд. Л. Д. Френкеля, 1923, тираж 2000 экз.) уже в 30-е годы сделалось библиографической редкостью, и это неудивительно. Какой здравомыслящий букинист примет или выставит на продажу книгу с «фашистской идеологией»? То же самое и работники библиотек — попробуй кто-нибудь из них предложи такую книгу читателю, вмиг лишишься не то что работы, а и кое-чего важнее.

В 20-е годы книгу Шпенглера фашистской не называли. Упадочной, антимарксистской — да. Но пока еще не фашистской. Вот что написано в предисловии от издательства в издании 1923 года: «Для Шпенглера культура Европы вообще кончается культурой буржуазного строя. Его идеология, начиненная идеалистическим интуитивизмом, ярко враждебна марксистскому миросозерцанию, представляющему полную противоположность религиозной „чертовщинке“ Шпенглера». Издали же книгу, как следует из того же предисловия, по следующей причине: «Нам нужно знать не только о существовании идеологического фронта революционной борьбы, но и изучить противника и уметь его побороть идеологически же — марксистским — оружием».

Конечно же, книга Шпенглера, хоть и носит на себе отпечаток времени (начатая в 1911 и вчерне написанная в 1914 году, она дорабатывалась автором по 1917 год включительно), к идеологии фашизма никакого отношения не имеет. Она относится к категории вечных книг, в которой боль по утрате культурных ценностей переживается автором и как личная, и как общая для всего культурного человечества. Эта книга особенно актуальна в наше смутное и шаткое время, когда угроза всеобщего одичания становится одной из главных бед и проблем.

Сейчас эту книгу можно воспринимать по-разному. Как энциклопедию мировой духовной культуры. Или как доказательство близости Апокалипсиса. Или как фантастический роман-предупреждение в духе Рея Брэдбери с его знаменитым «Фаренгейтом». Главное, что она читается. А читаются только великие книги.

«Заметки на полях шляпы» Н. Богословского

Страна у нас не только самая читающая, но и самая поющая в мире.

Первое складываем со вторым и в результате получаем книгу композитора и писателя Никиты Богословского «Заметки на полях шляпы».

Книгу эту можно петь, можно читать, можно просто носить в кармане и цитировать при встрече знакомым; она на все случаи жизни.

Помните, был такой популярный клуб в старой «Литературной газете» — «12 стульев»? Там еще печатали роман века «Бурный поток» писателя-душелюба и людоведа Евг. Сазонова? Так вот, Н. Богословский и Евг. Сазонов… Впрочем, о подробностях умолчим, подробности — на полях шляпы. И подробности, и много чего еще — например, случай с композитором Хре, лауреатом сталинских пре, который, имея высокий пост, не любил композитора Шост. Там и про писателей есть: «Не тот писатель, которого не печатают, а тот — которого печатают». И про тяжелый писательский труд: «Писателем быть — не на курорте жить». Ну и так далее.

Когда книжка смешная, много о ней говорить — уже не смешно, поэтому считаю свою миссию выполненной. Единственное, от чего не могу удержать себя напоследок, это от какого-нибудь красивого афоризма. Хотя бы такого: «Любимый город может спать спокойно (стихи Е. Долматовского, музыка Н. Богословского), пока люди еще читают смешные книжки и поют хорошие песни».

«Записки» Г. Державина

В 1809-10 годах Державин, живя в своем имении Званка, диктовал племяннице примечания на только что появившиеся из печати «Сочинения в 4-х частях». Поэзию понимали плохо, она была в стороне от жизни, поэтому подобное комментирование было делом вполне уместным. Эти примечания касались творческой стороны деятельности Державина, и, написав их, автор почти сразу взялся за составление комментариев к непоэтической части своей биографии. Державинские «Записки» не были отделаны окончательно и сохранились только в черновике, снабженные многочисленной правкой автора. Но и в этом, черновом, виде они ценны и как памятник литературы, и как важное историческое свидетельство.

О себе в «Записках» Державин пишет в третьем лице, поэтому поначалу непривычно и забавно читать какой-нибудь пассаж вроде: «Часто случалось, что рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить» (это об отношениях с императрицей Екатериной). Екатерину Державин боготворит, всячески подчеркивает в «Записках» ее человеческие черты и приводит примеры милосердия и щедрости самодержицы. Причем описывает это часто с наивностью, напоминающей будущую сентиментальную прозу Карамзина. Характерен в этом смысле эпизод с московским генерал-губернатором Прозоровским, который учинил травлю некой бедной благородной девицы и ее сестры за то, что те написали на него жалобу императрице. Травлю же он устроил руками московского военного губернатора Архарова Ивана Петровича, того самого, чьи «архаровцы», солдаты личного его гарнизона, были притчей во языцех во всей Москве в смысле грубостей и жесткостей их обращения с населением. Сестры вновь жалуются Екатерине в Санкт-Петербург, и та, «когда она начала в бриллиантовой палате убираться», призывает к себе Державина и дает ему следующее поручение: «Я вижу, этих бедных сирот угнетают за то, что они пожаловались на главнокомандующего, то губернатор и вся полиция на них возстали; отыщи их и представь ко мне, но так, чтоб того начальство тамошнее не знало». Далее в «Записках» излагаются авантюрные подробности поисков по Москве неким подполковником Резановым, посланцем Державина, бедных сестер-сирот, которые подумали, что за ними гоняется кто-нибудь из архаровских живодеров. Результат всей этой истории довольно комичен: поведение доставленных в столицу (СПб) сестер, после

того как над ними был устроен тайный надзор на предмет проверки их нравственности, «не слишком оказалось невинным», и государыня вернула их обратно в Москву.

Таких живых и простодушных подробностей у Державина очень много, поэтому книга эта, несмотря на архаичный ее язык и бесконечные обороты речи, вполне читаема и по сегодняшний день.

«Записки о моей жизни» Н. Греча

Николай Иванович Греч — самая одиозная после Фаддея Булгарина личность в истории российской словесности. Убежденный консерватор, сподвижник Булгарина, добровольный агент третьего отделения тайной полиции, он в то же время печатал и ценил Пушкина и, несмотря на временный разрыв отношений в 1830-31-м году, инспирированный Булгариным и связанный с литературной борьбой, впоследствии восстановил дружеские отношения с поэтом, продолжавшиеся до самой гибели Пушкина.

Греч — автор множества сочинений, о которых в наше время знают исключительно литературоведы. Собственно говоря, уже на закате жизни писателя его книги не востребованы читателями, а попросту говоря — забыты.

Характерна в этом смысле история с чествованием полувекового юбилея литературной деятельности Греча в 1854 году. Вот отрывок из письма П. А. Плетнева П. А. Вяземскому по этому поводу: «С Гречем произошла вот какая история. Уже года три он хлопотал, чтобы его друзья отпраздновали 50-летний юбилей литературной его жизни. Нынешней осенью удалось ему склонить Я. И. Ростовцева войти через государя наследника с докладом к его величеству о дозволении праздновать этот юбилей… Соизволение воспоследовало. Напечатали приглашение участвовать в этом деле денежными приношениями и брали с рыла не менее 25 рублей серебром…»

Соизволить-то государь соизволил, и сам Греч лично обходил с приглашениями своих сановных знакомых, да вот только на юбилее литературной деятельности практически никто из литераторов не присутствовал Не было там даже Булгарина, с которым Греч на этот период состоял в ссоре. Билеты на юбилей принудительно распространялись в военных кругах, находившихся под начальственным ведомством генерала Ростовцева.

Единственное сочинение Греча, пережившее его век, это «Записки о моей жизни». Это действительно уникальный памятник общественного и литературного быта России первой четверти XIX века. Характеристики его лишены лести. Казалось бы, человек, купленный властями чуть ли не с потрохами, должен петь дифирамбы императору и его окружению. Ничуть не бывало. Страницы об императорах Павле, Александре, цесаревиче Константине и прочих августейших особах полны такой беспощадной критики, что понятна причина изъятия этих мест из

суворинского издания 1886 года.

«Записки о Шерлоке Холмсе» А. Конан Дойла

Другой классик детектива, французский писатель Морис Леблан, довольно иронично написал о сочинениях про Шерлока Холмса следующее: «Вооружись Шерлок Холмс самой сильной лупой и исследуй он хладнокровно путь, по которому столь хитроумно вел его к разгадке мой друг Конан Дойл, знаменитый сыщик не без изумления обнаружил бы, что на этом пути истину ему не найти вовек. Как правило, все рассуждения идут прахом из-за случайно вкравшейся неточности, наталкиваются на непредвиденные препятствия или плохо согласуются между собой».

Конечно же, Леблан прав. Правда детективных романов не согласуется с правдой жизни. Впрочем, как и литературы вообще. В литературе другая правда. Но что касается меня лично, другая правда, литературная, куда более правдивее настоящей.

Во все времена, начиная от первого романа-детектива до дней сегодняшних, высоколобая публика заявляет, что детектив — это литература для бедных. То есть заведомо низкой пробы, рассчитанная на дешевый эффект и несовместимая с высоким искусством.

Послушаем мнение Честертона:

> Детективный роман является совершенно законным литературным жанром, он обладает к тому же вполне определенными и реальными преимуществами как орудие общего блага.

Обратите внимание на слова «орудие общего блага» Далее Честертон утверждает:

> Первое важнейшее достоинство детектива состоит в том, что это — самая ранняя и пока что единственная форма популярной литературы, в которой выразилось некое ощущение поэзии современной жизни. Люди веками жили среди высоких гор и вечных лесов, прежде чем осознали их поэтичность; можно с достаточным основанием предположить, что далеким нашим потомкам дымовые трубы, возможно, покажутся такой же яркой метафорой, как горные пики, а уличные фонари — таким же старым и естественным украшением пейзажа, как деревья.

Перечитайте рассказы и повести о Шерлоке Холмсе, заново, целиком. Почувствуйте, сколько в них поэзии современного Конан Дойлу города. То же самое и в любом талантливом детективе, независимо от места и от эпохи.

И еще: «Детективные романы делают и другое полезное дело… Показывая бдительных стражей, охраняющих аванпосты общества, они постоянно напоминают нам о том, что мы живем в вооруженном лагере, окруженном враждебным хаотическим миром, и что преступники, эти детища хаоса, суть не что иное, как предатели в нашем стане».

А как говорил капитан Жеглов: «Преступник должен сидеть в тюрьме».

Зеленая Шляпа

Среди библиофилов России встречаются люди поистине фантастические. Чудаки и оригиналы, как любил говорить Пыляев, а я повторю за ним. Я тоже встречал таких одержимых личностей, которые за редкую книгу готовы были продаться кому угодно — дьяволу, ЦРУ, человекорыбам с Юпитера, эфиопской мафии.

Одним из самых ярких представителей библиофилов такого рода был Лодыгин Николай Николаевич по прозвищу Зеленая Шляпа.

Среди петербургских книжников в 60-80-е годы Лодыгина знали все. Это был абсолютно безумный книжник, прославившийся когда-то тем, что заявился в американское консульство и потребовал политического убежища. Случилось это после того, как у Лодыгина в букинистических магазинах перестали принимать книги. А жил он исключительно тем, что играл на непостоянстве цен: покупая, например, в «Старой книге» на Московском проспекте «Собрание портретов россиян знаменитых» Бекетова за 1000 тогдашних рублей, нес его на Литейный и продавал там вдвое дороже.

За спекуляцию (была такая статья в Уголовном кодексе) посадить Лодыгина не могли: в прошлом постоянный клиент всех городских психушек, он прикрывался железной справкой о невменяемости. Прописать на постоянку в лечебницу не хотели — из-за острой нехватки мест. Поэтому поступили просто — товароведы всех букинистических магазинов города договорились между собой у Лодыгина книги не принимать, лишив его тем самым единственной доходной статьи.

Вот тогда-то Николай Николаевич, посчитав это политической провокацией, пошел сдаваться американцам.

Те как на Лодыгина посмотрели — сандалии на босу ногу, пиджак на голое тело, мятая зеленая шляпа, — так сразу дали ему от ворот поворот. Словом, никакого убежища Николай Николаевич не получил, а имел долгую беседу с работниками органов государственной безопасности на предмет того, что психи бывают разные, и есть психи наши, советские, психи-патриоты, а есть другие, готовые за жевательную резинку и кеды фабрики «Адидас» продать любимую родину. Строгих мер к виновнику все же решили не применять, ограничились серьезной беседой и направили очередной раз в психушку.

Таких сумасшедших книжников, как Николай Николаевич Зеленая Шляпа, в прежнем Питере было хоть пруд пруди. Саша Гэ

(Говно), Витя Полчерепа, Слава Железнодорожник… О любом из них можно писать поэмы, и когда-нибудь они будут написаны. Город, страна, вселенная должны помнить своих героев.

«Змеиные цветы» К. Бальмонта

Бальмонту можно смело добавить в анкетную графу «Кем работаете» к профессии поэта еще и профессию путешественника. Где он только не был и какие страны не повидал! Кроме Европы, каждый камень которой знает поступь поэта Бальмонта, он за долгую свою жизнь успел побывать в: Мексике, Америке, Египте, Австралии, Новой Зеландии, Полинезии, Японии, Индии… На островах: Балеарских, Самоа, Новой Гвинее, Тонга и прочих — и именных и безымянных. После каждого из своих путешествий поэт выдавал читателям полный стихотворный отчет о том, что видел, с кем встречался и что откушивал из местных национальных блюд. Иногда такой отчет бывал прозаическим, как в книге о поездках по Мексике. Иногда он выливался в переложение на язык отечественных осин (выражение моего друга писателя-фантаста Андрея Балабухи, которое он употребляет с частотой пулемета Анки из кинофильма «Чапаев») иностранного народного творчества — мифов, легенд и прочего. В тех же «Змеиных цветах» эта грань поэтического таланта Бальмонта отражена его своевольным переложением образцов древнеиндийской архаики.

Вроде бы сочетание странное — Америка и Древняя Индия. Странное — пока вы не откроете эту книгу Дело в том, что индейская библия, известная под именем «Пополь-Вух» (кстати: впервые, именно благодаря Бальмонту, вышедшая в России в этом томике вместе с путевыми заметками) и индийские космогонические легенды создают как бы разные полюса, рождают напряжение текста. «Пополь-Вух», очень близкий к Библии, трактует мир как творение триединого бога посредством Слова. В мире древнеиндийских мифов вселенная создается сама собой по схеме «хаос — вода — огонь — Золотое Яйцо — Брахма». Философия индуизма трагична и близка европейскому экзистенциализму. В основе ее — одиночество бога Брахмы, рождающее вселенский страх, и старания страдающего божества избавиться от своего одиночества. Именно страх одиночества привел Брахму к созданию себе подобных божеств с помощью энергии мысли. Триединый же господь «Пополь-Вуха» одиночеством, наоборот, не страдает — в силу названной своей триединости.

Бальмонт нынче у читателей не в фаворе. Это плохо, потому что в залежах его стихотворных руд скрываются элементы редкие, современные и благотворно действующие на всякого человека. Так же — проза, и «Змеиные цветы» в том числе.

«Золотой ключик» Алексея Толстого

Маленькая каморка, кусок холста на стене, на холсте нарисован очаг. «Здесь живет писатель Алексей Николаевич Толстой?» — «Здесь живет папа Карло, а к Толстому — это туда». Холст откидывается, за холстом — дверца. Звякает золотой ключик — и мы попадаем в сказку. Заставленный снедью стол, жаркий пар над тарелками, вино в прозрачном графине. И над всем этим пиршественным блаженством — его величество Алексей Толстой, классик нашей советской литературы Неважно, что вокруг вместо дворцовых чертогов — грубые деревянные стены. Война как-никак, враг на родной земле. Глухо ворчит артиллерия. Самолеты буравят воздух. Толстой поднимает тост За Сталина, за победу, за советский народ. Тепло, сытно, уютно, но надо выбираться на холод, за эти деревянные стены, в голодный, продрогший мир, в голодную разрушенную страну. Прощайте, Алексей Николаевич. Спасибо за угощение. Привет вам из блокадного Ленинграда от вашей бывшей жены.

Если прошлое мешает вам жить, это прошлое следует уничтожить…

…Не часто я у памяти в гостях,
Да и она меня всегда морочит.
Когда спускаюсь с фонарем в подвал,
Мне кажется — опять глухой обвал
За мной по узкой лестнице грохочет…

Это Анна Ахматова, «Подвал памяти» — стихотворение, которое она читала Толстому в Ташкенте, в эвакуации. Алексей Николаевич сказал тогда возмущенно: «К этому незачем возвращаться».

…Но что-то внутри тебя тянется в далекие годы, кто-то тебя оттуда зовет, смотрит на тебя пристально, мешает тебе привыкнуть к роли, которую ты взялся играть. Прошлое — это враг. Если враг не сдается, его уничтожают. Писатель — тот же солдат. Только в руках у него не автомат, а перо. Впрочем, советский писатель уже давно приравнял перо к автомату или к артиллерийской пушке.

Когда-то мы смотрели в Театре Ленсовета инсценировку «Хождения по мукам». Романа я не читал, но спектакль мне понравился. На сцене размалеванные,

крикливо одетые футуристы, красавец Бессонов, загримированный под А. А. Блока… Рядом со мной Эйхенбаум ерзает в кресле. В антракте спрашиваю:

— Вам что, дядя Боря, не нравится?

Он отводит меня в сторону и говорит очень серьезно:

— Ты сейчас, Миша, может быть, не поймешь то, что я тебе скажу. Но запомни на всю жизнь. Это все ложь.

— Что, дядя Боря? Спектакль?

— И спектакль… и Бессонов, и роман этот в основном ложь.

Это Михаил Козаков — цитирую по его «Актерской книге».

Толстой писал в Россию из эмиграции: «…Ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, но вколотить в истрепанный бурями русский корабль».

В 1923 году Алексей Николаевич вернулся на родину. И понял — прошлого не вернуть. Прошлое надо переписывать заново. И то, что было, — убить, принизить, высмеять и выкинуть вон. И на те книги, которые написаны на чужбине, надо смотреть теперь «под другим углом, с советской стороны границы, разделившей мир». Он переделывает написанные в эмиграции «Аэлиту», роман «Сестры» (первая часть будущей трилогии «Хождение по мукам»). Он переделывает себя. Он вколачивает свой собственный гвоздь в истрепанный русский корабль.

Работу над сказкой о Буратино Толстой начал в 1935 году. Собственно говоря, начал он ее много раньше, еще в Берлине, но тогда это была литературная обработка чужого перевода сказки Карло Коллоди «Пиноккио». Потом, в 1934 году, он подписывает договор с Детгизом, но работа почти не движется, и лишь весною 35-го года, отлеживаясь после инфаркта и отложив на время трилогию, Толстой пишет «Золотой ключик». Книжка вышла совершенно не похожей на итальянский оригинал. И не только потому, что работал над ней русский художник. Толстой сделал ее намеренно не похожей — он еще раз доказал себе и другим, что с прошлым покончено навсегда. Игра на понижение, осмеяние и, в результате, уничтожение прошлого — вот задача, которую он поставил и выполнил в сказке о Буратино.

В рукописи «Золотой ключик» назван «новым романом для детей и взрослых». Такое сознательное подчеркивание состава читательской аудитории говорит о многом. На первом месте, конечно, дети. Но дети видят кукольный театр, поверхность. А что под ней, в глубине — это могут разглядеть лишь взрослые.

Образованный читатель тех лет прекрасно понимал, кого имел в виду Алексей Толстой, выводя на арену сказки тех или

иных персонажей.

Главный сказочный антигерой Толстого — поэт Александр Блок. Удивительно, с каким постоянством классик советской литературы направляет свое перо против автора «Соловьиного сада» и «Незнакомки». Ведь до этого он уже вывел классика поэзии символизма в образе поэта Бессонова из романа «Сестры». Анна Ахматова считала это «сведением счетов и непохожим пасквилем».

Лично Александр Блок писателя Алексея Толстого не оскорблял никогда. Для Толстого это имя всего лишь символ — символ прошлого, символ круга единомышленников, к которому когда-то принадлежал и сам Алексей Толстой. Круг тот давно распался, но память не давала покоя. А если враг не сдается, его уничтожают.

Блок выведен в сказке про Буратино под маской Пьеро. Пьеро — поэт, Пьеро безумно влюблен в Мальвину, Пьеро пишет Мальвине стихи. Про пляшущие на стене тени:

> Пляшут тени на стене —
> Ничего не страшно мне.
> Лестница пускай крута,
> Пусть опасна темнота…

Про болото:

> Мы сидим на кочке,
> Где растут цветочки…

Мотивы «теней на стене», «болот» напрямую взяты из Блока.

«А роза упала на лапу Азора» — пишет Буратино под диктовку Мальвины знаменитый палиндром А. Фета, читающийся что справа налево, что слева направо — одинаково. Роза здесь — отсылка читателя к блоковской драме «Роза и крест». Сцена пародирует драму. У Блока — героиня Изора, роза падает у нее из руки. У Толстого рука красавицы — это собачья лапа. Все поставлено с ног на голову, все осмеивается и пародируется. И сама Мальвина — пародия. Имя это, придя в Россию в XVIII веке из «Поэм Оссиана» Макферсона, стало символом романтической любви. К XX веку оно прижилось в романсах, романтика из него улетучилась и оно стало нарицательным именем проститутки. И сам лес, в котором в маленьком домике живет возлюбленная Пьеро Мальвина, — не что иное, как пародия на блоковский «Соловьиный сад», приснившийся поэту во сне. Вся линия

Мальвина—Пьеро — умело и зло спародированная семейная трагедия Блока.

Пародирует автор не только Блока, но и его окружение. Например, кукольный владыка Карабас Барабас, от которого сбежали маленькие актеры-куклы, — пародия на Всеволода Мейерхольда и его теорию «режиссерского театра».

Итак, «Золотой ключик» — пародия. Злая, несправедливая, сделанная во многом лишь потому, чтобы очередной раз отделить себя от круга писателей, подчеркивающих свою принадлежность к Серебряному веку литературы. Это опальные Мандельштам, Ахматова. Это писатели-эмигранты, к которым Толстой сам когда-то принадлежал. Своей сказкой про Буратино он заново продемонстрировал власти свою советскость.

Но сказка на то и сказка, чтобы жить самой по себе, независимо от желаний автора. «Золотой ключик» присвоили себе наши дети. Теперь он принадлежит им, и детям дела нет до чьих-то мстительных замыслов и грызущих совесть воспоминаний.

Пусть сказки принадлежат детям!

Зощенко М.

Невозможно себе представить унылое читательское лицо, склонившееся над книжкой Зощенко. Но сам Михаил Михайлович, как утверждают многие его современники, в жизни был человек серьезный, рассказы свои читал без улыбки, а что касается смеха, то смеющимся Зощенко, наверное, не видел никто. Вот кусочек из записных книжек Евгения Шварца, подтверждающий это мнение: «Рассуждения его очень уж не походили на сочинения. В них начисто отсутствовало чувство юмора. Они отвечали строгой и суровой, и, как бы точнее сказать, болезненной стороне его существа…» Под болезнями в приведенном отрывке подразумеваются обыкновенные вещи: бессонница, сердцебиение, страх смерти — все то, что вынес писатель с фронтов мировой войны. Рукой, которая писала рассказы, водила скрытая, смешливая сторона зощенковской души, внешняя же, фасадная сторона всегда оставалась затененная тревогами жизни.

В одночасье став знаменитым, писатель сделался кумиром толпы, все его принимали за своего, за простецкого косноречивого парня, говорящего на их языке и попадающего в точно такие же дурацкие ситуации, в которые по дюжине раз на дню попадают рядовые читатели.

На самом деле Зощенко обманул этого самого «своего» читателя: язык, который придумал Зощенко, именно что и был языком придуманным — в природе такого языка не существовало; мало того, возможно, писатель искусственно спровоцировал массовое бытование этого языка в обществе. Новый, освобожденный революцией человек по старому говорить не хотел, старые грамматические формы и правила отрицал как причастные к свергнутой монархической тирании, а с другой стороны, литература все еще оставалась для него вещью сакральной, и писатель был ни кем иным как скрытым жрецом, приобщенным к искусству тайнописи, — во всяком случае для основной части полуграмотного российского населения это было наверняка так.

Подобное вознесение Зощенко ничего хорошего для самого писателя не несло, любое отклонение от устоявшихся читательских вкусов воспринималось публикой как предательство. Вот характерный тому пример. Однажды Зощенко выступал на эстраде с чтением одной из своих серьезных вещей. Из зала раздался крик: «„Баню“ давай… „Аристократку“… Чего ерунду читаешь!»

По сути, Зощенко в 20-е годы был языческим рукотворным богом, и фигурки людей, которые он массово производил в своих книгах, в глазах читателей были лишь магическими предметами, слепленными из слов человечками, в которых можно было втыкать иголку и испытывать чувство едва ли не физического удовлетворения, представив, что уколотый — твой коммунальный сосед.

Жизнь Михаила Зощенко состоит как бы из двух частей. Первая, счастливая часть, приходится на двадцатые годы и захватывает начало тридцатых. Для писателя это время фантастического успеха. В одном только 1926 году выходит более пятнадцати книг рассказов. Крупнейшие сатирические журналы тех лет бесперебойно печатают его прозу. В 1929-31 годах выходит шеститомник писателя. В 1931 году шеститомник начинают переиздавать, но после второго тома издание останавливается. Небо меняет цвет — алый, праздничный, неподдельный переходит в цвет запекшейся крови.

Собственно говоря, трещина в отношениях между литературой и властью пролегла еще в двадцатые годы. Но тогда казнили больше чужих, а сомневающихся и подсмеивающихся над новым устройством общества в основном журили и миловали. Так продолжалось до второй половины 20-х, а именно — до окончательного воцарения Сталина на кремлевских олимпийских высотах.

Первоочередная задача смерти, задумавшей победить жизнь, — это убить смех. Кто смеется громче и заразительней всех? Дети. В 1928-29 годах меч красного государства обрушивается на детскую литературу. Газета «Правда» устами Надежды Константиновны Крупской гневно клеймит «чуковщину». Общее собрание родителей Кремлевского детского сада от имени всех советских детей дружно говорит «Нет!» проискам буржуазных вредителей, внедрившихся в детскую литературу. Достается Чуковскому, Маршаку, группе поэтов-обэриутов. 14 апреля 1930 года стреляется первый поэт революции Владимир Владимирович Маяковский. В 1931-32 годах проходит политическая кампания против чуждой идеалам социализма поэзии. Начинаются первые аресты. Художница Алиса Ивановна Порет вспоминает об этом времени: «Целая охапка наших друзей — Хармс, Введенский, Андроников, Сафонова, Ермолаева были арестованы». В 1933 году Осип Мандельштам пишет и распространяет свое знаменитое «Мы живем под собою не чуя страны…» В 1934 поэта арестовывают и ссылают. Ссылки начала 30-х лишь только генеральная репетиция массовых репрессий конца десятилетия. Многие, например Маршак,

предчувствуя грядущие казни, отлучают от литературной жизни своих ближайших друзей. «Наше изгнание казалось необъяснимым предательством, — пишет работавший в руководимом С. Я. Маршаком Детском отделе Госиздата писатель Николай Чуковский. — А между тем в нем не было ровно ничего необъяснимого. Просто Маршак, всегда обладавший острейшим чувством времени, тоже ощущал грань, отделявшую двадцатые годы от тридцатых. Он понимал, что пора чудачеств, эксцентриад, дурашливых домашних шуток, неповторимых дарований прошла. В наступающую новую эпоху его могла только компрометировать связь с нестройной бандой шутников и оригиналов, чей едкий ум был не склонен к почтительности и не признавал никакой иерархии…» Банда шутников и оригиналов — это Евгений Шварц, сам Николай Чуковский, Борис Житков, Ираклий Андроников, Николай Олейников, Даниил Хармс.

Трещина поглощает всех. Жить становится жутко:

Лев рычит во мраке ночи,
Кошка стонет на трубе,
Жук-буржуй и жук-рабочий
Гибнут в классовой борьбе.

Нейтральная полоса затоптана. Либо ты враг, либо ты друг, и третьего быть не может.

«У нас есть библия труда, — писал Осип Мандельштам в 1930 году, — но мы ее не ценим. Это рассказы Зощенки. Единственного человека, который нам показал трудящегося, мы втоптали в грязь. Я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду…»

«Самый чепушистый из писателей двадцатых годов, Зощенко, к тридцатым годам стал писать свои повести, полные безысходной тоски, — „Аполлон и Тамара“, „Сирень цветет“, „Возвращенная молодость“, „Записки Синягина“ — и кончил весь этот цикл „Голубой книгой“, которая прозвучала как мольба о справедливости, милосердии, чести». Эта очень грустная фраза взята из воспоминаний Николая Корнеевича Чуковского.

Литература — это увеличительное стекло. Комедия обыкновенного человека при детальном, пристальном рассмотрении превращается в обыкновенную драму. А из множества этих невзрачных и примитивных драм, вызывающих смех и колики в животе у неприхотливых и близоруких зрителей, составляется великое трагедийное полотно под названием «Наша жизнь». В этом суть писателя Зощенко. И власти это понимали

прекрасно.

Германия, 1933 год. В соответствии с «черным списком» книг, подлежащих сожжению, уничтожаются книги Зощенко.

Россия, 40-е — середина 50-х. Зощенко как писателя практически изымают из литературы. «Разве этот дурак, балаганный рассказчик, писака Зощенко может воспитывать?..» — скажет по его поводу Сталин. И спускает на писателя свору своих тонкошеих прихвостней во главе с погромщиком Ждановым. Потом долго еще всякая литературная шавка, которых в те печальные годы расплодилось как мух в навозе, старалась его облаять. Евгений Шварц писал про таких в своих записных книжках: «…Я ненавижу тех добровольцев, что до сих пор бьют лежачего, утверждая этим свое положение на той ступеньке, куда с грехом, нет, со всеми смертными грехами пополам, удалось им взгромоздиться».

Писатель после августа 46-го года лишен продуктовой карточки. Издательства, журналы и театры расторгают заключенные ранее договоры и требуют возвращения авансов. Семья распродает вещи. Зощенко зарабатывает на жизнь тем, что ремонтирует обувь в сапожной артели. Изредка перебивается переводами. Только в декабре 1956 года, после очень долгого перерыва выходит книга избранных рассказов и повестей писателя. Вот такой рукотворный памятник воздвигло советское государство одному из самых читаемых и любимых в народе авторов.

Заключить эту небольшую заметку хочется фразой Осипа Мандельштама, под которой я готов подписаться, не раздумывая ни на одну секунду: «Если бы я поехал в Эривань… Я бы читал по дороге самую лучшую книгу Зощенки, и я бы радовался, как татарин, укравший сто рублей…»

И

Иванов Вячеслав

«Он был попович и классик, Вольтер и Иоанн Златоуст, оригинальнейший поэт в стиле Мюнхенской школы, соединивший немецкий порыв вагнеровского пошиба с немецким безвкусием, тяжеловатостью и глубиной, с эрудицией, блеском петраркизма и чуть-чуть славянской кислогадостью и ваточностью всего этого эллинизма. Из индивидуальных черт: известная бестолковость, подозрительность и доверчивость. Было и от итальянского Панталоне, и от светлой личности, но, конечно, замечательное явление».

Имя этого замечательного явления, так парадоксально описанного Михаилом Кузминым в «Дневнике 1934 года» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1998), — Вячеслав Иванович Иванов.

Женат В. Иванов был на человеке таком же необыкновенном, как и он сам, — Лидии Дмитриевне Зиновьевой, прибавившей «для затейливости» (по версии М. Кузмина) к своей фамилии довесочек Аннибал. Вот как описывает супругу поэта тот же Кузмин на страницах своего «Дневника»:

> Это была крупная, громоздкая женщина с широким (пятиугольным) лицом, скуластым и истасканным, с негритянским ртом, огромными порами на коже, выкрашенным, как доска, в нежно-розовую краску, с огромными водянисто-белыми глазами среди грубо наведенных свинцово-пепельных синяков… Ходила она в каких-то несшитых хитонах разнообразных цветов. Для здравого взгляда она представлялась каким-то чудовищем, дикарским мавзолеем. В ее комнате стояла урна, крышки от диванов и масса цветных подушек. Там она лежала, курила, читала, пела и писала на мелких бумажках без нумерации бесконечные свои романы и пьесы…

В 1905 году из-за границы возвратившись в Москву, чета Ивановых пробует утвердиться на московском литературном Олимпе. Л.Д. издает роман, В.И. — стихотворный сборник «Прозрачность».

Но — «они не понравились москвичам, москвичи им, и Ивановы перебрались в Петербург» (М. Кузмин, «Дневник 1934 года»).

Вот тогда-то, на Таврической улице, они и устраивают

знаменитую Башню, в которой практически концентрируется вся культурная жизнь России того периода. Здесь бывают литераторы, художники, политики, просто знаменитые и не очень знаменитые личности.

Ходили также «курсистки, теософки и психопатки. Последних мало, но бывали вроде дамы Бриллиант, которая ходила по великим людям за зародышем. Она хотела иметь солнечного сына от гения. Перед визитом она долго обсуждала, чуть ли не с мужем, достаточно ли данное лицо гений и порядочный человек. Так она безуспешно ходила к Андрееву, Брюсову и добрела до Вяч. Ив., но тут Лид. Дм. услышала из соседней комнаты желание странной посетительницы и запустила в нее керосиновой лампой. Весь кабинет вонял керосином дня три…» (М. Кузмин, «Дневник 1934 года»).

В 1913 году, после годичного пребывания за границей, Вяч. Иванов поселяется в Москве, с 1920 по 1924 год живет и преподает в Баку, затем получает разрешение на поездку в Рим, где и остается до конца жизни.

Измайлов А. Е.

Вот Измайлов — автор басен,
Рассуждений, эпиграмм;
Он пищит мне: «Я согласен,
Я писатель не для дам!
Мой предмет: носы с прыщами;
Ходим с музою в трактир
Водку пить, есть лук с сельдями…
Мир квартальных — вот мой мир».

Так описан поэт Александр Ефимович Измайлов в классической поэме-памфлете «Дом сумасшедших» Александра Воейкова.

Измайлов, как и Воейков, сам был остер на язык и не давал спуску литературным недругам, которых у него было немало.

Самыми известными сатирами Измайлова считаются его эпиграммы на А. Шишкова, главу тогдашней архаической школы, и на Фаддея Булгарина, притчу во языцех русской литературы пушкинского периода.

Основная стрела эпиграммы «Шут в парике», нацеленной на Шишкова, бьет по известной манере последнего ставить во главу угла своей критики политическую дискредитацию литературных противников, обвинение их в пресмыкательстве перед Западом и в отсутствии патриотизма.

Безбожник! — закричал, — изменник! франкмасон!
Сжечь надобно его, на веру нападает.

— такие обличительные слова вкладывает поэт-сатирик в уста изображаемого им Шишкова. Неправда ли, очень напоминает нападки нынешних наших ультрапатриотических деятелей на некоторых представителей современной культуры.

Как издатель журнала «Благонамеренный», Измайлов опубликовал на его страницах несколько стихотворений Пушкина. Сам Пушкин к Измайлову относился двойственно. С одной стороны, был в восторге от некоторых измайловских опусов, с другой — критически был настроен по отношению к журнальной деятельности поэта. Известна ядовитая эпиграмма Пушкина на Измайлова:

Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал их без подписи моей;
Журнальный шут о них статейку тиснул,
Без подписи ж пустив ее, злодей…

Наверное, сегодня мало бы кто знал о поэте Александре Измайлове, если бы его не прославил Пушкин этой своей классической эпиграммой.

Изобретения, изобретатели

У поэта Николая Олейникова есть такое стихотворение:

> Хвала изобретателям, подумавшим о мелких и смешных приспособлениях:
> О щипчиках для сахара, о мундштуках для папирос,
> Хвала тому, кто предложил печати ставить в удостоверениях,
> Кто к чайнику приделал крышечку и нос.
>
> Кто соску первую построил из резины,
> Кто макароны выдумал и манную крупу,
> Кто научил людей болезни изгонять отваром из малины,
> Кто изготовил яд, несущий смерть клопу…

В самом деле, в мире существует столько мелких, но важных, смешных, зато полезных изобретений, сделанных как людьми безвестными, так и теми, чьи имена вписаны золотыми буквами в книгу человеческих достижений.

Так великому Леонардо да Винчи, гению итальянского Возрождения, люди должны говорить «спасибо» не только за «Монну Лизу» и изобретенный им парашют, но еще и за такую нужную бытовую мелочь, как липучка от мух.

А великий наш поэт Маяковский придумал способ смачивать бутылки водой, чтобы удобнее было отклеивать этикетки.

Лиля Брик, возлюбленная поэта, изобрела новое направление в живописи — не рисовать, а вышивать картины с натуры.

Давид Бурлюк, художник и поэт-футурист, тот придумал, живя в Америке, искусственную челюсть с подсветкой — для удобства принятия в темноте пищи.

Француз Сартр придумал экзистенциализм — что это такое, не знаю, но мой знакомый Виктор Лапицкий, известный переводчик с французского, уверяет, что штука нужная.

И щипчики для сахара, и челюсть с подсветкой, и даже непонятный экзистенциализм — вещи, бесспорно, необходимые, но самое масштабное, самое поразительное смешное изобретение всех времен и народов — конечно же, коммунальная квартира. Она затмевает все, что изобретено человеком как в прошлые, так и в настоящие времена.

Но про нее разговор особый.

Искандер Ф.

…забегу к Фазилю,
И на сердце у меня будет благодать.

Эти строчки из песенки Окуджавы я пою про себя всякий раз, когда вижу на книжной обложке имя писателя Искандера. Забежать в его книгу — воистину сердечная благодать. В любую книгу, ибо книга Искандера как дом — благодатный и полный света.

Отошли в историю те глупые времена, когда абхазское партийное руководство заваливало гневными письмами партийное руководство Москвы, чтобы то с высокой трибуны осудило «клевету на весь абхазский народ», которую кавказские небожители усмотрели в повести «Созвездие Козлотура», напечатанной в «Новом мире» Твардовского.

А ведь на всю эту партийную глупость приходилось давать ответ. «Новый мир» печатал опровержения. Умные, приличные люди убеждали назойливых дураков, что повесть не более чем сатира, что смех — лекарство, а не вражеский злобный нож, и что гибрид из козла и тура нисколько не поколеблет дружбу между народами-братьями.

Всё это было давно, дураки теперь кто повывелся, кто, проникнувшись духом времени, вдруг стал умным и оттого богатым. А Искандер нисколько не изменился — разве что стал мудрее, и книги его такие же, как и прежде, — добрые, веселые и домашние.

И вот ведь какое дело — откроешь какого-нибудь писателя земли русской, к примеру — незабвенного Чивилихина, и глазу хочется плакать, а языку потеть и плеваться, такая это муторная работа. А берешь «Дерево детства» или что угодно из «Сандро», и глаз радуется, язык пощипывает от счастья, как на прогулке в персиковом саду.

Грузин Окуджава, абхазец Искандер, да что там говорить — сам арап, сын арапа, их славный и веселый учитель Александр Сергеевич Пушкин — говорят таким ясным, легким, таким воздушным вселенским великорусским коренным языком, что никакому колесогрудому патриоту за ними не поспеть, не угнаться.

«Илиада», переведенная Н. Гнедичем

Гнедич, по Варваре Олениной, как и Крылов, его неразлучный друг, был замечателен своей дурнотой. Сухой, бледный, кривой, высокий, «с исшитым от воспы лицом». Это телом. А вот душою Гнедич был красив как никто. Его так и прозвали в обществе — ходячая душа.

Его истовый интерес к древним грекам сказался не только в образцово переведенной им Гомеровой «Илиаде». Он еще и своего друга баснописца Крылова подвИг на священный пОдвиг — на освоение древнегреческого языка. То есть сила духа и обаяния Гнедича была такова, что ленивый, «вечно растрепанный, грязный, нечесаный, немытый» (цитирую В. Оленину. — *А.Е.*) Иван Андреевич Крылов без всякого к тому принуждения взял и за два года выучил древнегреческий. И это в пятидесятилетнем возрасте! Он, по настоянию Гнедича, взялся было за перевод «Одиссеи» и даже перевел кое-что, но усердия его не хватило, одолела матушка-лень и он забросил под кровать классиков. Служанка потом долгое время растапливала их сочинениями печь.

Гнедич настолько вошел в образ переводчика «Илиады», что иначе и не говорил, как гекзаметрами. Представляете, обращается к вам на улице незнакомец: «Сколько драхм стоит нынче кило макаронных изделий, о любезный прохожий?» Или что-нибудь в этом роде.

То есть это я вам к тому, что в быту общаться с таким человеком, как Гнедич, было, наверное, нелегко.

А «Илиада» Гомера-Гнедича просто великолепна. Стих ее мощен, архаичен, богат — настоящий праздник для всех ценителей русского языка и поэзии:

> Чада Атрея и пышнопоножные мужи ахейцы!
> О! Да помогут вам боги, имущие домы в Олимпе,
> Град Приамов разрушить и счастливо в дом возвратиться…

Кстати, один из лучших современных иллюстраторов «Илиады» Гомера — художник Владимир Шинкарев (см. В. Шинкарев. Всемирная литература. «Красный матрос», СПб., 2000). Всячески его вам рекомендую — не пожалеете.

«Иной свет, или Государства и империи Луны» Сирано де Бержерака

Длинноносый бретер, прославленный Эдмоном Ростаном в знаменитой комедии. Философ, острый на шпагу и на язык, не спускающий врагам и обидчикам и считающий не достойным мужчины пропустить мимо себя хоть одну юбку. Чудак, который однажды дотянулся своим носом до Луны и оставил на ней следы в виде лунных кратеров. Что еще? Вообще-то для простого смертного уже этих личных характеристик вполне достаточно, чтобы остаться в памяти поколений.

Что-то есть в нем от д'Артаньяна, только д'Артаньян поглупей. До мудрости Сирано гасконцу из романа Дюма тянуться и тянуться, как до Луны. Стоп. Луна. Заветное слово названо.

Во всех популярных очерках по истории научной фантастики Сирано считается едва ли не писателем-фантастом номер один. Во всяком случае, в освоении лунной темы. Сам перенос на спутник нашей планеты осуществляется на научной основе. Это вам не какой-нибудь берроузовский герой, который засыпает в пещере, а просыпается уже на красной планете, окруженный местными Аэлитами и злыми марсианскими Уриями Хипами. Герой Сирано, обвешанный склянками с росой, под воздействием Солнца преодолевает силы земного тяготения и случайно оказывается на Луне. Хотел в Канаду, а попал на Луну. На Луне у Сирано рай. Тот самый земной Эдем, описанный в самой главной Книге. Но что-то в этом раю не то, как-то он не по-райски устроен. В общем, герой Сирано за откровенную атеистическую пропаганду изгоняется из лунного рая и попадает в страну разумных четвероногих, где его принимают за «самку зверька королевы» и водят напоказ на веревочке. Приключений в этой книге хватает. И зерен будущих, тогда еще не написанных, книг тоже. И Мюнхгаузен, и даже Незнайка на Луне — все они берут старт отсюда, из романа Сирано. И даже герои ранних романов братьев Стругацких тоже.

И еще роман Сирано, как это ни странно, считается первым литературным произведением, написанным в абсурдистском ключе. Задолго до Кафки, Беккета, Ионеско Сирано де Бержерак уже работал в этом опасном жанре и, честно говоря, довольно в нем преуспел.

Роман его читается и поныне.

Искусство

«Мы в Москву ездим за вологодским маслом. Там есть магазин на Преображенке. Я пачку масла ем два месяца. А Троцкого убили кирпичом». Это из «Монохроник» писателя Юрия Коваля.

Вы спросите, а причем тут искусство?

А причем там, у Коваля, Троцкий?

На самом деле все в мире взаимосвязано. И Троцкий, и вологодское масло, и даже пятна на Солнце, про которые все мы знаем, но которых никто не видел. Всё это кубики и детальки, тот незамысловатый сор, из которого и делается искусство.

Искусство — это не только литература или кино. Это техника, это бизнес, это производство того самого кирпича, о котором упомянуто выше.

Компьютерный мастер — не менее великий художник, чем Моцарт, Вермеер Дельфтский или Артюр Рембо.

То же и бизнесмен. Ведь бизнес ни что иное как искусство делания дела, делающего людей богатыми.

И все это объединяет в себе Искусство. И это, и много что еще. Оно как тот магазин на Преображенке, где продается вологодское масло.

«История советской фантастики» Р. Каца

Мы редко об этом думаем, но на самом деле миф и легенда — вещи совершенно необходимые человеку. Они существуют для того, чтобы, образно говоря, отделить в человеческом стаде овец от козлищ. Ничего обидного в эту животную терминологию я не вкладываю, а всего лишь повторяю библейские прописные истины.

По отношению людей к мифу проверяется сущность каждого конкретного человека. Имели место легендарные события в действительности или же не имели — по сути своей не важно. Да, историки могут открывать тысячи документов, доказывающих невозможность события легендарного, но человеческая вера в чудесное все равно много сильнее ученых доводов.

И это замечательно. Пока есть люди, верящие в вещи неосязаемые, в события, непостигаемые умом, то существуют и Бог, и ангелы, и святой Грааль, и рыцари Круглого стола, и змееборец Георгий, и сам дракон, с которым он борется уже которую сотню лет.

Рациональность и иррациональность — две ветви развития человека, впрочем постоянно переплетающиеся и поддерживающие друг друга в росте.

Книга Рустама Каца — мифология особого рода. Она максимально приближена к дню сегодняшнему, многие герои «лунной» истории советской фантастики (а шире — литературы в целом) живут рядом с нами. Когда книга вышла первым изданием (Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1993), она вызвала своего рода термоядерный взрыв. Свидетельство тому, во-первых, масса отзывов в прессе, во-вторых, большое число врагов, которых приобрел автор после ее публикации. А если кто-то начинает автора ненавидеть за его сочинение — это уже похвала высокого уровня. Ведь главное свидетельство успеха — накал страстей, которые вызывает книга.

Кстати, некоторые критики восприняли мифологию Каца как действительную историю советской фантастики. Так, в «Российской газете» вышла заметка под названием «Все о фантастах», где говорится буквально следующее: «Вышедшая недавно в издательстве Саратовского университета работа доктора филологических наук Р. Каца „История советской фантастики“ стала у местных книгочеев бестселлером. Прочитав ее, российский читатель узнает немало нового не только о хорошо знакомых авторах — А. Беляеве, А. Обольянинове, К. Булычеве, но и о тех, чьи имена были несправедливо забыты».

Вот так мифология вторгается в жизнь и живет с нами на равных правах.

K

«Калевала»

Одним из первородных начал в космогонии карело-финских народов является пиво. Наряду с огнем, железом, кантеле и медведем пиво составляет основу жизни, и в «Калевале» в «Книге первородных начал» отдельная глава посвящена его появлению. Глава эта так и называется — «Рождение пива». В ней подробно описывается процесс варки, концовка же у главы следующая:

Так вот уродилось пиво,
Калевы хмельной напиток,
там и имя получило,
добрую с почетом славу,
чтоб оно хорошим было,
вкусным, крепким и душистым,
всех бы женщин потешало
и мужчин вело к веселью,
радовало добродушных,
а глупцов кидало б в драку.

Собрал и записал «Калевалу» Элиас Лённрот в 20-40-е годы XIX века. Окончательный текст памятника был издан в 1849 году и составил в общей сложности 50 рун.

«Родиной этих поэм, — писал Лённрот в предисловии к книге, — является Карелия по обе стороны государственной границы Финляндии и России». Таким образом, район Калевалы — это карельское Беломорье, Олонец и прилегающие к ним карельские и финские территории.

Поэтому странно видеть новый, прозаический пересказ «Калевалы», выполненный Павлом Крусановым, с вынесенным на обложку подзаголовком «Финский народный эпос» вместо «Карело-финский». Вины Крусанова в этом нет, у него как раз все было правильно. Но, видно, кто-то из «астрельских» издателей то ли карелофоб, то ли просто повелся на поводу обычной книгопродавческой глупости. Финляндия, мол, как-никак заграница, а нынешний книжный рынок сориентирован на литературу Запада. Карелы на нем не катят, как не катят мордва и вепсы, татары, нганасаны и чукчи.

По мнению академика О. Куусинена, «Калевала» — единственный из северных эпосов, рожденных в народной гуще. Все остальные эпосы, будь то «Песнь о Нибелунгах» или скандинавская «Эдда», «составлены певцами-профессионалами,

воспевавшими легендарных героев на пиршествах князьков».

И пили эти «князьки» не пиво, подлинно народный напиток, пили они вино, классический напиток аристократии.

«Калевала» и Филонов

История с филоновской «Калевалой» — очень характерный пример отношения государства в лице отдельных его представителей к художнику Филонову и филоновской школе в частности и к изобразительному искусству вообще.

Процитирую записи из «Дневника» Павла Николаевича Филонова.

30 ноября 1931 г.: «Тт. Бабкин и Ковязин из изд-ва „Академия“ пришли ко мне в 5 ч. и предложили иллюстрировать „Калевалу“. Я отказался, но мы договорились, что эту работу сделают Мастера аналитического искусства — мои ученики под моею редакцией…»

1 декабря 1931 г.: «Вечером в 6 ч. собрались товарищи: Борцова, Вахрамеев, Глебова, Закликовская, Иванова, Капитанова, Порет, Цыбасов, чтобы обсудить предложение издательства „Академия“. За работу возьмутся все и, кроме них, Зальцман и Макаров. Порет, Миша и Вахрамеев завтра сходят в изд-во и договорятся с тт. Ковязиным и Бабкиным».

3 декабря 1931 г.: «Вахрамеев и Миша вечером пришли сказать о ходе переговоров в изд-ве „Академия“: товарищи будут делать 11 иллюстраций и 52 заставки; срок работы 1 месяц…»

Работа над «Калевалой» была начата 7 декабря 1931 года и в июне следующего года сдана заказчику. В вышедшей книге на обороте титула перечислены имена мастера и его учеников: «Работа по оформлению книги коллектива Мастеров аналитического искусства (школа Филонова) Борцовой, Вахрамеева, Глебовой, Закликовской, Зальцман, Ивановой, Лесова, Макарова, Мешкова, Порет, Соболевой, Тагриной, Цыбасова под редакцией П. Н. Филонова».

В комментариях Г. Марушиной к «Дневнику» о степени редакторского участия Филонова в работе его учеников говорится следующее: «Вопрос о редакции Филонова, иными словами — об участии его в работах учеников, до сих пор остается открытым. Известно, что Филонов очень активно, не щадя времени и сил, помогал своим ученикам, многое, вероятно, делал сам. Существуют различные свидетельства на этот счет».

Итак, работа над «Калевалой» была закончена в июне 1932 года. Прошло полгода. Читаем в дневнике запись от 13 января 1933 г.: «Получил из „Академии“ 1000 р. за редакцию „Калевалы“. Наконец издательство решило со мной расплатиться, когда рубль упал, а продукты поднялись в цене. Кило сахару в кооперативе по коммерческой цене сейчас стоит 15 р., а молоко на рынке 6 р. и 6

р. 50 к. Т. к. выплата из Академии производится исключительно через сберкассу, а номер и адрес кассы при переводе денег издательство перепутало, моей дочке пришлось долго похлопотать, разыскивая и получая их. Перевела их „Академия“ 29 декабря, и за это время на них наросло 2 р. 22 к. процентов. Из них я полностью заплатил дочке долг 638 р. 27 к.».

Один из рисунков к книге был утерян, нарисован заново и отослан в издательство. Вот что пишет по этому поводу художник: «Теперь надо ждать, как его примет тупье и паразиты из „Академии“ здесь и в Москве. Мы работаем с самодовольными, полными апломба и невежества паразитами Изо и мерзавцами Изо, по горло пресыщенными возможностью издаваться и оставаться недосягаемыми…»

Особая история была с форзацами филоновской «Калевалы», которые запретили за их красный цвет.

22 ноября 1933 г.: «Порет ‹…› сказала, что т. Сокольников, глава Ленотдела „Академии“, пробовал вступиться за форзацы „Калевалы“ и говорил об этом с М. Горьким. Горький ответил ему, что форзацы пропустить нельзя. Но Горький при этом просил Сокольникова отпечатать для него один экземпляр „Калевалы“ с форзацами. Т. к. Сокольников захотел этого же и для себя, и еще кое для кого, то Сокольников решил отпечатать триста экземпляров с форзацами. Но когда он распорядился об этом в лен. издательстве „Академия“, оказалось, что кто-то уже распорядился уничтожить клише форзацев».

Когда «Калевала» вышла, пресса отозвалась на ее появление ливнем отрицательных отзывов: «Не заслуживает положительной оценки иллюстративная сторона издания… Иллюстраторы не создали ничего ценного в художественном отношении. По стилю, по манере изображения рисунки дают полный разнобой и не связаны между собой. Преобладающий уклон — в сторону архаизации… Крайне неудачно изображение древних героев в карикатурном виде с подчеркнутыми типическими чертами… Чрезмерное злоупотребление со стороны художников ироническим отношением к „Калевале“ снижает общее впечатление…» Или другой пример: «Резкой отрицательной оценки заслуживает выпущенное „Академией“ издание финского народного эпоса „Калевала“, эта книга по праву может рассматриваться как своеобразная энциклопедия самых отвратительных и отталкивающих черт ленинградской художественной школы Филонова».

А вот мнение о «Калевале» Екатерины Серебряковой, жены Филонова: «Читаю эти дни „Калевалу“ — не знаю, от чего я больше в восторге — от содержания или рисунков, — до чего они

хороши… Радость у меня, когда я смотрю. Вчера утром более часа только рисунки смотрела».

Каменский В.

Более всего человек эпистолярной эпохи отражается в письмах. В свое время петербургский журнал «Звезда» (№ 7, 1999, публикация О. Демидовой) опубликовал часть переписки поэта Василия Каменского с режиссером и теоретиком театра Николаем Евреиновым. Они достойны того, чтобы частично их процитировать, потому что настолько живо раскрывают Каменского человека, что никакие сторонние мемуары не расскажут нам о поэте лучше.

Напомню, что Н. Евреинов, адресат Каменского, в период их переписки (1925–1935 гг.) жил в Нью-Йорке; сам поэт проживал в России.

Москва, 6 октября 1925: «…Рад-радешенек за весь твой успех за границей, приносящий доллары. В легкий час! Да будет поток их неиссякаем в сторону твоих надежных карманов, тайных и явных. Когда будешь Рокфеллером, не забудь дать мне взаймы рубля три. Ты ведь скуп — я знаю — и много не прошу… Что и где и какие вещи ставишь? Как доходы твои? Если приеду, — на что можно рассчитывать?.. Написал крестьянскую пьесу в 3-х дейст. „Козий загон“. Веду с театрами переговоры о постановке. Вышел одиннадцатым изданием мой „Степан Разин“ и вышел „Емельян Пугачев“. А вот стихов не издают. Театр куда интереснее и выгоднее. Учусь быть Пиранделлой и хочу знать, насколько он богат… Маяковский (из Нью-Йорка) пишет, что дела средние. Но я иду и на средние. Лишь бы побывать, поглазеть, посмекать — в чем там дело американское и почему у нас меньше долларов? Что мы, дураки, что ли? Думаю, что поумнее американцев, а вот долларов нет… А без долларов скучно жить, едри его копалку…»

Зима 1925-26: «Родной мой Количка, друг мой сердешный, обнимаю-целую с Новым годом, с новыми долларами. Желаю влезть в Америку и убежден, что обязательно влезешь. Ручаюсь головой Рокфеллера. А раз влезешь — значит, доллары будут, т. к. там они проживают густо. Знай черпай. Черпать же ты уважаешь, как, впрочем, и я…»

Каменка, 5 августа 1925: «Дорогой, любимый Количка… получил два твои письма… а ответить до сих пор не мог. Началась страда, в Пермь никто (за 40 верст) не едет и отправить никак было нельзя. Я злился страшно, досадовал, а ни лешего не сделаешь. Законы джунглей суровы. Идти же пешком 80 верст в жару показалось далековатым предприятием. Вот и ждал оказии. Не помогли фантазии. Живем бо в Азии. Пошли мне автомобиль.

Ты ведь теперь раздолларился, к моему счастью. Шибко же рад я за успехи твои… Так и рвусь к вам, в Нью-Йорк! Но… пока нет денег. Тебе, богачу, меня теперь не понять. А денег все-таки нет. Я же убежден, что в Нью-Йорке разживусь. Чую. Верю. Уж если я разжился в Очемчирах, то ведь Нью-Йорк, по слухам, больше и богаче. Авось с помощью американских двух дядюшек — тебя и Бурлюка — вылезу на Бродвэй. Помогите, ребята! Не дайте пропасть известному литератору, застрявшему в пермских лесах трущобной жизни…»

СССР. Азербайджан. Баку. Улица Саратовца Ефимова, д. 7. Для О. П. Шильцовой. Декабрь, 1926: «…К вашей нью-йоркской компании прибавился Боря Григорьев — один из тех трех моих братьев-друзей (т. е. ты, Григорьев, Бурлюк), кот. я люблю. Больше этих трех у меня нет никого на свете. И все вы трое в Нью-Йорке. Неужели не стыдно вам, что меня нет среди вас… В сущности дело мое только за деньгами, чтобы выехать, по крайней мере, с 750 дол. Жену я оставлю в Париже, а сам в Нью-Йорк ахну до лета… Мне лишь бы доехать, а там — моя голова сделает свое дело: буду стихи и лекции читать, на гармошке играть, фокусы показывать, пьесы ставить, на голове ходить, шпаги глотать. Найду что-нибудь подходящее. С Фордом, например, аэропланы буду заворачивать…»

Сухум, Курортная, 11, дом быв. Соколовой. 10 мая 1927: «Черта ли толку в заграница в общем, когда здесь ты — дома, в тропическом гнезде. Кстати, ведь здоровье живет тут… Вспомни. Очнись. Плюнь на заграницу, пока в силах. Безумие — жить там долго. Все там глупеют, одурманиваются, отстают от мысли, делаются душевно-нездоровыми, бессердечными. Все это относится, конечно, к русским. Я понимаю, что поехать на некоторое время на Запад даже необходимо, но жить там долго — не разумно, не здорово. Пусть у нас есть много недостатков, но все же мы — дома и делаем прочно свои великие и малые дела общего строительства…»

Отказываюсь комментировать эти кусочки писем. По-моему, и так понятны мотивы моей цитации. А чтобы поставить точку, дам еще один небольшой отрывок из письма 1935 года, одного из последних писем Каменского к Евреинову.

Пермь, Набережная, 7, кв. Пьянковой. 1935: «О куреве. Я ведь не знал, что ты настолько бедный, что для посылки сигаретной тебе оказывается нужна специальная денежная получка сначала. Ну, раз так — никаких мне сигарет не надо. Жил и проживу без них, а для меня тратиться нет смысла и резона. Ведь сигареты — лишь баловство, как и вся моя просьба о посылке. Я ведь живу так чудесно в общем, что никакой нужды ни в чем не знаю. В

торгсинах наших имеются шикарные сигареты, да только нет у меня валюты. Ну и наплевать! Разве сухумский табак плох? Ужо буду в Сухуме — запасусь…»

Карамзин Н.

Почти весь XIX век, особенно его середина, прошел в спорах о Николае Карамзине — был ли он реформатором русского литературного языка или же таковым не был. Пик споров пришелся на юбилейный 1866 год, когда отмечался столетний юбилей классика. Орест Миллер с профессорской кафедры ругал почем зря писателя, подыгрывая себе на маленькой демократической скрипочке и тем самым доводя российское прогрессивное студенчество до экстаза.

Вот что пишет по этому поводу А. Никитенко, известный литературный деятель, критик, цензор, академик литературы:

> Что вы говорите о прозе Карамзина, Жуковского, Пушкина? Нам теперь нужна немножко хмельная и очень растрепанная и косматая проза, откуда бы, как из собачьего зева, лился лай на все нравственно благородное, на все прекрасное и на всякую логическую, правдивую мысль.

Кто-то называл Карамзина подражателем, считая, что все свои новые литературные формы тот заимствовал у англичан и французов. Другие, как, например, Грот, доказывали с томом карамзинских сочинений в руках, что «Карамзин, движимый желанием, свойственным таланту, излагать мысли свои изящно… не мог довольствоваться тяжелыми оборотами тогдашней нашей литературной речи и принял за образец легкую и живую конструкцию русской разговорной речи».

Для нас с вами, современных читателей, эти споры не более чем история. Да, Карамзин не очень-то современен, излишне прекраснодушен, сентиментален, может быть — узок в своем стремлении облагородить жизнь и людей. Да, литература пошла дальше Карамзина, дала Пушкина, Лермонтова и Гоголя, которые глядели на жизнь уже тревожными, задумчивыми глазами.

Но, возможно, нам этого-то сейчас и не хватает — искренней, душевной сентиментальности, которая живет в наивной прозе Карамзина.

«Ким» Р. Киплинга

Лучший роман Киплинга и, пожалуй, один из лучших в литературе XX века.

Мне этот роман особенно близок. Объясню почему. Когда вышла моя книжка «Бегство в Египет», в опубликованной на нее рецензии в «Независимой газете» говорилось так: «Как-то Петр Вайль и Александр Генис рассказали, что их дети отказывались читать традиционные для советского воспитания книги, где „богатые обязательно плохие, а бедные — хорошие“. Наверняка и капитан Жуков из повести Етоева больше придется по душе не детям, а государственной программе — „положительный образ стража порядка в современной литературе“».

Примерно так же в свое время говорили и о романе Киплинга. Вот некоторые из характеристик романа: «Идеализация шпиона и „великой игры“ тайной разведки — один из главных моментов в творчестве Киплинга. Подлинные, до конца положительные герои Киплинга — организаторы полицейского и политического шпионажа», «Идеализация шпиона, завершившаяся „гениальной“ идеей переключить в образе Кима всю юношескую романтику приключений в небывалую романтику шпионажа, — едва ли не самое яркое проявление основной черты раннего Киплинга» и т. д.

Получается, что если ты, скажем, Эдгар Уоллес или какой-нибудь Лев Овалов, создатель «майора Пронина», то никто тебе и слова не скажет в виду твоей явной серости в плане литературном. А если ты написал вещь сильную и языком необычным, ярким, то ты уже развратитель душ и достоин клейма предателя.

Лично я терпеть не могу политического подхода к литературе. Анатолий Рыбаков написал «Детей Арбата», а ему стали тыкать в лицо, мол, ты, развративший наших детей «Кортиком» и «Бронзовой птицей», книгами, пропагандирующими доносительство и прославляющими машину государственного террора, пытаешься теперь, сволочь, отмыться…

Вся такая критика от лукавого. Ни «Кортик», ни, тем более, «Ким» ни доносительства, ни террора не пропагандируют Они дают нам образцы хорошей и очень хорошей прозы, и каждый волен в ней видеть то, что позволяет ему разглядеть его читательский глаз. А в очках ли этот глаз или нет и какого цвета эти очки, это уж дело сугубо личное.

«Кипарисовый ларец» И. Анненского

Берешь из этого сборника практически любое стихотворение и видишь ниточки, тянущиеся от Анненского к поэзии последующих десятилетий.

Здесь, в этом «А у печки-то никто нас не видал» прячется будущий Мандельштам. А в надломленном голосе скрипки из стихотворения «Смычок и струны» слышится звук другой, гумилевской, скрипки — мучительный, завораживающий, которому поддашься, и он уведет тебя в такую опасную глубину, из которой выход один — смерть («Милый мальчик, ты так весел…»).

Листаем дальше. «То было на Валлен-Коски». Анна Андреевна, вот вы где, с разбухшей куклой в руках.

Анненский был учителем. Учителем не в том смысле, что он учил поэтов, как правильно обращаться с рифмой. И не в хлебниковском, экспериментальном плане, когда в поэтической лаборатории гения создаются новые формы, ритмы, слова, приемы и проч., а поэты менее одаренные черпают из этой бездонной чаши, благо не было заявок на эсклюзив. Анненский учил своими стихами, как внутреннюю музыку человека перекладывать на простые слова. У него вы не услышите ни одного фальшивого звука. Он обогатил поэзию новыми ритмами и мотивами. После Тютчева он был первым русским поэтом, выведшим поэзию из долины смертной тени на свет.

Пример Анненского еще раз напоминает о том, что поэзия рождается в тишине. И вовсе не обязательно сопровождать чтение стихов битьем о головы слушателей графинов. И порою тихое слово звучит в человеке громче, чем усиленный репродуктором голос Евтушенко на многотысячном стадионе в Лужниках.

Под конец, не удержусь, процитирую. Потому что очень уж хорошо.

Цепляясь за гвоздочки,
Весь из бессвязных фраз,
Напрасно ищет точки
Томительный рассказ,

О чьем-то недоборе
Косноязычный бред…
Докучный лепет горя
Ненаступивших лет,

Где нет ни слез разлуки,
Ни стылости небес,
Где сердце — счетчик муки,
Машинка для чудес…

Киплинг в переводах Чуковского

Киплинг, как леший, в морскую
дудку насвистывает без конца.

Булат Окуджава

Странная фраза про лешего, дующего в морскую дудку, вынесенная мною в эпиграф, если вдуматься, нисколько не странна. Я ее понимаю так: человек земли, береговой житель — москвич, лондонец, петербуржец, — живущий среди лесов и равнин и видящий море разве что на картинах Тернера и Айвазовского, дорвавшись хоть раз в жизни до моря, превращается в восторженного подростка, в киплинговского отважного мореплавателя или просто в счастливого человека, как описывает это поэт Евтушенко в прочитанных мною только что мемуарах:

> Первый раз я увидел море… в пятьдесят втором году… когда мы с моим школьным товарищем восторженно выпрыгнули из раскаленного поезда Москва—Сухуми на разъезде у Туапсе, стянули прилипшие к телу рубахи и брюки и в доколенных черных сатиновых трусах моего поколения, не знавшего плавок, ринулись внутрь прохладно кипящего изумруда, растворенного в огромной чаше с необозримыми краями.

Киплинг был человек морской и путешествовал много — одна дорога до Индии занимала, считай, полжизни. Самолеты тогда еще не летали. И потом уже — осев в старой Англии, он продолжал путешествовать вместе с героями своих книг.

Корней Чуковский путешествовал в своей жизни редко — в двадцать один год из Одессы доплыл до Лондона. Затем, когда ему уже было восемьдесят, повторил свое английское путешествие, правда, уже не морем и не из Одессы. Путешествие это вышло сентиментальным — он ездил в Оксфорд получать почетное звание доктора литературы. И еще он был за границей в 16-м, в Первую мировую, когда его направили военным корреспондентом в страны-союзницы.

Но тяга к странствиям, путешествиям, необычному была у него всегда.

Достаточно оглядеть бегло список сочиненных или переведенных Чуковским книг, сразу выделяются вещи, так или

иначе связанные с морем и путешествиями: «Бармалей», «Робинзон Крузо», «Том Сойер» и «Гекльберри Финн», «Копи царя Соломона», «Айболит» (и в стихах, и в прозе). В первом детгизовском издании «Острова сокровищ» (1935) рядом с именем сына Чуковского, Николая, переведшего роман Стивенсона, стоит имя отца, правившего текст перевода.

Киплинга Чуковский начал переводить в 10-е годы, затем, уже во «Всемирной литературе» Горького, продолжил эту работу. «Сказки» Киплинга впервые издаются в 1923 году и затем переиздаются неоднократно. Переводы совершенствовались от издания к изданию, и то, что мы имеем сейчас — результат многолетней вдохновенной работы доброго нашего сказочника.

Между прочим, когда-то за эти и за другие сказки приходилось вести нудную и тяжелую борьбу с дураками. Самую настоящую, которая могла кончиться чем угодно — ссылкой, литературным изгнанием, даже гибелью. Тезис о том, что в книгах для советских детей должны быть не фантазии, не сказки, а подлинные, реальные факты, — усиленно внедрялся педагогами в начале 30-х годов. Вот, к примеру, какие письма получала редакция «Ежа», когда в журнале был напечатан античный миф о Персее в пересказе Чуковского:

«Особенно не дает мне покоя мой 9-летний сын, который с негодованием упрекает меня (как будто я в этом виноват):

— Смотри, папа, весь журнал посвящен памяти Ленина, а тут вдруг такая бессмыслица о какой-то Медузе, о серых бабах и тому подобное!» — пишет заведующий школой из города Гомеля.

Естественно, кивок в сторону сына — всего лишь прикрытие. По сути такое письмо — ничто иное как политический донос на писателя.

Людей, подобных автору этого письма, Рей Брэдбери называл «людьми осени». Но веселые люди выиграли. Не всегда везет дуракам, если даже они считают себя хозяевами страны.

А еще приходилось бороться за сам язык. Чуковский начал эту борьбу еще в 10-е годы, выступая в своих статьях против Чарской и ее эпигонов. В 1916 году он написал своего знаменитого «Крокодила» и напечатал его в 17-м в приложении к журналу «Нива». Вот как комментирует сам Чуковский свои намерения:

> Я решился на дерзость: начал поэму для детей «Крокодил», воинственно направленную против царивших в тогдашней детской литературе канонов.

Маршак много лет спустя писал по поводу эксперимента Чуковского:

> Первый, кто слил литературную линию с лубочной, был Корней Иванович. Надо было быть человеком высокой культуры, чтобы уловить эту простодушную и плодотворную линию.

Борьба за язык была выиграна. Детская литература в руках мастера ожила, снова в ней забила и заиграла живая пушкинская струя, а слова стали упругими и веселыми, как резиновые детские мячики.

И Киплинг стал нашим Киплингом. Перечитайте еще раз хотя бы сказку «Откуда у кита такая глотка»: «Он ел и лещей, и ершей, и белугу, и севрюгу, и селедку, и селедкину тетку, и плотичку, и ее сестричку, и шустрого, быстрого вьюна-вертуна угря».

Ну чем не наша чудо-юдо рыба-кит, описанная в «Коньке-Горбунке».

Да какую сказку ни приводи в пример — хоть «Слоненка», хоть «Кошку, которая гуляла сама по себе», хоть про верблюдов горб, — в любой вы услышите тот самый «живой как жизнь» великий русский язык, которому учит нас и наших детей замечательный писатель Чуковский.

«Китайский секрет» Е. Данько

Борис Житков рассказывал про Елену Данько, что она ведьма. «Как ведьма?» — спрашивали его. «А так», — отвечал Житков и доказывал, что Данько способна заколдовать человека, когда тот переступает порог. Лишить его, например, мужской силы. «Но если ведьме сказать, что она ведьма, — добавлял Житков, — она уже с тобой ничего сделать не может. Я — сказал». — «И что она на это ответила?» — спрашивали Житкова, и тот отвечал: «Ничего, только странно на меня посмотрела». Такие вот мистические истории рассказывали про Елену Яковлевну Данько, детскую писательницу, артистку театра кукол у Е. С. Деммени, живописца по фарфору.

А вот еще одна история про нее, из самого начала блокады, и тоже почти мистическая. Рассказывает Евгений Шварц. «Однажды днем зашел я по какому-то делу в длинный сводчатый подвал бомбоубежища. Пыльные лампы, похожие на угольные, едва разгоняли темноту. И в полумраке беседовали тихо Ахматова и Данько, обе высокие, каждая по-своему внечеловеческие, Анна Андреевна — королева, Елена Яковлевна — алхимик. И возле них сидела черная кошка… Пустое бомбоубежище, день, и в креслах высокие черные женщины, а рядом черная кошка».

Самые главные книги Елены Данько, не считая ее пьес для театра кукол, это «Китайский секрет», «Деревянные актеры», повесть-сказка «Побежденный Карабас», продолжение «Золотого ключика», действие которой происходит в довоенном Ленинграде.

«Для того чтобы написать эту книгу, — рассказывала писательница о работе над „Китайским секретом“, — нужно было прочесть уйму книг на четырех языках — о монахах, о рыцарях, об алхимиках, о китайцах и русских царицах; нужно было порасспросить многих людей, нужно было автору самому многое видеть и поработать на фарфоровом заводе и побродить по Шлиссельбургскому тракту, отыскивая следы старины и думая о прошлых временах».

Умерла Елена Данько от голода во время ленинградской блокады.

«Книга флейтиста» Дюши Романова

3 января 1992 года мировое товарищество фанатов Дж. Р. Р. Толкина справляло 100-летний юбилей своего кумира. Питерское, тогда еще молодое издательство «Terra Fantastica», где я работал, решило в грязь лицом не ударить и достойно отпраздновать день рождения отца-основателя Средиземья. Вот тогда-то, в театре-студии «Время», руководимом композитором Виктором Резниковым, ныне тоже, увы, покойным, в первый раз я увидел и услышал «Трилистник» с маэстро Дюшей Романовым во главе. Они пели и играли тогда Дюшину «Музыку Средиземья» и вещи из телеспектакля по мотивам древних кельтских сказаний. А потом мы сидели за длинным деревянным столом и тянули пиво, настоящее, заводское, бочковое, а не то, которое наливали разъевшиеся за счет похмельного населения тети в пивных ларьках. Тот вечер я помню плохо, разговоров не помню вовсе, остались лишь впечатление праздника и музыка, звучащая во мне до сих пор.

Книга Дюши Романова художественна во многих смыслах. Художествен сам Дюшин рассказ о путешествиях с гитарой и флейтой по дорогам и по сценам страны. Больше всего путешествие это напоминает старый анекдот, воспроизведенный самим же Дюшей в одной из главок воспоминаний.

Забрел слон на болото и спрашивает у лягушек: «Ребята, как тут в Африку пройти?» А те ему отвечают: «Где Африка, мы не знаем, но по башке тебе на всякий случай дадим».

Художественны рассказы друзей о Дюше и его музыке. И оформление книги, чему, конечно же, поспособствовали митьки — Флоренский, Андрей Филиппов, матрос Михаил Сапего с его афишами квартирных концертов Дюши, воспроизведенными на форзаце книги.

Самую главную фразу о Дюше Романове в книге произносит Аня Черниговская: «Желание посодействовать и помочь… был его способ общения с миром».

Думаю, что лучше о человеке не скажешь.

Книги нашего детства

Когда случайно встречаются два незнакомых человека и вдруг выясняется, что росли они на соседних улицах, учились в одной школе, играли в одни и те же игры и одинаково боялись злостного хулигана Мухина, терроризировавшего местное дворовое население возрастом до 12 лет, то эти люди начинают смотреть друг на друга совсем иными глазами. Они уже не просто двое встретившихся случайно людей, они — члены некоего священного братства, отношения их скреплены обоюдозначимым прошлым, память для них как некий ковчег завета, в равной мере хранимый и почитаемый.

То же самое и первые книги. Они — точка сближения незнакомых прежде людей, место встречи их во времени и пространстве. Даже больше: книга, прочитанная в детстве, как духовный аккумулятор, способна питать человека энергией многие годы и поддерживать его в тяжелое время.

Наверно, следующее мое утверждение — ересь и чистый идеализм, но лично я не могу поверить, что люди, одинаково любившие в детстве «Трех мушкетеров» и книги братьев Стругацких, способны уничтожать друг друга на какой-нибудь из нынешних бесконечных войн. Я знаю, так полагать — глупо. Примеров, перечеркивающих подобное мое положение, в истории отыщется не один десяток.

И тем не менее я считаю так.

Княжнин Я.

Переимчивость Княжнина стала притчей во языцех в русской критике о русской литературе. Толчок этот дал Пушкин со своим припечатывающим на веки «И переимчивый Княжнин» в первой главе «Онегина». Но кто в литературе не переимчив? Кто не пользуется чужими находками? Сам Александр Сергеевич брал вечные сюжеты — к примеру, о Дон Жуане, — и так поэтически великолепно их разрабатывал, что произведение приобретало новые цвета и оттенки, которых не было у его предшественников.

Что же Княжнин? Он всего лишь перенял французский вольнолюбивый дух, реявший над тогдашней Европой, предвестник близящейся революции. И привил его на российской почве. Чем вызвал в результате монарший гнев и последовавшие за ним гонения. Но гонения, к счастью автора, — уже за смертной чертой. Напечатанный «Вадим Новгородский» попал в руки императрицы Екатерины спустя два года после смерти самого сочинителя. Судили не автора, а его сочинение. И присудили к сожжению на костре. По-моему, это высшее счастье писателя — когда его сочинения приговаривают к столь инквизиторской высшей мере. Любой нынешний писатель-пиарщик за такой пиар не то что палец под нож подставит — отдаст руку на отсечение.

Но, кроме политической стороны, следует отдать дань и поэтической стороне таланта Якова Княжнина. Он брал зрителя и читателя не одной политикой и патетикой. Все-таки у Пушкина отмечена не только княжнинская переимчивость. Да и в контексте с театральным «волшебным краем» и замечательным пушкинским словечком «блистал» эта «переимчивость» Княжнина воспринимается скорее как похвала, нежели укоризна.

Коваль Ю.

1.

На одном из киношных сайтов попался мне рассказ Юрия Коваля, который я до этого не читал. Рассказ назывался «Пиджак с карманАми», и я очень обрадовался тому, что открыл новую для себя вещь писателя. И всё бы в публикации хорошо, даже опечатки пустяк, кабы не короткое предисловие, написанное не знаю кем. Вот его начало:

> Этот рассказ написал Юрий Коваль, автор книг «Недопесок», «Лить похищенных монахов», «Частый Дор» и других. По его произведениям поставлены художественные фильмы «Недоносок Наполеон III»…

На «Недоноске» я не выдержал и… рассмеялся.

Наверное, надо было мне разозлиться, но зла почему-то не было. А действительно, чему злиться? Ну «лить», ну «частый», ну «недоносок» — подумаешь, делов-то! Сам Коваль, будь он жив, наверняка улыбнулся бы, увидев такую нелепицу. Во всем нужно находить веселое, даже в грустном.

Мне кажется, что Коваль был человек везучий.

Во-первых, в Московском пединституте, где он учился с 1955 по 1960 год, ему повезло попасть в компанию вполне достойных людей Визбор, Ким, Ада Якушева, Петр Фоменко, Юрий Ряшенцев… С Кимом и Визбором Коваль дружил до последних лет, и они до последних дней оказывали ему поддержку.

> Визбор возил мои книги из больницы в больницу в последние годы… И очень любил их читать друзьям. Я говорю: Юрка, а ты чего читаешь? Он говорит: Я читаю рассказ «Анчутки» из «Журавлей». Я говорю: Но там же есть опечатка. Он говорит: Я заметил и все переделал. — А как ты переделал? — Да хрен знает, я, — говорит, — каждый раз по-своему переделываю, не помню уже точно как — как в голову придет…

Во-вторых, когда его не публиковали, а такое бывало, он уходил в живопись, которой занимался с любовью. Даже придумал целое направление — «шаризм» (см. об этом в повести «Самая легкая лодка в мире»), в котором был первым и

единственным классиком.

Писать Коваль начал в начале 60-х, когда работал школьным учителем в татарском селе Емельяново, куда был послан по распределению. Из Татарии в Москву он вернулся с пачкой рассказов, и вот тут-то ему в очередной раз повезло. Начинающий писатель познакомился с Юрием Домбровским и показал ему один свой рассказ.

> Домбровский пришел в восторг. И отнес мой рассказ в «Новый мир»… он называл мою прозу «жестким рентгеном»…

Рассказ «Новый мир» отверг. Поначалу Коваль расстроился.

> Что бы я ни написал, как бы я ни написал, как бы совершенно я ни писал, как бы прекрасно я ни написал — не напечатают. Ни за что.

Возможно, кто-нибудь спросит, какое же тут везение — рассказ-то не напечатали. Прямое, отвечу я. Оценка Домбровского — она дорогого стоит. Но даже не это главное. Главное, что он понял… Но об этом чуть позже.

Итак Коваль расстроился, а потом успокоился и по совету друзей, Генриха Сапгира и Игоря Холина, смеху ради решил попробовать себя как детский поэт. Написал Коваль несколько детских стишков, Холин отнес их в журнал «Огонек», и там одно из стихотворений неожиданно напечатали.

Ободренный успехом, Коваль сел за письменный стол, но почему-то вместо того, чтобы продолжить работать с рифмами, написал «Алого». Совершенно случайно, вдруг, — такое в литературе бывает.

> Я совершенно случайно записал «Алого», и в этот момент поймал прозу за хвост… Вот что случилось со мной. Я наконец написал такую вещь, когда я определился и можно было сказать — это написал писатель Коваль.

Это был не просто рассказ о подвигах пограничников, каких писалось в те годы километрами. Это был рассказ о собаке, о человеке и их любви.

Было наплевать, советская это граница, несоветская граница, — важно было вот это: человек и собака, их любовь. Любовь была важна. В конечном счете. Об этом и написана вещь.

После «Алого» он написал «Чистый Дор». Тогда-то и пришло

понимание.

> С этого момента я понял, что во взрослую литературу я просто не пойду. Там плохо. Там хамски. Там дерутся за место. Там врут. Там убивают. Там не уступят ни за что, не желают нового имени. Им не нужна новая хорошая литература. Не нужна…

Когда Коваль написал «Чистый Дор», он долго не мог определиться с названием.

> Вить (художник Виктор Белов. — *А.Е.*), если я назову книжку «Чистый Дор», как тебе кажется? Он сказал: Это будет гениально. Я спрашиваю Кима: Юлик — Чистый Дор? Он говорит: Все скажут Чистый Двор. Я говорю Борису Викторовичу Шергину: Борис Викторович, название книги — Чистый Дор? Он говорит: Название гениальное, но все будут говорить Чистый Вздор.

После «Чистого Дора» Коваль написал «Приключения Васи Куролесова».

Здесь надо пару слов сказать об отце писателя. Иосиф Яковлевич Коваль всю жизнь провел на милицейской работе. До войны он был начальником уголовного розыска города Курска, в войну работал в уголовном розыске Москвы, в отделе по борьбе с бандитизмом. Потом был назначен начальником уголовного розыска Московской области. В последние годы преподавал в Академии МВД.

Пожалуй, вся остросюжетная проза Юрия Коваля — будь то «Приключения Васи Куролесова», или «Пять похищенных монахов», или «Промах гражданина Лошакова» — ведет начало от остросюжетной жизни его отца, который был «многократно ранен и прострелен».

Да и чувство юмора тоже.

> Я думаю, что чувство юмора, мало свойственное моей маме, у отца было просто необыкновенным. И все мои книги он очень любил, и охотно их читал, и охотно их цитировал. Правда, при этом говорил: «Это, в сущности, всё я Юрке подсказал». Что и правда в смысле Куролесова и куролесовской серии.

Ведь и капитан Болдырев, и сам Вася Куролесов, — все это были не просто с неба взятые имена. Это сыщики, когда-то работавшие вместе с его отцом.

После «Куролесова» писатель написал «Листобой», тонкий сборничек осенних миниатюр об охоте, о налимах, о листьях и о том, как не заблудиться в словах. Последнее важно знать — особенно человеку пишущему. Способ же не заблудиться в словах сродни способу не заблудиться в лесу. Надо снять с себя куртку, свитер, тельняшку. Вывернуть тельняшку наизнанку, потом надеть. В голове должно что-то перевернуться, и дорога к дому отыщется. То же самое при работе со словом — чувствуете, что заблудились в словах, разденьтесь, выверните тельняшку, точечка-то и встанет на место, туда, где ей положено быть.

А потом Коваль написал «Недопеска» — «одну из лучших книг на земле». Так назвал эту книжку поэт Арсений Тарковский.

> Арсений Саныч, прочтя книжку, пришел в бешеный восторг. Он меня целовал, обнимал всячески, трогал мою руку и говорил всем встречным-поперечным, которые ничего не понимали: Это Юра Коваль. Он «Недопеска» написал…
>
> Белла (Ахмадулина. — *А.Е.*) потом прочла «Недопеска» и тоже рехнулась, она сошла с ума на этой почве. Она даже разговаривала голосом недопеска. То есть у нее был особый голос такой, она говорит: Вы понимаете, каким голосом я с вами разговариваю? Я говорю: Каким? Говорит: Это голос недопеска…

И вот ведь что интересно. Лучшую книгу на земле вычеркнули из плана Детлита. Потом-то ее снова включили, и книжка вышла, но поначалу ее мурыжили, в основном по части идеологии. Самым главным мурыжником был тогдашний детлитовский завглавред Борис Исаакович Камир.

> Он говорит: Юрий Осич, я же понимаю, на что вы намекаете. Я говорю: На что?.. Искренне. Я говорю: Я не понимаю, на что. Он, конечно, стремится к свободе, на Северный полюс. Это же естественно. И я, скажем, свободолюбивый человек. Он говорит: Но вы же не убежали в Израиль. Я говорю: Но я не еврей. Он: Как это вы не еврей? Я говорю: Так, не еврей.

В общем, Камир книгу Ковалю поначалу зарубил. Оно понятно: 75-й год, отказники, эмигранты. Да и фамилия у завглавреда не Иванов. Небось, не вычеркни Камир книжку из плана, подумали бы большие дяди, что разводит он сионистскую пропаганду, агитируя за землю обетованную.

«Недопеску» помог отец. Пришел в редакцию — в

полковничьей форме, на голове фуражка, грудь в орденах, значок «Почетный чекист». Выразил свое недовольство. Отмел намеки на замеченные намеки. Камир подумал, что отец Коваля оттуда, и вставил книжку обратно в план.

А потом…

Потом дали по башке всему издательству и решили запретить — не «Недопеска», у которого, в сущности, тираж-то уже разошелся… А следующую книжку. Это были «Пять похищенных монахов»…

За компанию с «Монахами» запретили еще Успенского, «Гарантийных человечков». За фразу «Долой порох, да здравствует творог!» СССР в тот момент как раз наращивал свои вооруженные силы. А с продуктами, наоборот, — шел прижим.

Успенский, как человек активный, звонит Ковалю, они вдвоем пишут письмо в ЦК, собирается коллегия министерства, Успенского с Ковалем, естественно, вызывают…

> Мы некоторое время слушали, как один из идиотов, я забыл его фамилию, зачитывал рецензию на мою повесть «Приключения Васи Куролесова» и всячески ее поносил…
>
> Я думаю, что Успенский высидел минуты три. Не больше. Как вдруг, пока тот еще читает свой доклад, Успенский вскочил грубо со словами: Кого мы слушаем? Что за обормот? Что он несет? Вы кто такой? Вы что, специалист по литературе? И пошел на него, попер: Да что вы читаете нам? Вы цитируете величайшую литературу в мире. Молчать. Скотина. Дурак. Идиот. Кто, где здесь Свиридов (в то время председатель Госкомитета по печати при Совете Министров РСФСР. — *А.Е.*)? Свиридов, кто у вас работает? Он не может даже два слова связать. Он ударения неправильно ставит. Посмотрите, кто обсуждает Коваля, кто обсуждает меня… Я говорю: Эдуард Николаич, присядь, давай все-таки выслушаем. Это первая моя фраза была. Он сел — послушался… Этот чудак начинает снова читать. Эдик терпит — минуты две. Ну, минуту, примерно, терпит, потом вскакивает: Коваль, ты что меня останавливаешь, как я могу это слушать!.. Жаль, что не было видеокамеры…

Короче, отбили они и «Монахов», и «Человечков». Правда, там была замешана еще и политика. За них был Сергей Михалков, ни Успенского, ни Коваля не любивший, но приехавший вступиться за тогдашнюю детлитовскую директоршу.

Потом была «Кепка с карасями», у которой консультантом по художественному оформлению был сам Самуил Алянский, друг Блока, основатель издательства «Алконост», человек исторический.

После «Монахов» и «Кепки» Коваль писал много. Рассказы детские, рассказы взрослые (сборник «Когда-то я скотину пас»), шесть книг рассказов-миниатюр совместно с Татьяной Мавриной — Коваль писал, Маврина рисовала (все шесть вошли в «Листобой», сборник издательства «Подкова» — правда, без иллюстраций, что несколько портит замысел).

Одна из самых больших удач в промежутке между «Недопеском» и «Суером-Выером» — повесть «Самая легкая лодка в мире».

«С детства я мечтал иметь тельняшку и зуб золотой» — эту фразу, с которой начинается повесть, почему-то я вспоминаю часто, хотя в своем ленинградском детстве я мечтал совсем о другом.

Повесть почти что не редактировалась и вышла так, как была написана. Лишь во фразе «Какие прекрасные девушки толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени» цензор убрал выражение про скульптуры. Потому что перед входом в пединститут в те времена, про которые Коваль вспоминает, стояли каменные Ленин и Сталин.

«Лодку» Коваль писал 8 лет, столько же, сколько и «Недопеска». А кажется, она сделана в одночасье.

Теперь о «Полынных сказках».

> Моя мама тогда очень болела, это были ее предсмертные годы. А я ее очень любил, и мне хотелось сделать для нее что-то. А что может сделать писатель — написать…

И Коваль пишет «Полынные сказки», повесть, в основу которой легли рассказы матери.

Книгу жутко порезали, убрали все мало-мальски связанное с религией, хотя никакого особого религиозного смысла в свою повесть Коваль не вкладывал.

После сказок были написаны «Промах гражданина Лошакова» из цикла про Васю Куролесова, повесть «Шамайка», но самая главная работа шла над «Суером-Выером», будущим романом-пергаментом.

«Суера-Выера» Коваль писал в общей сложности 40 лет, начиная с 55-го года. В 95-м роман был закончен.

> Я думаю, что я написал вещь, равную по рангу и

Рабле, и Сервантесу, и Свифту, думаю я. Но могу и ошибаться же…

Это последняя его книга.

В 1995 году Юрия Коваля не стало.

«Суер-Выер» вышел уже после смерти писателя.

На этом месте можно было бы и закончить, если бы в 1999 году в московском издательстве «Подкова» вдруг не вышла новая книга Юрия Коваля — «АУА». А ровно через год «Подковой» же выпущен «Листобой» — большой том малой прозы, куда вошло если не все, то очень многое из сделанного писателем. Главное, что есть в этих книгах, кроме, конечно же, «Монохроник» и неоконченной повести «Куклакэт», до этого в книгах не издававшихся, — огромное количество иллюстраций. По сути, это книги-альбомы — и фото, и живописные, и графические, — открывающие нам того Коваля, который, когда не пускали в литературу, брал в руки кисти, краски, мольберт и говорил на языке живописи.

Постскриптум. *Все цитаты, приведенные в этой статье, кроме специально оговоренных, взяты из интервью с Юрием Ковалем, опубликованном в журнале «Вопросы литературы», № 6 за 1998 год.*

2.

Я открываю наугад любую книгу Юрия Коваля на любой странице и читаю — не начитаюсь, радуюсь — не нарадуюсь.

Отложил я весло, хотел закурить. Шарь-пошарь — нету махорки. Только что в кармане шевелилась — теперь нету. Вдруг стемнело над рекой. Солнце-то, солнце за тучку ушло! Куда ж это я забрался? Лес кругом страшный, корявый, чёрный, вода в реке чёрная, и стрекозы над ней чёрные…

Он вышел на крыльцо, и тут же под ступеньками что-то затрещало, зашуршало, и оттуда выскочил рыжий пёс. Вид у него был неважный. Одно ухо стояло, другое висело, третьего, как говорится, вообще не было…

Темнело. Из-за еловых верхушек взошла красная тусклая звезда, а за нею в ряд еще три звезды — яркие и серебряные. Это всходило созвездие Ориона… Медленно повернулась земля — во весь рост встал Орион над

лесом… Одною ногой опёрся Орион на высокую сосну в деревне Ковылкино, а другая замерла над водокачкой, отмечающей над черными лесами звероферму «Мшага»… Стало совсем тихо, откуда-то, наверно из деревни Ковылкино, прилетел человечий голос:

— …Гайки не забудь затянуть…

Затих голос, и нельзя было узнать, какие это гайки, затянули их или нет.

Я нарочно не говорю, откуда эти цитаты, потому что цитировать Коваля, проговаривать его строчки вслух, следить за яркостью и веселостью его слога — не знаю, как для других, а для меня это высокое удовольствие.

Одиннадцать лет назад газета «Комсомольская правда» напечатала разгромную статью П. Веденяпина, которая называлась «Накуролесили». Направлена была эта статья против выпущенного тогда в продажу диафильма по повести Юрия Коваля «Приключения Васи Куролесова». Если учесть, что сама повесть к тому времени переиздана была уже не однажды, то напрашивался естественный вывод: диафильм был всего лишь поводом, чтобы очередной раз ударить по неугодному кому-то писателю. Я не знаю, кому Коваль тогда досадил, да в сущности и неважно. Статья написана казенным, доносительским стилем, и лишь цитаты из Коваля, которые автор статьи приводил как примеры безграмотности и литературной пошлости, расцвечивали ее серый шинельный войлок яркими насмешливыми заплатами.

Я был тогда человек горячий и, увидев, как какая-то комсомольская собачонка облаяла моего любимого автора, написал длинное, на 6 машинописных страницах, письмо в защиту облаянного писателя. Написал, запечатал письмо в конверт и послал его на адрес журнала «Юность». Прошел месяц, другой, я остыл и стал уже забывать о своем послании, как ровно через три месяца, в феврале 1988 года, мне приходит ответ на фирменном бланке «Юности». Привожу это письмо целиком:

Уважаемый тов. Етоев!

Благодарим Вас за письмо. На заметку, помещенную в «Комсомольской правде», вряд ли стоит обращать такое внимание — у Ю. Коваля имя серьезного писателя, он — лауреат Андерсеновской премии, «Юность», кстати, писала о его художественных работах в № 11. Мы перешлем Ю. Ковалю Ваше письмо. Уверены, ему будет очень приятно прочитать такие искренние слова читательского признания.

И «Юность» не обманула. В самом начале апреля мне пришло письмо из Москвы от Юрия Коваля. Я не буду цитировать письмо полностью, приведу из него лишь выдержки:

> …Дополнительный курьез заключается в том, что «Комсомолка» в 1972 году хвалила повесть «Приключения Васи Куролесова». Автором рецензии на мою книгу был Фазиль Искандер. Начисто забыв свою хвалу, воздали и хулу. Вообще с этой газетой у меня совершенно юмористические отношения. Начались они с заметки «Чувство цвета и чувство правды» в 1960 году, когда меня громили как художника. Потом похвалили книгу «Чистый Дор» (Яков Аким), потом был и Фазиль, но вот дожили и до Веденяпина. Должен вам рассказать, что несколько писателей (Я. Аким, В. Железников, Т. Гайдар) написали короткое письмо в мою защиту, но оно как-то не напечаталось. В «Советской культуре» директор студии «Диафильм» сумел ответить с достоинством, но на этом дело и кончилось. Сейчас оно считается «замятым». Скажу вам честно, что я постарался внимания не обратить. Но и наслаждения не испытал. Опасения, что литературные чиновники примут к сведению, были, но вроде бы пока не оправдываются. Ходят слухи, что «Комсомолка» не прочь воздать мне хвалу, хрен знает, пока все это неясно…

История эта осталась далеко в прошлом, мои тогдашние горячность и боевой задор кажутся сейчас едва ли не дворовыми играми. И самое печальное — умер Юрий Коваль, и заменить его пока некому. Такие, как он, писатели приходят в литературу редко. Раз в полвека, не чаще. А его письмо для меня — неважно, что в нем написано, — как старинная фотокарточка, как билет в счастливую страну детства, как напоминание о высоком труде писателя и уважении к человеку, который дарит нам веселые и умные книги.

«Когда начальство ушло…» В. Розанова

Это книга о деле мнимом и настоящем, о мысли мнимой и настоящей, о вере мнимой и настоящей. Она о поколении, которое уносит черт на метле в отсутствии начальнического присмотра. Точно такой же черт, который нарисован на последней странице книги в компании ведьмы и каких-то жутких существ, словно пришедших с фантастических страниц Николая Гоголя.

В одной из глав книги Розанов рассказывает о двух подругах, двух старых девах, занимающихся какой-то ученой деятельностью. «Все мы знаем, — пишет писатель, — что 1) синий чулок, 2) шестидесятые годы и 3) старая дева — суть три особенности Бабы-Яги, съевшие в женщине ее нежность, красоту и глубину». Далее писатель, настроенный на скучающий лад и заранее позевывающий в кулак, входит к этим девицам в дом и начинает прислушиваться, приглядываться и вдруг ясно видит и понимает, насколько они чисты среди всей мути, которая их и его окружает. «Были ли они религиозны? Нет. Были ли они патриотичны? Нет. Но, может быть, они были не религиозны? Опять нет. Международны, интернациональны? Снова — нет и нет. И как сестра милосердия на вопрос об этом ответили бы только: „Я стесняюсь ответом. Я училась перевязывать раны“».

Вот разница между человеком делающим и человеком провозглашающим дело. Вся книга Розанова, одна из лучших книг Розанова — вечных, не побоюсь этого слова, — посвящена сути и оболочке, истине и ее подобию. Жаль только, что таких книг не читают те, ради кого они, собственно говоря, написаны.

Козлов И.

Иван Козлов считается поэтом так называемого «пушкинского круга», хотя возрастом и старше А.С. ровно на 20 лет. Должно быть, в круг этот его ввели потому, что какое-то недолгое время Козлов значил для просвещенных умов много больше, чем значил Пушкин. Произошло это после выхода поэмы «Чернец» в 1825 году. Вот отрывок из письма Вяземского Александру Тургеневу:

> …Скажу тебе на ухо — в «Чернеце» более чувства, более размышления, чем в поэмах Пушкина.

Поэт Николай Языков пишет брату буквально следующее:

> Дай Бог, чтоб он был лучше Онегина.

Из письма следует, что поэму Козлова Языков на тот момент еще не читал, но уже всем сердцем желает, чтобы та потеснила пушкинскую, и даже просит об этом Господа Бога. То ли Пушкин к тому времени всем уже порядком поднадоел и современникам хотелось другого поэтического кумира, то ли еще по каким причинам, но факт остается фактом: поэты сравнялись в славе.

Возможна и такая версия временного падения Пушкина в рейтинге 20-х годов XIX века. Дело в том, что Ивана Козлова в России тех лет называли не иначе как «русским Байроном». После выхода же первой главы «Онегина» Пушкин прослыл учеником Байрона, а раз Козлов был Байроном русским, то А.С. автоматически вставал на ступеньку ниже.

А может быть, в деле сыграл чисто человеческий фактор. Козлов был поэт слепой, и считался среди ценителей кем-то вроде древнегреческого Гомера; Пушкин же имел зрение отменное и часто этим качеством похвалялся. Вот и сжалилась публика над слепцом, вот и отдала ему пальму первенства.

Правда, через пару лет Пушкин, возможно из чувства мести, взял да и украл из «Княгини Натальи Долгорукой» Козлова несколько незатейливых строк и вставил их в своего «Онегина». Конечно, в истории поэзии таких поэтических заимствований хоть пруд пруди, но все-таки нехорошо, брат Пушкин, нехорошо… Тем более, когда зрячий — и у слепого.

Стихи Козлова я не буду цитировать. Единственное, что хочу добавить, — это сказать про его знаменитый «Вечерний звон», который, кстати, есть перевод с английского, из Томаса Мура.

Всё.

Козьма Прутков

1.

Чего веселого, необычного в нашей новой литературе ни вспомни, отовсюду лезет Козьма Прутков. Даже самые свежие (относительно) кумиры отечественной словесности не могут обойтись без него. Михаил, например, Успенский с его новеллами-устареллами разве не берет своего творческого истока от гишпанской красавицы Ослабеллы из маленькой драмы Козьмы Пруткова «Любовь и Силин»? Берет, еще как берет! И черпает из Пруткова пригоршнями, как черпали из него когда-то и Заболоцкий, и Олейников, и Введенский, и прочие небезталанные лица по Д. Хармса и Е. Шварца включительно.

Скажите, пожалуйста, чьего пера такие вот философские строки:

Гвоздик, гвоздик из металла,
Кем на свет сооружен?
Чья рука тебя сковала,
Для чего ты заострен?..
На стене ль простой избушки
Мы увидимся с тобой,
Где рука слепой старушки
Вдруг повесит ковшик свой?
Иль в покоях господина?..

И т. д.

Кому-то услышится здесь Олейников, кому-то увидится Заболоцкий, я же отвечу прямо — это Козьма Прутков.

Весь русский литературный абсурд — и театральный, и поэтический, и любой — идет от этого триликого Януса, в котором под казенным мундиром стучали в такт друг другу три сердца: графа А. К. Толстого и двух Жемчужниковых — А.М. и В.М.

В хармсовской «Старухе» слышатся отголоски «Черепослова» и много чего другого из прутковских «драматических» сочинений.

В «спит животное собака, дремлет птица воробей» Заболоцкого проглядывается недремлющий головастик, который у задремавшего иерея похищает посох, книгу и гумиластик — то есть стирательную резинку, переводя на современный язык.

Да откройте того же Михаила Успенского, его роман «Белый хрен в конопляном поле». Найдите на страницах романа песню дона Кабальо, прочитайте и сразу же вспомните романсеро Козьмы Пруткова «Осада Памбы» («Десять лет дон Педро Гомец…»). Только добрый Козьма Прутков руками своего испанского дона награждает каплана (капеллана) Диего живым бараном, а злой Михаил Успенский устами кабальеро из песни приказывает субподрядчика и подрядчика, ответственных за халтурную постройку моста, одного повесить, а второго — засечь.

2.

Если вместе собираются трое русских, это редко когда дает какой-нибудь положительный результат. Обычно встреча превращается в пьянку и кончается жестоким похмельем, перемежающимся унылыми опохмелками.

Я знаю лишь два… нет, три случая, когда трое русских, собравшись вместе, сделали для отечества полезное дело.

Первый — это три богатыря, Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич, защищавшие родину от татар.

Третий — Кукрыниксы, группа художников-сатириков, прославившаяся во время войны карикатурами на немецких захватчиков.

Козьма Прутков в этом кратком списке занимает второе место.

О Пруткове я уже однажды писал. Но как о Пушкине — у нас — и о Шекспире — у них — написаны целые библиотеки, так и о Козьме Пруткове можно вспоминать бесконечно.

Граф Алексей Константинович Толстой и два брата Жемчужниковы, Владимир и Алексей Михайловичи, сидели как-то за чашкой кофию и перебрасывались остроумными фразами. Типа «никто не обнимет необъятного». Или: «Не совсем понимаю, почему многие называют судьбу индейкою, а не какою-либо другою, более на судьбу похожею, птицей». И неизвестно, кто из них первый — да в общем-то теперь и неважно — предложил идею «создать тип человека, который до того казенный, что ни мысли его, ни чувству недоступна никакая, так называемая, злоба дня, если на нее не обращено внимания с казенной точки зрения…» Так родился Козьма Прутков, директор Пробирной Палатки, кавалер ордена Станислава 1-й степени, автор сочинений, которых не постыдились бы ни Иван Мятлев, ни Николай Олейников, ни Олег Григорьев, ни сам Михаил Сапего. Да что там «не постыдились бы». Они рады были бы отнять право

авторства чуть ли не на все сочинения, вытекшие из-под пера Пруткова. Я и сам с удовольствием украл бы у мастера штук пятнадцать его шедевров. «Черепослов», например. И «Фантазию». И «Опрометчивого турку». Это из драматических сочинений. А из стихов — просто брал бы не глядя каждое второе и подписывал своим скромным именем.

Коллекции и коллекционеры

Всего на свете не соберешь. А надо.

Девиз коллекционеров

Жил в прошлом веке такой замечательный человек Александр Иванович Сулукадзев. Замечателен был он тем, что коллекционировал всякие редкости. Был в его коллекции камень, на котором отдыхал Дмитрий Донской после битвы на Куликовском поле. Был у него костыль Иоанна Грозного. Был у него «Молитвенник святого великого князя Владимира, которым его благословлял дядя его Добрыня». Были у него новгородские руны. Была у него «Боянова песнь Славену», писанная руническими и греческими письменами около I века от Рождества Христова.

Собирал Сулукадзев всё — вещи, рукописные книги, чучела крокодилов, слухи. В архивах сохранилась его записная книжка со слухами, ходившими в Петербурге в 1824-25 годах. В этой книжке, кстати, зафиксирован слух, послуживший Гоголю сюжетом его «Шинели».

Современники относились к Александру Ивановичу по-разному. А. Н. Оленин, к примеру, считал его безумным невеждой. А вот Державин, наоборот, охотно Сулукадзеву верил и даже вставил в свое «Рассуждение о лирической поэзии» отрывки из «Бояновой песни» и новгородских рун в собственном переводе.

Исследователи литературы относились к нему скорее доброжелательно, чем негативно. «Это был не столько поддельщик… или мистификатор, сколько фантазер, который обманывал и самого себя. По-видимому, в своих изделиях он гнался прежде всего за собственной мечтой восстановить памятники, об отсутствии которых сожалели историки и археологи», — писал о Сулукадзеве А. Н. Пыпин.

«Искусство ради искусства» — вот принцип собирания редкостей, который исповедовал Сулукадзев.

Коллекционер коллекционеру рознь. Есть коллекционеры нормальные. Есть фанатики. Есть чудаки. Есть жертвы массового психоза. К последним относятся участники макулатурной компании, развернувшейся в 70-80-е годы под лозунгом «Сохраним леса! Лес — наше народное достояние».

О нормальных коллекционерах, по правде, говорить скучно. Нормальный — он нормальный и есть. Один коллекционирует

скрипки. Другой, как Борис Стругацкий, коллекционирует почтовые марки. Розанов собирал монеты. Набоков коллекционировал бабочек. У Брежнева была коллекция легковых автомобилей. Шукшин коллекционировал курительные трубки — правда, недолго, дня два. На третий день надоело, бросил.

У меня был знакомый, который коллекционировал старинные крышки от люков. Я сам ему помогал однажды тащить крышку с изображением какого-то рогатого херувима. Не представляю, где он эти крышки хранил; жил он в коммунальной квартире.

Марки, машины, мебель, крышки от люков — все это дело обыкновенное. Это коллекционирует каждый А вот отклонения от нормы…

Я не имею в виду коллекционеров-фанатиков, готовых и себя сморить голодом, и своих родных ради обладания какой-нибудь фарфоровой пепельницей с надписью «Дадим прикурить Врангелю». Такие меня мало интересуют.

Меня больше интересуют собиратели-чудаки, не укладывающиеся ни в какие правила. Как вышеупомянутый Сулукадзев. Или герои Константина Вагинова.

Вот, кстати, писатель, давший в своих романах целую галерею собирателей-чудаков, во многом списанную им с самого себя.

Костя Ротиков из «Козлиной песни», собирающий «безвкусные и порнографические вещи как таковые» — от открыток с изображением голой нимфы и охотящегося за ней человека в тирольской шляпе до неприличных граффити на стенах заведений общего пользования. Другой герой того же романа, Миша Котиков, собирает личные вещи поэта Александра Петровича Заэвфратского, прообразом которого послужил Николай Гумилев. Поэт Троицын тоже собирает поэтические предметы. «Вот шнурок от ботинок известной поэтессы, — показывает он свою коллекцию Мише Котикову. — Вот галстук поэта Лебединского, вот автограф Линского, Петрова, вот — Александра Петровича».

У Свистонова из вагиновского романа «Труды и дни Свистонова» стоят на полках в квартире «рукописные дневники неизвестных чиновников, переписка какого-то мужа с женой, по-видимому, железнодорожного служащего, тоненькие брошюрки, изданные графоманами. ‹…› Санкт-Петербургский календарь на лето от Рождества Христова 1754. С записями: „6. Пускал кровь из ноги; 19. Шол снег; 28. Куплено соломы“». И другие книжные раритеты.

У меня есть знакомый, Михаил Пантелеевич Л., собравший все издания «Справочника электротехника», выходившие при

советской власти. Этих справочников в его прихожей скопилась целая Джомолунгма. В связи с этим я вспоминаю одну историю, случившуюся с Михаилом Пантелеевичем, вернее с его котом, и имеющую самое непосредственное отношение к электротехнике. Дело в том, что Михаил Пантелеевич Л. держал в своей квартире кота. Звали кота Лумумба, и был он не просто кот, а предводитель всего кошачьего царства, ибо, во-первых, был неохватно большой и, во-вторых, неимоверно тяжелый, как каменная половецкая баба. Место, где кот проводил свой досуг в перерывах между приемами пищи, находилось как раз в прихожей, на вершине книжной горы, воздвигнутой из «Справочника электротехника». А теперь представьте такую сцену. В квартире перегорают пробки. Михаил Пантелеевич Л., в электротехнике не смыслящий ни черта, естественно вызывает монтера. Тот приходит, идет в прихожую. Хозяин что-то ему пробует объяснить, и тут Лумумба, разбуженный незнакомым голосом, прыгает спросонья на голову бедняге монтеру. Это он в темноте промахнулся. В результате пришлось вызывать «скорую», электрика увозят с инфарктом, после больницы он подает на Лумумбу в суд, суд приговаривает кота чуть ли не к высшей мере, которую впоследствии заменяют денежным штрафом в размере 50 рублей. А в 70-е годы 50 рублей были большие деньги.

Отступление 1: Михаил Пантелеевич Л. теперь, между прочим, очень уважаемый человек, известный специалист по русской литературе, в свое время он подготовил для ленинградского отделения издательства «Наука» два тома сочинений Петра Чаадаева. А еще он был хороший рассказчик (сейчас не знаю, давно его не встречал). Помню его рассказ о том, как в археографической экспедиции по Северной Двине в одной деревенской избе играл он с хозяином в прятки. Прятки были не просто прятки. Прятали маленькую водки. Один уходил за дверь, другой прятал. На счет «десять» водящий входил и искал спрятанную бутылку. Если находил — бутылка доставалась ему. Не находил — гостю. Михаил Пантелеевич Л. в тот раз выиграл. Хозяин обыскал каждую щель, но маленькую нигде не нашел. Михаил Пантелеевич Л. спрятал ее в радиолу. Отвинтил заднюю стенку и спрятал. Такой он был находчивый человек.

Сам я в своей жизни чего только не коллекционировал.

Одно время собирал даже папиросные и сигаретные коробки. Получилось это так. В Эрмитаже, где я работал, отдел нумизматики проводил инвентаризацию. И однажды в контейнер для мусора навалили целую гору старых папиросных и сигаретных коробок. В отделе в них хранили монеты, на каждой коробке чернилами был выведен инвентарный номер. Коробок я

тогда набрал целый мешок — каких только названий там не было: «Дукат», «Лотос», «Герцеговина Флор», это то, что я сейчас помню; коробки 20-х, 30-х, 40-х годов; коробки с пролетариями с отбойными молотками в руках и с дамочками, танцующими чарльстон; с цветами, с птицами, с китаянками и арапами на картинках. Теперь у меня ничего этого не осталось, потеряли при переезде.

В основном же моя коллекция — книжная. Это книжки 30-50-х годов про шпионов. В моей коллекции их несколько сотен. Есть редкие областные издания — Благовещенск, Смоленск, Симферополь, Молотов… Только изданий «Военной тайны» Л. Шейнина у меня 8 штук. Вообще же, книг, у которых в названии присутствует слово «тайна», в моей коллекции насчитывается примерно с сотню. «Тайна золотой пуговицы», «Тайна голубого стакана», «Восьмая тайна моря» и т. д. Не говорю уже про общеизвестные, вроде «Тайны двух океанов».

Есть книги, которые я пытаюсь отыскать уже в течение нескольких десятилетий. Это «Синий тарантул», «Тайна старой риги», «На могиле трех шаманов» и проч.

Я очень жалею, что в отличие, например, от фантастики, библиографией которой занимались и занимаются многие (Бугров, Миловидов, Халымбаджа, Казаков, Борисов), шпионской темой в литературе не интересовался вообще никто. Должно быть, брезговали. Нет ни одной библиографии старого советского детектива. Возможно, я ошибаюсь. Кажется, в свое время газета «Книжное обозрение» опубликовала список книг серии «Военные приключения».

Некоторые коллекционируют опечатки. Я тоже. Это увлекательное занятие. Последнюю из найденных опечаток, которая мне очень понравилась, я обнаружил в книге Юрия Коваля «АУА» (Издательский дом «Подкова», 1999). На странице 210-й в слове «какой» вместо «о» напечатана буква «а». Получилось забавно — «какай».

Мне сразу же вспомнилась статья в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (№ 158 за 1999 год), в которой приведены примеры «антисоветских» опечаток, взятые из секретных документов Главлита с пометкой «Не подлежит оглашению». Опечатка в верстке романа А. Толстого «Хлеб»: «Владимир Ильич начал говорить, сидя за столом, медленно царапая когтями лоб…» Или опечатка в повестке о вызове допризывника, где вместо «указанные» напечатано «укаканные лица». А как вам нравится следующий типографский пассаж: «Успехи, достигнутые за 19 лет под куроводством партии Ленина-Сталина»?

Про опечатки я однажды уже писал (см. «Ляпляндия»), поэтому про них хватит.

Отступление 2: о глаголе «писать». Некоторые авторы (например, петербургская переводчица А. Петрова) избегают этого выражения из опасения оказаться неправильно понятыми при неверно поставленном ударении (т. е. понятыми в смысле физиологии). По той же причине они избегают глагола «кончить» и всяческих от него производных (кончил, кончаю и пр.). Такой взгляд на русский язык я считаю сугубо порочным. И в выражении «кончил Ленинградский университет» не вижу ничего непристойного.

О коллекциях и чудаках-коллекционерах можно говорить долго. Когда-нибудь я к этой теме вернусь. Расскажу, например, об одном любопытном собрании памятников В. И. Ленину. Оно стоит того, чтобы о нем знали. Еще мне хочется рассказать о моей коллекции автографов разных интересных людей. Таких, как писатель Дворников, написавший на титульном листе своей книги коротко и просто: «Моя». Много чего хочется рассказать. Но как-нибудь в другой раз.

Колоколов Н.

Поэзию Николая Колоколова я открыл случайно. Однажды в какой-то нетрезвый вечер в ЦСЛК (Центр современной литературы и книги, наб Макарова, 10) я наткнулся на гору книг, сложенных в аккуратные пачки в тупике перед туалетом. Позже выяснилось, что эти книги — памятник несостоявшейся акции помощи Публичной библиотеке Багдада, пострадавшей после американской бомбардировки 2003 года. То есть был кинут клич всем писателям Петербурга, чтобы они внесли свою посильную лепту в благородное дело помощи иракским читателям, покопались в домашних библиотеках и поделились с пострадавшим Ираком какими-нибудь залежалыми книгами.

Лепту они внесли — кто принес двадцать пятый том переписки Горького из полного собрания его сочинений, кто какой-то «Гулшан-и-Афган», причем не книгу, а сразу пачку экземпляров в пятнадцать-двадцать, кто книжку своих собственных опусов с автографом типа: «Иракскому народу от М. Кураева». Только что-то с пересылкой книг не заладилось, вот они, бедные, и лежали в тупике перед туалетом.

Там-то, в этой горе, я и разглядел зелененький томик из новой «Библиотеки поэта» — «Дм. Семеновский и поэты его круга» (Л.: Советский писатель, 1989). А когда я его открыл, сразу же наткнулся на такое стихотворение:

Как долго солнечным запоем
Захлебывался огород!
Как сладко наливался зноем
Капусты листогубый рот!

С утра до заревого часа
Сбираем бережно, как хлеб,
Моркови розовое мясо,
Литое мясо смуглых реп.

И веет твердой спелью той же
От всей тебя, в летах литой:
От смуглой и упругой кожи,
От груди крепкой и крутой.

Я был буквально очарован этой снейдеровской эрмитажной картиной торжества огородной плоти. Написал эти стихи поэт

Николай Колоколов, о котором я до этого вообще ничего не знал. Из справочки, предваряющей подборку стихов, я узнал, что Колоколов был другом Есенина, снимал с ним в Москве комнату в 1914 году, в 1919 году издает книгу стихотворений, составляет книгу поэм, на которую Блок во внутренней издательской рецензии отозвался следующими словами: «Бред — совсем не жаркий и не восторженный», пишет прозу, живет в Иваново-Вознесенске, в 1929 году по предложению Горького устраивается на работу в журнал «Наши достижения» и переезжает в Москву, ругается с Горьким, осуждая последнего за равнодушие и приукрашивание советской действительности («Он к литературе равнодушен — не тем занят. Он нам не опора — скорей наоборот». Из письма к Дм. Семеновскому), умирает зимой 1933 года, вроде бы избежав репрессий.

Стихотворение, отрывок которого я привел, входит во второй — лучший — сборник поэта «Земля и тело», выпущенный в 1923 году. Чтобы вы, читатели, убедились, что остальные произведения этого сборника не уступают цитированному, даю еще один образец поэзии Николая Колоколова:

Словно ягненок овечьи соски,
Рожь и пшеница сосут чернозем,
Тонут в огне золотом васильки,
Полнится колос тяжелым зерном.

В женской утробе, как тайна глухой,
Новая жизнь прорастает в крови.
Зреет ребенок — и в час заревой
Падает в мир для борьбы и любви…

Вот такие удивительные открытия совершаешь иногда невзначай по дороге к туалету в ЦСЛК.

«Коллекционер» Джона Фаулза

В свое время, не помню уж у кого, прочитал я такую фразу: музей — это кладбище культуры. В книге, где я ее отыскал, говорилось о ночных прогулках по Риму, об античных статуях в трепещущем свете факелов, об иконах, слепнущих на музейных стенах и теряющих свою духовную силу. Возможно, это был Розанов — мысль вполне в его духе. Если так, и русский философ прав, то и коллекционер, логически развивая мысль, — кладбищенский сторож культуры. Все это рассуждения парадоксалиста. Розанов парадоксалистом и был.

В действительности, в истории, то есть жизни общества, парадокс — явление органическое. Чем больше демократизируется общество, тем меньше его тяга к прекрасному. Или, как сформулировал Освальд Шпенглер: чем выше уровень цивилизации, тем ближе гибель культуры. Прекрасного на всех не хватает. Прекрасное исчисляется единицами. Раньше решалось просто: горстка богатой аристократии держала в своих руках рукотворную сокровищницу культуры. Но времена голубых кровей потихоньку уходят в прошлое. Даже само понятие «голубая кровь» в нашу переменчивую эпоху воспринимается как неприличный намек. Меняются знаки времени, меняется семантика слов. Искусство подменяется суррогатами. Как у Фолкнера в доме Сноупса, где бронзовые ручки дверей — не бронза, а подделка под бронзу. Обесценивается культура — поэзия вытесняется бескостными эстрадными текстами, картины — дешевыми репродукциями, музыка — той же самой эстрадой с однообразными электронными ритмами.

И, естественно, перед человеком, мучительно это переживающим, встает проклятый вопрос — как быть? Как сохранить культуру? Наверное, Розанов прав — эффект от иконы в храме или от скульптуры в саду сильнее, чем когда они экспонируются в музее. Но, с другой стороны, настоящая картина, вывешенная в музее, — это не репродукция из журнала «Советский воин». И бюст Антиноя в музейном переходе дворца — это не гипсовая спортсменка в заплеванном скверике у вокзала. А вывеси картину Рембрандта на стене хрущевской пятиэтажки — кто знает, не произойдет ли с ней то же самое, что и с Мадонной Рафаэля в знаменитом рассказе Брэдбери. В лучшем случае ее украдут, чтобы выгодно сбагрить коллекционеру.

Вот — добрались и до коллекционера. С одной стороны, фигура эта для культуры несомненно спасительная. С другой

стороны, да, действительно — это мрачный паук, который ловит невинных бабочек, хранит их в своем углу, сосет из них в одиночку кровь, наслаждаясь красотой умирания и мучаясь от своего одиночества.

Философия коллекционера проста. Фигура его трагична. Умирает не только бабочка — умирает сам собиратель. Живой внешне — он только кокон, внутри он мертвое существо. И только вдруг, иногда вспыхивает внутри желание — когда новая жертва попадается к нему в сети. Книга, картина, бабочка или живой человек. Ведь и маньяк-убийца по сути тот же коллекционер, он вдохновляется, когда преследует свою жертву (погоня за раритетом), с нежностью убивает ее, пополняет свою коллекцию, а потом — наступает скука, нужна новая жертва, чтобы наполнить мертвую оболочку тела временным подобием жизни.

Фаулз в своем романе передает это очень точно. «Коллекционер» — первый роман писателя. От него пошли по воде круги, и темы, которые он развивал в последующих своих романах, во многом повторяют тему «Коллекционера». Тему смерти и красоты. Смерти и любви. Смерти в искусстве. Смерти искусства.

Красота на булавке — этот вечный мотив Набокова Фаулз исполняет по-своему. Может быть, современней. Не даром же современнейший из современных писателей (я имею в виду Пелевина) поставил фаулзовского «Коллекционера» на четвертое место в десятке главных романов, перевернувших XX век.

Кольцов А.

Это родина Кольцова,
Шутишь — мачеха щегла…

— напишет Осип Мандельштам в воронежской ссылке 1934 года.

Образ поэта Алексея Кольцова мелькнет у Мандельштама еще не раз и все время в связи с доводящим до безумия одиночеством, оторванностью от мировой культуры, центрами которой были для Мандельштама тогдашние Ленинград и Москва.

«Милый Виссарион Григорьевич, — цитирую письмо Кольцова Белинскому из Воронежа после возвращения поэта из Москвы. — Весь день пробыл на заводе, любовался на битый скот и на людей, оборванных, опачканных в грязи, облитых кровью с ног до головы. Что делать? Дела житейские такие завсегда… Совсем погряз я в этой матерьяльной жизни, в кипятку страстей, страстишек, дел и делишек…»

В Москве Кольцов был принят у Пушкина и Жуковского, на него смотрели как на залог национального развития всей русской поэзии, как на нового Ломоносова, от него ждали новых поэтических свершений… и вот в результате — «любовался на битый скот».

Родина Кольцова, Воронеж, действительно была мачехой для поэта.

Всякий подлец так на меня и лезет: дескать, писаке-то и крылья ощипать.

Его здесь как поэта не воспринимали и всячески старались принизить, повесив ярлык: «зазнался». Судьба Кольцова печальна, как и судьба большинства поэтов, отторгнутых бесчувствием современников. Он умер от чахотки в 33 года, воронежский его архив был пущен мужем умершей сестры Кольцова на оберточную бумагу, а это были не только стихи поэта, но и письма к нему Белинского, Одоевского, других не менее знаменитых людей. На могиле его написано: «Ноября 1-го погребен воронежский мещанин Алексей Васильев Кольцов».

Вот так — «воронежский мещанин».

Коммунальная квартира

Самое великое, самое поразительное, самое ужасное и самое смешное изобретение всех времен и народов — думаете какое?

Колесо? Да, поразительное. Да, великое. Но что же в нем ужасного и смешного?

Чайник? Тоже не вызывает смеха. Разве что немножечко ужаса, если капнешь кипятком на ногу.

Мясорубка, утюг, ракета? Нет, нет, нет и еще раз нет!

Что, сдаётесь, дорогие читатели? Ладно, больше не буду мучать.

Ну так вот, самое поразительное, самое великое и ужасное — ужаснее не бывает, — самое смешное и странное из всех изобретений на свете — конечно же, коммунальная квартира.

Честь такого изобретения принадлежит нам, петербуржцам, имя изобретателя неизвестно, но плодами этого великого опыта до сих пор пользуются миллионы людей в России В одном только Петербурге на сегодняшний день насчитывается 200 000 коммунальных квартир.

Коммуналка — это маленький космос, населенный удивительными существами. Хомо коммуналис — я бы назвал их так. Они сильно отличаются от обычного хомо сапиенса, живущего на отдельной площади. Это я заявляю наверняка, потому что сам без малого двадцать лет обитал в коммунальных стенах.

И явления, здесь наблюдаемые, имеют нереальный характер, и время бежит иначе, будто жизнь течет под водой или в каком-нибудь параллельном мире.

Где бы вы, к примеру, увидели человека в трусах и майке с трехлитровой банкой на голове? А в коммунальной квартире — запросто, я сам был тому свидетель. Наш сосед Иван Капитонович как-то ночью захотел подкрепиться квашеной капустой из банки, но вместо того, чтобы таскать ее пальцами, как это делают нормальные люди, зачем-то сунулся туда головой. Засунуть-то он ее внутрь засунул — хотя непонятно как, горлышко-то у банки узкое, — а вот вытащить обратно не смог. Так и мучался до утра на кухне, пытаясь освободиться. Утром вышел на кухню другой наш сосед, Беневич, увидел странного инопланетного жителя, подумал — Землю захватили тау-китайцы, — ну и шарахнул ведром для мусора Ивану Капитоновичу по кумполу.

Только самое смешное не в этом, самое смешное в другом. За эту самую разбитую банку, как за погубленную личную собственность, пожиратель ночной капусты подал на бедного

Беневича в суд. И — представляете? — выиграл дело!

А вот еще коммунальный случай.

Однажды ночью сосед Кузьмин — партийный, между прочим, работник, — припер со стройки ведро горячей, не застывшей еще смолы. И, пока нес ее по темному коридору, споткнулся о соседского ежика и растянулся на дощатом полу. Обнаружили его тоже под утро, хотели помочь подняться, а он намертво приклеился к полу. Помню, даже вызывали спасателей, чтобы выковырять его из смолы. Хорошо, хоть ежик не пострадал!

Истории, подобные этим, можно рассказывать бесконечно. Про привидения, живущие в зеркалах, про утренние очереди в туалет, когда на шеях полусонных жильцов, как какие-нибудь рыцарские доспехи, красуются крышки от унитаза, про Шилова Артура Романовича, прорывшего у себя из комнаты подземный ход под Усачевские бани…

Они смешны и в то же время печальны, эти случаи из коммунального быта, — реальны и вместе с тем фантастичны.

Коммуналка ломает судьбы, превращает людей в преступников, но других, наоборот, сплачивает. Лично я благодарен жизни за тот коммунальный опыт, который она мне подарила. Почему-то мне все время везло. Люди, жившие со мной в одних стенах, были хоть и странные, хоть и с придурью, но все добрые, щедрые, все отходчивые. Если кто-то кого-то и обижал, то и каялся потом выше меры, и старался свой грех загладить. Угостить тебя, к примеру, селедкой, которую не доели с праздников.

Ну, конечно, бывали и исключения. Из-за глупости, в основном, и зависти. Приворовывали некоторые, бывало. Не по крупному, так — по мелочи. Там прищепку бельевую сопрут, здесь отсыплют полпачки соли.

Теснота тоже имела место. Тебе хочется, допустим, уединиться, почитать какого-нибудь Тарзана, а у папы в это время хоккей и он ревет как оглашенный у телевизора, а у соседей напротив, Клюевых, дочка треплет тебе нервы на фортепьяно, а нетрезвый сосед Ерёмин учит сына приемам самбо — так, что рушится посуда в буфете.

Только не было бы этого опыта — опыта коммунальной жизни, — не было бы и многих историй, которые, кроме как в коммуналке, нигде больше произойти не могли.

«Кому на Руси жить хорошо» Н. Некрасова

Белинский определил талант Некрасова как топор («Какой талант! И какой топор ваш талант!»).

Осип Мандельштам сравнил талант Некрасова с молотком:

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

То есть талант Некрасова не последние люди в нашей литературе связывали с талантом строителя. Строителя странного.

Под «строителем странным» я подразумеваю, в случае Белинского, строителя новой жизни, то есть рубителя старой и — на ее обрубках — создателя жизни лучшей. Ведь кому живется весело, вольготно на Руси? Известное дело кому — см. по тексту поэмы. Топором же можно, кстати, не только обтесывать бревна для строящегося дома. Им можно и, как Родион Раскольников, тюкать одиноких старушек. Молотком, между прочим, тоже — случаи такие в судебной практике встречаются, и нередко.

Осип же Мандельштам в строительной деятельности Некрасова выделяет элемент злости. Но злости не настоящей — будущей. Злости на самих строителей новой жизни, построивших такие дома, жить в которых можно или стукачу, или мертвому. Здесь под мертвым подразумевается человек, полностью приспособившийся к режиму, слившийся с серым фоном тогдашней коллективной действительности, помалкивающий, подремывающий, читающий пролетарских поэтов и пишущий доносы на поэтов непролетарских.

Вот такое противоречие обозначил я в некрасовском творчестве, которое, как в гегелевской триаде, ведет в результате к синтезу. Синтез же в истории означает перемирие между Богом и Сатаной. А перемирие не бывает долгим, оно имеет свойство заканчиваться или миром, или новой войной.

Конец света

Когда Леонид Цывьян, питерский переводчик, увидел сидящего на ступеньках тридцатилетнего парня, с трудом шевеля губами читавшего книжку комиксов, он понял, как выглядит конец света.

Лично я ничего ужасного в этом не вижу. Ну, читает человек по складам, ну, комиксы. Что ж такого? Я видел нищего на паперти Владимирского собора, читавшего по складам Евангелие.

А мой сын-старшеклассник увлеченно читает Акутагаву. А дочка моих знакомых в свои 14 лет цитирует наизусть Шекспира. По-русски и по-английски.

В природе существует баланс. На каждого нищего с паперти, на каждого неграмотного бомжа, на каждого депутата Думы, путающего «унисон» с «унитазом», приходится по умному мальчику, глядящему в телескоп на звезды, по питерской или калужской девочке, пишущей по ночам стихи.

Да и неважно, что человек читает. Я тоже читаю комиксы и лубочные сыщицкие романы. И многие мои знакомые тоже.

А что касается конца света, то я в него, извините, не верю. Пока есть человек читающий и пока светит на небе солнце, человечество будет жить.

Конный цирк

В 1923 году в Грузии режиссер И. Перестиани снял фильм по повести Павла Бляхина «Красные дьяволята». Фильм имел безумный успех, Буденного, после того как картина вышла в прокат, подростки буквально завалили грудами писем с просьбой записать их в «красные дьяволята» Но, как вспоминает писатель Бляхин, фильм хотя и получился хороший, все-таки имел досадное отступление и от первоисточника, и от исторической правды.

Дело в том, что один из подростков, героев повести, — китаец. В Грузии же, когда фильм снимали, как назло ни одного китайца отыскать не смогли. На счастье в тбилисском цирке нашелся негр, работавший цирковым наездником. Звали негра Кадор Бен-Салиб. Тогда находчивый режиссер быстренько меняет в сценарии «красного дьяволенка» Ю-ю, того самого, который китаец, на революционного негра Тома, которого сыграл Бен-Салиб. Формально все прошло на ура. Только, автор повести замечает, в гражданскую войну в Красной армии негров не было. Китайцы же, наоборот, принимали в ней живое участие.

Я представил себе возможную ситуацию, как в том же самом Тбилиси в 1923 году тот же Перестиани экранизирует «Арапа Петра Великого». И, на беду, в грузинской столице не оказывается ни одного негра. И режиссер, чтобы не срывать съемки, меняет негра на китаёзу. Хотя нет, все это ерунда, в такой ситуации человеческий материал ни при чем. Сажа, вакса, любой краситель, меняющий цвет кожи на черный, — и проблемы с негром как не бывало. Снялся же Владимир Высоцкий в той же роли в известном фильме…

Стоп. Что-то я ушел далеко в сторону от конного цирка. А ведь в конном цирке действительно все здОрово и красиво. Одна конно-цирковая терминология звучит слаще иного музыкального опуса. Вслушайтесь — арнир, арабеск, панно, кабриоль, хердель, пезада…

Кстати, хердель — это всего лишь искусственное препятствие из обычного хвороста, которое лошадь преодолевает по ходу номера. А пезада — это когда лошадь поднимается на дыбы и стоит на задних ногах почти вертикально, или, по-цирковому, «свечкой».

«Костер» Н. Гумилева

Наплевав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах
Офицеры последнейшей выточки
На равнины зияющий пах…

Когда я повторяю мысленно, про себя, эти строки Осипа Мандельштама, почему-то всегда представляю Николая Степановича Гумилева, идущего по вымерзшим улицам Петрограда зимами 19–20 года.

И еще мне вспоминается место из мемуаров Николая Чуковского, где последний описывает, как Гумилев топит камин томами роскошного тридцатитомного издания Шиллера на немецком языке — в тисненых золотом переплетах, с гравюрами на меди, проложенными папиросной бумагой:

> Брошенный в пламя том наливался огнем, как золотой влагой, а Николай Степанович постепенно перелистывал его с помощью кочерги, чтобы ни одна страница не осталась несгоревшей.

В этих образах видится мне закат России и долгое последовавшее за ним погружение ее во мрак.

Иннокентий Анненский посвятил Гумилеву в 1909 году стихотворение «Баллада». Две строчки из него кажутся написанными десятилетием позже и только каким-то чудом перемещенными в недалекое прошлое:

Только мы, как сняли в страхе шляпы —
Так надеть их больше и не смели…

Это о российской интеллигенции после 1921 года.

> Ну что государство может сделать с поэтом? Самое большее — убить! Но стихи убить нельзя, они бессмертны, и бедное государство всякий раз терпит поражение.

Это слова поэта и переводчика Валентина Стенича, сказанные им после того, как Гумилева расстреляли.

В сборнике «Костер» есть стихотворение о деревьях,

кончающееся такими строчками:

О, если бы и мне найти страну,
В которой мог не плакать и не петь я,
Безмолвно поднимаясь в вышину
Неисчислимые тысячелетья!

Теперь мы знаем точно: поэт Николай Гумилев нашел эту страну, о которой мечтал при жизни.

«Кот в сапогах» Ш. Перро в связи с проблемой кастрирования котов

Сказка про кота в сапогах — очень удачный повод поговорить о такой важной проблеме, как кастрация братьев наших меньших — котов. Поводом же для этого повода явились: 1) мой недавний визит в издательство «Амфора» и 2) встреча после визита в «Амфору» с Николаем Копейкиным, художником и участником группы «НОМ». Вы спросите, какое отношение к кастрации домашних животных имеет славное издательство «Амфора»? Или популярная группа «НОМ»? Секунду, сейчас узнаете.

Дело в том, что, дожидаясь в приемной, когда освободится от очередных визитеров главный редактор, я, чтобы скоротать время, листал новую книжку «Амфоры», а именно сборник киносценариев Евгения Шварца. И в предисловии Алексея Германа нашел следующую замечательную историю, случившуюся буквально на глазах юного Алексея Юрьевича.

Дело было в конце 40-х в Комарово на даче Шварца. Ждали ветеринара, который должен был приехать из города кастрировать шварцевского кота. Лето, вечер, а специалиста все нет и нет. Наконец раздаются настойчивые удары в дверь. Хозяева открывают и на пороге видят человека в форме НКВД. Первая реакция: все, дождались! В стране как раз полным ходом шла компания по борьбе с космополитизмом, и людей арестовывали не менее активно, чем в конце 30-х годов. Потом заметили в руках у человека маленький обшарпанный чемоданчик, как-то не вяжущийся с форменной энкавэдэшной одеждой. К тому же человек был один, без сопровождающих, понятых. Явившийся действительно оказался сотрудником той самой организации, в чьей одежде явился. Только целью его визита были не хозяева, а хозяйский кот. Просто человек подрабатывал в свободное от главной работы время кастрированием котов. Войдя в дом, ветеринар открыл чемодан и достал оттуда сапог и острый сапожный нож. Профессиональным движением он засунул ни о чем не подозревающего кота в сапог, снаружи оставив лишь хвост и мохнатое кошачье хозяйство. Затем последовал молниеносный взмах остро наточенным инструментом и — почти одновременно — бросок сапога с находящимся в нем котом в стену. Чтобы шок от потери плоти совпал с шоком от полученного удара. Так в России в сороковые годы кастрировали котов.

Теперь о Николае Копейкине.

Когда вечером после визита в «Амфору» я изложил ему эту

германовскую историю, он в ответ рассказал о том, как кастрируют котов в наше время. На примере собственного животного.

Оказывается, никаких сапогов ветеринары уже не применяют. Просто делают животному пару обезболивающих уколов, затем надрезают коту мошонку и выскребают оттуда все ее содержимое. Когда художник Коля Копейкин смотрел на этот откровенный садизм (а дело происходило у него на квартире), он чувствовал на месте кота себя. Особенно его поразила финальная сцена операции, когда тетка-ветеринар привычным жестом бросила на пол возле стола комок удаленной плоти. А жена веником, совершенно спокойно, смела все это в совок и вынесла в мусорное ведро.

Теперь поставьте на место копейкинского кота героя сказки Шарля Перро и попробуйте перечитать эту сказку заново. Не знаю, что у вас из этого выйдет.

«Красное сухое» И. Померанцева

Что мне выпить во Имя Твое?

В. Ерофеев. «Москва — Петушки»

Эту книгу я цитирую, вспоминая. Вспоминаю, цитируя.

> Откупорив бутылку, понюхайте пробку и протрите горлышко. Перелейте вино из бутылки в кувшин под углом 120 градусов. Бутылку вместе с осадком выбросите.

Бутылки с вином во времена моей юности предпочитали покупать с металлической пробкой (а от металлической пробки какой может быть запах?). Во-первых, отпадала необходимость в штопоре. Во-вторых — оперативность, особенно когда распивали в скверах или в парадных.

Наливалось вино в стакан, под любым углом, главное, чтобы не перелить или не недолить. Из горлышка пили редко — не из брезгливости, а потому что считалось зазорным («из горлышка пьют одни пьяницы»). Стакан с собой, естественно, никто не носил — разве знаешь заранее, когда возникнет причина выпить. Иногда стакан похищался в газированном автомате, но это редко. Уже с начала 80-х уличные автоматы с газированной водой стали достоянием прошлого. А вместе с автоматами и стаканы. В хозяйственных магазинах простой граненый стакан стоил десять копеек. Иногда его покупали там. Потом появились пластмассовые заменители стеклянных стаканов. Называли их не стаканами, а стаканчиками. Вот цену их, хоть убейте, не помню.

Как сообщает Эдуард Власов в «Комментариях» к «Москве — Петушкам», «изобретателем советского стакана (точнее — изобретателем промышленного способа нанесения граней на стекло) является Вера Мухина, автор „Рабочего и колхозницы“». Возможно, это и правда.

Кажется, у того же Венедикта Ерофеева, в той же поэме (а может, не у него и не в той), граненый стакан выступает символом постоянства советской системы. Мол, как было у стакана от рождения постоянное число граней, так таким же постоянным число это и оставалось. Я вам заявляю авторитетно: классик трижды не прав. Причем трижды как минимум. У меня в дневнике сохранились записи, где число граней отечественных

стаканов колеблется от 10 до 16.

Бутылку в шестидесятые-восьмидесятые годы редко когда выбрасывали. Пункты приема стеклотары от населения работали довольно исправно, и часто очереди в такие пункты были своеобразными клубами для жителей близлежащих улиц. Бутылка 0,5–0,7 л. стоила 12 коп., маленькая (0,25 л.) — 10 коп. Таким образом, сдав две бутылки — поллитру и маленькую, на вырученные 22 копейки можно было купить большую кружку пива. Маленькая кружка пива стоила 11 копеек.

Что касается самого вина, то здесь я целиком и полностью подписываюсь под словами Евгения Попова из «Подлинной истории „Зеленых музыкантов“»:

> Братья-болгары поставляли нам… дешевые сухие вина, которые никто из нас не пил, предпочитая им «Красное крепкое», еще не дошедшее до мерзейших кондиций портвейна «Кавказ», разливного «Вермута» и «Солнцедара», одинаково изготовлявшихся путем добавления сахара, красителей и этилового спирта из алжирского вина, которое Брежнев сдуру и из политических соображений закупил в этой мятежной по отношению к французской метрополии стране.

К списку «мерзейших» тут можно добавить «Волжское» и 33-й портвейн. Однажды на школьном вечере мы, запершись в пустом классе, открывали бутылку «Волжского» популярным в 60-е годы способом. Способ простой. Донышком резко ударяешь о стену, предварительно приложив к стене книгу (чтобы смягчить удар). Пробка таким образом вышибается, и вино разливается по стаканам.

Так вот, в тот роковой раз вышиблась почему-то не пробка, вышиблось дно бутылки. И на белой школьной стене, вмиг превратившейся в буро-красную, потом долго еще оставался след нашего преступления — робкий белый квадрат на месте, где была приложена книга.

> Благородство вина — в его демократизме. Вино должно попахивать дубовой бочкой, но в меру, чтобы происхождение запаха оставалось загадкой. Еще оно пахнет черной смородиной, земляникой, орехом, персиком, дымом, пармской фиалкой, резиной, горчицей, сыроежками, перцем, шерстью.

Интересно, чем пахнут «Киндзмараули», «Хванчкара», «Мадера» и «Кекфранкош», у которых на этикетках местом их

производства значится: «Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, п. Озерки, Железнодорожный проезд, д. 5.»? Я нисколько не преувеличиваю. Именно такие бутылки продавались несколько лет назад в обычном питерском магазине рядом с домом, где я живу.

> Вот что я ненавижу: пристойные, но безликие вина на всякую глотку. И я во всю свою протестую: пусть вина двух соседних деревенек в Бургундии или Наварре остаются разными, непохожими, пусть их не смешивают. Вина всех виноградников мира, не соединяйтесь!

Полностью солидарен с автором. У нас тоже — что ни возьмешь, все на одинаковый вкус.

> Вино может течь поверх культур и вероисповеданий! Вино — текучая память человечества. А что текуче, то свободно. Запах, аромат — вне сур и булл. Зрелая культура пахнет вином, молодая — потом.

Эту цитату оставляю без комментария. Сказанному позавидовали бы все философы и поэты мира — бывшие, настоящие и будущие.

> Мы поспорили, кто из нас трезвей. Придумали тест: пройти по парапету на набережной. Кто свалится и утонет, тот менее трезв.

В Павловске в студенческие годы мы, бывало, тоже проводили тест на трезвость. Садились на вертикально вращающуюся карусель, где кресла в виде фанерных самолетов были жестко закреплены на раме. То есть, находясь в высшей точке подъема, ты оказывался висящим вниз головой. Карусель же вращалась чертовски медленно, и трезвым считался тот, кто был способен удержать в себе выпитое.

> Когда в солнечную погоду смотришь издали на собор Доброго Пастыря сквозь бренди, то веришь, что он выпилен лобзиком.

Обязательно нужно попробовать посмотреть на шпиль Петропавловки сквозь бокал бренди. Веселое, наверное, зрелище.

> Красное «Монте Реал Гран Ресерва» 1970 года. На запах — гречиха в цвету. На вкус — вялый шелк. Пожилое вино, кроткое. 18 фунтов бутылка.

Два летних месяца 76 года я провел на военных сборах под Лугой. На выходные мы ездили в Ленинград, а ближе к вечеру в воскресенье возвращались на службу в часть. Ездили обычно компанией, возвращались тоже. Однажды в Луге, сойдя с электрички, мы купили местного «Яблочного» по рублю ноль две бутылка. Взяли по две бутылки на человека, чтобы потом не бегать из части и не светиться на КПП. Дорога до части была неблизкая, погода стояла теплая, вот мы и решили устроить на полянке привал. А какой привал у простого советского военнослужащего обходится без веселящих напитков. Уж не знаю насчет возраста и характера, но на запах то «Яблочное», которое мы купили, было самый чистейший уксус. Впрочем, и на вкус тоже. Даже самые из нас мужественные не осилили больше трети бутылки.

> Соотчичи, боюсь, пренебрегут бокалом риохи, который я им протянул. Они предпочитают водку, сортов которой во всем мире меньше, чем, скажем, сортов вина в скромной долине Кьянти.

Соотчичи соотчичам рознь, я бы, к примеру, не пренебрег.

> В Русте даже птицы слегка бухие. У аистов подкашиваются коленки. Стрижи не резвятся, а бесятся. Ласточки колют и режут друг друга крыльями. Я сам видел, как тяжелораненая ласточка плюхнулась в озеро и больше уже не взлетела.

Из птиц пьяными я видел лишь кур. Сосед на даче макал в стакан с водкой хлеб и кормил им эту безобидную птицу. Куры сначала клевали с жадностью, потом сонные разбрелись по двору, натыкались одна на другую и падали на землю как мертвые. Зрелище было не из веселых.

> На вопрос «ваш любимый цвет?» ответ давно найден: «бутылочный».

Я не знаю, какой мой любимый цвет. На бумаге пишу, что красный. Но думаю, что все-таки — женский.

> Несколько глотков сидра с утра — и цветешь. Некоторые предпочитают херес. Но херес — это тупик. А сидр — дорожка в сад.

Мне не нравятся угрюмые пьяницы, с утра толкущиеся у ларьков и пивных и пачкающие воздух сивухой. Утренний пьяный

должен быть добрым. Даже в его неопрятности должны сквозить отблески карнавала. Но, увы, встречается такое лишь в сказках.

> Хлипкий воздух Галисии, груда немытых городов, провинциальных бокалов… Куда ни зайдешь — полки заставлены бутылками. Горлышки что корешки. Белые, зеленые, красные, бордовые, черные. К себе попал.

Почти как у Ахмадулиной: «Люблю я тишь твоих библиотек…» Или — как у Гайдая: «Как пройти в библиотеку?» Впрочем, это уже кощунство и дурновкусие.

> Одно плохо в Лондоне: пить нужно дома. Лондонский воздух сделан из крылышек мух. На воздухе вино тотчас теряет и колер и запах. Потому надо запереться, опустить шторы, отключить телефон и уж тогда откупоривать.

Петербургский воздух сделан из… Я задумался и не нашел ответа. Наверное, чтобы его найти, надо взять в руку бокал риохи, отдернуть занавеску из тюля и выйти вечером на балкон.

…Книгу Игоря Померанцева хочется цитировать бесконечно — она легка, пьяна и прекрасна, как наша быстротечная молодость.

Кристи А.

Первый свой детективный роман Агата Кристи написала, когда работала в аптеке. Правда, мысль о работе над детективом зародилась у нее еще в детстве, она даже поспорила с сестрой, что когда-нибудь обязательно напишет детективный роман. Так вот, аптека. «Меня окружали яды, — пишет Агата Кристи в своей „Автобиографии“, — и вполне естественно было выбрать смерть от отравления в качестве приема». Так появился роман «Таинственное происшествие в Стайлзе» (1920).

Всего, за полвека литературной деятельности, Кристи опубликовала более семидесяти романов и что-то около тридцати сборников рассказов, суммарный тираж которых превысил 400 000 000 То есть книги Агаты Кристи по тиражу соперничают только с Библией и Шекспиром. К концу 30-х ее признали первой леди детективного жанра, она становится президентом Английского детективного клуба.

Впрочем, Р. Чандлер, «маргинал жанра» (как и Д. Хэммет, по определению А. Роб-Грийе) дал жестко-отрицательную характеристику творчества первой леди, точнее ее романа «Убийство в Восточном экспрессе».

«У Агаты Кристи, — пишет он в эссе „Простое искусство убивать“, — есть роман с участием г-на Эркюля Пуаро, хитроумного бельгийца, изъясняющегося на французском языке из школьного учебника. Изрядно помучив свои „маленькие серые клеточки“, то бишь пошевелив мозгами, он приходит к гениальному выводу, что коль скоро никто из пассажиров некоего экспресса не мог совершить убийство в одиночку, то, стало быть, они сделали это скопом, разбив всю процедуру на последовательность простейших операций — конвейерная сборка машинки для разбивания яиц! Задачка из тех, что ставит в тупик проницательнейшие умы. Зато безмозглый осел решает ее в два счета».

Критик Г. Анджапаридзе, защищая Агату Кристи от «несправедливых» нападок Чандлера, пишет по этому поводу следующее: «Кристи писала ту жизнь и тех персонажей, которых знала. Чандлер и Хэммет знали нечто другое и писали об этом превосходно. Согласен, что в сравнении с теми хитросплетениями сюжета, которые изобретают современные писатели, загадки Агаты Кристи кажутся пресноватыми и старомодными. Наверное, любой поклонник Кристи найдет без труда в ее книгах отступления от того реализма повседневности, приверженцем которого выступал Чандлер. Но книги Кристи продолжают читать

во всем мире».

«Почему?» — задает критик вопрос. И сам же на него отвечает: «По-моему, Агата Кристи была действительно выдающаяся — в рамках своего дарования — нравоописательница обширной социальной прослойки. Ее романы — одновременно и немножко сказка, и гимнастика ума, и портрет эпохи, во всяком случае, один из возможных портретов».

А ведь именно в таком сочетании и состоит рецепт популярности и детектива, и литературы вообще. Так что, господин Чандлер, первая детективная леди навсегда остается первой. Несмотря на отдельные недостатки, присущие любому писателю.

Крылов И.

1.

О Крылове начну с Грибоедова. Вот цитаты из двух грибоедовских писем 1824 года.

Первая: «…В самый день моего приезда… читал я ее („Горе от ума“. — *А.Е.*) Крылову, Жандру, Шаховскому, Гречу, Булгарину, Каратыгину…»

Вторая: «Крылов (с которым я много беседовал и читал ему) слушал все выпуча глаза, похваливал и вряд ли что понял. Спит и ест непомерно. О, наши Поэты! Из таких тучных тел родятся такие мелкие мысли! Например: что Поэзия должна иметь бют (цель — франц. — А Е), что к голове прекрасной женщины не можно приставить птичьего туловища и пр. Нет! Можно, почтенный Иван Андреевич… слыхали ли Вы об Грифоне?..»

Вообще, почитаешь воспоминания современников, и перед тобою встает образ некоего персонажа европейского театра-буфф, Фальстафа, Гаргантюа, Обпивалы и Объедалы народных сказок — неряшливого, вечно что-то жующего, кормящего прямо в своей казенной квартире при Императорской публичной библиотеке залетающих в окно голубей и пр., как написал в своем письме Грибоедов. И ведь действительно все это правда. Как правда то, что он еще и автор удивительных по языку басен, образов, которые для нас значат ничуть не меньше, чем для человека религиозного образы Богородицы и Христа. Только не сочтите это мое последнее утверждение за кощунство или за камешек в огород людей верующих.

Еще я много раз повторял, повторяю и повторять буду, что лучший памятник в моем городе из всех существующих — это памятник дедушке Крылову в Летнем саду. Когда меня в Летний сад гулять водили мои родители, я всякий раз первым делом тянул их к нему и, тыча пальцем в обезьяну или ворону с сыром, бодро цитировал соответствующую строчку из баснописца. Да и теперь, слыша собачий лай, я вспоминаю Моську и выглядываю из окна на улицу — не ведут ли по мостовой слона или какое другое крупнокалиберное животное.

2.

Состоя при Императорской публичной библиотеке в

должности штатного библиотекаря, Крылов там же, при библиотеке, и жил. Любимым его занятием, кроме писания басен, было кормление голубей, которые свободно залетали к нему в квартиру через открытые окна и оставляли после себя значительное количество нечистот. Сам баснописец относился к издержкам своей любви к голубям вполне философски: «Что естественно, то угодно Богу, а все, что угодно Богу, не противно и человеку». Кстати, голуби, помня великую к ним любовь баснописца, отвечают ему взаимностью и по сей день. Загляните как-нибудь в Летний сад, навестите памятник дедушке Крылову, и вы увидите материальные проявления этой безыскусной любви пернатых, хорошо заметные на темном металле памятника.

Крылов был оригинален во всем, даже в вопросах собственного здоровья. Однажды лежал он больной желудком и, чтобы поддержать съедаемые болезнью силы, решил немного перекусить. Приносят ему щи с пирожками. Вот он хлебает щи, надкусывает один пирожок, съедает, надкусывает второй. Чувствует наш Иван Андреевич, что-то с пирожками неладно, какая-то в них нехорошая присутствует горечь. Пригляделся он к пирожкам внимательно и видит, а пирожки-то порченые, с гнильцой. Другой бы с криком: «Отравили, мерзавцы!» — швырнул некачественный продукт в физиономию слуге, их подавшему. Но не такой был Крылов человек, чтобы в рожу съестным кидаться. «Что ж, — рассудил он здраво, — коли призвал меня Господь умереть, то не все ли равно, от двух я пирожков испущу дух или от всех шести». И съел оставшиеся четыре пирожка тоже. И, представьте себе, желудок его поправился, и тем же вечером Иван Андреевич уже обедал в Английском клубе.

Кстати, всем возможным кушаньям Иван Андреевич Крылов предпочитал щи с кулебякой. В смысле — кулебяка не в щах, а вместо хлеба, со щами. Что касается вещей поэтических, то здесь предпочтения Ивана Андреевича ни для кого не секрет. Конечно же, это басни, знаменитые крыловские басни, любимые всеми нами.

3.

«Крылова прославили в Петербурге пьяницей, что не удивительно, судя по его беспрерывно сонной физиономии». Так пишет в своих «Записных книжках» дочь президента Академии художеств и вообще человека государственного и важного Варвара Алексеевна Оленина.

Но несмотря на эту кажущуюся сонливость, Крылов был человеком практичным и даже ушлым. Смирдин ему платил за каждую новую басню по 300 рублей, и к началу 1830-х гг. баснописец заработал 100 тысяч. Но этого ему показалось мало, и в 1834 году Крылов требовал с издателя за басню уже по 500 рублей, и тот был вынужден согласиться.

Между прочим, это хороший пример для современных писателей! Нужно знать цену своему творчеству и не позволять какому-нибудь пройдохе из ЭКСМО или АСТ за копейки покупать тебя на корню.

Кстати, в мае 2005 года прогрессивное человечество отметило ровно 150-ю годовщину со дня открытия памятника дедушке Крылову в Летнем саду. Отметить-то оно отметило, но все ли его представители знают о том, как выбрали место для установки памятника?

История эта мало слово что замечательная, она еще к тому же и поучительная, особенно для служителей Музы.

А дело происходило так.

Однажды Иван Андреич Крылов, гуляючи по Летнему саду, утомился и присел на скамейку. Тут-то его вдруг и приперло. Баснописец сунул руку в карман, а бумажки-то в кармане и нету. Видит Крылов, по аллее движется граф Хвостов. Крылов кидается к графу. «Здравствуйте, — кричит, — дорогой. Нету ли у вас чего новенького?» — «Есть, как же не быть, — отвечает ему Хвостов. — Свежий стишок, извольте. Только что прислали из типографии». — «Замечательно, граф, отлично, дайте-ка мне парочку экземпляров». Польщенный Хвостов дает. Крылов срывается с места и прячется в ближайших кустах.

Там-то, на месте этих кустов, и стоит теперь лучший памятник Петербурга, кроме разве что Медного всадника и памятника Чижику-Пыжику на Фонтанке.

Кузмин М.

Когда летом 1919 года поэта Осипа Мандельштама арестовали в Батуме грузинские меньшевики, то на вопрос, белый он или красный, поэт ответил: «Я не знаю, какого я цвета. Больше всяких цветов теперь меня занимают Тибулл, Катулл и римский декаданс».

«Распад, тление… — все это… decadence, — напишет поэт через два года в своей программной статье „Слово и культура“. — Но декаденты были христианские художники, своего рода последние христианские мученики. Музыка тления была для них музыкой воскресения…»

Ощущение конца эпохи в русской культуре двух последних столетий присутствовало всегда. Горько-сладкий привкус последней, заупокойной чаши, поднимаемой на развалинах прошлого, и вместе с тем осознание себя наследником и хранителем былых ценностей — вот основная тема, определяющая характер творчества многих мастеров слова.

Пушкин: «Где Вакховы пиры при шуме зимних вьюг?»

И вторящий ему Батюшков: «Где дом твой, счастья дом? Он в буре бед исчез, и место поросло крапивой…»

И принимающий эстафету Тютчев: «Кончен пир, умолкли хоры, опорожнены амфоры…»

Этот ряд можно множить долго.

Но лишь в годы между двух революций и особенно после трагедии Октября и последовавших за ней событий ощущение конца эпохи, гибели великой цивилизации (именно в эти годы в России читается и переводится на русский язык знаменитая книга О. Шпенглера «Закат Европы») стало присуще большинству тогдашней интеллигенции. И сравнение послереволюционной России с гибелью великого Рима не случайно приходило на ум.

Вот как описывает Петроград начала 20-х годов историк и краевед Николай Анциферов (цитирую по его книге «Душа Петербурга», Пг., 1922):

> Медленно ползут трамваи, готовые остановиться каждую минуту. Исчез привычный грохот от проезжающих телег, извозчиков, автомобилей. Только изредка промчится автомобиль, и промелькнет в нем военная фуражка с красной звездой из пяти лучей (ср. мандельштамовское: «Только злой мотор во мгле промчится и кукушкой прокричит…») Прохожие идут прямо по мостовой, как в старинных городах Италии…

> Весною трава покрыла более не защищенные площади и улицы (то же у Мандельштама: «Трава на петербургских улицах — первые побеги девственного леса, который покроет место современных городов»). Воздух стал удивительно чист и прозрачен. Нет над городом обычной мрачной пелены от гари и копоти. Петербург словно омылся…

И далее:

> Прекратился рост города. Замерло строительство. Во всем Петербурге воздвигается только одно новое строение. Гранитный материал для него взят из разрушенной ограды Зимнего дворца. Так некогда «нарождающийся мир христианства брал для своих базилик колонны и саркофаги храмов древнего мира».

А вот свидетельство писателя Николая Чуковского:

> …Он (Петроград. — *А.Е.*) был на редкость пустынен, жителей в нем было вдвое меньше, чем перед революцией. Автобусов и троллейбусов еще не существовало, автомобилей было штук шесть на весь город, извозчиков почти не осталось, так как лошадей съели в девятнадцатом году, и только редкие трамваи, дожидаться которых приходилось минут по сорок, гремели на заворотах рельс. Пустынность обнажала несравненную красоту города, превращала его как бы в величавое явление природы, и он, легкий, омываемый зорями, словно плыл куда-то между водой и небом.

Осип Мандельштам, Николай Анциферов, Вячеслав Иванов, Константин Вагинов, Бенедикт Лившиц, книга стихов которого так и называлась — «Кротонский полдень», по имени города из знаменитого романа Петрония, где дорвавшиеся до власти рабы празднуют праздник плоти… Писатели, поэты, художники — каждый творческий человек той эпохи по-своему отразил эту тему. Даже шутили в те годы на античный манер. Так, например:

> Юношей Публий вступил в ряды ВКП золотые,
> Выбыл из партии он дряхлым — увы! — стариком.

И, естественно, не мог пройти мимо этой темы замечательный русский писатель Михаил Алексеевич Кузмин. Вот

отрывок из его стихотворения 1925 года:

На улице моторный фонарь
Днем. Свет без лучей
Казался нездешним рассветом.
Будто и теперь, как встарь,
Заблудился Орфей
Между зимой и летом.
Надеждинская стала лужайкой
С загробными анемонами в руке…

Вслушайтесь — здесь и мандельштамовский «злой мотор», и трава на центральных улицах (Надеждинская — нынешняя улица Маяковского), и античный мир, вымораживаемый наступающим холодом.

Михаил Кузмин — личность загадочная. Великий мистификатор — когда читаешь его пунктирную биографию, складывается ощущение, что когда ему некому было рассказывать про себя небылицы, он рассказывал их самому себе. Даже собственный год рождения он указывал всякий раз иначе: 1872, 1875, 1877.

Родился он, вроде бы, в Ярославле, детство провел в Саратове, затем — Петербург, дальше — Египет, Италия, поволжские старообрядческие скиты, опять Петербург, «башня» Вячеслава Иванова, шумный успех, салоны, потом — забвенье и тихая смерть в коридоре Мариинской больницы в 1936 году. Но все это понарошку. На самом деле, как пишет о Кузмине Э. Ф. Голлербах, «он родился в Египте, между Средиземным морем и озером Мареотис, на родине Эвклида, Оригена и Филона, в солнечной Александрии, во времена Птоломеев. Он родился сыном эллина и египтянки, и только в XVIII веке влилась в его жилы французская кровь, а в 1875 — русская. Все это забылось в цепи перевоплощений, но осталась вещая память подсознательной жизни».

О своих предках он пишет в известном стихотворении, открывающем его первую книгу «Сети»:

Моряки старинных фамилий,
влюбленные в далекие горизонты…
франты тридцатых годов…
важные со звездами генералы…
…актеры без большого таланта…
играющие в России «Магомета»
и умирающие с невинным вольтерьянством…

В стихотворении этом, как ни странно, почти все правда.
О себе в детстве он вспоминает так:

> Я не любил игр мальчиков — ни солдат, ни путешествий. Я мечтал о каких-то мною выдуманных существах: о скелетиках, о смердюшках, тайном лесе, где живет царица Арфа и ее служанки однорукие струны…

Кузмина при жизни воспринимали по-разному.
Вот как вспомнит о нем Андрей Белый:

> С отчаянья я оказываюсь у Федора Сологуба; и вижу, что нарумяненный, чернобородый, плешивый мужчина в поддевке, на щеки наклеив огромную мушку и рожками вставших висков увенчав свою плешь, — здесь засел; он держал себя томной красавицей, перед которой маститый Иванов, встряхивая бело-льняною копною волос, лебезил: «Михаил Алексеевич, почитайте стихи».

А вот слова Александра Блока:

> Кузмин — писатель, единственный в своем роде. До него в России таких не бывало, и не знаю, будут ли…

«Как это ни странно, — напишет в своих мемуарах Георгий Чулков, — но старопечатный „Пролог“ и пристрастие к французскому XVIII веку, романы Достоевского и мемуары Казановы, любовь к простонародной России и вкус к румянам и мушкам, все это было в Кузмине чем-то внутренне оправданным и гармоничным».

И герои его произведений часто маги, кудесники, авантюристы, мистификаторы, мастера фантастических превращений — Жозеф Бальзамо, он же граф Калиостро, Симон-маг, доктор Мабузо…

После сказанного понятно, почему роман Апулея, колдуна из Мадавры, как назвал его в предисловии к изданию 1929 года Адриан Пиотровский, самая колдовская из книг, оставленная нам в наследство античностью, вдохновил Михаила Кузмина на долгий переводческий труд.

Замысел перевода «Золотого осла» возник у писателя задолго до революции; окончательный перевод был выполнен в 20-е годы, в 1929 году роман выпущен издательством «Academia» и за предвоенные годы выдержал четыре издания. После войны он

тоже издавался неоднократно, но даже сейчас, в наши щедрые на книжные открытия времена, роман читают и перечитывают, и не только в силу того, что это действительно самое занимательное произведение, дошедшее до нас из времен античности, — удивительный талант переводчика, вот что определило незатухающий интерес читателей к этой книге.

Как Гнедич — это русская «Илиада», Лозинский — «Божественная комедия», так и имя Михаила Кузмина устойчиво вызывает в памяти ассоциацию с Апулеевой книгой.

Удивительно — об этом еще никто не писал, — но начало «Золотого осла» по музыке совпадает с другой знаменитой книгой, оказавшей на русскую поэтическую культуру влияние не менее сильное, чем Гомеровы поэмы — на греческую. Я имею в виду «Слово о полку Игореве».

«Не лепо ли ны бяшет, братие, начяти старыми словесы трудных повестий о полку Игореве, Игоря Святославича?..» — это начало «Слова».

«К рассказу приступаю, чтобы сплести тебе на милетский манер разные басни, слух благосклонный твой усладить лепетом милым…» — так начинается «Золотой осел».

Троянова тропа мирового духа соединила русские степи и горные дороги Фессалии.

В советские времена Кузмин живет тихо и незаметно, к государству относится безразлично, в литературное начальство не лезет, такое складывается ощущение, что он намеренно стремится вычеркнуть себя из действительности, окончательно погрузиться в фантастический мир своих мыслей и своего творчества. Книги выходят редко: последняя — в 1929 году, «Форель разбивает лед». И после нее — молчание.

«Все заплатили… Гумилев — жизнью, Есенин — жизнью, Кузмин, Ахматова, я — пожизненным заключением в самих себе…» — напишет Марина Цветаева в 1936 году, подводя печальный итог Серебряному веку русской литературы.

Практически про Кузмина забыли. В справочниках и учебниках советского времени его имя упоминали мельком, называя поэта то символистом, хотя символизм Кузмин преодолел еще в раннем творчестве, то акмеистом, забывая, что по поводу акмеизма поэт высказывался в свое время определенно и резко, назвав его «выдуманной и насильственной школой, которая с самого начала лезла по швам, соединяя несоединимых Гумилева, Ахматову, Мандельштама, Зенкевича»; то писателя объявляли идеологом кларизма, вспомнив о его знаменитой статье 1910 года «О прекрасной ясности»; то — стилизатором, не создавшим ничего нового. Кем его только ни называли. «Поэзия

М. Кузмина — это камерная поэзия, мелкоте ее содержания вполне соответствует весь изобразительный строй», — так писали о нем в советских учебниках для педвузов в 60–70 годы.

На самом деле Кузмин ни тот, ни другой, ни третий. Эстетический эксперимент, который предпринял он в границах русского литературного языка, остается неповторенным. Он — вне школ и систем, ибо «школа всегда — итог… но никогда не предпосылка к творчеству». Он всегда был сам по себе и оставался самим собой до последней минуты жизни.

И умер он в той «прекрасной ясности», которую проповедовал в далекие десятые годы. Или не умер, а ушел в очередной раз под солнце своей африканской родины, слушает александрийские песни или сплетает на милетский манер басни для кочующих спутников, путешествуя по дорогам Фессалии в поисках фантастических встреч.

Купер Дж.

Два первых куперовских романа, прочитанные мною лет в десять, — это «Следопыт» в маленькой детгизовской «рамочке» и «Последний из могикан» в большой детгизовской «рамке». Ощущение от них живут во мне до сих пор. Конечно, я не садился тайком на поезд, чтобы с трехдневным запасом конфет и сушек ехать на берега Онтарио помогать Натаниэлю Бампо и Чингачгуку в их суровой, но справедливой борьбе. Зато я прекрасно помню, как в Карелии жил с отцом в деревне Сар-озеро, расположенной на маленьком полуострове в окружении трех озер. Полуостров пересекали протоки, мы медленно плыли на лодке по какой-нибудь из этих узких полос воды, и сверху над нашими головами нависали ветви деревьев. Мы плыли, и я представлял себя героем романов Купера.

Наверное, у многих, кто читал в детстве Купера, остались от него свои впечатления. Это чтение никого не оставляет равнодушным. Вот листаю «Воспоминания» Бенуа и нахожу страницы с описанием игр его детства. Как они с друзьями наряжались индейцами, а старую няню, помнившую пожар Москвы, сажали в «вигвам» и заставляли изображать мать или сестру Ункаса или Чингачгука.

«При этом, — пишет Бенуа, — мы владели и довольно обильным специальным словарем и тем особенным жаргоном, который так убедительно выражает и благородство делаваров, и гнусность гуронов, который вообще в „Зверобое“ и в „Следопыте“ создает самую атмосферу этих романов. Моментами наше наваждение доходило чуть ли не до галлюцинаций».

У меня до галлюцинаций не доходило. После Купера я засел за Дюма, сменив индейский томагавк на мушкетерские плащ и шпагу.

«Кюхля» Ю. Тынянова

Совсем недавно перечитывал «Кюхлю» Тынянова и в очередной раз убедился, насколько богата и точна на слово проза этого замечательного писателя. Но сейчас я хочу поговорить не о достоинствах тыняновской прозы, а о кавказской главе романа, описывающей пребывание Кюхельбекера в Тифлисе, куда он был «официально зачислен на службу при канцелярии наместника кавказского» генерала Алексея Петровича Ермолова. Собственно говоря, о генерале Ермолове и его кавказской политике будет речь.

Первая цитата из «Кюхли»:

> Было еще рано к Ермолову. Они погуляли. Чем дальше от крепости, тем все тише становилось. Кривые узкие улицы пересекали друг друга в полном беспорядке. Вонь от нечистот и отбросов стояла в воздухе. Стали попадаться пустые дома.
>
> — Ну, дальше идти не стоит, дальше пустыри, — сказал Грибоедов.
>
> — Отчего же это? — слегка оробел Вильгельм.
>
> — Боятся набегов: выселились поближе к крепости, она их по крайности выстрелами прикрывает. Тут чечня раз ворвалась. Резня была страшная. Теперь тише: Ермолов запугал. Собирает здешних или кабардинских князей ‹…› и пугает палками, виселицами, пожарами, казнями.
>
> — Словами зверства усмиряет, — сказал Вильгельм с удовольствием.
>
> — Ну, — улыбнулся криво Грибоедов: неприятная черта легла вокруг его рта, — не только словами, но и вправду вешает и жжет. Здесь на прошлой неделе громкое дело было. Князь Койхосро-Гуриел полковника Пузыревского убил. Старик написал указ: не оставить камня на камне. И не оставили. И всех в селении вырезали.

Вторая цитата:

> Вильгельм обратил внимание на кучу полуголых мальчиков лет двенадцати-пятнадцати. Одни играли, гонялись друг за другом с гортанным воплем. Другие понуро сидели и степенно о чем-то разговаривали.

— Кто это? — спросил Вильгельм.

— Это аманаты, заложники. У нас здесь так водится, — отбирать аманатами детей, все дети лучших фамилий.

— Детей аманатами?

— Война, — усмехнулся невесело Грибоедов. — Старик раз захватил чеченцев, — лучших пленниц выдал за имеретин, а прочих продал в горы по рублю за штуку.

Третья цитата, последняя:

Он взглянул в окно. На дворе стоял визг: двое аманатов передрались.

Вильгельм решился.

— Алексей Петрович, — сказал он тихо, — а где родители этих детей?

— Вы насчет аманатов? Друг мой, это дело не столько военное, сколько экономическое. Аманаты взрослые стоили прежде ужасно дорого; иной получал три рубля серебром в день. Я и начал брать ребятишек. Они у меня играют в бабки, а родители наезжают наведываться. Я их пряниками кормлю, и те, право, предовольны, и еще просеки мне заодно расчищают.

Понятно, и Кюхельбекер, и Грибоедов противники и войны, и рабства, если война, конечно, не освободительная. Ермолов же представляет в романе полюс противоположный. Он умница, брат солдату, острослов, человек, умеющий понять, простить, отвести беду от того же опального Кюхельбекера. Но он же способен, как маршал Жуков, как Наполеон Бонапарт, как любой серьезный военачальник, за победу положить жизнь и свою, и своих солдат, про врагов не стоит и говорить. И взять в заложники детей, и расстрелять в присутствии Кучука Джанхотова, самого богатого от Чечни до Абахезов человека, его сына Джамбота, и мечтать о военном господстве над Персией, Турцией, всем Востоком, включая Индию, а не о какой-то там мелкой Элладе-Греции («Греки торгуют губками»).

Я не знаю, на чьей стороне правда — на стороне империи или на стороне человека по фамилии Кюхельбекер, Грибоедов, я, он, ты, она. Империя ведь тоже состоит из людей — из того же Кюхельбекера, Грибоедова, меня, его, ее, тебя, нас. Это трудный вопрос. Наверное, решить его невозможно.

Л

«Легенда об Уленшпигеле» Ш. де Костера

Роясь в одной из множества пыльных папок, хранящихся на небесах антресолей, я наткнулся на старое интервью с моим любимым писателем-матерщинником Юзом Алешковским. Там он рассказывает про книги детства, перевернувшие его жизнь. Их две: «Три мушкетера» и «Тиль Уленшпигель».

Если в «Трех мушкетерах» было все, что потом писателя «интересовало всю жизнь, — любовь, дружба, предательство, коварство, юмор, вдохновение, пьянь, жрачка и прочие прекрасные и отвратительные дела жизни», то в «Тиле» юного Алешковского потрясло «художественное выражение многих истин трагического бытия и жизни на земле».

Писатель пишет:

> Это и сейчас для меня великое сочинение, которое я не могу даже часто перечитывать. Душа моя порою уже не в силах выдержать трагической мощи некоторых литературных сюжетов, хотя к самой жизни относится, как кажется моему рассудку, все с большим доверием и благодарностью. «Тиль» — это истина, ее не каждую минуту можно переносить, переживать. Но история Нелли и Тиля для меня никак не была связана исключительно с темой любви. Тогда я так не мог выразиться, но всей душой ощущал, что речь идет о метафизической близости. «Тиль» и «Три мушкетера» до сих пор занимают особое место в моей душе.

Хорошо, когда то, что ты собирался сказать о книге, уже сказано другим человеком. Тем более таким талантом и умницей, как Юз Алешковский.

Ленин в поэзии

Ленин в поэзии — явление удивительное и прекрасное. Не менее прекрасное, чем осенние строфы Пушкина, тютчевские мысли в стихах и эротические вирши Баркова. О Ленине сочиняли все. Но если в живописи любое изображение вождя подвергалось строгой цензуре (пример тому изъятые довоенные книги Зощенко с картинками Николая Радлова, где Ленин изображен убитым), то в письменном (точнее — эпистолярном) виде попробуйте кому запретить высказаться о народном заступнике. Поэтому и сочиняли и стар:

Однажды Ленин, быв ребенком,
В реке купаясь, раз тонул.
Один рабочий идя мимо
С моста немедленно спрыгнУл…

И млад:

Жил-был дядя Ленин,
Он был наш вождем,
Ставил контру на колени
И не мок он под дождем…

Конечно же, такие стихи не попали ни в одну антологию, а напрасно.

Попадали же в антологии вещи классические, по-настоящему нужные и нам, и нашим детям, и, может быть, нашим внукам. Это «Ленин и печник» А. Твардовского, «В музее Ленина» С. Михалкова, ленинские поэмы Маяковского и, естественно, Борис Пастернак с его классическим «Он весь, как выпад на рапире…»

В 60-е годы к ним могли добавиться Андрей Вознесенский («Уберите Ленина с денег» и «Лонжюмо»), поэма Е. Евтушенко «Казанский университет».

То есть что я хочу сказать: Ленин в поэзии явление удивительное и прекрасное. В ней он много лучше, чем в жизни. И это тоже удивительно и прекрасно.

Ленинградский трамвай

1.

Городскому трамваю в Питере поначалу не повезло. Когда его построили, испытали и проложили на бумаге маршруты, петербургская гужевая мафия вмиг почувствовала в младенце врага. Еще бы — техническая новинка лишала ее монополии на извоз, то есть лишала прибылей. И гужевики через суд отвоевали себе пространство города, за исключением его водных артерий. Зачем им была вода — лошади по воде не возят.

Но трамвайщики рассудили мудро — раз суша для трамвая заказана, значит, пустим трамвай по льду. Благо, в те былинные времена лед держался на Неве долго — с декабря и почти по май. Трамвай быстро приобрел популярность и стал любимым средством транспорта петербуржцев. Сникли скоро и хапуги-гужевики, и вот уже вагончики на колесах забегали по городским улицам.

2.

С трамваем в городе на Неве связаны несколько трагических случаев, довольно в свое время известных и отраженных как в прессе, так и в песенном городском фольклоре.

Главный случай — трагедия 1930 года на Московском (тогда Международном) проспекте.

Вот что писали об этой трагедии в тогдашних газетах:

> 1 декабря в 7 час. 58 мин. утра на Международном проспекте, на переезде Октябрьской железной дороги, у бычьего поста, произошла трамвайная катастрофа. Маневровый железнодорожный поезд врезался в моторный вагон № 8, опрокинул и подмял его под себя. Катастрофа повлекла за собой гибель 28 человек, находящихся в трамвае, тяжелое ранение 8 человек и легкое 11 человек, преимущественно рабочих заводов «Электросила» и «Скороход», завода им. Егорова.

В народной памяти это событие сохранено в песне. Вот она (текст привожу полностью по роману К. Вагинова «Гарпагониада»):

На одной из рабочих окраин,
В трех шагах от Московских ворот,
Там шлагбаум стоит, словно Каин,
Там, где ветка имеет проход.

Как-то утром к заставским заводам
На призывные звуки гудков
Шла восьмерка, набита народом,
Часть народа висела с боков.

Толкотня, визг и смех по вагонам,
Разговор меж собою вели —
И у всех были бодрые лица,
Не предвидели близкой беды.

К злополучному месту подъехав,
Тут вожатый вагон тормозил,
В это время с вокзала по ветке
К тому месту состав подходил.

Воздух криками вдруг огласился,
Треск вагона и звуки стекла.
И трамвайный вагон очутился
Под товарным составом слона.

Тут картина была так ужасна,
Там спасенья никто не искал.
До чего это было всем ясно —
Раз вагон под вагоном лежал.

Московский проспект вообще имеет свойство концентрировать трагические события. Вот какой случай — слава богу без жертв, зато со стрельбой — произошел здесь же, за несколько лет до этого. О нем читаем в вечернем выпуске «Красной газеты» от 13 декабря 1924 года (цитирую по книге «Происшествия Часть 3-я». СПб.: Красный матрос, 2006):

> 11 отд. милиции были получены сведения, что по Московскому шоссе должен проследовать автомобиль с полученным из Эстонии спиртом. Нач отд. т. Скитовичем была выставлена у Путиловской ветки застава милиционеров, которой и был задержан мотор с 18 бидонами спирта по 20 ф. каждый.
>
> Когда милиционеры осматривали задержанный

автомобиль, невдалеке показался шедший полным ходом другой. Последний, в ответ на предложение остановиться, этого не исполнил, а, погасив огни, продолжал нестись мимо заставы полным ходом. Не остановился он, когда заставой была открыта по ним и стрельба. Тогда двое из милиционеров пустились за ним в погоню на пущенном полным ходом трамвае, все время продолжая стрелять ему вдогонку. Задержать мотор все-таки не удалось. Завернув по Смоленской улице, он скрылся.

3.

Трагических историй, связанных с городским трамвайным движением, много больше, чем эти две.

И про «трамвай 10-й номер», где «на площадке кто-то помер», а в действительности стал жертвой хулиганов-чубаровцев с Лиговского проспекта. («Десятка», начиная с 30-х годов, ходила в Ленинграде со Ржевки, переезжала Охтенский мост, далее, минуя Смольный, по 2-й Советской пересекала Пески, выезжала на Лиговку и маршрут свой завершала возле Волкова кладбища. Лиговка во все времена в Питере слыла районом самым преступным, поэтому немудрено, что именно 10-й маршрут стал героем «черной» детской считалки.)

И про исчезнувший трамвай 14-го маршрута, следы которого не найдены до сих пор. И так далее и тому подобное.

Но не одними страхами живет питерская трамвайная тема. Трамвай у петербургских поэтов — это символ дома, тепла («Бестолковое последнее трамвайное тепло» у Мандельштама. И у него же: «Я — трамвайная вишенка странной поры»), в отличие, например, от автомобиля («Злой мотор во мгле промчится и кукушкой прокричит»).

Трамвай — это символ судьбы: «Заблудившийся трамвай» Гумилева (здесь можно выстроить длинный колесный ряд, не только трамвайный, куда войдут и пушкинская «Телега жизни», и «Зачарованные дрожки» Галчинского, и «Фаэтонщик» Мандельштама, и много чего другого).

Вот какая чудесная метаморфоза произошла с гадким утенком, которого гнали, гнали, а в результате он сделался победителем.

Лень

В военмехе, где я учился на инженера-ракетостроителя в далекие 70-е годы, «черные» (из-за черной формы, которую носили офицеры Военно-морского флота) капитаны с военной кафедры нас учили, что самый верный двигатель прогресса это Ее Величество Лень. Действительно, только последний лентяй и лодырь мог додуматься изобрести такое оружие, которое не нужно тащить на своем хребте до вражеского объекта, да еще под градом пуль или стрел противника, а потом стремительно уносить ноги, чтобы тебя не зацепило осколками. А ведь именно из этих соображений был изобретен ракетный снаряд.

Кстати, тот же самый изобретатель был не только лентяй, но к тому же трус. Он боялся нос высунуть из убежища, чтобы не оказаться на поле боя, а лишь тыкал в свои пусковые кнопочки да наблюдал в оптические приборы за результатами своей сомнительной деятельности.

Точно так же, из-за матушки-лени, были сделаны все главные изобретения человечества — машина, телефон, телевизор, кино, компьютер…

По сути вся философия изобретений содержится в одной-единственной русской народной сказке про дурака Емелю. Ведь и вправду, чем не мечта любого изобретателя — создать такое универсальное средство, которое и греет, и кормит, и везет куда хозяин прикажет.

Поэтому — да здравствует Лень, не было бы которой, так и сидело бы до сих пор замершее в развитии человечество в какой-нибудь вонючей пещере, выковыривало из дуплистых зубов остатки позавчерашней пищи и ежилось бы от страха, услышав, как по низкому небу пролетает марсианский корабль.

Леонтьев К.

Открываем собрание писем Константина Леонтьева (К. Леонтьев. Избранные письма. СПб: Пушкинский фонд, 1993) и в письме под № 19 от 19 апреля 1867 года читаем:

> Сегодня в предместии Кынк танцевал под турецкую музыку с гречанками, несмотря на фанатизм кынкских мусульман. А сейчас еду к m-me Блонт (как хочется поставить здесь многозначительное многоточие и оборвать цитату. — *А.Е.*) читать громко Милля. Завтра доканчиваю почту и танцую еще в другом предместье с недурными девицами (руки у них только толсты и грубы); а на днях у меня собрание болгар для совещания об отпоре пропаганде…

Совершенно замечательное письмо, особенно место про «читать громко», толстые и грубые руки и про отпор пропаганде. Завершается же письмо следующей классической фразой: «Все бы это и службу самую отдал бы за возможность писать».

В молодые годы Леонтьев развивал в себе талант беллетриста и делал большие ставки на свою литературную будущность. Не надеясь на справедливую оценку своих сочинений в кругу соотечественников, он отсылает свои работы (романы «В своем краю» и «Исповедь мужа» в собственном переводе на французский) Проспер у Мериме, сопровождая их пояснительными письмами.

Мериме в ответных письмах тактично отмечает недостатки присланных Леонтьевым сочинений, возвращая их автору, в письме же Тургеневу сообщает следующее:

> …Некий г-н Леонтьев, приславший мне роман «В своем краю», а также «Исповедь мужа» (все это пришло из Адрианополя). Герой последнего — некий господин, который живет в Крыму, женат и украшен рогами. Он весьма огорчен, когда его жена бежит с любовником. Мне это непонятно. Я вполне откровенно ответил ему, что не симпатизирую рогоносцам, даже добровольным.

И в другом письме тому же Тургеневу:

> Г-н Леонтьев, о котором, кажется, я вам писал, пишет мне из Адрианополя и благодарит за критику, хотя и не принимает ее, ибо говорит, что «будущее за

ним».

В плане литературном, на фоне таких монументальных фигур, как Достоевский, Толстой, да хотя бы тот же Тургенев, проза Леонтьева, несмотря на множественные ее достоинства, все же не дотягивала до классики.

Зато в плане философском и политическом Константин Леонтьев действительно представляется, особенно с высоты дня сегодняшнего, человеком, который, может быть, единственный верным взглядом озирал Россию, видел все ее светотени, противоречия и практически знал «что делать», в отличие от стоголосого хора либерально-демократических словоблудов, ввергших в результате страну в братоубийственную красно-белую мясорубку.

Лермонтов М.

1.

Первый русский поэт — это Пушкин, второй — Лермонтов. Так постановили партия и правительство во время празднования столетия со дня пушкинской смерти в 1937 году. Третьим поэтом почему-то не назначили никого, хотя за звание третьего бились многие из тогда творивших: и Щипачев, и Скокорев, и Домушников, и молодой Сергей Михалков. Не догадывались они в то время, что высокое звание великого присуждается только тем поэтам, кто трагически распрощался с жизнью. Как у Высоцкого в песне: «Кто кончил жизнь трагически» и т. д. А если бы и догадывались, то вряд ли отдали свою драгоценную жизнь в обмен на нерукотворный памятник.

Мне обидно, что к имени «Петербург» пристало единственное определение «Пушкинский». Ведь и Лермонтов как-никак ходил по нашим благословенным плитам и вдыхал чахоточный аромат золотой петербургской осени. Только вот почему-то — «Пушкинский».

На бывшей Благовещенской площади — ныне она площадь Труда — угловой дом с Галерной улицей принадлежал во времена Лермонтова некоему господину Вонлярлятскому. Кто он был и чем занимался, история об этом умалчивает, вспоминают о нем единственно в связи с происшествием, имевшем место быть во времена оные на Кавказе. Упомянутый господин Вонлярлятский представился Лермонтову, и то ли поэт не расслышал, то ли не совсем понял, но зачем-то переспросил: «Простите, Вонляр… какой?»

Этот редкий исторический анекдот я рассказываю исключительно справедливости ради. А то все «пушкинские места», да «пушкинские». Надо что-то и о лермонтовских местах людям знать.

Кстати, при советской власти Лермонтов считался таким же диссидентским поэтом, как, к примеру, Иосиф Бродский. Одного моего знакомого забрали прямо в ленинградском трамвае 14-го маршрута за то, что он спьяну прочитал вслух пассажирам знаменитое лермонтовское:

Печально я гляжу на наше поколение,
Его грядущее иль пусто, иль темно…

И хрен он смог доказать товарищам из Большого дома, что стихи написаны не в XX веке.

2.

Михаил Юрьевич Лермонтов во всех смыслах был человек неудобный. Как для государства, так и для общества. Везде, где бы он ни появлялся, он умел наживать врагов. Отсутствие общественной мимикрии — свойство опасное во все времена, а в Николаевской России особенно. Трудно установить точно, убил ли Лермонтова царизм марионеточными руками Мартынова, или Лермонтов сам подставился под пулю туповатого отставного майора. Скорее всего, второе. Но при косвенном участии первого. Общество одобрило смерть поэта. Даже до знаменитой фразы, приписываемой Николаю Первому: «Собаке собачья смерть!», большинство тогдашнего общества высказывалось об убитом крайне негативно.

«От него в Пятигорске никому прохода не было Поэт, поэт! Эка штука! Всяк себя поэтом назовет, чтобы другим неприятность наносить…» — вспоминал о Лермонтове пятигорский священник о. Василий, отказавшийся отпевать поэта и даже написавший донос на другого батюшку, согласившегося его отпеть.

По записям П. А. Висковатого, Лермонтова в Пятигорске иначе как «ядовитой гадиной» не называли. А небольшой кружок остроумцев, собиравшихся вокруг поэта, называли «лермонтовской бандой». Складывается ощущение, что поэт сознательно лез на рожон. Что-то в этом есть от русской рулетки — испытывать терпение общества до последнего. В этом смысле Лермонтов прямая противоположность Пушкина. Тот тянулся к людям, хотел единения с миром, свои колкости и поэтические удары компенсировал раскаянием, пусть и поздним. Помирился с государем, завел дом, семью. У Лермонтова — сплошной разрыв. Печоринское неприятие мира. Желание заглянуть в бездну. Смерть. И — поздняя посмертная слава.

Не плачьте… я родной стране
И жизнь, и счастие принес…
Не требует свобода слез!

Лесков Н.

Лесков — явление в литературе мало сказать, что редкое, — уникальное. Как Пушкин в свое время создал особое, «пушкинское», направление в отечественной словесности, так и Лесков более чем полвека спустя дал нашей литературе свое, «лесковское», направление. В чем же они сходятся и чем различаются эти два направления? Пушкин сделал литературу народной, это вроде понятно всем. Он лишил ее карамзинской пафосности и его же излишней слезоточивости, избавил стихи и прозу от велеречивых оборотов Жуковского, ввел в дело простонародные словечки и выражения. И прочее, и тому подобное. То есть, сознательно избавившись от всего, по его разумению, лишнего, Пушкин дал в своем творчестве образцы кристально ясного слога и умышленной простоты выражения глубоких мыслей. Графически Пушкин — это прямая линия провода высокого напряжения, стрелой летящая над землей.

Лесков графически — это ломаная линия верхушек деревьев стоящего за рекой леса. Он сознательно, как Пушкин изымал лишнее, прививал это лишнее к своему литературному стилю. Избыточная образность. Избыточная фантастичность деталей — вспомним, хотя бы, коллективное хождение по веревке, протянутой над рекой, в «Запечатленном ангеле» или того же хрестоматийного «Левшу». Даже ненависть и издевка — и те у него избыточные, какими мы видим их в «Соборянах», в «На ножах», в (слабом) романе «Некуда».

Пушкин и Лесков нисколько не противоречат друг другу. В литературе они дополняют один другого, создают радугу, свет которой делает мир богаче. А еще и тот и другой знали толк в шутке и умели в своих книжках шутить — тонко, грубо, по всякому.

Вот сценка из рассказа Лескова про первую киевскую газету, которую цензор хотел запретить «за невозможные опечатки». В газете было опубликовано буквально следующее: «Киевляне преимущественно все онанисты».

От цензуры спас газету хитроумный издатель, поместив в ней следующую поправку: «Вчера у нас напечатано: киевляне преимущественно все онанисты, — читай оптимисты».

Цензора такая поправка вполне устроила.

Литературная критика

Литературная критика — это такое мелкое, вроде комара, насекомое, которое пищит и пищит над ухом, раздражая надоедливым звуком, и пытается дотянуться до великана (человек для комара — великан) своим тонким, микроскопическим клювом и насосаться крови. Юля, моя старшая дочь, рассказывала, как они с подругами в детстве специально давали комару насосаться крови и потом смотрели, как он отваливается и падает на песок, чтобы переварить выпитое. Собственно говоря, основной повод существования литературных критиков — потребление писательской крови. И писателю лучше вовсе не обращать внимания на издевательский звон, воткнуть в розетку какой-нибудь фумигатор (так, кажется, называют устройство для вызывания комариной паники) и не видеть, не слышать, не знать о комариных атаках, заботясь о здоровье собственных нервов.

Бороться с критиками себе дороже и, если честно, — стыдно. Ведь борьба, когда эта борьба настоящая, предполагает противника, превосходящего вас по силе. Иначе зачем бороться? Чтобы показать слабому, что ты сильнее его? Но это уже жлобство и хамство, а не борьба.

Даже в анекдотичном случае борьбы с ветряными мельницами подразумевается, что мельница — это сила. Это своего рода луддизм, сознательная война с машинами, когда знаешь (или предчувствуешь), что победа будет за ними, но упорно, как заведенный, крушишь тем, что под руку подвернется, бездушную железную плоть.

Или вспомним Алкивиада, отбивающего каменным молотком фаллосы у растиражированных Приапов. Вот достойный пример борца. Не с кем-нибудь, а с самими богами. Или с Богом — как атеист Байрон. Или с тоталитарной махиной государственной власти, как Солженицын. Или, как Шафаревич, — с евреями, всеми сразу. Или со средним классом, как олицетворением пошлости, тупости, примиренчества и повальной умственной ограниченности (Эдуард Лимонов).

А что литературные критики? Моль, подвальные комары. Пусть себе живут и звенят, тоже ведь божьи твари.

Ломоносов М.

Лучший гравированный на стали портрет Ломоносова изготовил для марксовского издания стихотворных сочинений ученого художник Дейнингер. И повезло этому портрету больше, нежели печально известному рельефному изображению работы скульптора-монументалиста Чудновского — тому самому мраморному рельефу, который в свое время установили на станции метро «Ломоносовская» и ровно через три месяца сняли по требованию ленинградских ученых (см. в сб. С. Довлатова «Чемодан»).

К сожалению, в наше время Ломоносова знают до обидного мало, в основном по пародии на него в «Евгении Онегине» Пушкина («Но вот багряною рукою…» и проч.) да по цитируемым к месту и не к месту собственным Платонам с Невтонами. Видно, ода нынче не в моде, да и читатель современный ленив.

«Есть имена, вечно юнеющие», — написал в очерке о Ломоносове его земляк, живший на два столетия позже, писатель Борис Шергин, имея в виду под «юнеющими» творческое юношеское начало, оживляющее любое дело, за которое человек берется. Ломоносов был именно из таких людей. Все, что им сделано и написано — а сделано и написано этим удивительным человеком столько, что не под силу никаким нынешним Союзам писателей вместе взятым, — составляет славу отечественной словесности и культуры. Он практически создал заново русский литературный язык, осуществил реформу в стихосложении. Пушкин называл Ломоносова единственным титаном русской литературы XVIII столетия. А мнение Пушкина что-то да значит.

Лонгинов М.

Михаил Пантелеевич Лепехин, старый мой знакомый, который сейчас работает научным сотрудником в БАНе (Библиотека Академии наук), мне рассказывал, что в Пушкинском доме в фонде Михаила Николаевича Лонгинова хранится специальный запертый на ключ ящичек с собранием стихотворных порнографических сочинений, писанных рукой Лонгинова и, вероятно, им же и сочиненных. На ящичке имеется ярлычок с надписью: «Еблеоматика». И якобы весь Барков, и то, что приписывается Баркову, сочинено Лонгиновым. Может, так, а может, не так, все-таки Михаил Николаевич был человек государственный, главный российский цензор, и, следовательно, по велению службы обязан был относиться к таким вещам непримиримо и по-цензорски строго. Во всяком случае, ключик от ящичка со стихами не должен был держать в общей связке.

Хотя… Именно во времена цензорства М. Н. Лонгинова случился конфуз, который мог вполне привести к краху его карьеры. Дело в том, что писанием неприличного содержания поэтических штучек Лонгинов действительно грешил в молодости. И в ряде библиографических справочников сообщается, что сборник таких стихов с именем Лонгинова на обложке и специфическим названием «Не для дам» был издан за границей, в Карлсруэ, в 1861 году. И с названием сборника, и с указанием места издания, по-видимому, случилась накладка, и произошла она из-за буквального прочтения следующего опуса молодого Лонгинова:

Пишу стихи я не для дам,
Все больше о п… и х…
Я их в цензуру не отдам,
А напечатаю в Карлсруе.

Увы, в природе этот сборник пока что не обнаружен. Ни в одной библиотеке, ни в одном частном собрании такой книги нет. Правда, уже в наше время в агентурных данных третьего отделения найдено сообщение о том, что книга «похабного содержания с „Похождениями дяди Пахома“ была издана в Лейпциге не позднее 1872 г., тиражом 2 тысячи экземпляров». Существует мнение, что к изданию компрометирующих главного российского цензора сочинений руку приложили русские революционные эмигранты. Так, например, Тургенев в письме к

Анненкову в начале 1873 года писал, что с Лонгиновым можно «сыграть злую шутку: взять да напечатать его стихотворения за границей, включив в сборник „Попа Пихатия“». Также в одном из писем к П. Лаврову, которого Лонгинов называл «коноводом русской эмиграции», есть упоминание о такой книге. Бытует мнение, будто сам Лонгинов пытался скупить тираж этого сборника, чтобы затем его уничтожить.

Действительно, будучи главным российским начальником по делам печати, Лонгинов, когда-то либерал и друг либералов, защитник невинно оклеветанного при императрице Екатерине и заключенного в крепость просветителя Новикова, собиратель запрещенных изданий и человек, публично обвинявший царя, ввел в ведомстве, которым руководил, высшую меру наказания для неугодных изданий — сожжение запрещенных цензурой книг.

Лично я предполагаю, что тут проявился его инстинкт собирателя — ибо себе-то он оставлял экземпляры наверняка, а чувствовать себя единственным обладателем книги — это ли не высшая радость коллекционера.

Ляпляндия

Ляпляндия — это такая страна, вроде Финляндии. Только в ней живут не финны, а ляпы. Ляпы, в отличие от финнов, не люди, хотя рождаются они в основном от людей. Правда, без помощи детородных органов. Ляпы — это слова; форма единственного числа — ляп. Ляп — слово русское. Производные от него — ляпать, наляпать, вляпаться. Есть и другие, но этих трех нам будет вполне достаточно.

Сразу же приходит на ум монументальная фигура поэта Ляписа-Трубецкого из романа «Двенадцать стульев», автора знаменитой «Гаврилиады» (не путать с пушкинской). Но первая составляющая его имени хотя и созвучна с упомянутым выше корнем «ляп», но в действительности происходит от латинского слова «ляпис», что значит азотнокислое серебро, употребляемое в медицине при прижиганиях. Хотя вполне может быть, что латинское слово «ляпис» берет начало от русского слова «ляп», ведь отечественной наукой доказано, что древние римляне, а до них — древние греки, не кто иные как наши древнерусские предки. Ахилл, к примеру, это родственник Ильи Муромца, потому что к «хил» — однокоренное «хилый», а «а» — международная отрицательная приставка, так что вместе они означают, наоборот, — силу.

Ляпы бывают разные, некоторые умирают, едва родившись, и жизнь их коротка и блистательна, как падающая звезда. Убивают такие звезды обычно злодеи-редакторы. Хотя, руку на сердце положа (я ведь тоже принадлежу к их племени), сердце часто обливается кровью, когда решаешься на эту жестокую операцию. Сами посудите, как непросто приговаривать к смерти такую, например, фразу:

> Он поднял обернутый металлом конец своего артефакта.

Или такую:

> У тебя наверняка имеются дела более сложные, каковые в умелых руках твоего помощника перестанут быть таковыми.

А подобных фраз, особенно в переводах, встречается великое множество. Вот небольшая выборка из огромнейшей коллекции ляпов, имеющихся в моем архиве:

Он решил проблему, толкнув ее вперед.

Ноги замелькали то спереди, то сзади, почти сливаясь зрительно в одно целое.

Он впорхнул прямо в воду.

Крепкие мужчины вышли из транса, коллективно щелкнув челюстями.

Вскрикнув по-лошадиному, караульные бросились бежать.

Одна нога у него была на каком-то отрезке жизни сломана.

Волосы на голове юноши зашевелились дыбом.

Глаза, обрамленные лицом.

Некоторые из которых.

К стене было прислонуто колесо.

Помните знаменитую фразу Ляписа-Трубецкого про домкрат? «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом»? Так вот, таких «домкратов» у нынешних переводчиков целые портовые склады:

Тетивой ему служили натянутые на колки козьи жилы.

Механизм тетивы из жилы козьей ноги.

И так далее.

Представляете, какие муки приходится пережить редактору, продираясь через эти непроходимые дебри?

Сразу вспоминается герой повести Вячеслава Рыбакова «Трудно стать Богом», подрабатывающий переделкой подстрочников. Помните его сражение с таинственной фразой из подстрочного перевода с корейского: «Трава, колышущаяся по ветру за пригорком, одна трава — это трава целиком, а трава целиком — это одна трава»?

Ну а уж всевозможные «краснокрышие городки», «круглодневные вымокания», «толстоствольные сосны», «эбонитовокожие кавалеристы» и прочая «свежезаваренная

вермишель» — этого добра в переводах хоть пруд пруди.

Понятно, что виновато время. Оно у нас всегда виновато. Еще в 1929 году О. Э. Мандельштам писал по поводу переводов:

> В издательство… хлынула целая масса псевдопереводчиков, никому не ведомых безграмотных дилетантов, готовых на все условия…

И еще:

> Полуголодный, пришибленный переводчик полуграмотно перевирает подлинник, а потом «редактор» корпит над его стряпней и приводит ее в мало-мальски человеческий вид, уж, конечно, не заглядывая в подлинник, в лучшем случае сообразуясь с грамматикой и здравым смыслом. Я утверждаю, что так у нас выходят сотни книг, почти все; это называется… «переводом с английского» под редакцией «такого-то». Впрочем, имя редактора чаще всего опускается.

Я уверен, что под этими словами подпишется любой редактор, работающий с заказными переводами. Ведь до сих пор (цитирую того же О. Мандельштама) «литературная продукция рассматривается как собачье мясо, из которого все равно выйдет колбаса».

Самое интересное, это, конечно, ляпы, выстоявшие под ударами «толстоствольной» редакторской артиллерии и проникшие на страницы печатных изданий.

Несколько лет назад один московский журнал напечатал рассказ Роберта Хайнлайна «Год, когда был сорван банк» в переводе В. Ковалевского. Вот фраза из этого перевода:

> Мужской член этой парочки носил женскую плиссированную юбку.

Сексуально, не правда ли?

Замечательные примеры, взятые из различных изданий, приводит Лидия Чуковская в своей книге «В лаборатории редактора» (М.: Искусство, 1963). Вот образчики из ее коллекции: «Мать-Родина — модель статуи главного монумента памятника в ознаменование…» и т. д. (журнал «Юность»). «Об уничтожении мух в местах их расплаживания» (печатный ярлык на папке). «Вы не допустили меня к себе, как наша полупустыня вчера не допустила воду» (Ф. Панферов).

Сравните, пожалуйста, следующие отрывки:

В силу того, что все дошедшие до нас письма относятся к одной относительно небольшой части этого периода — в этом отношении переписка не вполне заполняет образовавшийся пробел.

Показ Пушкиным поимки рыбаком золотой рыбки, обещавшей при условии ее отпуска в море значительный откуп, не использованный вначале стариком, имеет важное значение. Не менее важна и реакция старухи на сообщение ей старика о неиспользовании им откупа рыбки, употребление старухой ряда вульгаризмов, направленных в адрес старика и понудивших его к повторной встрече с рыбкой, посвященной вопросу о старом корыте.

Во второй картине пьесы — выражение маленькой королевой желания получить подснежники в январе. В третьей картине — отправление мачехой и ее дочкой падчерицы ради богатой награды в зимнюю ночь в лес.

Сравнили? А теперь скажите, какой из приведенных отрывков написан профессионалом-литературоведом, а какой — пародия З. Паперного на литературоведческие статьи?

Много примеров печатных ляпов приведено в книге Олега Рисса «У слова стоя на часах» (М.: Книга, 1989).

«Люди наши живут все лучше, и, естественно, спрос на минеральную воду растет» — однажды было напечатано в «Правде».

Или такая фраза, взятая из другой газеты: «Ток по проводам медленно пополз в город».

А вот хрестоматийный пример из стихотворения Надсона «Мечта королевы». Героиня обращается к прекрасному пажу со словами: «О ты знаешь, с каким бы блаженством всех их я тебе одному предпочла». Вместо «всем им» и «тебя», как требуется по смыслу.

А в рассказе Тургенева «Смерть» в лесу одновременно цветут фиалки и ландыши, поспевает земляника и появляются грузди.

И Федор Михайлович Достоевский не без греха. В «Подростке», во второй части, имя героини Дарья Онисимовна, а в третьей части она уже Настасья Егоровна. А в рассказе «Слабое сердце» Вася, обращаясь к Аркаше, называет Аркашу Васей.

Особую радость для собирателя представляют типографские опечатки. Карел Чапек в свое время заметил, что «опечатки бывают полезны тем, что веселят читателя».

В качестве примера номер один приведу прогремевшую на

весь мир историю, когда в некой ленинградской газете под фотографией, изображающей жертвы американских агрессоров во Вьетнаме, по ошибке поместили такую подпись: «Хорошо поработали парни с „Электросилы“!»

Этот случай сильно смахивает на политический анекдот, хотя многие головой клянутся, что видели фотографию с этой подписью своими глазами. Лично я в подобную опечатку верю. Рассказывает же Олег Рисс в своей книге о том, как сняли и отправили в штрафной батальон заведующего редакцией «Звезды» за опечатку в статье В. Вишневского, посвященной прорыву ленинградской блокады. В журнале было напечатано: «Удар, нанесенный немцами под Ленинградом» (вместо «немцам»). Или взять его же рассказ про то, как в газете «Лесная правда» в номере, посвященном выборам в Верховный Совет, на первой полосе в статье секретаря парткома вместо слов «славная когорта» напечатали «славная каторга».

Про опечатки можно рассказывать очень долго. История литературы знает множество случаев замечательных типографских ляпов. В «Колоколе» Герцена и Огарева, печатавшемся в лондонской типографии, вместо «и передал ему Бог свой дух» было напечатано: «и дал ему Бог свой пердух» (сразу вспоминается знаменитая фраза «отца перестройки» М. Горбачева, сказанная им на спектакле Марка Захарова: «Пир духа!»). А в первом издании сочинений Шекспира 1623 года исследователи насчитали почти двадцать тысяч типографских ошибок, отчего до сих пор подлинный текст великого драматурга вызывает массу загадок.

Все это дела прошлые, а вот опечатки, обнаруженные мною лично за последние годы.

В книге братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу. Сказка о тройке» (СПб.: Terra Fantastica, 1993) напечатано «расстрел на Сенной площади» вместо Сенатской.

В книге Хорни, вышедшей в изд-ве «Лань», на обложке напечатано «Ваши внутренние конфликты», а на титуле — «Наши внутренние конфликты».

В книге мемуаров Андрея Вознесенского «На виртуальном ветру» (М.: Вагриус, 1998) написано (стр. 415, вверху), что отец Набокова «погиб от пули, заслонив собой своего кумира Мимокова». Таким образом лидер кадетской партии Павел Николаевич Милюков превратился в загадочную фигуру, имени которой не найдешь ни в одном словаре.

По поводу имен — разговор особый. В случае с Милюковым — явная опечатка, почему-то не замеченная корректором. Другое дело — переводы иностранных имен на русский. Здесь огромное

поле для экспериментов. Сразу вспоминаю выпущенную не очень давно в Ленинграде книгу, где вместе собраны «Остров сокровищ» и два романа, продолжающие приключения знаменитых героев Стивенсона. Так вот — в ставшем классикой переводе Н. К. Чуковского главного героя зовут Джим Хокинс, в романе Р. Ф. Делдерфилда «Приключения Бена Ганна» он уже не Хокинс, а Гокинс, а в третьем романе — «Долговязый Джон Сильвер» Денниса Джуда — он вообще превратился в Гопкинса. И все это под одной обложкой.

Спор, как правильно передавать имена, — очень давний. Одна партия переводчиков стремится к точной передаче фонетического звучания имени на языке оригинала. И тогда получается Хорешио вместо Горацио, как было в первом варианте перевода «Пиквикского клуба» у Евгения Ланна, отчего начисто пропадает иронический смысл, вложенный Диккенсом в имя этого персонажа. Или — Кэвин вместо Корвин, как перевел имя одного из девяти принцев в «Янтарных хрониках» Роджера Желязны питерский переводчик Ян Юа (Яна Ашмарина + Николай Ютанов), отчего пропала ассоциация с «корвиной» («головой ворона») — отростком ключицы, который, согласно магической анатомии древних кельтов, есть одна из девяти точек, где астральное магическое пространство сопрягается с человеческой плотью.

Хотя, с другой стороны, многие подобным образом переведенные имена прочно вошли в читательский обиход и по-иному уже не воспринимаются. Эркюль Пуаро, например. Низкорослый сыщик с именем богатыря Геркулеса. Между прочим, в старом переводе романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» чернокожий слуга намеренно назван не Эркюлем, а Геркулесом — по причине его физической силы.

Из-за неразберихи с переводом имен даже в серьезных изданиях случаются промахи. Так, в третьем издании БСЭ (т. 3, 1970) помещены две разные статьи об английском адмирале Роберте Блейке (Blake, 1599–1657), один раз под фамилией «Блейк», другой раз «Блэк».

В этом смысле примечателен анекдотический случай, рассказанный А. Вознесенским в его книге «На виртуальном ветру». Русский поэт спросил знаменитого немецкого философа Мартина Хайдеггера о Жан-Поле Сартре. «Сартр? — ответил философ. — Источник его оригинальной идеи таится в его плохом знании немецкого языка. Сартр ошибся и неправильно перевел два термина из моих работ. Эта ошибка и родила его экзистенциализм». Экстаз, экстатическое бытие Сартр перевел как

экзистенцию, существование.

Но вернемся к именам личным. В первоначальном варианте перевода романа М. Суэнвика «Вакуумные цветы» имена героев трактовались на удивление вольно. Так, обычную английскую фамилию Сноу московская переводчица переделала в Снегли. Фрог Мурфилдз превратилась в Жаб Квакни — должно быть, автору перевода припомнился мистер Жабб из Жаббз-Холла, персонаж знаменитой детской повести К. Грэхема «Ветер в ивах». А главная героиня романа Рэбел Мадларк — та вообще переименована в Строптильвию Гаврош. Все это можно было бы и приветствовать, если бы подобная смена имен оправдывалась характерами героев. Но в романе, пожалуй что, одна главная героиня имеет действительно строптивый характер.

Плохо ли, хорошо ли — но в перечисленных выше случаях подход переводчиков все же, по большей части, носит характер творческий. А бывает, когда переводчик по лености или от недостатка знаний переделывает имя по-своему. Так в одном из рассказов Хайнлайна переводчик, не зная, кто такая леди Годива, преспокойно переиначивает ее в леди Гамильтон, голую сажает на лошадь, и с распущенной рыжею гривой любовница адмирала Нельсона гарцует на потеху читателей.

А вот случай более сложный. В одной из книжек «Янтарных хроник» Желязны в подстрочнике появилась фраза: «Скорее он Сын Человеческий, нежели Волхв».

С Волхвом понятно, это таинственный вершитель судьбы героя из романа Джона Фаулза «Волхв». Но при чем тут Иисус Христос?

Заглядываем в первоисточник. По-английски читаем: Manson. И правда, можно перевести как Сын Человеческий. Но в действительности это Чарльз Мэнсон, глава знаменитой религиозной общины, зверски расправившейся с беременной Шарон Тейт, киноактрисой, женой режиссера Романа Полански. В окончательном варианте книги ошибка была исправлена.

Бывают случаи совершенно клинические. Вот книга Колина Уилсона «Оккультизм» (на титуле — Колин Вильсон), изданная в Москве Товариществом «Клышников — Комаров и К» в 1994 году. Имя переводчика не указано. Быстренько перелистываем страницы, читаем и удивляемся. «Поэма о Джилгамеш», теория Леви-Страуса, Элдос Хакслей (в другом месте фамилия его написана правильно — Хаксли, зато имя переделано в Альдуса), Деметр и Персефона, Георгий Гардьев, Г. К. Честерсон (не опечатка, повторяется не один раз), Тейлхард де Шардан, теории Фрейда и Джанга (!!!), «Путь Свана» Марселя Пруста, Мирси Элиад, Ричард Бак, Анни Бизонт, Е. Блавацкая, И Дзынь (Книга

Перемен), король Соломон, Джон-Поль Сартр…

А знаете, как здесь названа знаменитая книга Дж. Фрэзера? Правильно, «Золотой сук», а как же иначе. Вообще, слово «сук» переводчикам чрезвычайно нравится «Ветер шумел в сучьях деревьев», «они наломали сучьев и устроили себе лежанки» — такое в переводах встречается постоянно. А что касается Деметра, Джилгамеша и Джанга, мне сразу вспоминается фраза из другой книги: «Египетские иероглифы долгое время оставались загадкой, пока их не прочитала археолог Розетта Стоун». Не правда ли, блистательное открытие?

Разговор про страну Ляпляндию можно продолжать бесконечно. И не только из одних подмастерьев состоит ее веселое население. Например, Наталья Демурова, переводя рассказ Г. Честертона «Лиловый парик», одаривает нас следующей загадочной фразой: «Одно из преданий гласит, что после Якова I кавалеры из этого рода стали носить длинные волосы…» Что значит этот род — непонятно. Ни до, ни после ссылок на него в переводе нет. Но самое интересное, нет никакого этого рода и в английском оригинале. Переводчица просто не поняла, что Кавалерами (в оригинале именно так, с большой буквы) назывались члены аристократической партии того времени, в отличие от Круглоголовых — партии, с которой они боролись. У той же Натальи Демуровой в переводе «Питера Пэна» находим фразу: «С отчаянным криком Белоручка вскочил на Длинного Тома и бросился с него прямо в море». Читая, можно подумать, что Длинный Том — это кто-нибудь из веселых молодцев капитана Крюка. На самом деле это обычное на британском флоте название корабельной пушки.

А вот еще кочующая из книги в книгу ошибка в переводе названия классического рассказа Борхеса «Смерть и буссоль» (перевод Е. Лысенко). Напомню сюжет. Главный герой, анализируя два загадочных убийства, приходит к выводу, что третье должно произойти в точке на карте города, соответствующей вершине равностороннего треугольника. Спрашивается, причем тут буссоль? По-испански (и по-английски) в названии рассказа стоит слово «compass», которое, кроме компаса, означает еще и циркуль. Незадачливый переводчик, видимо, позабыл уроки геометрии в школе. Ведь построить равносторонний треугольник с помощью циркуля — с этим справится любой троечник. А вот как подобную операцию проделать с помощью компаса (или буссоли, потому что буссоль примерно то же самое, что и компас) — здесь даже специалист-топограф голову поломает.

Перед тем, как поставить точку, хочется поблагодарить всех

тружеников переводческого пера, без которых эта работа была бы бедна примерами. И еще. Если вы человек с талантом, приезжайте в страну Ляпляндию. Цены прежние, въезд свободный! Приезжайте, вам будут рады.

P.S. Хорошая опечатка проникла в книжку В. Шинкарева «Максим и Федор» (СПб.: Амфора, 2005). В комментарии А. Секацкого на стр. 251 к стр. 138 читаем: «…спокойно, не топясь, прочитать наконец „Плавание“ Бодлера…» Заглядываем на стр. 138 в текст. Там: «спокойно, не торопясь».

Вполне возможно, это никакая не опечатка, а автоматическая описка автора комментария. Как-никак связь между «плыть» — «топиться» более тесная, чем между «плыть» и «не торопиться».

M

Маканин В.

«Оттого, что литература сейчас мельчает, нельзя делать вывод, что Россия лишена совести», — сказал в своем парижском интервью, опубликованном в «Литературной газете», Никита Струве, видный деятель русской эмигрантской культуры.

Литература в России всегда пульсировала волной — мелкая волна вверх, мелкая волна вниз, вверх волна покрупнее, вниз волна покрупнее, — а потом вдруг вздыбится вроде из ниоткуда и пойдет по людским умам, будоража покой и совесть и разделяя на своих и чужих.

Странное дело — чем сильнее в России буря, чем нещадней она ломает людей, тем бледней и невзрачней, тем мельче в России литература. А когда времена спокойные, во всяком случае внешне (застойные, теперь это называется так), то вдруг встанет над страной Солженицын и грохнет по внешнему безмятежью своею огневой книгой.

Да, литература сейчас мельчает, но это не значит, что Россия лишена совести. Совесть, совестливость, уже давно замечено посторонними, русским людям присуща в исключительной степени. Но зато если русский человек ее пропьет или потеряет, то тут уж хоть святых выноси. Русский, пропивший совесть, — это вам похлестче жидо-масонского заговора.

Тема горняя и тема подпольная — вот две темы, характерные для Маканина. И совесть как естественная субстанция, поддерживающая человеческую вертикаль. То есть делающая из человека ползающего человека прямоходящего. Маканин сугубо традиционен, и этого он ничуть не скрывает. Он откровенно цитирует Достоевского. Он откровенно пародирует абсурдистов и достигает в этом вершин серьезности. В своем классическом реализме он настолько перегибает палку, что та не выдерживает, ломается, а ему за это еще и Пушкинскую премию на подносе.

Верх и низ — два кардинальных знака в жизни человека и мира. Небо и земля, высь горняя и низина, и не низина даже, у Маканина это что-то врытое глубоко в землю — именно что подполье, именно что потемки, не ад еще, но уже далеко не рай. Я бы назвал пространство, где действуют маканинские герои, кратером, дно которого заглублено в поверхность планеты, а стенки такие высокие, что любому, глядящему на них снизу, кромки их кажутся недостижимым горним Иерусалимом, о котором тоскует погрязшая во грехе душа.

Итак, два полюса — дно кратера и вершина. Подполье как обиталище человеческой плоти и горняя обитель души.

Тема подземелья преобладает. Это понятно — это следует из законов русской психологической прозы. Земля притягивает более неба, потому что человек слаб и тяжел. Не хватит воздушных шариков, чтобы подобно продавцу воздушных шаров из революционной сказки Олеши вознестись над подпольным миром.

Подземные герои Маканина тоже разные. Одни из них пытаются глубже зарыться в землю, другие, уставшие жить без воздуха, медленно выкарабкиваются наружу.

Некоторые живут в цистерне. Некоторые роют пещеру. Другие находят потайной лаз в подземное царство света.

Символы у подполья разные. Это горизонталь стола, покрытого сукном и с графином посередине. Графин здесь вертикальная линия, знаменующая стремление вверх. Это умные разговоры и демонстративный, под музыку из «Великого Инквизитора», возврат счастливых билетов.

Одним словом, подполье. Между прочим, один из поздних романов Маканина так и называется — «Андеграунд».

А горы — они символ недостижимого. «Сколько ни иди, желтые вершины отодвигались, и попасть на них было нельзя — а видеть их было можно». Это из повести «Голоса». А это из рассказа «Кавказский пленный», безысходный крик сердца русского солдата Рубахина, убившего в горах красоту: «Горы. Горы. Который год бередит ему сердце их величавость, немая торжественность — но что, собственно, красота их хотела ему сказать? Зачем окликала?» Зачем красота окликает людей? Чтобы сказать им, что она спасет мир? И потом ждать ответа, который в конце концов окажется лишь собственным ее эхом?

Макаренко А.

Я вообще-то считаю, что лучшая педагогическая поэма это не «Педагогическая поэма» Макаренко, а «Республика ШКИД» Белых и Пантелеева, но это мое личное мнение, оспорить которое вправе любой желающий. Хотя Макаренко в педагогике примерно такая же знаковая фигура, как Мичурин в ботанике, в химии — Менделеев и Скиапарелли в истории освоения Марса.

В Учпедгизе в 1950 году издано полное собрание сочинений этого классика педагогики, заглянуть в которое стоит хотя бы ради того, чтобы выяснить, что же, кроме вышеупомянутой «Педагогической поэмы» и романа «Флаги на башнях», Макаренко написал. Предоставляю эту счастливую возможность особо любопытным читателям; я же хочу вам поведать об одной ужасной истории, случившейся несколько лет назад в Петербурге на Васильевском острове в одной из самых обыкновенных общеобразовательных школ.

Суть истории состоит в том, что учителя этой школы в кабинете литературы устроили пыточный кабинет и с помощью механической челюсти, вставленной в бюст Макаренко, насмерть гробили двоечников и троечников. Не выучил стихотворение Лермонтова «На смерть поэта», тебя — хвать! — и суют под челюсть. Сделал две ошибки в диктанте — то же самое, скидок ни для кого не делали. Не умножил правильно два на два — хнычь не хнычь, а отправляйся туда же.

Замучивали практически подчистую. Сперва палец ученику оттяпают, затем руку, потом вторую. И так пока от школьника не останется какая-нибудь мелкая ерунда — прыщ на шее или там ненужная бородавка.

И знаете, как про это узнали? А просто. Ведь у них, что ни четверть, так одни отличники да четверочники. Короче, абсолютная успеваемость.

Милиция, конечно, заинтересовалась — что это за школа такая, в которой даже ни одного троечника. Не может быть такой неправильной школы.

Устроили, короче, облаву, врываются с пистолетами в кабинет — бах! бабах! — это учителя отстреливаться. Милиционеры им: «Руки вверх! Сдавайтесь! Сопротивление бесполезно!» Преподаватели — тырк — в окно, а там по ним из пистолета — бабах! Которых, в общем, сразу перестреляли, а которых посадили в тюрьму, челюсть сдали в Музей милиции, кабинет литературы закрыли.

Не буду называть номер этого учебного заведения, чтобы не

травмировать психику сегодняшних школьников, тех, что в нем обучаются, но история эта самая что ни на есть реальная. Макаренко, конечно, не виноват. Вместо его бюста мог быть любой другой — Лермонтова, Чехова, Крупской. Сам же факт достаточно показателен и хорошо передает дух эпохи, в которой нам приходится жить.

«Мать» М. Горького

В 1917-м, революционном, году два молодых поэта пишут «Воззвание Председателей Земного Шара» (все — с прописных букв). Текст «Воззвания» достаточно широко известен, приведу для забывчивых несколько коротких цитат: «…Только мы, стоя на глыбе себя и своих имен, осмеливаемся среди моря ваших злобных зрачков назвать себя Правительством Земного Шара…», «…Наша тяжелая задача — быть стрелочниками на путях встречи Прошлого и Будущего…», «…Мы — особый вид оружия…» и т. д.

После подписей людей, на тот момент уже председательствующих во всеземном правительстве (В. Хлебникова и Г. Петникова), к «Воззванию» был добавлен постскриптум: «Мы верим, что этот список скоро пополнится блестящими именами Маяковского, Бурлюка и Горького».

В том 1917-м же году Горькому, видимо, так и не удосужившемуся прочесть «Воззвание», предземшаровцы (к именам Хлебникова и Петникова добавляется имя Каменского) адресуют «Открытое письмо». Вот его полный текст:

> Алексей Максимович!
>
> Хотя мы сторонники войны между возрастами, но мы знаем, что возраст духа не совпадает с возрастом туловища. Поэтому мы обращаемся к Вам с небольшой просьбой: ответьте нам, руководясь решением совести, на вопрос: можем ли мы быть достойными членами Правительства Земного Шара или нет? Созвать его мы предполагаем в будущем.
>
> Жмем Вашу руку…

Далее идут подписи.

С Маяковским и Бурлюком понятно, но почему молодые литературные провокаторы так настойчиво апеллируют к Горькому? А вот почему.

Во-первых, Горький в 1915 году, выступая на вечере в «Бродячей собаке», посвященном выходу литературного альманаха «Стрелец», бросил следующую крылатую фразу, мигом растиражированную газетами: «В футуристах все-таки что-то есть!»

Во-вторых, Горький лет за десять до хлебниковского «Воззвания» развивал на «башне» у Вяч. Иванова идею о будущем правительстве России, состоящем из деятелей культуры, т. е. мысль, вполне созвучную идее «предземшаризма».

Ну и, в-третьих, суммируя во-первых и во-вторых: это был сильный рекламный ход, своеобразная пиар-акция, выражаясь на новоязе последних лет.

Недаром фраза про «что-то есть» вместе с именем ее автора была вынесена на обложку одного из футуристических сборников.

Все мною вышерассказанное суть не только малый штришок в историю пиар-компаний в России. Это еще и пальмовая ветвь автору, прославившему родную литературу не одной «Матерью», но и многими другими произведениями.

«Матренища» М. Зощенко

Очень интересное стихотворение про Зощенко написал поэт Игорь Северянин, причем в тот же примерно год, когда в «ЗиФ» вышел зощенковский сборник «Матренища» (1926). Вот оно:

— Так вот как вы лопочете? Ага! —
Подумал он незлобиво-лукаво.
И улыбнулась думе этой слава,
И вздор потек, теряя берега.

Заныла чепуховая пурга, —
Завыражался гражданин шершаво,
И вся косноязычная держава
Вонзилась в слух, как в рыбу — острога.

Неизлечимо-глупый и ничтожный,
Возможный обыватель невозможный,
Ты жалок и в нелепости смешон!

Болтливый, вездесущий и повсюдный,
Слоняешься в толпе ты многолюдной,
Где все мужья своих достойны жен.

Стихотворение это, сделанное в форме сонета, конечно, довольно скверное, как и многие другие продукты творчества этого популярного когда-то поэта. И какое-то неправильно-злобное.

По Северянину получается, что только такая косноязычная и хамская публика, как в тогдашней стране Советов, и может радоваться, видя напечатанным в книге весь этот хамский косноязычный бред, что выходит из-под пера писателя. То есть хам радуется, видя свое отражение в зеркальной странице книжки.

Но читателями Зощенко (и его ценителями) были Мандельштам и Набоков, которых в косноязычии, а уж тем более в хамстве, если даже очень сильно захочешь, не упрекнешь.

Бог с ним, с Игорем Северяниным, он чувствовал себя Овидием в своей добровольной эстонской ссылке, и его злобу можно понять. Он не увидел в книжках Зощенко Библию, как увидел ее в них Мандельштам. Библию же нужно читать не предвзято, как читали ее преподаватели научного атеизма (был

такой в советские времена предмет), отыскивая в ней огрехи и неувязки, а сочувствуя, сопереживая, веря.

Маяковский В.

1.

Маяковский силен своей ненавистью На всех уровнях — бытовом, мировоззренческом, политическом. Даже любовном. Любовь простая, любовь человеческая, «любовь-служанка» ему мала, и он ненавидит ее за это:

Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.
Постели прокляв,
Встав с лежанки,
чтоб всей Вселенной шла любовь…

Он ненавидит: «казаков», «все древнее, все церковное и все славянское», «русский стиль и кустарщину». Поэтому с озверелой радостью, чувствуя единоверцев по ненависти, поэт примыкает к большевикам и участвует в ломке мира, в сбрасывании прошлого с пьедесталов. Конкретные имена врагов — Бог, Пушкин, Толстой — для поэта всего лишь символы, мишени для бронебойных ядер. Поэт замахивается на большее — ему нужно перекроить Вселенную, сделать ее себе под стать. Когда большевистский локомотив забуксовал в «мещанском болоте», поэт подталкивает его плечом, надрываясь и истекая потом. Он ненавидит все признаки обывательщины в окружающем его мировом пространстве — советском и досоветском, по эту сторону границы и заграницей. Он ненавидит даже себя, когда ощущает в себе простое человеческое желание.

Любая эскалация ненависти подобна раковым метастазам, съедающим человека изнутри. Ненависть выжигает любовь, ненависть сожрала поэта. Почувствовав под ногами пропасть, Маяковский выбирает самоубийство: пуля последнее средство, чтобы остановить смерть.

2.

В годы моей боевой юности, когда мы состригали бороду

Карлу Марксу, вешали на ниточках на новогодней елке бумажные фигурки членов Политбюро, подрывали средствами пиротехники ворота фабрики по выращиванию пиявок на реке Волковке в тогда еще Ленинграде и вообще были молодыми, красивыми, двадцатидвухлетними, — так вот, тогда по силе голоса и энергетическому напору Маяковский был для нас образцом, поэтом номер один. Не весь, конечно, а в основном ранний, тот, у которого:

Теперь
не промахнемся мимо.
Мы знаем кого — мети!
Ноги знают,
чьими
трупами
им идти.

Помнится, я даже стихи ему написал, запечатал в бутылку и бросил в Неву с моста лейтенанта Шмидта. Стихи такие:

Владимир Владимирович Маяковский,
пишу я вам никаковский,
пьяный, больной, противный,
сгорбленный, не спортивный.

Когда в переулке Гендриковом
гулял я с Сережкой Шпендриковым,
мы красный портвейн пили
за счастье ваше и Лили…

И так далее. Сами понимаете, в каком я писал их виде.

Теперь же, с возрастом, я воспринимаю Маяковского трезвым взглядом современного обывателя, забывшего, что такое красный портвейн, обуржуазившегося почти вконец и думающего в основном о том, как бы и где срубить лишнюю сотню бабок. И это, право, печально. Потому что Маяковский стоит большего, чем наше к нему трезвое отношение.

Посмертные довоенные собрания сочинений поэта готовила Лиля Брик.

А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —

на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.

По словам Пастернака, Маяковского в 30-е годы насаждали искусственно, как картошку при Екатерине. При жизни же поэта Ленин писал в записочке Луначарскому: «Вздор, глупо, махровая глупость и претензиозность… Печатать такие вещи… не более 1500 экз. для библиотек и для чудаков». Это про поэму «150 000 000». Мы-то понимаем, что во второй половине 30-х такие ленинские записочки из партийных архивов стоили жизни не только самому автору, будь он жив, но и всем его родственникам и знакомым. Так что неизвестно, что бы стало с поэтом, не пусти он себе пулю в висок утром 14 апреля 1930 года.

Не зная больших тиражей при жизни, после гибели Маяковский стал самым печатаемым в советской стране поэтом, уступив свое первенство разве что только Пушкину.

Маяковский-самоубийца

Существует много версий о причинах самоубийства Владимира Маяковского, но самую неожиданную рассказал однажды литературоведу Бенедикту Сарнову художник С. Адливанкин, довольно близко знавший Маяковского в молодости. Художник рассказывал про тот шок, который испытали все советские люди в самый канун смерти поэта. А ситуация была такова: «Магазины ломятся от товаров. Икра, балык, ветчина, фрукты, Абрау-Дюрсо…» И вдруг — ничего, пустые прилавки. «На всех полках только один-единственный продукт — бычьи яйца. А Маяковский к таким вещам был очень чувствителен».

Тот же Сарнов в своей книге «непридуманных историй» «Перестаньте удивляться» передает еще один разговор, состоявшийся между поэтом и одним малоизвестным советским критиком, разругавшим в 1927 году поэму Маяковского «Хорошо!» Маяковский не погнушался лично встретиться с критиком (проживавшим в Ростове), повел его в какой-то местный шалман и потребовал объяснений. Критик стал объяснять: какие, к черту, «сыры не засижены… цены снижены» и «землю попашет, попишет стихи», когда кругом голод, разруха, в городе стреляют, в лесах хозяйничают вооруженные банды и прочее. Маяковский долго и мрачно слушал, потом сказал: «Через десять лет в этой стране будет социализм. И тогда это будет хорошая поэма. А если нет — тогда и этот наш спор ничего не стоит, и эта поэма, и… наша жизнь».

Но десяти лет поэт ждать не стал. Он застрелился ровно через три года после этого разговора.

Маяковский за границей

Начиная с 1922 года Маяковский девять раз бывал за границей — Латвия, Германия, Франция, США, Чехословакия, Польша.

Десятый раз ему поехать не дали, отказали в визе. Это прибавило поэту решимости «лечь виском на дуло», как споет сорок лет спустя Владимир Высоцкий.

Иван Бунин в «Автобиографических заметках» сравнивает рассказ об Америке двух поэтов — Маяковского и Есенина: «Нет, уж лучше Маяковский! Тот, по крайней мере, рассказывая о своей поездке в Америку, просто „крыл“ ее, не говорил подлых слов о „мучительной тоске“ за океаном, о слезах при виде березок».

Хотя сам хулиган-поэт чувствовал себя американистей любого американца:

Мистер Джон,
жена его
и кот
зажирели,
спят
в своей квартирной норке,
просыпаясь
изредка
от собственных икот.
Я разбезалаберный до крайности,
но судьбе
не любящий
учтиво кланяться,
я,
поэт,
и то американистей
самого что ни на есть
американца.

В 1928 году художник-эмигрант Николай Гущин встретил Маяковского, с которым дружил до революции, в маленьком парижском кафе. Гущин, страстно желавший вернуться назад в Россию, но не имевший такой возможности из-за отказа в визе, жаловался на свои проблемы поэту. «А зачем тебе туда ехать?» — спросил его Маяковский. «То есть как — зачем? Работать! Для народа!» — честно ответил Гущин. «Брось, Коля! Гиблое дело», —

таков был ответ поэта.

Заключительные строки стихотворения «Домой» процитирует, наверное, всякий, мало-мальски знакомый с творчеством Маяковского:

Я хочу
быть понят моей страной,
а не буду понят, —
что ж,
по родной стране
пройду стороной,
как проходит
косой дождь.

Они как никакие другие передают его настроение в последние годы жизни.

«Медный всадник» А. Пушкина

Вот Пушкин, он спокоен:
Ни молод, ни старик,
Бессмертия достоин
И памятник воздвиг…

— писал один малоизвестный поэт, жалуясь читателям на несправедливость судьбы, когда одним (Пушкину) все, а другим (ему) ничего — ни публикаций, ни славы, ни гонораров.

Действительно, Пушкину стихи давались легко. Поставит он, как известно, перед собой штоф, выпьет стакан, второй, третий, а дальше строчит стихи, как из пулемета, только успевает записывать.

Впрочем, если взять в руки черновые варианты пушкинских сочинений, сразу возникает сомнение по поводу «пулеметной» легкости. Академическое издание «Медного всадника» в серии «Литературные памятники» дает этому весомое подтверждение.

Одно из лучших творений Пушкина в один из лучших периодов его творчества, в болдинскую осень 1933 года, «Медный всадник», кроме прочих его достоинств, еще и лучший гимн нашему великому городу и о нашем великом городе. Любой русский, ученый и неученый, обязательно вспомнит хотя бы несколько строчек из этого пушкинского шедевра.

Эта пушкинская поэма еще уникальна тем, что породила вслед за собой целое литературное направление — Гоголь, Достоевский, Белый, Анненский, Блок, Ахматова, бессчетное количество современников. Тема «маленького» человека и власти, символом которой выступает в поэме грозная фигура Медного всадника, стала чуть ли не основной для нескольких поколений писателей и будет еще, по-видимому, актуальна долго, покуда существует противоречие между государством и человеческой личностью.

Мей Л.

1.

«Пристрастие к вину послужило причиной его преждевременной гибели», — читаю я в комментарии к сатирическому стихотворению Б. Алмазова, напечатанному во 2-м томе сборника «Эпиграмма и сатира» («Academia», 1931). Само же место, вызвавшее комментарий, такое:

Нередко у Мея пивал я коньяк
И рифмы подыскивал Фету…

Мей славился своим хлебосольством, любил друзей и мог отдать им последние, даже взятые в долг деньги. И пьянство его действительно погубило. Вообще, это беда русской литературы — пьянство.

«Жаль Мея, он гибнет и погибнет», — находим мы в дневнике Е. Штакеншнейдера жутковатую в своей безысходности фразу.

Умер он в 40 лет с диагнозом «паралич легких». При жизни сделал довольно много, но из-за вечной своей безалаберности не особенно заботился изданием собственных сочинений. Из трехтомного собрания стихов, издаваемых на средства его мецената и собутыльника графа Кушелева-Безбородко, поэт успел подержать в руках лишь корректуру первого тома.

Мея открыли заново в начале XX века. Правда, каждый в нем находил свое. Николаю Клюеву он нравился за проникнутые народным духом и голосами допетровской Руси обработки древнерусских сказаний:

Где Мей яровчатый, Никитин,
Велесов первенец Кольцов,
Туда бреду я, ликом скрытен,
Под ношей варварских стихов.

Владимир Пяст считал Мея виртуознейшим поэтом своего времени. Мне, как я однажды уже писал, нравятся его экзотические стихи, в которых задолго до Брюсова и Гумилева грохочут дикие африканские барабаны.

А вот, пожалуйста, строчки, в которых весь, еще не

родившийся, Северянин:

О ты, чье имя мрет на трепетных устах,
Чьи электрически-ореховые косы…

В Мее много чего можно найти. Главное — не лениться искать. И не думать, что вы тратите время даром. Время, потраченное на поэзию, — приобретение, а не трата.

2.

Любители музыки и, возможно, кроссвордов знают Мея по операм Римского-Корсакова «Царская невеста» и «Псковитянка», в основу которых положены его драмы в стихах. Простой же читатель, пожалуй, не знает об этом поэте практически ничего. А зря.

Я бы назвал поэта Мея экзотиком, или даже историком, — слишком много в его стихах и поэмах мотивов исторически-экзотических.

Вот кусочек из его поэмы «Колумб»:

Где цветущий Гванагани,
Красоты чудесной полн,
На далеком океане
Подымается из волн;
Где ведет свой круг экватор;
Где в зеленых камышах
Шевелится аллигатор…
Там дикарь с головоломом
И копьем из тростника
Гонит робкого зверька…

А вот отрывок из «Графини Монтэваль»:

Стала зима… зашумели дожди… в Ардиэрской долине
Мутный поток по наклонному руслу змеей извивался…
Встал он… фонарь снял со ржавого гвоздика…
«Ждите! — промолвил. —
Буду я скоро…» И вышел… Ненастье и было ненастьем…

Это стихотворение, как и много других, снабжено

исторической справкой: «Рассказ заимствован из старой французской хроники…» и так далее. За этим невыразительным «и так далее» скрывается пространный меевский пересказ соответствующих исторических фактов, положенных в основу стихотворения. Вообще пристрастие к историческим комментариям прослеживается у Мея четко. Особенно густо ими оснащены стихи на древнерусские темы: «Песня про боярина Евпатия Коловрата», «Песня про княгиню Ульяну Андреевну Вяземскую», «Отчего перевелись витязи на святой Руси».

Есть у Мея мотивы библейские, есть античные. Есть стихи про канарейку, про зяблика, про попугая. Вот начало того, что про попугая:

> Дворовые зовут его Арашкой…
> Ученые назвали бы ара;
> Граф не зовет никак, а дачники милашкой
> И попенькой… Бывало, я с утра…

Только сейчас заметил, как много в его стихах многоточий. Не знаю, существует ли в русской речи слово «многоточивый», но если не существует, следует его в речь ввести. И именно это определение будет полностью применимо к Мею.

«Менделеев в жизни» А. Менделеевой

Дмитрий Иванович Менделеев известен в первую очередь тем, что придумал сорокаградусный напиток под названием «водка». То есть именно он нашел ту единственную во вселенной пропорцию, отличающую водку от «Портвейна розового», с одной стороны, и от «Рябины на коньяке», с другой. Еще он известен периодической системой элементов, которая так и называется — «Периодическая система Менделеева». Но первое, конечно, много важнее второго, потому что без первого во втором просто не разберешься.

Книга принадлежит перу вдовы Дмитрия Ивановича Анны Ивановны и написана по горячим следам смерти ученого-химика. Об ученых занятиях покойного мужа в книге тоже есть малочисленные страницы, но в основном она посвящена тому общему культурному фону, на котором протекала их совместная жизнь. Фон же был действительно интересный. Поэт Александр Блок, чье имение Шахматово располагалось, как известно, бок о бок с имением Менделеевых, а дочка Дмитрия Ивановича Любовь Дмитриевна состояла со знаменитым поэтом в супружеской связи. Писатели, поэты, художники, актеры, актрисы.

Но больше всего мне нравятся в книге всякие, казалось бы, мелочи, но те мелочи, без которых жизнь великих людей превращается в сплошной монумент, изготовленный из цельного куска мрамора без единой трещинки и морщинки. Например, что Менделеев ел на обед. А ел, оказывается, Дмитрий Иванович мало и не требовал никакого разнообразия в пище. «Бульон, уха, рыба. Третьего, сладкого, почти никогда не ел. Иногда он придумывал что-нибудь свое: отварной рис с красным вином, ячневую кашу, поджаренные лепешки из риса и геркулеса». Но самое удивительное другое. Водку-то он изобрел, а сам при этом пил исключительно вино, причем тоже мало — стаканчик красного кавказского или бордо. Любимое же занятие Дмитрия Ивановича после обеда — чтобы ему читали вслух романы про индейцев, Рокамболя, Жюль Верна. Словом, если отбросить водку и периодическую систему, — такой же человек, как и мы.

О водке же в воспоминаниях Анны Ивановны, увы, ни полслова. Все Жомини да Жомини, как говаривал наш несравненный Денис Давыдов.

Мережковский Д.

Мережковский был конкурентом Бунина в 1933 году по Нобелевскому лауреатству. Премию дали Бунину. Не очень повезло Мережковскому и с популярностью у потомков, то есть у нас сегодняшних. Среди современников он был знаменит более. Пара Гиппиус—Мережковский представляется мне неким литературным гермафродитом, я почему-то никак не могу представить Гиппиус отдельно от своего мужа, а Мережковского отдельно от Гиппиус.

На самом деле все, конечно, было не так. Не Мережковский был при Гиппиус, а она — при нем.

Вот как конструирует Андрей Белый отношения Мережковского с посетителями:

> С ароматной сигарой в руке поднялся Д. С. Мережковский и недоумевающим, холодным взором посмотрел на посетителя… «Что, собственно, вам угодно? Вот я сейчас…» И быстрыми шагами уходит в комнату, где теплится камин. «Зина, ко мне пришел какой-то человек. Поговори с ним. Я с ним говорить не могу».

Далее Зинаида Николаевна искушает посетителя полетами философской мысли, выясняя тем самым, достоин ли человек общения с автором «Толстого и Достоевского» и «Христа и Антихриста» Если достоин, то его пригласят еще раз и еще.

Зинаида Гиппиус была ангелом-хранителем Мережковского. Она была с ним везде и всегда. В Петербурге на Литейном, где создавался «Петр и Алексей». В Париже, близ Etoile, где он обдумывал своего «Павла I». В эмиграции, снова в Париже, в дни преднобелевских и посленобелевских мучений, когда опять его обманула слава. Гиппиус воспела его славу посмертно, пережив мужа на несколько лет и оставив о нем богатые мемуары.

Перечитывая Мережковского сейчас, когда литературные бури былых времен помнятся нам только по мемуарам и сочинениям критиков, понимаешь, что вечность, о которой он писал в своих книгах и ради которой жил, много важнее сиюминутности, не рождающей ничего, кроме скуки и ощущения пустоты жизни.

«Мертвые души» Н. Гоголя

> «Мертвые души» не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри ее, чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни, и не потому также, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей.

Этот отрывок взят из «Четырех писем разным лицам по поводу „Мертвых душ“», включенных писателем в «Выбранные места из переписки с друзьями».

Сам Гоголь главным своим талантом, главным свои существом как писателя признавал именно это свойство — умение «выставлять так ярко пошлость жизни… очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем».

Достаточно известна история гоголевских мытарств, связанных с изданием его главной книги, нервных срывов, ходатайств М. Ю. Виельгорского, который через своих друзей вышел на министра просвещения графа Уварова, одобрившего печатание книги.

В результате книга вышла почти в том виде, в каком была задумана автором. Переделать пришлось лишь «Повесть о капитане Копейкине», не пропущенную цензурой, и поменять название на «Приключения Чичикова, или Мертвые души» вместо авторских «Мертвых душ». Позже время все расставило по своим местам, цензурные купюры вернули, название поменяли обратно, Гоголю поставили памятники, а в Петербурге на Вознесенском, угол Римского-Корсакова, увековечен его знаменитый «Нос».

А еще в северной столице нашей великой родины учреждена литературная премия, названная в честь писателя «Гоголевской». Номинации этой премии разные и названы по гоголевским шедеврам: за лучшую разработку петербургской темы в литературе — премия «Невский проспект»; за лучший фантастический сюжет — премия «Вий»; за лучшую прозу — премия «Нос» (забавно, что в 2006 году эту премию вручили Сергею Носову), и так далее. Долго думали — за какое направление в литературе давать премию «Мертвые души», но так и не додумались, за какое. Поэтому премию под таким названием

решили в список вообще не ставить.

«Месяц Аркашон» А. Тургенева

Книга о странном событии в жизни человека, профессия которого — обыгрывать в танцах сцены из кинофильмов. Работа неблагодарная, хоть и творческая, заработок зависит от случая — от щедрости случайных прохожих, в основном — туристов. Рабочее место героя — улицы европейских городов. Сам он русский, провинциал, часто думающий о своей оставленной родине, но не желающий туда возвращаться. В исходной точке романа, с которой начинается действие (Париж, Франция), герой практически сидит на мели. Временная подружка Алька, мотающаяся по Европе автостопом москвичка, в которую он почти влюблен, уезжает к какому-то немцу в Кельн. Все вроде бы у героя плохо, но тут — о богиня любви Венера! — ему подворачивается работа, от которой только скопец откажется. Дело в том, что по совместительству наш герой работает жиголо. И одна из его богатых прошлогодних клиенток делает повторное предложение. Он соглашается и выезжает в маленький городок Аркашон во Французской Ривьере. Единственное, что смущает героя — некоторые условия контракта. А именно: наш герой должен в точности — до последней мелочи, вроде жестов и манеры прикуривать, — соответствовать покойному мужу богатой дамы. Это настораживает. Это наводит героя на разные нехорошие мысли. Словом — возникает интрига.

Не буду продолжать пересказ. Скажу только, что у меня лично ощущение при чтении было примерно такое же, какое я испытывал в свое время, читая фаулзовского «Волхва». Постоянное присутствие за кадром некой темной фигуры или фигур, управляющих поступками героя. Некоего демона или демонов, то бросающих на дорогу героя тень, то оставляющих материальный след в виде переставленных книг на полке или прозвучавших в ночи шагов.

Ощущение предопределенности, тайны, зависимости от внешних сил автор передает мастерски. Вообще, «Месяц Аркашон» скорее кинороман, чем роман. Он очень сценичен, ярок по языку, в нем есть внутренняя динамика, авантюрно-детективный сюжет. Даже конец романа, явно скомканный, откровенно халтурный, представляется мне намеренным актом, веселым приемом автора, уставшего от трагической маски и поменявшего ее враз на клоунскую. Я имею в виду финальную сцену в сент-эмильонском дворике в усадьбе вдруг воскресшего мужа, когда выскакивают черти из табакерки (или боги из машины — кому как нравится), выхватывают бутафорские

пистолеты и начинают обильно проливать кровь.

И еще — роман абсолютно не политизированный, что по нынешним временам является несомненным плюсом.

И еще — под именем А. Тургенева скрывается от нападок недоброжелателей известный писатель-космополит Вячеслав Курицын.

Михалков С.

Сергея Михалкова знает в нашей стране любой мало-мальски грамотный человек. Во-первых, он создал Дядю Степу. Во-вторых, сочинил фразу «А сало русское едят», давно сделавшуюся летучей. В-третьих, написал слова советского, теперь уже российского гимна. Конечно, можно поставить ему в заслугу и рождение двух талантливых сыновей — Никиты и Андрея, — но тут, как говорится, больше постаралась природа.

Некоторые ядовитые языки, завидующие славе михалковской фамилии, распространяли злобные эпиграммы. Самая известная из них эта:

О родина, ну как ты терпишь зуд!
Три Михалкова по тебе ползут.

Литературовед Бенедикт Сарнов в книге «Перестаньте удивляться» приводит следующую «непридуманную» историю, связанную с написанием гимна. Сталин, как известно, был первым критиком и редактором советского гимна. Начинался же он в авторском варианте с такого куплета:

Свободных народов Союз благородный
Сплотила навеки великая Русь.
Да здравствует созданный волей народной
Единый, могучий Советский Союз.

Когда гимн вернулся на доработку, рукой вождя против строчки «Союз благородный» было написано: «Ваше благородие?» А против «волей народной» стояло «Народной воли?» То есть вождь мгновенно предупредил намек на возможную связку с белогвардейским движением и партией террористов-народников «Народная воля».

В результате «Союз благородный» переродился в «республик свободных», а «народная воля» превратилась в «волю народов».

Так ли или не так, а Сергей Михалков фигура в отечественной культуре не менее знаковая, чем Юрий Гагарин или Владимир Высоцкий.

Неважно, кто к нему как относится, но Михалков, независимо от критики и оценок, — несомненный символ эпохи, которую мы зовем советской и которую не вычеркнуть, не изъять из летописи

нашей страны.

Он как хозяин в дом входил,
Садился, где хотел,
Он вместе с нами ел и пил
И наши песни пел.

Он нашим девушкам дарил
Улыбку и цветы,
И он со всеми говорил,
Как старый друг, на «ты»:

«Прочти. Поведай. Расскажи.
Возьми меня с собой.
Дай посмотреть на чертежи.
Мечты свои открой».

Он рядом с нами ночевал,
И он, как вор, скрывал,
Что наши ящики вскрывал
И снова закрывал.

И в наши шахты в тот же год
Врывалась вдруг вода,
Горел химический завод,
Горели провода.

А он терялся и дрожал
И на пожар бежал,
И рядом с нами он стоял
И шланг в руках держал.

Но мы расставили посты,
Нашли за следом след.
И мы спросили:
«Это ты?»
и мы сказали:
«Это ты!»
и он ответил: «Нет!»

«Гляди, и здесь твои следы, —
Сказали мы тогда, —
Ты умертвить хотел сады,
Пески оставить без воды,

Без хлеба — города!

Ты в нашу честную семью
Прополз гадюкой злой,
Мы видим ненависть твою,
Фашистский облик твой!

Ты будешь стерт с лица земли,
Чтоб мы спокойно жить могли!»

Это стихотворение 1938 года (извините, что привел его полностью) — квинтэссенция предвоенной эпохи, абсолютная классика поэзии социалистического реализма, оно такое же вечное, как лермонтовское «На смерть поэта». И созданный в 30-е годы советский гимн — тоже абсолютная классика, которую не вырубишь топором и не заглушишь никаким рок-н-роллом. Когда некоторые злые писательские языки назвали авторов гимна «гимнюками», Михалков ответил на это просто: «Гимнюки не гимнюки, а петь будете стоя». И оказался целиком прав.

Так что творчество и личность Михалкова отнюдь не вчерашний день. Он как душа неразделим и вечен. На нем стояла и стоять будет земля русская.

P.S. Недавно открыл для себя еще один поэтический шедевр Михалкова в авторской книжке 1953 года «Сатира и юмор». Стихотворение «Про советский атом» (с подзаголовком «Солдатская песня»). Вот его (или ее, раз песня?) начало:

Мы недавно проводили
Испытанья нашей силе,
Мы довольны от души —
Достиженья хороши!
Все на славу удалось,
Там, где нужно, взорвалось!
Мы довольны результатом —
Недурен советский атом!

«Мистерия-буфф» В. Маяковского

Это «героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи» было специально написано к первой годовщине Октябрьской революции и давалось на сцене Коммунального театра музыкальной драмы 7, 8 и 9-го ноября 18-го, соответственно, года. Слова Вл. Маяковского, постановка Вс. Мейерхольда, оформление Казимира Малевича.

Нам написали Евангелие,
Коран,
«Потерянный и возвращенный рай»,
и еще,
и еще —
многое множество книжек.
Каждая — радость загробную сулит, умна и хитра.
Здесь,
На Земле хотим
Не выше жить
И не ниже…
Нам надоели небесные сласти —
Хлебище дайте жрать ржаной!
Нам надоели бумажные страсти —
Дайте жить с живой женой!

Вот так-то! Не просто с женой, а с женой живой! Вся поэма состоит из пяти картин, включая пролог, отрывки из которого я сейчас процитировал. Поэма откровенно богоборческая, пролог тому подтверждение. На афишке, выпущенной специально к театральной премьере и расклеиваемой на всех городских заборах и тумбах, кратко и убедительно пересказывается содержание каждой картины.

I картина: Белые и черные бегут от красного потопа.

II картина: Ковчег. Чистые подсовывают нечистым царя и республику. Сами увидите, что из этого получается.

III картина: Ад, в котором рабочие самого Вельзевула к чертям послали.

IV картина: Рай. Крупный разговор батрака с Мафусаилом.

V картина: Коммуна. Солнечный праздник вещей и

рабочих.

Друзья считали Маяковского гением, враги — бездарем, хулиганом, хамом. В обществе он вел себя вызывающе, сознательно делая из себя мишень для печатной и непечатной брани. Коммунисты его сделали классиком, насаждая, по словам Пастернака, как картошку при Екатерине. Впрочем, Ленин стихи Маяковского на дух не переносил, всячески ругая за формализм. Зато Сталин, хоть и не читал, но хвалил и даже назначил его в советской литературе первым красным поэтом, вроде маршала Буденного в армии, — правда, посмертно.

Можно к Маяковскому относиться, как относились Чуковский и Пастернак, — с любовью. Можно — как Булгаков: уважительно, но с иронией. Можно — с ненавистью, как Бунин. Впрочем, нет — автор «Жизни Арсеньева» и «Темных аллей» все же один раз отозвался о Маяковском если не дружелюбно, то, во всяком случае, без обычного своего сарказма. Это когда сравнивал Маяковского и Есенина, их визиты в Америку и рассказы по возвращении оттуда: «Нет, уж лучше Маяковский! Тот, по крайней мере, рассказывая о своей поездке в Америку, просто „крыл“ ее, не говорил подлых слов о „мучительной тоске“ за океаном, о слезах при виде березок».

Единственно, как к Маяковскому относиться нельзя, — это с равнодушием. Что порою бывало в школьные годы чудесные на уроках литературы.

«Молодая гвардия» А. Фадеева

Как известно, этот классический советский роман о подвиге молодых подпольщиков, написанный в 1945 году по горячим следам событий, был подвергнут разгромной критике и в 1951 году переписан автором в соответствии с требованиями Главлита. Претензии же к роману были простые: недостаточное освещение руководящей роли партии в организации подпольной молодогвардейской дружины. То есть практически главный литературный начальник всех писателей советской страны получил по шее от собственной же цензуры. Этот удар по сути был черной меткой, намеком на неустойчивость положения любого человека, принадлежащего к партийной номенклатуре, в той системе государственных ценностей, которой принадлежал Фадеев. Результат — длительные запои и самоубийство в мае 1956 года. Впрочем, этому предшествовала фраза в докладе на XX партийном съезде (1956), в которой Фадеева всенародно объявили «властолюбивым литературным генсеком».

Из мелких цензурных подвигов (которые в своей совокупности складываются в величественную картину) на поприще литературного цербера отмечу следующие. Будучи главой литературной комиссии по изданию Полного (юбилейного) собрания сочинений Л. Н. Толстого, Фадеев вместе с другими комиссионерами адресует А. Жданову, тогдашнему главарю от идеологии, письмо со следующими предложениями:

> Из текстов издания исключить «Азбуку» и «Книгу для чтения», «Критику догматического богословия», «Соединение и перевод четырех Евангелий», «Краткое изложение Евангелия», «Царство Божие внутри нас», «Мысли мудрых людей», «Круг чтения» и «Путь к жизни». К томам, включающим публицистические и теоретические произведения Толстого, а также к томам с дневниками и письмами Толстого к разным лицам должны быть предпосланы статьи с марксистско-ленинским анализом произведений Толстого.

Это предложение, как говорится, предложено в 1947 году, а шестью годами раньше (1941) Фадеев пишет донос на писателя Вересаева, который по старческому своему неразумию умудрился написать фельетон, ругающий отечественную цензуру, и послать его не в какой-нибудь «Магаданский разнорабочий», а в главный орган писательской организации СССР — «Литературную газету».

Фельетон, конечно же, не прошел, он был перенаправлен в ЦК с фадеевским комментарием: «За всей статьей Вересаева чувствуется задняя мысль — дискредитировать редакторов как работников на службе у советского государства, как проводников политики нашего государства».

Говоря короче, писатель Фадеев своими же граблями схлопотал себе по сопатке, и, как учат нас Маркс и Гегель, всё это соответствует логике всемирно-исторического процесса и нисколько не противоречит категорическому императиву немецкого философа Канта.

«Морские стихи» К. Сутягина

Черное море, белый пароход
черное море, белый пароход
черное море, белый пароход
белая жопа с черной полосой

Это морское стихотворение называется «Ночь», оно открывает книгу. На самом деле книгу писали одновременно и поэт (К. Сутягин), и художник (А. Шевченко), поэтому трудно передать словами ее морской и веселый дух. Так, например, между каждой процитированной выше строчкой пробегает нарисованная морская волна, которую мне не изобразить наглядно из-за моих хреноватых знаний по части компьютерной графики.

Книжка элегантна, как молодая леди, та, что изображена на обложке. Радует в ней игра шрифтами, тот здоровый конструктивистский дух, завещанный нам Эль Лисицким и Родченко.

И опять же — митьковский след, вьющийся по морскому песочку…

Кстати, о Сутягине и Шевченко. Вот что написали о них их товарищи В. Белобров и О. Попов в предисловии к одной сутягинской книжке: «Шевченко — толстый, а Сутягин — низенький. Если бы они подрались, то Шевченко Сутягину пожалуй бы навалял… Взять другой случай. Если бы они вдруг оказались на необитаемом острове без продуктов. Кто из них первый не выдержит? С одной стороны, вроде Шевченко, потому что привык много жрать. С другой — Сутягин, потому что Шевченко толще и у него больше запас жира, как у верблюда…»

Оставим этот гамлетовский вопрос без ответа.

«Москва — Петушки» В. Ерофеева

Однажды в России наступила зима, совпавшая с годовщиной Великой Октябрьской революции. По случаю праздника были срочно оглашены следующие декреты:

> …Передать народу всю землю уезда, со всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и без всякого выкупа… Передвинуть стрелку часов на два часа вперед или на полтора часа назад, все равно, только бы куда передвинуть… Слово «черт» надо принудить снова писать через «о», а какую-нибудь букву вообще упразднить, только надо подумать, какую. И наконец заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в пять тридцать утра, а не в девять…

Не пугайтесь, это не цитата из выступления Зюганова на митинге КПРФ, состоявшемся в Москве на Лубянской площади по случаю очередной октябрьской годовщины. Это отрывок из незабвенного Ерофеева, его великой поэмы в прозе «Москва — Петушки», по сравнению с которой любой Зюганов и любые революции вместе или раздельно взятые кажутся не более чем соринкой в смеющемся глазу Клио, шаловливой музы всемирной и отечественной истории.

P.S. Интересная библиографическая подробность: цены двух первых изданий книги, вышедших в издательстве «Интербук» в 1990 году, устанавливал самолично автор. Экземпляр поэмы в первом издании стоил 3 руб. 62 коп., во втором — 4 руб. 12 коп.

Музыка воды

Верный способ, когда не знаешь, с чего начать, — начинать с цитаты. Так я и сделал, раскрыл наугад последнюю книгу Юрия Коваля («АУА») и сразу же наткнулся на фразу: «Весной 1978 года мучился, не зная, как начать письмо некоторой особе. И начал его с изображения собственных сапог».

Что ж, с сапог так с сапог. Я тут же залез в кладовку, достал свои старенькие резиновые бахилы и подумал, сколько болот исхожено в них, родимых, сколько маслят, подберезовиков, волнушек отражалось в их зеркальной резине в веселые мои грибные походы.

И стало мне отчего-то грустно. Я убрал сапоги в кладовку и вернулся к письменному столу. Потом косо посмотрел за окно, увидел небо над Озерками и вспомнил другое небо — солнечное, белое и широкое — «близорукое армянское небо».

Лето 1981 года. Ночь, жара, Ереван. В гостинице нет воды. Мы купаемся прямо в фонтане на какой-то из городских площадей. Темно, мы стараемся не шуметь, чтобы не напугать прохожих.

Мы — это Миша Пчелинцев, Гек Комаров, Гриша Беневич, Володя Чикунский, Аркаша Шуфрин, я, кто-то еще, всех сейчас и не вспомнить. Мы — участники археологической экспедиции, приехали раскапывать курганы в Араратской долине. Курганы древние, средняя бронза, две с половиной тысячи лет до Иисусова Рождества.

> Какая роскошь в нищенском селенье —
> Волосяная музыка воды!

— эти строчки Осипа Мандельштама написаны как раз про то место, где наша отважная экспедиция ковыряла землю лопатами.

Аштарак, поселок, а скорее небольшой городок, в 40 км от Еревана.

Под Аштараком, между частным пшеничным полем и частным фруктовым садом, мы и разбили наши палатки.

Палатки-то мы разбили, но ночевали в них всего раза два. Первый, когда только приехали. Второй, когда над долиной пролился единственный в том году дождь. Где же, вы спросите, мы ночевали? И отчего такое пренебрежение к романтике брезентовых городов? А ночевали мы под открытым небом. Дело в том, что рядом с местом наших раскопок был недостроенный

каменный особняк какого-то князька из райкома. Князек подсел, особнячок у него отобрали, и он стоял, потерянный и забытый, в ожидании будущих перемен.

Голые бетонные стены, голый бетонный пол, плоская площадка под крышу, тоже голая и тоже бетонная. Вот на этой-то бетонной площадке, подстелив под себя матрасы и накрывшись разнообразной ветошью, мы и ночевали в охотку. Представьте себе — звезды величиной с кулак, без единого огонька долина, изломанные молнии над горами, бьющие почему-то вверх. А рассветы, а прозрачное крыло Арарата, застывшее на голубой высоте. Поэтому нам не хотелось в палатки, где в брезентовых складках и под вещами прятались опасные насекомые.

Больше всего в Армении, конечно, нас донимала жара. Поэтому, чтобы спастись от жары, работать мы начинали рано — не позже 6 утра — и работали не дольше, чем до 11. Примерно в полдень обедали, а оставшееся до ужина время посвящали борьбе со скукой и изучению окрестных чудес.

Первым окрестным чудом, обнаруженным нами случайно, оказался винный заводик, принадлежавший неизвестно кому. Когда мы там оказались, заводик встретил нас тишиной. Ни души, какие-то бочки и густой виноградный дух. Мы позвали, нам не ответили. Мы с минуту потоптались на месте. Вдруг из-за какого-то столбика вышел маленький человек в бороде и сказал по-армянски: «Здрасьте». «Здравствуйте», — мы принялись ему объяснять, какие мы хорошие люди и какую гостеприимную землю выпало нам счастье копать.

Уходили мы с завода усталые. Каждый нес по бидону хереса, еще по бутылке чачи, а перед собою, это уж сообща, мы катили круглый бочонок. В бочонке был тоже херес.

Частное пшеничное поле, о котором было упомянуто выше, мы по недосмотру сожгли. Оно вспыхнуло легко, как пушинка, и исчезло во мгновение ока. Черная пустая земля смотрела на нас печально. Мы чувствовали себя потомками тех бесчисленных пришлых орд, что несколько тысячелетий подряд оскверняли эту святую землю.

А однажды Гек привез генерала. Настоящего советского генерала, коротенького, как еловый пенек, и пьянющего, как охотники на привале.

Он с ним познакомился в ресторане, когда ездил в Аштарак по делам. Генерал был командиром полка. Они ворвались на военном «козле» в наше мирное археологическое пространство и устроили грандиозный шум. Генерал отплясывал вокруг костра трепака, ругал зловредное армянское население и проклинал свою квартиру в Ленинакане площадью в сто двадцать

квадратных метров.

Он был тоже родом из Ленинграда и готов был для своих земляков сделать все, что они попросят. Например, пригнать сюда экскаватор, чтобы не гробить зазря здоровье на земляных работах. Денщик, который его привез, был мгновенно куда-то послан и буквально через десять минут вернулся с ящиком русской водки и ящиком солдатской тушенки.

Братание армии и заезжей интеллигенции закончилось зеленым туманом. Генерала мы случайно обидели, кто-то его назвал захватчиком, кажется, сам Гек и назвал. Так что ни экскаватора, ни обещанной машины с продуктами мы не увидели.

Зато мы славно съездили в Бюракан, по дороге жарили шашлыки на берегу какой-то бурлящей речки, видели каменный фаллос, найденный местными астрономами в окрестностях высокогорной обсерватории и воздвигнутый ими рядом с обсерваторскими корпусами как символ устремления к звездам. Поднимались на Арагац, заглядывали в кратер вулкана, укрывались от безумного ветра за каменным барьерчиком на вершине.

Есть у Хармса такая стихотворная сценка. «Эй, Комаров! Давай ловить комаров!» — говорит Петров. А Комаров ему отвечает: «Нет, я к этому еще не готов; давай лучше ловить котов!».

Гек Комаров, друг поэтов и сам поэт, категорически утверждал, что сценка эта написана про него. Мы с ним не спорили. Действительно, почему бы нет? Вот только ни комаров, ни котов в окрестностях нашей стоянки не было. И ловили мы скорпионов и змей, которых в каждом раскопе пряталось по несколько экземпляров.

Вот вы, кто это сейчас читает, видели вы когда-нибудь желеобразный шевелящийся шар из только что родившихся скорпионов? А белых, похожих на больших червяков, змей, охраняющих доисторические могильники? Мы подобными армянскими чудесами были сыты тогда по горло.

Разъезжались мы в разные стороны. Володя, Аркаша и Гриша автостопом двинули к морю. Через Грузию, ночуя в лугах, с конечной остановкой в Сухуми. Мы с Мишей Пчелинцевым сели на ленинградский поезд. Гек тоже поехал к морю.

Прошло больше двадцати лет. Гек теперь человек видный, держит в своих руках издательство «Пушкинский фонд», бывал в Нью-Йорке у Бродского, собрание сочинений которого издал едва ли не собственноручно.

Миша Пчелинцев скромно и тихо переводит с английского — замечательно, надо сказать, переводит. Недавно за очередной

свой перевод он получил денежный грант от Сороса.

Володя Чикунский, который в 81-м кумирничал у костра и пел под мою гитару сосноровский «Бабилон», живет между Индией и провинциальным городом Ломоносовым. Стихов он уже не пишет.

Знаю, что Гриша Беневич греет душу холодом философских систем, преподает. Я ему не завидую.

Аркаша Шуфрин стал православным священником и вроде бы даже принял постриг. Сейчас отец Аркаша в Америке. Такой монашествующий православный еврей.

До Америки сейчас много ближе, чем до Армении.

А в Аштараке, должно быть, мало что изменилось. Музыка воды не меняется. Меняемся только мы.

H

«На Востоке» П. Павленко

Бывают в жизни фантастические сюжеты, и происходят они обычно с классиками, причем чаще всего после безвременной кончины последних. Один из таких мистических парадоксов произошел с памятником классику советской литературы писателю Петру Андреевичу Павленко (1899–1951), установленному еще при жизни писателя во Владивостоке. Дело в том, что за годы стояния в сквере на одной из площадей города памятник развернулся почти на 30 градусов к западу и стал на 5 сантиметров выше. Это странно вдвойне, потому что слава писателя, которой он при жизни обладал в полной мере, стала с годами ослабевать, если не сказать горче — просто сошла на нет, — и, по идее, памятнику следовало бы укоротиться, он же, наоборот, подрос. И по поводу поворота к западу — логичнее был бы поворот памятника к востоку, ведь главное сочинение писателя, фантастический роман «На востоке», именно востоку и посвящен — будущему советского востока, и шире — всего Востока, одному из возможных будущих.

Великие события, о которых повествует роман, разворачиваются на границе СССР и Маньчжурии, временной охват с мая 1932 года по март 1933, когда японские интервенты напали на Советский Союз и нанесли удар по Владивостоку. Прелюдией к роману послужили «Полемические варианты», изданные в 1934 году приложением к книге Гельдерса «Воздушная война 1936 года», суть которой сводится к следующему: победа в будущей войне достается тому, чья бомбардировочная авиация многочисленнее и мощнее. Павленко, полемизируя с немцем, упрекает последнего в незнании или же игнорировании теории классовой борьбы. Война, по учению классиков марксизма и ленинизма, развязанная империалистической державой, немедленно повлечет за собой социальную революцию, которая сразу же войну и погасит, свергнув одновременно и развязавшую эту войну несправедливую власть.

В романе «На востоке» японцы в одночасье отброшены от границ армадами советских бомбардировщиков, а восставшее трудовое население завоеванных Японией областей ударяет по врагу на местах. Результат очевиден — уже на второй день войны наши самолеты бомбят Токио, а подключившаяся к делу пехота добивает противника на земле.

И как гимн победе читается последняя, пятая часть романа. Здесь рассказывается о строительстве Сен-Катаямы, города

дружбы трудящихся всех народов Востока, сбросивших с себя иго японских завоевателей.

> Город уже копошился среди тайги. Деревянные бараки и двухэтажные коттеджи вели шесть длинных улиц. В центре города стоял деревянный Дом бойца, но кино и театр еще только значились. Японоведы из Москвы готовились читать лекции в шалашах и палатках… Четыре улицы были японскими, пятая — корейской, шестая — китайской… Улицы города упирались в цветники, огороды, свинарники, кузницы, сетевязальни. Из владивостокского политехникума волокли коллекции рыб, почв и руд. Профессор Звягин показывал в бараке ловлю ивасей электрической сетью…

А через какое-то время, когда «водоемы уже построены»:

> Ольга назначила первую встречу со студентами назавтра в девять утра.
>
> — Не пойдет, — сказал Цой. — В девять история классовой борьбы.
>
> — В десять?
>
> — В десять — стратегия и тактика вооруженного восстания.
>
> — Ну, назовите свой час.
>
> — Ноль часов тридцать минут, — ответил Цой. — Другого времени нет. Будут четыре группы по сорок человек с четырьмя переводчиками.
>
> Когда ночью она подходила к лекционному шалашу, Цой скомандовал «смирно» на четырех языках.
>
> — Товарищ лектор! Слушатели рыбного техникума в составе 261 человека готовы к занятиям.
>
> Она развернула таблицы и диаграммы.

Нансен Ф.

Какую-то часть жизни я прожил в Ленинграде на улице имени великого русского полярного морехода Георгия Яковлевича Седова, который два года, с 1912 по 1914, возглавлял экспедицию к Северному полюсу на «Святом мученике Фоке». Много раньше, лет примерно в 10–12, я прочел роман Жюля Верна о капитане Гаттерасе, ценой невероятных трудностей и лишений поднявшемся выше восемьдесят второго градуса северной широты и достигшем Северного полюса. Надеюсь, два этих факта дают мне право написать несколько строчек еще об одном отважном покорителе Севера — норвежце Фритьофе Нансене.

При жизни этого человека называли современным викингом. Еще будучи юношей, он совершил свою первую северную экспедицию — лыжный переход через материковые льды Гренландии. Кстати, обманчивое название «Гренландия» — «Зеленая страна» — придумано было специально для того, чтобы заманивать туда легковерных людей. Ну вроде как рай на севере, загадочная Ультима Туле, где круглый год лето, на деревьях растут пироги с повидлом и повсюду из зеленой земли бьют веселые фонтанчики алкоголя. Автор выдумки — Эрик Рыжий, в конце X века н. э. открывший этот ледяной остров.

Нансен к числу людей легковерных, конечно, не относился, и цель его похода была не связана с мечтами о земном рае. Он был, во-первых, человек подвига и, во-вторых, — человек науки. Каждую свою полярную экспедицию он тщательно описал и запротоколировал, и эти труды исследователя давно стали памятниками его отваги. Особенно последняя книга — «На „Фраме“ через полярное море», — дающая детальное описание экспедиции 1893-96 гг.

Жизнь таких людей, как Фритьоф Нансен, по сути оправдывает существование самого человечества. Во всяком случае, вселяет надежду, что не все в мире замыкаются исключительно на себя, а есть такие, кто видит новые горизонты и стремится к ним несмотря на трудности и преграды.

«Настоящие сказки» Л. Петрушевской

Если составить список самых смешных книг, изданных в нашей стране за последние двадцать лет, и еще один, только самых грустных, то большинство имен авторов войдет и в тот и в другой.

С. Довлатов, Вен. Ерофеев, Юз Алешковский, Вл. Войнович, Вяч. Пьецух, Б. Вахтин, Евг. Попов…

Сюда же непременно попадет и Л. Петрушевская со своими «Настоящими сказками».

«Нельзя смеяться над больными», — говорит народная мудрость.

«Можно, — отвечает книга Л. Петрушевской, — если больна душа. Если она, как души тех горожан из сказки Евгения Шварца, которых искалечил дракон, — безрукая, безногая, глухонемая, цепная, прожженная или мертвая».

Л. Петрушевская и Евг. Шварц.

Имя нашего великого сказочника вспоминается не случайно, когда читаешь книгу Л. Петрушевской. И вовсе не потому, что формально она продолжает традицию современной сказки. И тем более не по той причине, что вещи и Шварца, и Петрушевской блестяще написаны.

Дело в другом.

А именно — в отношениях авторов и своих героев: какой любовью они их любят, какой ненавистью они их ненавидят.

В сказке всё на виду. «Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь», — писал Шварц в прологе к «Обыкновенному чуду».

Читая «Настоящие сказки» и сравнивая их со сказками Евгения Шварца, видишь, насколько разными голосами говорят авторы.

Шварц — учитель и врач; он учит «как» — лечить душу, убить дракона.

Петрушевская ничему не учит. Она просто ставит диагноз. И уж дело самих больных — лечиться им или жить как есть, с прожженной или дырявой душой.

Это принцип того направления в современной прозе, к которому принадлежит Петрушевская. Она намеренно стоит вне — вне идеологии, вне борьбы: показывает, но не учит.

Сказки ее действительно «настоящие», то есть о настоящем, полны деталей, очень реалистичны, взяты из самой жизни, из темных ее глубин.

В них присутствует инфернальный ужас — вещь для сказки вообще характерная, особенно для сказки народной. В свое время это замечательно подметил А. Платонов и передал в своем «Волшебном кольце».

Если приглядеться внимательно, действуют в ее сказках не люди. Это кукольный театр, и все его персонажи — куклы. Они играют в людей, наряжаются в людские одежды, льется клюквенный сок, который заменяет им кровь, они совершают подлости, которые считают за подвиги, расталкивают других локтями, любят и предают любовь. Словом, действуют примерно как люди. Жестокая сторона жизни для большинства из них привычка и норма. Уязвимость, хрупкость и беззащитность — слова для них почти иностранные.

Но вся эта нарочитая невсамделишность создает атмосферу правды, удивительной достоверности и заставляет думать.

Люди-куклы у Петрушевской — это материализация наших с вами нынешних страхов: страха перед неистребимым хамством, грубой силой, нищенским бытом, жестокостью, бессердечием, неотвратимостью смерти.

Герои этих сказок обречены, затянуты смертельным водоворотом. И лишь волшебное слово автора искусственно, безо всякой логики выносит их на счастливый берег.

Но мы-то знаем, что зло не побеждено, оно просто прикрыто тряпкой с надписью «счастливый конец»; и оттуда, из-за тряпичной ширмы слышатся визг и хохот и довольный голос дракона: «Вранье, вранье. Мои люди очень страшные. Таких больше нигде не найдешь. Моя работа. Я их кроил».

«Неизбежность ненаписанного» А. Битова

Битова всегда открываешь заново.

Вдруг читаешь его стихотворение и вздрагиваешь, чувствуя, как это хорошо:

Ни боли, ни водки ни грамма,
Ни первой, ни третьей вины…
Одна бесконечная мама —
В тридцатых еще, до войны…

Кажется, простые слова, и слышанные вроде бы не однажды — у Тарковского, у Окуджавы, — и все-таки…

Давно, лет, наверное, десять назад, я купил в букинистической лавке «Путешествие к другу детства» 1968 года издания. И на форзаце обнаружил надпись: «Тамара, когда увидишь где-нибудь книгу Андрея Битова, сразу покупай и читай. Лет через 15 книги этого писателя будут читать так же, как читают сейчас Булгакова». Надпись сделана в шестьдесят девятом году. Сейчас Андрей Битов стал почти классиком.

Литературный монтаж — жанр, придуманный, кажется, Вересаевым. «Пушкин в жизни», «Гоголь в жизни». Была еще «Судьба Блока», сработанная так же, по-вересаевски, по принципу монтажа — из кусочков воспоминаний, записок, свидетельств, дневников и т. д.

Но то все были книги о ком-то, не о себе.

Я ничуть не принижаю писателя, взявшегося составить с помощью бумаги и ножниц свою прижизненную биографию. Любая книга любого талантливого писателя по сути своей биографична. А уж про книги Битова и говорить нечего. Но тут — другое, тут рождается новый жанр, и нельзя говорить заранее, что из этого ребеночка выйдет.

«Битов в жизни» — попытка вычленить из старых и новых своих сочинений то, что относится непосредственно к жизни «Я», к развитию себя внутреннего, связав, естественно, с сокровенным течением жизни внешние картины и впечатления. Вычленить, построить цепочку, связать недостающие звенья какими-нибудь архивными справками, древними медицинскими картами, шаткими лесенками стихотворений.

Битов как автор «Неизбежности ненаписанного» — это монтажник-высотник собственного нерукотворного памятника. Жизнь, выстроенная в высоту. Увиденная с высоты — как бывает,

когда взбираешься высоко-высоко, трудно, долго, а потом переводишь дыхание, бросаешь случайный взгляд вниз, и страшно делается, и одновременно весело — дух захватывает, и ты кажешься себе ангелом битв, и небо — вот оно, рядом: воздух, птицы, а внизу маленькая земля, и люди ходят по ней такие маленькие, уютные, вовсе не похожие на себя в жизни. А вниз уже не спуститься, можно только сорваться — в смерть.

Или тебя унесет потоком куда-нибудь к горе Арарат, к Ною, к праведникам, в ковчег, в землю обетованную, которая летает по небу, как летучий сказочный остров, и уже не приземлится вовек.

А там, на этом летучем острове, — те, кого внизу уже с нами нет. Ося Бродский, Сережа Довлатов, Олежка Григорьев. И, конечно же, Александр Сергеевич прогуливается рядышком с Андреем Донатовичем — на одном сюртук по последней моде, на другом — задрипанная лагерная одежка. Где ж им быть, как не здесь. Это их остров — и Бориса Леонидовича, и Анны Андреевны, и —

Ни боли, ни водки ни грамма,
Ни первой, ни третьей вины…
Одна бесконечная мама —
В тридцатых еще, до войны…

Некрасов Н.

> Некрасова я знал хорошо, а лучше бы и не знал. Тяжелый был человек, хотя и не без дарования, если бы не карты, вино, женщины, поджоги и убийства. Без этого и творить не мог. Придет, бывало, в клуб, метнет фальшивую талию, выиграет и сейчас же бежит.
>
> — Не могу, — говорит, — у меня вино, карты, женщины. И все это меня дожидается…

Этот отрывочек из пародии Аркадия Бухова я привел не случайно. Прочитай Некрасов такое при жизни (рассказ Бухова написан в 1928 году), он бы, одно из двух: или вызвал сочинителя на дуэль; или пригласил его в лучший ресторан на Большой Морской и устроил в честь пародиста роскошный ужин с музыкой и шампанским. Потому что Некрасов был человек: а) до обидчивости серьезный; б) понимающий веселую шутку и знающий в этом толк.

Возьмем в руки какой-нибудь прижизненный сборник поэта, хотя бы «Стихотворения Н. Некрасова» издания 1869 года, очень кстати оказавшийся под рукой. Наряду с ныне хрестоматийными («Размышления у парадного подъезда», «Мороз, Красный нос») автор сюда включил и ранние свои, «юмористические», стихи, рядящиеся под записки в стихах петербургского жителя А. Ф. Белопяткина, в которых он описывает столичную жизнь — подробно и со знанием дела. Вот, к примеру, как автор записок отзывается на премьеру оперы Глинки «Руслан и Людмила»:

> Отменно мне понравилась
> Полкана голова:
> Едва в театр уставилась
> И горлом здорова!

А вот какие мысли приходят на ум А. Ф. Белопяткину при созерцании чучела кита, выставлявшегося в апреле 1843 года в специально построенном балагане возле Александровского театра:

> Столь грузное животное
> К нам трудно было ввезть,
> Зато весьма доходное,
> Да и не просит есть.

Комменируя одно из мест поэмы Пушкина «Евгений Онегин», связанное с княгиней Марией Волконской, Владимир Набоков пишет: «Героический отрезок ее (княгини Волконской. — *А.Е.*) жизненного пути воспет Некрасовым в длинной и нудной, недостойной его истинного гения и, увы, бездарной поэме „Русские женщины“, любимом произведении тех читателей, для кого социальность замысла важнее художественного результата».

Хорошо, пусть нудная, недостойная. Но зато и человек был какой — «вино, женщины, поджоги, убийства…» Вот вы, господин Набоков, будь у вас такая яркая биография, сумели бы вы — только честно — создавать одни лишь шедевры?

Немиров М.

Тут недавно приезжал к нам в гости большой корейский вождь Ким Чен Ир, так он, оказывается, среди прочих небесных титулов имеет титул «Леонардо да Винчи нашего времени». Заявляю со всей ответственностью! Леонардо да Винчи нашего времени вовсе не Ким Чен Ир! Леонардо нашего времени — это великий сын тюменского народа поэт-энциклопедист Мирослав Немиров.

Тут и доказательств-то особых не нужно. Достаточно вспомнить гигантский труд, взваленный поэтом Немировым на богатырские свои плечи и несомый им с достоинством и терпением, как когда-то на ноябрьские праздники мы носили плакаты с портретами членов Политбюро. Конечно же, я имею в виду БТЭ — Большую Тюменскую Энциклопедию, составителем, писателем и издателем которой Мирослав Немиров является. Только не подумайте, ради Бога, что эта Энциклопедия — отголосок тех Советских Больших и Малых Энциклопедий, шкафы с которыми до сих пор занимают немало квадратных метров в квартирах увлекающихся кроссвордами соотечественников. БТЭ — это особая Энциклопедия. Я бы даже сказал, БТЭ — это Энциклопедия Духа.

Вот пример, взятый практически наугад, одной из БТЭшных статей:

Авиаотряд Тюменский, ордена Трудового Красного знамени.

Организация людей, как раз и занятых осуществлением этих перевозок на железных птицах, именуемых самолетами, и на железных стрекозах, именуемых вертолетами. История этой организации, графики роста грузо- и пассажироперевозок и т. д. — в следующих выпусках.

Небезызвестный Кузнецов Аркадий (см.), много лет уже являющийся работником этой организации, еще осенью 1996 обещал мне, будучи у меня в гостях, много всякого о ней написать и прислать — и цифры-факты-сведения, и байки, и истории, типа того, как они летали к талибам в Афганистан с гуманитарной помощью, или…, или…, и т. д.

Но — не прислал.

Или типа того, что летчики, когда идут на посадку, сами ужасно боятся. И обычно они, когда выправят курс, и установят все показатели и проч., и когда посадочная, грубо выражаясь, глиссада приобретет уже необратимый характер, когда назад не повернуть, и теперь либо сядет, либо нет — тут они и засаживают по пузырю на брата из горла.

Но главное у поэта Немирова — это стихи.

Вот коротенький отрывок из отзыва на его первый сборник («Некоторые стихотворения, расположенные по алфавиту». СПб.: Красный матрос, 2001). Отзыв, между прочим, написан девушкой — автор отзыва Дуня Смирнова.

Изумительный поэт, настоящий лирик. У Игоря Иртеньева, например, часто бывает очень смешно, но не всегда. Потому что Иртеньев пишет смешно. А Немиров пишет не смешно, а очень даже грустно, но плачешь все-таки от хохота… Жалко только, что стихи невозможно здесь цитировать: там сплошной мат.

Вот и мне тоже очень жалко, что цитировать Немирова невозможно.

Ведь книжки у него, действительно, замечательные.

Ненобелевские премии

Верите ли вы, что кроме Нобелевских премий существуют еще и Ненобелевские? Ненобелевская премия по литературе, медицине, физике, химии и так далее, включая премию мира. Не верите? А зря. Такие премии действительно существуют и вручаются победителям в канун Нового года. И происходит это не где-нибудь в клубе «12 стульев» «Литературной газеты» и не на одесском Привозе, а в Гарвадском университете, в Англии.

Так, к примеру, в 1999 году Ненобелевской премии по литературе удостоился коллективный труд Института британских стандартов по составлению и классификации правильных способов заварки чая. Объем книги-лауреата — 6 страниц. Средний объем романов Гюнтера Грасса, Нобелевского лауреата того же года, — примерно 400 страниц. То есть на каждую ненобелевскую страницу о чае приходится около 70 страниц нобелевского «Жестяного барабана».

Кстати, не в обиду Гюнтеру Грассу, но меня такой показатель радует. Чай — символ дома, семьи, уюта. Словом, тех общечеловеческих ценностей, которые сохраняют мир и делают жизнь теплее. И у планеты, где человека заботит, как правильно заваривать чай, есть будущее.

А в 2003 году Ненобелевскую премию по биологии получил сотрудник Роттердамского музея естественной истории К. Моликер, впервые научно описавший проявление гомосексуальной некрофилии у диких уток. И все потому, что этот голландец не поленился пронаблюдать за погибшим селезнем, с которым в течение более чем одного часа спаривался другой селезень.

Премию же по физике в том же премиальном году вручили группе австралийских исследователей, изучавших усилия, которые необходимо приложить для волочения овцы по различным поверхностям.

Ненобелевскую премию мира 2003 года завоевал некий индиец «за ведение активной жизни после того, как он был официально объявлен мертвым» и «за создание Ассоциации мертвых людей».

Не обошел достойных кандидатов на премию и год 2006-й. Так, например, в области медицины в 2006 году высокой Ненобелевской награды удостоилась американо-израильская группа ученых за публикацию, в которой было предложено новое средство борьбы с икотой, а именно — при помощи массажа прямой кишки.

Так-то вот, господин Нобель! Не только вами жива наука, литература и даже борьба за мир. Есть и кроме вас доброхоты, не дающие завянуть талантам!

Никитин И.

Оказывается, не только люди с красивыми поэтическими фамилиями, вроде Струйского, Жасминова и Коринфского, делали в России поэзию. Делали ее и люди с фамилиями попроще. Козлов, например. Или тот же Иван Никитин. Или Клюев, хотя последний появился на полвека позднее. Важны качество и отклик в потомках. Если ни того, ни другого у поэта в наличии не имеется, тогда уж, назовись он хоть Гениевым, место ему будет только в библиографическом справочнике между Иваном Герасимовым, поэтом-вагоновожатым московского трамвайного парка г. Петрограда, написавшим в порыве патриотизма поэму «Кровавый кайзер», части 1-я, 2-я и 3-я, и каким-нибудь Николаем Гейнрихсеном, прославившим себя поэмой «Андрей Смиренный», изданной за авторский счет в том же 1915 году в городе Нежине.

Слава богу, Иван Никитин место в поэтическом пантеоне имеет твердое, он один из создателей того редкого, чисто русского направления в поэзии, которое многие называют почвенническим. Поэтическое почвенничество не ругательное сочетание слов. В основе его языческая стихия земли, немного охристианенная — немного, ровно настолько, чтобы чувствовать покосившиеся кресты, вырастающие на могилах предков.

Голос поэта Никитина из тех ровнодышащих голосов, которые называют русскими. Он вырастил себе славных наследников — Кольцова, Есенина, Клюева («Где Мей яровчатый, Никитин… туда бреду я, ликом скрытен»).

Никитин ярок — не сусален, а ярок. В его образах много сказочности:

Золотой городок
Вдоль по взморью стоит,
Из серебряных труб
Дым янтарный валит.

И точности:

Пролетит на ночлег
Белый голубь в село.
В синеве — по заре
Загорится крыло.

Без имени Ивана Никитина русскую поэзию не представить.

«Николай Николаевич» Ю. Алешковского

В кромешном мире советского государства быть свободным — дело неблагодарное Свобода — как вещь в себе. Она не постигается разумом соседа по коммунальной кухне. О ней можно только мечтать — сладко, как о грядущем рае, — и ненавидеть пьяницу, подложившего под голову чемоданчик и похрапывающего на ступеньках какой-нибудь московской парадной в вечных странствиях на пути к Курскому вокзалу.

Тонущие островки свободы…

Писатель Банев и запойный интеллигент Веничка. И вор Николай Николаевич, которого свободе обучила Любовь.

В самиздате 70-х повесть Юза Алешковского шла в тройке самых читаемых. С ней соперничали (не претендуя на первенство) только «Гадкие лебеди» и «Москва — Петушки».

Автор назвал «Николая Николаевича» научно-фантастической повестью и поставил это название на заглавном листе.

Такое определение жанра предполагает ситуацию нереальную — космос, по крайней мере, или мытарства гения, задумавшего осчастливить мир какими-нибудь семимильными сапогами.

Спору нет, в повести есть и космос.

Будучи донором спермы, удачливый герой Алешковского мастурбирует в лабораторную пробирку, а его драгоценных «живчиков» подвергают жесткому облучению. Сперму изучают вейсманисты-морганисты биологи, чтобы в будущей экспедиции к звездам отважные дети Земли, совокупляясь без страха, продолжали человеческий род.

Фантастика — видимая ее часть — на этом, пожалуй, кончается. Дальше начинается фантастика другого рода. Вернее, она продолжается, поскольку начало свое берет из благословенных глуповских далей и так тянется — под звон ли колоколов, под бой ли кремлевских курантов — медленно, верно, похохатывая и попинывая дураков, подрезая крылышки умникам и кадя любой власти, которую навязал Господь.

Неуемный гений Лысенко кладет конец безобразию, творящемуся в подотчетной лаборатории. Стеклянную «матку», в которой мучаются «живчики» Николая Николаевича, разбивают в мелкие дребезги. Советская власть торжествует. Вредители морганисты терпят заслуженных крах.

Вот так — обыкновенно и просто — у разбитого корыта науки оказываются герои повести: Влада Юрьевна, бедолаги-биологи и наш Николай Николаевич в том числе.

Он в жизни, конечно, не пропадет. Его профессия вора во все

времена в почете. Но…

Существует такое «но», которое и делает из мелкого человека — великого. Любовь. Из жалости она рождается или из страсти, но она лепит из податливой человеческой глины стойкую неподатливую фигурку — вора Николая Николаевича превращает в человека свободного.

Кто есть герой Алешковского? Кем он был?

Простой трамвайный щипач, вор, «социально близкий», абсолютными категориями не мыслящий. Всемирная история обтекает его стороной. Он никогда не расскажет страстную повесть об Антонии и Клеопатре контролеру пригородной электрички в оплату за безбилетный проезд. Мир для него мал. Он свободно умещается в кармане зазевавшегося пассажира трамвая и в ридикюле дамочки, зачитавшейся любовным романом.

И вдруг…

Он мог плюнуть на все, мог уйти. Что ему, «международному» вору, ученику «международного» вора, какие-то придурки-генетики с их заумью и учеными разговорами. Но есть среди них человек, тихая Влада Юрьевна, в которой он и находит то, чего не нашел ни в одном кармане.

Бедная Влада Юрьевна, женщина и вроде не женщина, несчастливое одинокое существо, не верящее, что способно любить.

Он спасает ее от неверия. Он делает из нее человека. Он дает ей угол, где она может перетерпеть беду. Он сам становится человеком. Он любит — любит по-своему — и находит в любви свободу.

Повесть кончается хорошо. Лабораторию восстанавливают. У «умного» дурака академика отбирают краденый ум. Ученым возвращают их дело. Эксперимент будет продолжен. И к звездам полетят обязательно. И совокупляться будут как надо. Перегонят Америку. Советские солдаты в окопах будут мастурбировать по команде одновременно, и энергия, полученная при оргазме, даст тепло и свет городам. Коммунизм будет построен. Советская власть плюс мастурбация всей страны. И нет места печали.

Нашему Николаю Николаевичу до всего этого дела нет. Он свое главное дело уже сделал. Потому что главное дело — стать человеком свободным.

Носов Н.

Писатель Носов существовал для меня всегда. Особенно мне нравился его Солнечный город. Эта детская утопия a la Кампанелла плюс опасные приключения в мире дремучих трав находчивого доктора Думчева из сказочного романа Брагина сделали меня на долгие годы запойным читателем фантастики.

Каждая книга должна приходить к человеку вовремя. Я видел великовозрастного читателя, который, осилив в свои тридцать с усами «Трёх мушкетеров», недоуменно спрашивал: «Ну и что тут особенного? Зачем я тратил на эту скуку свое золотое время?»

Он прав, этот усатый читатель, — тратил он свое время зря. Тратить его надо было лет двадцать назад.

Сейчас, перелистывая лениво «Незнайку в Солнечном городе», я удивляюсь себе тому, семилетнему, и повторяю вслед за обманувшимся в своих надеждах читателем: «Ну и что тут особенного?» Действительно, по экранам бродит Кинг-Конг, в звездолетах летят «чужие», с обложек на нас кидаются чешуйчатые саблерукие твари, а тут — какой-то агрегат в виде трактора, какие-то домики-мухоморы, какие-то очкастые вундеркинды в коротких пионерских штанах. А потом вспоминаю воздух, которым дышал в те годы. И вопроса как ни бывало. Потому что было, было это особенное, и никуда от него не скроешься. И все эти «почём» и «зачем», пытающиеся перечеркнуть детство, не более чем возрастной прагматизм, болезнь опасная и коварная, кончающаяся порой летальным исходом.

Но главное у Носова, пожалуй, не трилогия о Незнайке. Главное у него — рассказы. «Огурцы», «Фантазеры», «Живая шляпа» — все это помнишь настолько живо, словно бы сочинил сам. Или же это происходило с тобой самим, ну, на худой конец, с приятелем-одноклассником или соседом из квартиры этажом выше. Я и теперь, когда вижу упавшую на пол шапку, смотрю на нее и думаю, когда же она оживет и начнет двигаться. А знаменитое «колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь» из рассказа «Шурик у дедушки» считаю едва ли не вершиной устной народной поэзии и, чего там греха таить, повторяю эти слова всякий раз, когда вижу на Неве рыболова. И заплатки я научился пришивать благодаря писателю Носову, и кашу варить, и на огороде выкорчевывать пни, и много чего другого. И, наверно, не я один. Потому что писатель Носов не какой-то там зануда-учитель, вычерчивающий на доске графики и тычущий унылой указкой в чучело сушеного крокодила. Потому

что он писатель веселый, а значит, и настоящий, и только таким, как он, мы можем доверить детство — свое и своих детей.

Нравы и обычаи народов земли

Ближе всего из нравов и обычаев народов земли для сердца русского человека, конечно же, нравы и обычаи его же, то есть русского человека.

Жил, к примеру, в прошлом один солдат, любивший людей морочить. По прошествии пяти лет, когда служба солдата кончилась, вызывает служивого государь и говорит ему следующие слова: представь мне, говорит, какую-нибудь историю и ступай тогда на четыре стороны, а не расскажешь — не отпущу. Солдату что: раз царь приказал, то рассказывай, никуда не денешься.

Вот вы, говорит солдат, заприте, ваше величество, эту дверь (показывает на дверь) и поставьте при дверях часовых, чтобы те три минуты никого сюда не пускали. Император сделал, как было велено. А в это время на столе стоял самовар, шумя и закипая все более. Вот валит из самовара пар и собирается над столом в облачко. Облако тучнеет и водянеет, и пролился вдруг из него дождь. И столько его тут набралось, что сделалось от дождя озеро. Смотрят государь и солдат и видят — на берегу лодочка. Прыгают они в лодку и направляются прямиком к острову (был там остров). Подъезжают к берегу, и выходит к ним старичок-рыбачок с уловом. Купили они карасика небольшого и возвращаются на лодке обратно. А на берегу уже народу — толпа. Все кричат, волнуются, ропщут, потому что перед ними на берегу обезглавленное мертвое тело. И идет промеж людей обыск — кто отрубленную голову спрятал. Подходят к императору, просят открыть мешок, в котором карась лежит. А там уже не карась, там отрубленная голова, что ищут. Тащат царя на виселицу, уже голову в петлю сунули, а он мотнул башкой напоследок, перед тем как с жизнью проститься, да и носом угодил в блюдце с чаем. Нос обжег, а солдат смеется. Вот такие, мол, у нас нравы.

Еще о нравах. Уже в более поздние времена, чтобы отделить русские национальные нравы от таких же не русских, бытовало характерное выражение «их нравы», особенно популярное в советской журналистской среде (см. журналы «Крокодил», «Огонек», практически любые газеты, тележурнал «Фитиль»).

Теперь обычаи. Знаете такую загадку: «Бедный бросит, богатый носит»? Ответ правильный: носовой платок. В смысле, бедный сморкается себе под ноги, а богатый складывает в платок. Есть у русских и другие обычаи, но обо всех говорить долго. А долго говорить об обычаях — не в обычаях русского человека.

O

«О борьбе КПСС за сплоченность международного коммунистического движения». Доклад М. Суслова на Пленуме ЦК КПСС 14 февраля 1964 года

В Пекине очень мрачная погода,
У нас в Тамбове на заводе перекур.
Мы пишем вам с тамбовского завода,
Любители опасных авантюр…

Не было бы доклада товарища Суслова на февральском Пленуме 1964 года, не было бы и знаменитого письма тамбовских рабочих, озвученного в свое время Владимиром Высоцким. Потому как простому рабочему в общем-то было по фигу, что там происходит в Китае. Главное, чтобы в магазинах продавались пельмени и водка да вовремя выдавалась зарплата.

Китайцы же тогда и вправду нам показали большую фигу. Даже наша атомная бомба на них не подействовала — они назвали ее «бумажным тигром», которым мы сознательно запугиваем народы мира. А так как «мировая война все равно неизбежна» (Мао Дзэдун), то и вообще — плевать нам, то есть им, китайцам, на всё, и на Советский Союз в особенности.

А ведь мы и заводы-то для них строили — Чанчуньский автомобильный, Харбинский электротехнический, Лоянский тракторный и т. д. И специалистов в наших вузах готовили. И песни про вечную дружбу пели — помните?

Русский с китайцем братья навек.
Крепнет единство народов и рас.
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают нас!

И вдруг — на тебе! Были друзья — в одночасье стали враги. Нехорошо это, дорогие товарищи. Но всё равно — мы уверены, грязный замысел китайских руководителей обречен на полный и позорный провал (бурные, продолжительные аплодисменты).

О смешном

В нашей жизни случается столько всего смешного, что порою даже не успеваешь за этим смешным следить. Вот буквально совсем недавно подходит ко мне моя дочь Ульяна и радует меня таким сообщением: «Знаешь, где я буду работать?» — спрашивает она. «Где же?» — интересуюсь я. И она спокойно мне отвечает: «Я буду работать в церкви». — «И кем же ты там будешь работать?» — удивленно задаю я вопрос. «Богом», — отвечает она. Вот так, простенько, но с изюмом, как выражаются герои Аксенова.

А вот еще одна примечательная история, произошедшая в 1990 году в поезде Москва—Ленинград.

Меня тогда Семинар Стругацкого направил в Дубулты на ежегодный Всероссийский семинар молодых фантастов, поэтому историю эту я слышал практически из уст очевидцев, хотя свидетелем, к сожалению, не был.

Мы, питерцы, встречались с группой москвичей и сибиряков, а также с руководителями семинара на Московском вокзале, откуда, уже все вместе, должны были автобусами добираться до Риги. Из руководства в московском поезде ехали Нина Матвеевна Беркова (она была председателем семинара), Виталий Иванович Бугров, ныне, увы, покойные, и здравствующий Геннадий Прашкевич. Ехали они все трое в купе, в котором, как известно, четыре места, и так получилось, что четвертым пассажиром у них оказался негр. Многие же молодые писатели, ехавшие на том же поезде, в лицо не знали никого из руководителей, знали только номер вагона, и поэтому в процессе поездки приходили в соответствующее купе, чтобы доложить председательствующей Берковой, что такой-то на семинар прибыл.

Теперь представьте следующую картину: в купе сидят четверо человек — женщина и трое мужчин, причем один из этих троих негр. Раздается робкий стук в дверь, и внутрь заглядывает очередной начинающий молодой писатель — Василий Лобов. Он рассматривает каждого из присутствующих и так же робко, как и стучался, спрашивает: «Простите, а Беркова Нина Матвеевна кто здесь будет?»

В книгах тоже, конечно, хватает юмора, но проза жизни, которой мы ежедневно дышим, часто бывает смешнее любой из книг.

«Обертон» В. Астафьева

О чем эта книга? О чем все его книги? О жизни, о мире, о справедливости, о добре, о зле, о войне — о том, что зло не естественно, его нет в природе, зло создаем мы сами, а потому и избыть его надобно нам самим. Это главное. Для него это самое главное. И эта книга, и все его книги — о самом главном.

Зло — война, ибо «война отбрасывает людей в бесчувственность, в одномерность жизни… а возвращаться „к себе“, преодолевать „свою войну“ каждому мыслящему человеку приходится в одиночку…»

Зло — забвение, отсутствие памяти, затаптывание, отрицание своего и чужого детства.

Зло — уничтожение жизни во всех ее проявлениях: в рыбах, птицах, деревьях, озерах, земле… («Жалко всё, тебя, себя, людей, это озеро…» — говорит герой повести «Так хочется жить».)

Астафьев — писатель не только милостью божьей, но и человеческим великим трудом. Писатель-труженик, он добился в своем творчестве чуда — единения слова и совести. «Мною двигало и движет сознание, что работа моя хоть малой животворной каплей пополняет море человеческого бытия, и слабая-слабая надежда на то, что пусть немножко, пусть совсем маленько поможет людям убавить мук и страданий или хотя бы избежать тех, которые пережили мы на войне…»

Слог Астафьева — мощный, державинский, достигающий библейского пафоса и спускающийся в глубины земли. Прислушайтесь, и вы услышите голос Иова, скорбный плач Моисея, отчаявшегося в бесконечных скитаниях, усомнившегося в божьем заступничестве.

«Память моя, память, что ты делаешь со мной?!» — начинается «Ода русскому огороду».

И далее, о дорогах памяти:

> Все прямее, все уже твои дороги, все морочней обрез земли, и каждая дальняя вершина чудится часовенкой, сулящей успокоение…

То же и в «Обертоне»:

> Господи!.. Если ты есть, как же допускаешь такое? Неужто люди натворили так много худого и страшного, что ты нас уже не прощаешь, или не поспеваешь за нами, говноедами и зверями, углядеть?

Мир Астафьева — это вся земля; странно и убого выглядит тот ярлык, что навешен был на него любителями литературных кавычек, — «писатель-деревенщик». Проза его — очищающая, излечивающая, всеобщая. Ничего назидательного, никакого наставительного нытья.

> Назидания — они страшнее брани, больнее беспощадных пинков сапожищами на базарных и вокзальных площадях, где «учат» воришек-беспризорников «уму-разуму» туполобые… пьяные мужики.
>
> Если мне удастся внушить хотя бы немногим людям, что жизнь… столь коротка, что бессмысленно, неразумно обрывать ее прежде времени, тратить силы на разрушение, жестокости и убийства… то значит, существование и работа моя и писателей моего поколения были не напрасны.

Это — главная задача писателя. А задача читателя — понять, что это и есть самое главное, на чем строится и чем держится такая короткая и такая бесценная наша жизнь.

Оказывается, что…

…классик русской литературы Лев Николаевич Толстой подкрашивал свою бороду «серебрянкой», а великий англичанин Чарльз Диккенс золотил себе к Рождеству усы;

…с натуры можно не только писать картины, но и вышивать. Об искусстве вышивания с натуры рассказала в своих дневниках возлюбленная Маяковского Лиля Юрьевна Брик, а пересказал Василий Катанян в книге воспоминаний «Прикосновение к идолам»;

…псевдонимом «Платонов» подписывал свои сочинения не только Андрей Климентов, автор «Котлована» и «Чевенгура»; таким же литературным именем в 1918-20 годах пользовался Евгений Замятин, автор запрещенного коммунистическими властями фантастического романа «Мы»;

…Ленин в детстве почти не играл с игрушками — не любил, — и однажды, получив от няни в подарок игрушечную тройку лошадок, спрятался один в комнате и, пока не оторвал всем лошадкам ноги, не успокоился. А король Испании Филипп II, когда был маленький, развлекался тем, что поджаривал на костре живых обезьян, а если обезьян не было, давил пальцами на стекле мух;

…выражение «к штыку приравнять перо» отнюдь не всегда метафора. Пишущий инструмент действительно мог превращаться в холодное оружие. «Цезарь, обороняясь от своих убийц, проткнул руку Кассия своим стилом», — читаем у античного автора. И, между прочим, бандитские стилет и перо — ближайшие родственники орудий писательского ремесла;

…у Сергея Параджанова в домашней библиотеке было всего две книги — довоенное издание «Мойдодыра» и апдайковский «Кентавр» на английском, подписанный и подаренный знаменитому режиссеру не менее знаменитым автором;

…в застойные времена поэту Андрею Вознесенскому долго не разрешали лететь на Северный полюс, боялись, что он там останется навсегда;

…приказом Народного комиссара просвещения РСФСР от 24 декабря 1942 года введено обязательное употребление буквы *ё* в школьной практике;

…Владимир Маяковский первый придумал пить пиво, взявшись за ручку кружки левой рукой, — чтобы свести до минимума контакт с тем участком кружки, к которому чаще всего прикасаются посторонние губы. А еще поэт революции, будучи страстным коллекционером этикеток от винных бутылок, первый

придумал способ смачивать их водой, чтобы они лучше отклеивались;

…Давид Бурлюк, художник и поэт-футурист, прославился не только своими левыми взглядами на искусство. Уже проживая в Америке, он изобрел искусственную челюсть с подсветкой — для удобства принятия пищи в темноте;

…влияние гоголевской «Шинели» на новую русскую литературу сильно преувеличено. Некоторые писатели вышли из горьковской «Матери»;

…под редкой птицей, которая долетит до середины Днепра, великий Гоголь подразумевал обыкновенного попугая. Попугай в тех местах действительно птица редкая;

…писатель Михаил Шолохов свободно переплывал Дон даже в самом широком месте. Правда, в тихую погоду и на моторной лодке;

…историческая веревка, с помощью которой свел счеты с жизнью Сергей Есенин, хранилась одно время у А. Горнфельда, переводчика «Тиля Уленшпигеля». Где находится раритет сейчас, наукой не установлено;

…в Египте не едят крокодилов. Там они считаются священными животными;

…знаменитый философ Людвиг Витгенштейн был агентом Кремля, причем в награду за успехи в шпионской службе Кремль ему предложил кафедру марксизма-ленинизма в Казани;

…в 1963 году в одном из флоридских баров была обнаружена часть архива Хемингуэя, включавшая в себя, кроме прочего, один ранее неизвестный роман. Забывчивый писатель оставил свое хозяйство в сумке на вешалке в раздевалке, и архив провисел там благополучно до начала 60-х годов;

…в журнале «Мурзилка» (№ 8 за 1938 год) вместе с портретом Ежова и стихами Джамбула, клеймящими врагов народа, напечатано знаменитое стихотворение Даниила Хармса «Из дома вышел человек». Причем на рисунке к стихотворению изображены люди с голубыми ромбами на одежде (знаки НКВД), глядящие вслед человеку, исчезающему за деревьями леса;

…цены двух первых изданий поэмы в прозе «Москва — Петушки», вышедших в издательстве «Интербук» в 1990 году, устанавливал самолично автор. Экземпляр поэмы в первом издании стоил 3 рубля 62 коп., во втором — 4 рубля 12 коп.;

…в качестве Вергилия по кругам ада поэту Евгению Евтушенко предложил свои услуги писатель Виктор Пелевин. «Если вы попадете в ад, — пообещал писатель поэту в приватном разговоре по телефону, — то — уверяю вас — исключительно по ошибке, и даю слово: я вас оттуда вытащу»;

…известная детская писательница Зоя Воскресенская, автор рассказов про маленького Володю Ульянова, на самом дела была советской разведчицей, полковником госбезопасности, и настоящая фамилия ее была Рыбкина, а вовсе не Воскресенская. Так-то!

…несколько лет назад исполнилось 300 лет со дня рождения Андрея Битова, Беллы Ахмадулиной, Резо Габриадзе, Юза Алешковского и Михаила Жванецкого вместе взятых;

…тираж французского издания воспоминаний Л. И. Брежнева, которые во Франции абсолютно не пользовались спросом, был скуплен деятелями ВААПа на деньги, вырученные от продажи французского перевода романа Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок», разошедшегося мгновенно. Официально же было заявлено, что Леонид Ильич Брежнев — самый читаемый во Франции русский автор;

…Дмитрий Якубовский, некогда осужденный за кражу раритетов из национальной библиотеки Петербурга, а отсидев, вышедший на свободу, за время отсидки в тагильской колонии успел написать две книги: одну — о местном самоуправлении и другую — о конституционных правах заключенных;

…в Москве, в доме по Армянскому переулку, где когда-то жил Федор Иванович Тютчев, а ныне помещается Российский детский фонд, в 30-е годы была устроена богадельня имени Некрасова. Та самая, которая под видом 2-го дома Старсобеса описана И. Ильфом и Е. Петровым в их знаменитом романе;

…исторический пиджак генерального секретаря (с 1936 по 1941 год) Союза писателей СССР В. П. Ставского, хранящийся как культурная реликвия в историческом музее города Краснодара, на самом деле принадлежал писателю Юрию Либединскому, что удалось выяснить усилиями Краснодарского отделения Общества книголюбов (КООК);

…в 1998 году были выпущены сразу две «Азбуки»: во-первых, это «Азбука секса» Вл. Жириновского и Вл. Юровицкого и, во-вторых, «Новый русский букварь» Е. Метелицы и В. Фоминой, предназначенный специально для новых русских;

…драматург Александр Гладков, автор пьесы «Давным-давно», по которой Эльдар Рязанов поставил «Гусарскую балладу», в своей жизни был осужден дважды. Первый раз — в 1940 году, за кражу раритетов из читального зала Библиотеки им Ленина, и второй раз в начале 50-го сроком на 10 лет — за чтение и распространение русского издания «Майн кампф» Гитлера;

…жертвой стихотворения Маршака про человека рассеянного стал в 1947 году министр кинематографии И. Большаков. Во время просмотра в Кремле фильма «Поезд идет на Восток»

Сталин, увидев сцену с приближающимся к перрону поездом, спросил его: «Это что за остановка?» — «Новосибирск», — ответил министр. «Вот тут я и сойду», — сказал Сталин и ушел из зала;

…Борису Мессереру на юбилей подарили поднос, на котором черной икрой по красной были выложены слова: «Жизнь удалась»;

…«Слово о полку Игореве» написал никто иной как сам князь Игорь в 1198 году, когда вступил на Черниговский престол. Это убедительно доказал В. П. Буйначев, нашедший могилу автора и полуистлевший оригинал текста и описавший всё это в своей книге «Новое прочтение „Слова о полку Игореве“» (М.: Книжный сад, 1998);

…в Петербурге, в частном собрании хранится уникальный экземпляр тульского печатного пряника с текстом книги Брежнева «Целина», глазурованным ручным способом на лицевой стороне выпечки;

…когда поэт Виктор Соснора, будучи на побывке в Америке, обедал вместе с Сергеем Довлатовым в русском ресторане у Вилли Токарева, последний сказал Довлатову: «А дружок-то твой — глухой, слепой, но самый большой шашлык в меню запросто нашёл!..»

…писательницу Татьяну Толстую в Америке принимают за вдову Льва Толстого, и она на это нисколько не обижается;

…Сергей Довлатов ничьих дней рождения не помнил, кроме Колиного и Катиного (сыновнего и дочернего); да и их он помнил лишь потому, что Коля родился в один день с Гитлером, а Катя — с Пушкиным.

Олейников Н.

Макар Свирепый был человек свирепый. Улыбался он очень редко, а если уж улыбался, то было это как вспышка магния и не обходилось без жертв.

Он единственный из русских писателей, кто писал свои знаменитые вещи, никогда не покидая седла. Он даже в транспорте — пароходах, трамваях — передвигался исключительно на коне, и на некоторых чувствительных пассажиров это действовало как слабительное.

Однажды Макара Свирепого послали в командировку в Африку. Он должен был среди местного населения провести подписку на журнал «Еж». Так вот, когда Макару Свирепому, въехавшему верхом на корабль, посоветовали покинуть седло, он на это лишь презрительно усмехнулся и так и плыл до берегов Африки в лошадином стойле.

На самом деле пароход в тот раз до Африки не доехал. В него ударила молния толщиной с бревно, попала прямиком в капитана, и корабль перевернулся, не выдержав. Поэтому Макару Свирепому пришлось до Африки добираться вплавь. И когда два пограничника-негра увидели его вылезающим из воды, то приняли с перепугу за пресловутого полковника Лоуренса, который неделю назад сжег четырнадцать африканских селений.

Потом, когда выяснилось, что Макар не Лоуренс, а Свирепый, над ошибкой, конечно, долго смеялись, но в первый момент Макару было не до веселья. Выбежавшая на крики толпа привязала его пальмовыми ветками к носорогу и с криком: «Пошел назад в Англию!» — погнала по направлению к Британскому королевству.

Понятно, что все кончилось хорошо. Макар Свирепый показал африканцам свой ежовый мандат и быстренько убедил всю Африку, что «Еж» — слово, обозначающее все самое лучшее в мире.

С тех пор все хорошее африканцы называют ежом. И даже сладкие финики они стали называть ежевикой.

Когда свирепый Макар Свирепый появлялся в редакции «Ежа» с очередным своим сочинением, это всегда вызывало переполох и долгие споры и возражения.

Вот, например, принес он как-то товарищам по редакции рассказ «Блошиный учитель». Про то, как Макар Свирепый побывал в театре и познакомился там с одним человеком. Человек был огромного роста и ел апельсин. Вдруг к этому огромному человеку подходит какой-то маленький старичок и

шепотом говорит:

— Алексей Лукич, одолжите мне парочку блох. Я вам во вторник отдам.

А огромный старичку отвечает:

— Парочку? Это можно.

Они выходят ненадолго из зала, потом огромный человек возвращается и усаживается как ни в чем не бывало в кресло.

Зрители, конечно, заволновались, а тощая дама справа даже пересела на другой ряд.

Один Макар Свирепый не испугался. Разговорившись со странной личностью, он выяснил, что блохи у человека не где-нибудь, а в специальной коробочке, потому что он — блошиный учитель и учит этих мелких созданий всяческим акробатическим номерам. Блохи у него ходят по ниточке, качаются на блошиных качелях, играют театральные пьесы. Крохотное с виду создание способно поднимать тяжести, в 80 раз превышающие ее собственный вес.

Когда Макар Свирепый рассказал все это в редакции, среди сотрудников разгорелся спор, можно ли заставить блоху выделывать такие хитрые штуки.

— Можно, — сказал Иван Топорышкин.

— Нельзя, — сказал Сергей Бочков.

— Можно, можно, можно, — сказала тетя Анюта.

— Гав, гав, гав, — сказала собака Пулемет.

Спорили 2 часа 23 минуты и 10 секунд, но так ничего и не решили.

В общем, осталось неясным, правду рассказал Макар Свирепый или все это его глупые выдумки.

Николай Макарович Олейников, он же Макар Свирепый, создавший «Еж» («Ежемесячный журнал»), «Чиж» («Чрезвычайно интересный журнал»), организовавший в конце 20-х годов первые радиопередачи для детей и участвовавший вместе с Евгением Шварцем в создании первых советских детских многосерийных фильмов («Разбудите Леночку», «Леночка и виноград», «На отдыхе»), сам был из донских казаков. Первая газета, в которой он работал литературным редактором, так и называлась — «Красный казак». Газета была стенная, ее печатали на плотной бумаге и расклеивали на тумбах и на заборах. Вряд ли, я думаю, где-нибудь сохранился хотя б один ее экземпляр.

В 1925 году Олейников приезжает в Ленинград, вернее, его привозят сюда Шварц со Слонимским, ездившие на заработки в Кузбасс, где Олейников работал в местном журнале «Забой». Справка, с которой он прибыл на невские берега, сообщала:

Сим удостоверяется, что гр. Олейников Николай Макарович действительно красивый. Дана для поступления в Академию Художеств.

Ни в какую Академию писатель, конечно, поступать и не думал, а устроился работать в журнал «Новый Робинзон», выпускавшийся С. Маршаком и Б. Житковым. Потом он работает с теми же Маршаком и Житковым в Детском отделе Госиздата, располагавшемся на Невском проспекте в доме бывшей компании «Зингер» (ныне «Дом книги»). С 1928-го года Олейников вместе с Шварцем редактируют «Еж» и «Чиж».

Стала хрестоматийной история о том, как молодые авторы Г. Белых и Л. Пантелеев принесли в Детский отдел Госиздата свою повесть «Республика ШКИД».

Первое, что они увидели в коридоре редакции, — это двух бегущих мимо них на четвереньках людей.

«Что вам угодно, юноши?» — спросил один из четвероногих.

«Маршака… Олейникова… Шварца…» — неуверенно ответил им Пантелеев.

Тогда один из стоящих на четвереньках подает писателю руку со словами: «Очень приятно… Олейников!»

Вторым был автор тогда еще не написанных «Дракона», «Тени» и «Обыкновенного чуда».

«График на фиг», — таким плакатом встречал посетителей редакторский кабинет «Ежа». А когда ленинградская кондитерская фабрика имени Самойловой решила выпустить новый сорт конфет и назвать их «Еж» — в честь журнала, — то Олейников по просьбе работников фабрики написал для конфетной обертки следующие стихи:

Утром съев конфету «Еж»,
В восемь вечера помрешь!

Наконец-то мы дошли до стихов.

Сам Олейников поэтом себя никогда не считал. Стихи он начал сочинять уже будучи в Ленинграде, по подначке того же Шварца.

Хотя всегда был активным пропагандистом поэзии. У него была даже собственная коллекция стихотворных произведений, наиболее ему созвучных по духу.

Когда мне было лет семнадцать,
Любил я девочку одну,
Когда мне стало лет под двадцать,

Я прислонил к себе другу…

— вот оттуда характерный образчик.

Сами понимаете, что пародия, литературная мистификация и игра, которыми буквально пропитана стихотворная стихия Олейникова — для автора ни что иное как жизнь. Или, может быть, защита от жизни, от тех ее уродливых проявлений, сводящих человека с ума.

Прочитайте олейниковских «Жука-антисемита», «Блоху мадам Петрову», знаменитого «Таракана», пародирующего лебядкинский стиль, «Муху», «Перемену фамилии». Да хотя бы эти вот строчки из стихотворного «Послания»:

Я страстию опутан, как катушка,
Я быстро вяну сам не свой,
При появлении твоем дрожу, как стружка…
Но ты отрицательно качаешь головой.

Слышится голос Козьмы Пруткова, видятся глубокомысленные морщины на его высоколобом челе.

Известно — чтобы обезопасить себя от пошлости и уродства мира, надо вознести их на пьедестал трагедии. Представить хамоватую тетку Федрой или, скажем, Юдифью. Мелкого уличного подонка — Гарибальди или хотя бы Зорро. Даже обыкновенного докучного таракана сделать венцом творения. Смех развенчивает и уничтожает не хуже, чем пуля или электрический стул. К несчастью, он не спасает автора.

Олейников погиб, как и многие. Арестован в 1937 году, обвинен в контрреволюционной деятельности и расстрелян. Смех кончился, власть унылых людей надвинулась на человека вплотную. Впереди были годы мрака. Погибли его друзья — от болезни Борис Житков, от ареста — Хармс и Введенский.

Та пучина тараканьих страстей, от которой он убегал в стихах, настигла его в жизни и отомстила.

Заканчиваю свой очерк словами, сказанными о Николае Олейникове его другом, Евгением Шварцем:

> Это был человек демонический. Он был умен, силен, а главное — страстен. Со страстью любил он дело, друзей, женщин и — по роковой сущности страсти — так же сильно трезвел и ненавидел, как только что любил… И в страсти и в трезвости своей был он заразителен. И ничего не прощал. Если бы, скажем, слушал он музыку,

то в требовательности своей не простил бы музыканту, что он перелистывает ноты и в этот момент не играет… Был он необыкновенно одарен. Гениален, если говорить смело.

«Орлеанская девственница» Вольтера

Где же те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы?
Где читают Pucelle
И летят под постель
Святцы?

Эту песенку, сложенную на рылеевские слова, пели под клико и гитару Пушкин и его приятели-декабристы. Пушкину повезло, Пушкина царь простил. Для Рылеева и его товарищей песенка закончилась виселицей.

Знаковое слово Pucelle, упомянутое в песенном тексте, означает не что иное, как название одной из самых скандальных, самых заповедных поэм в истории европейской литературы — поэмы «Орлеанская девственница» («La Pucelle d'Orleans»).

Когда Вольтер ее написал и тайно читал друзьям, слух о новом сочинении «смелого и пронырливого поэта» (определение Пушкина. — *А.Е.*) быстренько докатился до тогдашнего министра-хранителя печати. Последний пригрозил поэту Бастилией. Начальник парижской полиции, настроенный по отношению к Вольтеру более милостиво, попробовал образумить сочинителя: «Христианскую религию вам все равно не удастся уничтожить, сколько бы вы ни писали».

«Посмотрим», — ответил Вольтер на это.

На самом деле никакую религию Вольтер не собирался ниспровергать. Мало того, он был сам сторонник религии «просвещенных», верил и всячески поощрял идею «высшего разума», правящего вселенной. Всё же остальное — Христа, Будду, Аллаха — он оставлял для непросвещенной черни в качестве той самой узды, которая держит стадо в повиновении.

«Если бы Бога не было, его надо было бы выдумать», — этот часто повторяемый вольтеровский афоризм именно то и значит, что человек без божества это зверь, и бог для него лучшая клетка.

Мысль разумная и часто применяемая на практике в истории человеческих отношений.

Что же касается какой-то особой безнравственности, якобы присущей поэме, то ее в Вольтеровом сочинении не больше, чем во французских народных сказках в обработке Шарля Перро. И если уж говорить о безнравственности, достаточно вспомнить, что примерно в то же самое время писал свои сочинения

небезызвестный маркиз де Сад, по сравнению с которым Вольтер — робкая овечка, не более.

П

Павлова К.

Лучший портрет поэтессы Каролины Карловны Павловой (урожденной Яниш) я нашел в книге воспоминаний Б. Н. Чичерина «Москва сороковых годов» (М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1929). Он настолько жив, уважителен и вместе с тем саркастичен, что не удержусь, приведу его практически полностью:

> Каролина Карловна была женщина не совсем обыкновенная. При значительной сухости сердца, она имела некоторые блестящие стороны. Она была умна, замечательно образованна, владела многими языками и сама обладала недюжинным литературным талантом. Собственно поэтической струны у нее не было: для этого не доставало внутреннего огня; но она отлично владела стихом, переводила превосходно, а иногда ей удавалось метко и изящно выразить мысль в поэтической форме. Но тщеславия она была непомерного, а такта у нее не было вовсе. Она любила кстати и некстати щеголять своим литературным талантом и рассказывать о впечатлении, которое она производила. Она постоянно читала вслух стихи, и свои и чужие, всегда нараспев и с каким-то диким завыванием, прославленным впоследствии Соболевским в забавной эпиграмме…

Эпиграмма С. Соболевского называется так: «На чтение К. К. Павловой в Обществе любителей российской словесности в мае 1866 г.» Вот она:

> Забыв о милой Каролине,
> О прелести ее стихов,
> Я уезжал вчера ins Grüne
> Послушать майских соловьев,
> А бывшие в собраньи лица
> Единогласно говорят,
> Что эдак воет лишь волчица,
> Когда берут у ней волчат.

Возвращаюсь к воспоминаниям Бориса Чичерина:

> Бестактные ее выходки сдерживались, впрочем, мужем, превосходство ума которого внушало ей

уважение…

Муж Каролины Павловой, Николай Филиппович Павлов, известный беллетрист, автор прозаических книг «Три повести», «Новые повести» и других сочинений, пользовавшихся большим успехом, в 1852 году становится жертвой своей одухотворенной супруги. По возбужденному ею против него делу о растрате имущества Н. Ф. Павлова высылают в Пермь. Ядовитый С. Соболевский и по этому поводу откликается эпиграммой:

Ах, куда ни взглянешь, —
Всё любви могила.
Мужа m-me Яниш
В яму посадила.
Молит эта дама,
Молит все о муже:
Будь ему та яма
Уже, хуже, туже.
В ней его держите
Лет, если возможно,
Хоть бы до десятку,
А там с подорожной
Дальше отошлите:
Пусть его хоть в Вятку,
Коль нельзя в Камчатку.

Вот такие драматические любови бывали в старой писательской среде.

Сама же Каролина Карловна Яниш, благополучно посадив мужа, покинула Россию навеки и жила с того времени за границей, в Дрездене, навестив былую отчизну всего единожды, в 1866 году, отметив свой приезд тем самым душераздирающим завыванием в Обществе любителей российской словесности, о котором упоминалось выше.

Пародия

Пародировать можно все — походку Чаплина, манеры Лайзы Минелли, привычку папы гасить окурок о каблук ботинка ленинградской фабрики «Скороход».

Хорошее и плохое, круглое и квадратное — любой предмет, одушевленный или стремящийся таковым стать, любое действие и явление, любая мелкая летучая тварь, вьющаяся возле нашего тела и стремящаяся выпить остатки соков, питающих наш ослабленный организм, — заслуживают того, чтобы быть осмеянными, как трактует понятие пародирование словарь иностранных слов.

Главное, чтобы сделано это было весело и со вкусом, иначе пародия в лучшем случае превращается в шарж, а в худшем — в грубое обезьянничанье, чреватое скандалом и мордобоем.

Паскаль Б.

Однажды ночью, мучаясь зубной болью, Паскаль, чтобы как-нибудь от нее отвлечься, вспомнил математическую задачу, не решенную на ту пору никем. В ту же ночь он находит ее решение и излечивается от зубной боли. Паскаль не собирается публиковать свои выкладки и пути решения, но его покровитель, герцог де Роаннез, настаивает на этом, причем делает главный упор на то, что публикация работы будет сильным ударом по атеизму. Паскаль упорствует, но в результате соглашается на следующий компромисс: они с герцогом объявляют конкурс, что если кто-нибудь за полтора года найдет решение этой задачи, то победителю вручат шестьдесят пистолей, немалые по тем временам деньги. Решения не нашел никто, и тогда вся призовая сумма пошла на издание математического труда самого Паскаля.

Подобных легендарных историй про знаменитого французского мистика и ученого-математика XVII века много. Паскаль вживую беседовал с Иисусом Христом и оставил после себя запись этой беседы. Чтобы умертвить плоть, Паскаль, подобно житийным отцам-пустынникам, надевал себе на голое тело железный пояс с шипами внутрь и, когда в голову приходила пустая или плотская мысль, ударял себя кулаком по поясу и тело уязвлялось шипами. Ученый боготворил собственную болезненность и считал ее даром Божиим, поскольку она отвлекает от земной суеты. Знаменитые Паскалевы «Мысли» были собраны из отдельных записей, которые вел ученый в промежутках между приступами жутчайшей головной боли.

По сути, фигура Блеза Паскаля обладает всеми чертами святости, необходимыми для причисления великого французского математика к лику святых. Я не знаю католических святцев — может быть, так и есть, и Паскаль действительно поминается в них как святой. Неважно — человек он достойный памяти, и «Мысли» его до сих пор являются лучшей книгой, оставленной нам в наследство.

Пелевин В.

Странная это дама — массовая культура. Ее любят все, но сама она отбирает строго. И ходить у нее в фаворитах получается не у многих. Почему же так подфартило Пелевину? Мода? Да. Но мода не главное. И Букер, который в свое время так и не достался его «Чапаеву», ни при чем. Массовому читателю что Букер, что Антибукер — одна мура: массовый читатель ни о первом, ни о втором не знает.

Может быть — стиль, язык?

Язык у него несложный, во всяком случае — не всегда, так что голову ломать не приходится, а это уже немалый плюс. Но пишут же и хуже Пелевина, однако народными кумирами не становятся. И темы его сочинений — ну странные, но кто же сейчас не пишет странно? Только ленивый.

Читаешь и удивляешься — ведь ничего нового Пелевин литературе не дал, все это было, было — у тех же Борхеса, Кастанеды, Дика, а до них — у старых китайцев. Перенес на русскую почву, дал русские имена, поменял антураж, детали… В чем же тогда секрет его популярности?

Может быть, в том, что Пелевин — первый из нового поколения писателей, принявший и применивший в жизни своей и творчестве один из главных постулатов буддизма: мир, который нас окружает, не более чем иллюзия, наваждение, создание чьей-то фантазии, уродливой ли, прекрасной, но чужой и подчас не созвучной с внутренним нашим «я»? И решивший, вдохновленный идеей, сам стать таким творцом, меняя миры и лица населяющих эти миры существ?

Но по сути, каждый писатель — в той или иной мере буддист, раз строит собственные миры. И массовому читателю до буддийской теории с практикой такое же далекое дело, как до Букера с его антиподом. Хотя в темных уголках подсознания буддизм еще где-нибудь да хоронится как наследие татаро-монгольских времен. Следовательно, Пелевин не нов и в этом?

Вот тут не будем спешить.

Что такое канувшая в небытие эпоха, которую мы называем советской? Во-первых, и пожалуй что в-главных, это идея, которую навязывали нам сверху. Иллюзия, которую творили другие, в которую люди активно или пассивно верили, с которой большинству из них трудно и страшно было расстаться.

Тремя абзацами раньше мелькнуло слово «существ»; внешне оно вроде бы выбивается из контекста фразы: раз лица, так уж лица людей. А «лица существ» — ни слуху не привычно, ни глазу.

Но это не оговорка. Мир, который творили за нас, с точки зрения самих творцов населен был именно существами, а не людьми. Мы не существовали для них в реальности; мы снились своим творцам, как и мир, в котором мы жили.

Однажды, перебирая старые свои записи, я нашел описание сна, который мне когда-то приснился. Звонок, я стою в прихожей нашей бывшей квартиры в хрущевской пятиэтажке. Открываю дверь, на пороге передо мной маршал Жуков и кто-то еще, такой же большой и важный. Мы разговариваем о чем-то, я спрашиваю, мне отвечают, и в какой-то момент я начинаю четко осознавать, что и маршал, и этот кто-то — все это одновременно я сам, превратившийся по законам сна (а может, по его беззаконью) сразу в нескольких персонажей; и голоса, которыми они со мной говорят, тоже принадлежат одному человеку — мне.

И замени я в моем сне Жукова на Чапаева или Фурманова, а хрущевку на берег Урал-реки, поменяются лишь имена и картинки. Если я творец своих снов, то волен делать в них, что хочу.

Так же и те, в чьей иллюзии мы пребывали, одевали нас в выдуманные одежды, переносили в нас свои страхи, свои зависть, ненависть и любовь, награждали, миловали, казнили, посылали на Луну и в Сибирь.

Но сны не вечны, и мифы, бывшие для многих реальностью, однажды рухнули.

Общий, единый сон раздробился на великое множество частных. Мир потек. Иллюзия стала наслаиваться на иллюзию, в глазах рябило, жизнь превратилась в калейдоскоп.

Для людей, уверовавших, что былой, придуманный, мир — реальность, это был жестокий удар. Раньше была гарантированная работа, гарантированная зарплата, жизнь расписана, как уроки в школе: 7-го числа — получка, в 20-х числах — аванс, водку продают до семи, летом отпуск — Крым, Кавказ, шашлыки.

И вдруг — ориентиры потеряны, завтрашний полдень темен, даже вечер сегодняшний непонятно что принесет — или какой-нибудь урод-террорист ухнет бомбу в кабину лифта, или сожгут ларек, где ты пристроился торговать штанами.

Чтобы выжить и не сойти с ума, человеку нужно переродиться заново, вырастить новые нервы и другие глаза. Это сложно. Старикам это почти не под силу. Новый человек — человек молодой. И глаза его — это глаза Пелевина. Реальности не существует, есть игра в создание миров, есть красная глина воображения, из которой лепишь всё что угодно, заполняя пустоту мира.

Вот разгадка его загадки: Пелевин — знамя нового поколения. Новое поколение нашло в нем свои глаза. Он — мессия, провозвестник новой религии — религии Пустоты. Он пишет из книги в книгу один священный для нового человека текст — Евангелие Пустоты. Он уже при жизни оброс легендами одна страннее другой, и многие сомневаются, есть ли в действительности такой человек — Пелевин. Может быть, сам он такая же иллюзия, как и те, в которые нас погружали когда-то? Может быть. Все может быть в мире, который не существует реально.

Первая русская революция 1905–1907 гг.

> Повсюду, согнувшись, шныряют люди с мешками, свертками. Какие-то мышино-юркие, в платках женщины, с одутлыми, картофельными лицами оборванцы. И все это озирается по сторонам, прячется за углы, ныряет, как ящерицы, в темные проходы…
>
> У пакгаузов — нестройный, разорванный гул. Нет-нет да и грохнет, рухнет что-то, поднимется туча пыли. Откуда-то взялись топоры, ломы. Рубят столбы, летит крыша, а те, которые около, — даже не посторонятся: с гиком бросаются в склады, роются, выискивают, отнимают. Кого-то убило крышей. Убило — ну что ж…

Так описывает события первых дней революции 1905 года Евгений Замятин в рассказе «Три дня»: как это делалось в Одессе.

Интеллигенция, особенно творческая, в том числе и процитированный Замятин, восприняли революцию с воодушевлением. Блок в Петербурге ходил по Невскому с красным флагом. Вчерашние противники, социалисты и либералы, верующие и безбожники, Максим Горький и Мережковский, всю ночь перед расстрелом мирной рабочей демонстрации на Дворцовой площади провели вместе, чувствуя свою ответственность за предстоящие события. Дальше ко многим пришло разочарование. Это хорошо видно по замятинскому отрывку. Восставший броненосец «Потемкин» в конце рассказа, по слухам, ушел в Румынию. Победила не революция, а та жадная обывательская толпа, грабившая пакгаузы одесского порта.

«Эта революция явилась генеральной репетицией, без которой победа Октябрьской революции 1917 г. была бы невозможна», — так писалось в учебниках по истории прошлых лет. Действительно, это факт. Как и факт то, что поэт Маяковский, пустил себе пулю в голову, разочарованный тем, чем Октябрьская революция завершилась. Любовная лодка разбилась о быт… Так и красный революционный конь выдохся, забитый кнутами, и был пущен на дешевое мясо для обывателей.

Петр Великий

В истории России до Петра власть фактически была самоцелью, все и вся служили царю, наместнику Бога на земле, царь же лишь осенял народ своей благословляющей дланью.

Петр первый предъявил к себе самому, как царствующей особе, требования государственные.

Обязанности царя, по его словам, сводятся к двум основным делам: первое — к распорядку, внутреннему благоустройству государства; и второе — к обороне, внешней безопасности государства. И самодержавие — лишь средство достижения этих двух целей.

Об этом говорят многочисленные слова Петра, сказанные им по различным поводам.

Так, во время празднования победы по случаю взятия Нарвы в 1704 году Петр говорил царевичу Алексею: «Ты должен любить все, что служит ко благу и чести отечества, не щадить трудов для общего блага; а если советы мои разнесет ветер — я не признаю тебя своим сыном».

Однажды Петр, сажая в землю желуди вдоль петергофской дороги, чтобы когда-нибудь из них поднялись дубы, материал для корабельного строительства, заметил улыбку на устах какого-то знатного господина. Император сказал ему: «Глупый человек, ты думаешь, не дожить мне до матерых дубов? Да я ведь не для себя тружусь, а для будущей пользы государства».

Это — слова, но подтвержденные делами слова.

«Царь-плотник», так презрительно называли его за глаза недоброжелатели. Петр не брезговал быть и плотником, и строителем, и военным. Вникая во все, он лучше видел государственные проблемы, умел различить выход из затруднительных ситуаций и надежнее приходил к победам.

Любые частные интересы он не воспринимал в отрыве от дел государственных. Отсюда его строгая, граничащая с жестокостью позиция по отношению к проворовавшимся чиновникам. Петр вообще не понимал, как это человек может замыкаться в домашнем кругу и не уставать от безделья. «Что вы делаете дома? — спрашивал он иногда окружающих. — Я не знаю, как без дела дома быть».

Он и окружил себя поэтому созвездием людей дела, независимо от их звания и происхождения, а только исключительно в силу их деловых качеств. Так, генерал-полицмейстером новой столицы стал Девиер, начинавший юнгой на португальском корабле. Генерал-прокурор Сената Ягужинский

пас в Литве свиней. Вице-канцлер Шафиров торговал в лавке. Остерман был сыном вестфальского пастора. Меншиков, по легенде, мальчиком торговал в Москве пирогами. И так далее.

И, заметьте, знаменитый афоризм Тютчева: «Россия до Петра — это сплошная панихида, а после Петра — сплошное уголовное дело», — исключает из себя фигуру самого императора.

Это было «до», а то — «после».

И это не потому, что Петр вне насилия и жестокости. Он над этим, как ангел на шпиле Петропавловского собора, благословляющий столицу империи на великие помыслы и дела.

«Песнослов» Н. Клюева

Клюев спешно одергивает у зеркала в распорядительской поддевку и поправляет пятна румян на щеках. Глаза его густо, как у балерины, подведены. Морщинки вокруг умных, холодных глаз сами собой расплываются в деланную сладкую, глуповатую улыбочку.

— Николай Васильевич, скорей!..

— Идуу… — отвечает он нараспев и истово крестится. — Идуу… только что-то боязно, братишечка… — Ничуть ему не «боязно» — Клюев человек бывалый и знает себе цену. Это он просто входит в роль «мужичка-простачка».

Потом степенно выплывает, степенно раскланивается «честному народу» и начинает истово, на о:

Ах ты, птица, птица райская,
Дребезда золотоперая…

Так ехидный Георгий Иванов описывает один из открытых поэтических вечеров «народной школы» Сергея Городецкого.

Искажает, конечно, перевирает, но какой же мемуарист не без этого. Взять хотя бы отчество Клюева, которое не Васильевич, а Алексеевич. Эту, впрочем, трансформацию a la Гоголь автор воспоминаний делает, кажется, для прикола.

Далее в своих мемуарах Г. Иванов рассказывает о том, как Клюев, только что приехавший в Петербург, пригласил будущего мемуариста в «клетушку-комнатушку», которую тот снял на Морской.

Клетушка оказалась номером «Отель де Франс», с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике.

— Маракую малость по-басурманскому, — заметил он мой удивленный взгляд. — Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей…

Такое ироничное описание поэта Клюева сопровождается довольно неожиданным замечанием: «Единственного настоящего

поэта этого жанра Городецкий как раз проглядел. Прочел его рукописи и не обратил внимания. Открыл Клюева „бездушный“ Брюсов».

На самом деле Клюева «открыл» Блок, но это не важно. Важно то, что Клюев действительно поэт настоящий и единственный в своем роде.

Чего стоят хотя бы эти две строчки:

Мы старее стали на пятнадцать
Ржавых осеней, вороньих зим…

Наполненность его стихов цветными образами, неожиданными метафорами, какими-то фантастическими сравнениями настолько плотна и полна, что дух захватывает от такого богатства.

Вот отрывок из стихотворения о Пушкине:

Он в белой букве, в алой строчке,
В фазаньи-пестрой запятой.
Моя душа, как мох на кочке,
Пригрета пушкинской весной.

А это вам уже не золотоперая дребезда.

Пикуль В.

Великий русский художественный мистификатор и музыкальный выдумщик Сергей Курехин в одном из прижизненных интервью на вопрос «Ваше любимое чтение» ответил так:

> Некрасов. По чувству юмора с ним может сравниться только Тарас Шевченко, но юмор у Некрасова более изящный. Также очень люблю Борхеса, Розанова, Шестова. Достоевского люблю за невменяемость и мощную многозначительность. Пикуля не люблю, тяжел для понимания.

Писательская тяжесть — понятие относительное и условное. Для Курехина Пикуль писатель тяжелый, а вот для массового российского читателя 1970-80-х Пикуль писатель стремительный в своей легкости и самый популярный в стране.

Популярности Пикулю добавляла его абсолютная неполиткорректность по отношению к иноверцам и иноземцам, которая даже для власть предержащих казалась чересчур нарочитой и оскорбительной. Уже один из первых его историко-политических романов «Из тупика» (1968) послужил поводом для замалчивания писателя, т. е. вычеркивания имени Пикуля из критических статей и литературных обзоров. Когда же в 1979 году «Наш современник» напечатал под названием «У последней черты» сокращенный вариант романа «Нечистая сила», Пикуль вообще угодил в опалу и был публично объявлен антисемитом и черносотенцем. Он даже был вынужден уехать на остров Були в Балтийском море, чтобы спокойно заниматься там литературной работой под защитой своих друзей моряков. Это произошло после того, как угрозы по телефону реализовались в несколько уличных инцидентов, закончившихся рукоприкладством и мордобитием.

Сам Пикуль считал себя писателем-патриотом и пунктом первым в будущем переустройстве России называл повсеместное введение в ней сухого закона.

Еще он резко отрицательно относился к рок-культуре вообще, а не только к западной.

«Включите телевизор, — говорил писатель в одном из интервью, — и вы увидите лохматых, грязных, развязных молодых людей, дергающихся в роковом экстазе. И эта непристойность наш идеал?»

Вот откуда, кстати, идет нелюбовь к Пикулю Курехина. От

разной музыкальной эстетики.

Пионер Павел Морозов

Из всех людей-символов вчерашней эпохи самым, наверное, печальным следует признать Павлика Морозова, пионера-героя. Действительно, Стаханов рубил себе уголек, Чкалов бороздил небо, Челюскин покорял полюс, один Павлик Морозов прославился не на трудовом фронте, а из-за предательства собственного отца. За что и стал, как царевич Дмитрий, убиенным от руки близкого родственника.

Открываю пионерский журнал 1931 года «Юные ударники» и читаю:

> Нельзя построить социализм, пока в деревне орудуют кулаки, а миллионы крестьян бедняков и середняков в одиночку ведут свои хозяйства. И Ленин указал путь, как переделать хозяйство в деревне: надо устраивать колхозы. Но Ленин знал, что против колхозов пойдут кулаки. Ведь колхозы не дадут кулакам обирать бедноту. И Ленин приказал бороться с кулаками: «Кулаки и мироеды не менее страшные враги, чем капиталисты и помещики. И если кулак останется нетронутым, если мироедов не победим, то неминуемо будут опять царь и капиталист. Кулак — бешеный враг советской власти: миру с ним не бывать».

Ну а дальше пошло-поехало. Вот кусочек из рассказа А. Гусева, напечатанного в том же журнале:

> — На советском свете кулаку не бывать! — сказал Василий.
>
> Коля с удивлением посмотрел на товарища и сказал:
>
> — Здорово, Вася, у тебя получилось! Сказал умно.
>
> Накинув пальтишки, ребята вышли из дома. Коля тащил сверток обоев, а Василий размахивал молотком.
>
> Скоро на стене дома Гаевского сельсовета белел длинный плакат, пересыпанный черными буквами:
>
> НЕ ПУСКАЙ КУЛАКА В СОВЕТ!
>
> Их: Пристукина Ивана, Пристукину Марину, Сорокина Луку, Трескунова Федора… Введенскую Клавдию — как лишенцев в Совет не изберем.
>
> На следующий день вся деревня знала, кого нельзя выбирать и пускать на собрания перевыборов Совета.
>
> Лицо врага было показано.

Читая это лубочное чтиво, сейчас-то мы понимаем, какая человеческая трагедия стояла за всей этой бесовщиной. Трагедия Иванов, Федоров, Марин, трагедия всей русской деревни. Трагедия, переделанная в плакат, — самый главный литературный жанр эпохи победившего сволочизма.

Писарев Д.

Наконец-то я добрался до Писарева. Давно хотел, да все как-то не выпадало случая. Теперь выпал.

Больше всего у Писарева мне нравится его максималистский задор. Этим он перекликается с Маяковским, бросавшим Пушкина с ладьи современности в набежавшую волну революции. Правда, после Маяковский остыл, даже протянул руку покойному дворянину Пушкину (не поменявшему «д» на «т») и пригласил его писать агитки для окон РОСТа. Возможно, Писарев так же остыл бы, но вот только ранняя смерть (в двадцать восемь лет) не дала этого сделать.

> Призывая себе на помощь дикого тунгуза и друга степей — калмыка, Пушкин поступает очень расчетливо и благоразумно, потому что легко может случиться, что более развитые племена российской империи, именно финн и гордый внук славян, в самом непродолжительном времени жестоко обманут честолюбивые и несбыточные надежды искусного версификатора, самовольно надевшего себе на голову венец бессмертия, на который он не имеет никакого законного права.

Это из статьи Писарева про пушкинское стихотворение «Памятник». Согласитесь, ни на грамм конформизма! Между прочим, венец бессмертия Писарев заслужил именно за свои героические попытки сорвать аналогичный венец с Пушкина.

В другом месте Писарев также называет поэта версификатором, на этот раз «легкомысленным, опутанным мелкими предрассудками, погруженным в созерцание мелких личных ощущений и совершенно неспособным анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века».

Вот так — сперва под дых, а после — кулаком в рыло.

Недавно (весной этого, в котором пишу, 2006 года) на очередном писательском отчетно-перевыборном сборище в Доме журналистов (Невский пр., д. 70) один мой знакомый писатель увлеченно рассказывал о своем новом романе, который пишет. Роман этот о Фаддее Булгарине, о его истинном месте на олимпе русской литературы, которое исключительно из-за козней Пушкина бедному Фаддею не дали.

Так что, дорогие мои читатели, не перевелись еще Писаревы

на этом свете. И пока они живы, стоит и стоять будет великая массовая культура, которую мы все лелеем и холим.

«Письма русского путешественника» Н. Карамзина

Об англичанах Карамзин пишет так:

> Рост-биф, биф стекс есть их обыкновенная пища. От того густеет в них кровь; от того делаются они флегматиками, меланхоликами, несносными для самих себя, и не редко самоубийцами… это физическая причина их сплина…
>
> *(Карамзин, «Письма русского путешественника», письмо из Лондона, лето 1790, не датировано).*

Теперь вы понимаете, откуда в стихотворном романе Пушкина и ростбиф окровавленный, и пресловутый онегинский сплин? Да-да, из этих самых «Писем» Карамзина, которыми зачитывались несколько поколений русских, как нынешние дяди и тети засматриваются детективными сериалами.

Николай Михайлович Карамзин практически во всех направлениях своей многообразной творческой деятельности ступал на шаг впереди медлительных своих современников.

Так, он первым стал использовать в изящной литературе неизящное слово «штаны», заменив им французское «панталоны».

Он впервые калькировал с французского и искусственно ввел в употребление оборот «в чистом поле», до него в русской словесности не встречавшийся. Так что все эти псевдонародные «В чистом поле васильки, дальняя дорога…» и прочее в том же духе появились с легкой карамзинской руки в начале 90-х годов XIX века.

Вообще он сделал для языка столько, сколько до него сделал разве что один Ломоносов. Он вдохнул в язык новые здоровые силы, разбудив и Пушкина, и многих других, как когда-то Герцена разбудили декабристы.

Карамзин написал «Историю», которая на тогдашнюю публику подействовала примерно так же, как вышеупомянутые телевизионные сериалы действуют на публику нынешнюю. То есть улицы по выходе в свет восьмитомного исторического опуса пустовали, население сидело по домам и с удивлением узнавало себя самих в своих бородатых предках.

Да и Пушкина Карамзин не только научил новому литературному языку. Он был ангелом-заступником этого юного строптивого дарования, которое наводнило Россию

возмутительными стихами. Когда в апреле 1820 года царь пригрозил сослать Пушкина в Соловецкий монастырь, то, благодаря заступничеству Карамзина, вместо Соловков поэт отправился на юг, под крылышко генерала Инзова.

То есть, подытоживая: что такое есть Николай Михайлович Карамзин. Это реформатор русского языка, эссеист, историк, поэт, романист, человек, определивший стиль и язык целой литературной эпохе и в первую очередь ясну солнышку отечественной словесности Александру Сергеевичу Пушкину.

«Повелитель блох» Э. Т. А. Гофмана

Сергей Александрович Снегов, ныне покойный, в книге своих «Норильских рассказов» излагает примечательную историю своего спасения от рук уголовников в камере пересыльной тюрьмы в 1937 году. По сюжету снеговская история очень напоминает сказки Шахерезады или «Черную стрелу» Стивенсона, то место в романе, где Дик Шелтон рассказывает морякам, обвинившим его в пиратстве, историю про пещеру с сокровищами.

Дело было на пересылке, то есть в пересыльной тюрьме по дороге из Бутырок на Соловки. Снегова, тогда инженера, осужденного по статье 58 (за участие в молодежной антисоветской террористической организации), втолкнули в камеру, на две трети плотно заполненную людьми. Остальное пространство камеры делили между собой четыре вора в законе. Они-то, четверо социально близких, как тогда называли осужденных за уголовные преступления, и правили местный бал. Блатные отбирали у «фраеров» вещи и запасы еды, которые заключенным давали родственники перед этапом. Когда один из них подошел к новичку, только что попавшему в камеру, и потребовал «поделиться», Снегов, молодой и горячий, ответил ему: «Не дам». — «Лады, — ответил блатной. — Даю тебе десять минут. Все притащишь без остатка. Просрочишь — после отбоя придем беседовать». И добавил, уже отходя: «Шанец у тебя есть — просись в другую камеру». То есть своим ответом Снегов фактически подписал себе приговор — потому что остальные сокамерники, политическая 58-я, ни за что не вступились бы за одинокого бунтаря, опасаясь, что им за это дополнительно навесят «создание враждебной организации» со всеми вытекающими из такой формулировки последствиями. Добиваться же перевода в другую камеру, как ехидно посоветовал уголовник, было и того бесполезней.

Время текло к отбою, камера тревожно молчала, и, чтобы как-то себя отвлечь от давящей искусственной тишины, Снегов просит соседа рассказать какую-нибудь историю. Тот писателю отвечает, что книг в камерах не дают и рассказать ему поэтому нечего, и предлагает Сергею Снегову рассказать что-нибудь самому.

Далее цитирую автора:

> Не знаю, почему мне вспомнилась эта удивительная история, странная повесть о Повелителе блох и парне, чем-то похожем на меня самого. Меня окружили видения

— очаровательная принцесса, бестолковый крылатый гений, толстый принц пиявок, блохи, тени, тайные советники. Я видел жестокую дуэль призраков Сваммердама и Левенгука — они ловили один другого в подзорные трубы, прыгали, обожженные беспощадными взглядами, накаленными волшебными стеклами, вскрикивали, снова хватались за убийственные трубы. Я сидел лицом к соседу, но не видел его — крохотный Повелитель блох шептал мне о своих несчастьях, я до слез жалел его. И, погруженный в иной, великолепный мир, я не понял ужаса, вдруг выросшего на лице соседа. Потом я обернулся. Четверо уголовников молча стояли у моих нар…

— Здорово, — сказал один из блатных. — Туго рОман тискаешь!

— Давай еще, — потребовал другой.

Так Повелитель блох сделал самое доброе дело, какое бывает в жизни, — спас человека от смерти.

«Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка

В 1926 году в майском номере «Нового мира» напечатана «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка. Уже в следующем номере редакция публикует покаянное письмо, в котором рвет волосы на своей голове и саму себя обвиняет в политической близорукости.

Повесть рассказывает о том, как героя Гражданской войны, знаменитого советского командарма отзывают в Москву, принудительно кладут на операционный стол и по приказу свыше отправляют в могилу.

Действительно, по Москве в 1925 году поползли слухи о том, что командарм Фрунзе убит по приказу Сталина. Подтверждение тому — известная поговорка тех лет «Фрунзе умер, а лошадь его живет» (переиначенное «Ленин умер, но дело его живет»).

Существует много доводов «за» и «против» подобной версии, но мотивы для политического убийства Фрунзе у Сталина действительно были. Дело в том, что в 1924 году по инициативе Фрунзе, в то время председателя РВС СССР, начальник штаба РККА и начальника Военной академии, была проведена полная реорганизация Красной Армии. Одновременно Фрунзе добился упразднения института политических комиссаров в армии — они были заменены помощниками командиров по политической части без права вмешиваться в командные решения. А в 1925 году Фрунзе произвел ряд перемещений и назначений в командном составе, в результате чего во главе военных округов, корпусов и дивизий оказались военные, подобранные по принципу военной квалификации, но не по принципу коммунистической преданности.

В воспоминаниях Бажанова читаем: «Я спросил у Мехлиса, что думает Сталин об этих назначениях?» — «Что думает Сталин? — переспросил Мехлис. — Ничего хорошего. Посмотри на список: все эти тухачевские, корки, уборевичи, авксентьевские — какие это коммунисты. Все это хорошо для 18 брюмера, а не для Красной Армии».

Кроме повести Пильняка, уже в 60-е годы мотивы смерти легендарного командарма находим в песне А. Галича (написана в соавторстве с Г. Шпаликовым):

У лошади была грудная жаба,
Но лошадь, как известно, не овца!
И лошадь на парады выезжала,
И маршалу про жабу ни словца.

А маршал, бедный, мучился от рака,
Но тоже на парады выезжал,
Он мучился от рака, но однако
Он лошади об этом не сказал…

Правда, у Галича безымянный маршал скорее собирательный образ. В песне он погиб не на операционном столе, а «сгноили» маршала в Соловках.

Не так эффектно, как в повести Пильняка, но зато более типично для предвоенной — и не только — эпохи.

«Поворот реки» А. Дмитриева

Книга Андрея Дмитриева — особая книга. Это книга о несбывшемся настоящем и о призрачном, обманчивом будущем, зовущем из-за поворота реки. Истории, в нее собранные, по сути один ветвящийся в будущее рассказ: судьбы героев, которые нам раскрывает автор, пересекаются, разбегаются, сходятся; рассказ смещается от судьбы к судьбе — чтобы связать странные их изгибы в неразрывное, единое целое. Единство произведений сборника подчеркивается даже географическими реалиями, переходящими из повести в повесть, отзвуками каких-то прошлых событий, повлиявших на события будущие. Прием этот в литературе не нов — достаточно вспомнить Йокнапатофу Фолкнера. И цель, для которой прием используется, понятна. Хнов и его окрестности — как бы малая частица России, в которой отражается Россия большая.

Но все это технические приемы, у каждого писателя они разные, один пишет проще, другой сложнее — кому как нравится. Дело не в этом. Дело в том — как слова, сказанные писателем, проникают в сердца людей. Вот тут-то это «кому как нравится» имеет большое значение.

Любую мысль можно выразить очень коротко. Например, заповедь «не убий» — два слова, коротко и понятно. Зачем, спрашивается, огород городить, окружать эту понятную мысль какими-то действиями и словами? Зачем Льву Толстому понадобилось написать два тома «Войны и мира», чтобы выразить эту простую истину? Или Федору Достоевскому с его «Преступлением и наказанием»? Значит, для чего-то это им было нужно? Голая мысль всего лишь голая мысль, кость, которая не обросла мясом. Кроме нее, должно присутствовать что-то еще. Это как лекарство в облатке. Мысль рождается раньше формы. Мысль — пища для головы. Сердцу хочется другой пищи. Форма, может быть, для мысли не главное. Но для художника это основа основ. Потому что настоящий художник пишет исключительно для сердца читателя.

Сразу же приходит на память конференция в Пушкинском доме из повести «Воскобоев и Елизавета», слова председательствующего Просвирина, сказанные после доклада Зоева, одного из главных героев повествования. «Понятия „талант“, „бездарность“ и „любовь“ пребывают вне науки и обсуждению не подлежат», — говорит председатель, ставя крест на взволнованном выступлении Зоева. И все присутствующие его поддерживают. Маленькая трагедия личности, окруженная

равнодушным безличием. Зоев — один из многих трагических чудаков Дмитриева. А есть еще летчик Воскобоев, у которого отобрали небо. И знакомый его, майор, погибший на настоящей дуэли. И женщина из повести «Поворот реки», которая слышит Голос. И мальчик из той же повести, который идет по воде на зов потерянного отца. Все они люди не состоявшиеся. Замкнутый круг обыденности, из которого они хотят вырваться, трагедия вечного ожидания, кончающегося разочарованием или смертью, — вот тема произведений сборника.

В рассказе Дмитриева «Шаги» есть фраза, принадлежащая одному из героев. «Потому что человек есть загадка», — говорит Сарычев, человек, ради ложного понятия справедливости предавший молодого героя рассказа и его старую мать. Человек есть загадка — наверное, именно это делает жизнь людей такой непредсказуемой и тревожной и, наверное, именно в этом причина вечной неудовлетворенности жизнью. И еще: такое определение человека включает в себя надежду на выход из трагического круга обыденности.

Полежаев А.

Для меня Александр Полежаев это прежде всего книжная закладка с рекламой Главкниготорга выпуска 1955 года. На ней сверху на белом фоне портрет поэта в офицерском мундире, а снизу, уже на красном, каменная стена тюремного каземата с зарешеченной аркой и раскрытая книга с лежащим рядом с ней гусиным пером. Здесь же цитата из Огарева: «Полежаев заканчивает в поэзии первую неудавшуюся битву с самодержавием». Откуда у меня эта закладка, не помню. Лежала, должно быть, заложенная в какой-то книге, купленной мною у букинистов. И не прочитал бы я его, Полежаева, никогда и про закладку эту, наверное, никогда б не вспомнил, если бы не Александр Галич со своей песней.

По рисунку палешанина
Кто-то выткал на ковре
Александра Полежаева
В черной бурке на коне…
Тезка мой, и зависть тайная
Сердце болью горячит,
Зависть тайная — летальная,
Как сказали бы врачи…

Мы пели ее в компаниях под гитару, и имя Александра Полежаева в 70-80-е годы стало символическим именем всех поэтов, раздавленных тоталитарной системой.

Сейчас, перечитывая «Сашку», «Чир-Юрт», «Кремлевский сад», «Белую ночь», «Рассказ Кузьмы», я вижу прежде всего поэта, пристально всматривающегося в мельчайшие подробности жизни, которая его окружает Стихи Полежаева настолько детальны, что ясно видишь уличные картинки Москвы, всех этих купчиков, поигрывающих тросточкой, вельмож, портных, блинников и пирожников, трущихся друг о друга, шалопаев-студентов, не выпускающих из рук стакана, зевающих от Каратыгина и славящих кабаки и бордели.

И еще — из Полежаева вырос Лермонтов. Лермонтовский «Сашка» вышел из студенческой шинели героя одноименной поэмы Полежаева, взяв от него не только название, но и тот вольный, независимый дух, без которого невозможна ни поэзия, ни сама жизнь.

«Похвальное слово глупости» Э. Роттердамского

Начинается книга главного зубоскала эпохи Возрождения с апологии, то есть защиты, жанра, в котором он предает бумаге свои веселые мысли. Не удержусь, чтобы не воспроизвести отрывок:

> Сколько веков тому назад Гомер воспел войну мышей и лягушек, Марон — комара и чесночную закуску, Овидий — орех!.. Главк восхвалял неправосудие… Синесий — лысину, Лукиан — муху и блоху, Апулей — похождения осла, и уже не помню кто — завещание поросенка по имени Грунний Корокотта, о чем упоминает святой Иероним.

Сейчас даже трудно себе представить, что бывали в Европе времена, когда веселое, шутливое слово надо было защищать, что за рассказанный не при тех ушах анекдот можно было запросто загреметь на костер инквизиции и вместо обычного сапога продевать ногу в сапог испанский. Хотя что это я — «трудно себе представить». Все мы, кому нынче «за тридцать», помнят случаи из жизни своих знакомых и знакомых своих знакомых, когда за рассказанный на людях анекдот — ну, конечно, не на костер инквизиции, но ленинградскую прописку можно было потерять точно.

Эразм Роттердамский, как ни странно, был богословом, и уже это дает нам пищу для поучительных размышлений. То есть смех и Бог все-таки вещи совместимые, не правда ль? Кстати, гениальный пример такой идеальной совместимости имеем мы в Гильберте К. Честертоне, авторе несравненно веселых и несравненно религиозных романов, причем и первое, и второе существует под одним переплетом. Основное, что отвращает людей от религиозной идеи, это тот избыток серьезности, который ей сопутствует почти повсеместно. Не знаю уж, как на Востоке, но на Западе и в России так. И будь я православным священником, я бы читал с амвона, кроме традиционной богословской догматики, книжки Зощенко, Аверченко и Юрия Коваля. И думаю, люди чаще приходили бы к вере.

И чтобы завершить эту мысль, а заодно и свой коротенький «эразматический» очерк, процитирую Мартина Лютера, великого религиозного реформатора:

На смертном одре я закажу своим сыновьям читать Эразмовы книги.

Поэзия

Не знаю, редко ли, часто ли читают сейчас стихи. Наверное, кто читал их с юности, продолжает читать и ныне. Глупо и неправильно утверждать, что поэзия делает человека лучше. Мне знакомы десятки людей, не прочитавшие в своей жизни ни одной рифмованной строчки, ну, разве что только в школе, и от этого нисколько не почерствевшие. Я встречался с тысячами людей, что едва заслышав по радио голос симфонического оркестра, скучнели и отключали звук. И при этом были добрыми и отзывчивыми. Только-то и всего, что у каждого, живущего на планете, разнится строй души.

Чтение стихов — это труд. Точно так же как и слушание музыки. Трудятся при этом не руки, трудится при этом душа. Труд физический, по учению Дарвина, сделал из обезьяны человека. Труд душевный вряд ли способен сделать из человека ангела: человека тянет к земле, в небе ему жить одиноко. Но то, что польза от такого труда ничуть не меньше, чем от труда физического, — это для меня аксиома.

Какой должна быть поэзия? Глуповатой, как говорил Пушкин. Глуповатой не значит — глупой. Не как у капитана Голядкина. Чего поэзия не должна? Поэзия не должна учить. Поэзия не должна быть скучной. Поэзия не должна быть угрюмой.

Что же получается в результате? Поэзия должна быть.

Поэзия В. Соловьева

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.

Две эти строчки из Владимира Соловьева поставил Блок эпиграфом к своим «Скифам» Не знаю уж, как может ласкать слух это действительно невероятное по своей дикости слово — лично мне его и произнести-то удается только с третьей попытки, — но о вкусах, как говорится, не спорят. Владимир Соловьев был вообще человек со странностями. Отец его — великий русский историк, в предках Соловьева со стороны матери — великий украинский философ Григорий Сковорода, прочие родственники философа — тоже всё писатели и поэты. Понятно, что при таком окружении ни в портные, ни в извозчики, ни в уличные торговцы квасом человек при всем желании попасть ну никак не может — родственники съедят с потрохами.

Вот и выбрал Соловьев путь мыслителя и поэта. И не просто выбрал, а шел по нему сознательно и со знанием дела. Он был мистиком, ему были видения Девы Софии, три встречи с которой (в Лондоне, в Египте и, кажется, в Пустыньке под Петербургом, имении Соловьевых близ ж/д станции Саблино) им описаны в одноименной поэме (см. «Три встречи»); по ночам его преследовал «злой дух Питер, пророча ему скорую гибель»; в Италии он упал не откуда-нибудь, а с самого Везувия, хорошо еще, что не в кратер. И больше всего на свете Соловьев любил путешествия, философию и пирожные.

В христианстве по-соловьевски западные и восточные мистики вполне мирно уживаются со Христом и светлое будущее человечества представляется как Вселенская церковь, возглавляемая единым первосвященником, «папой». Сам философ за несколько лет до смерти тайно принял в Москве католичество, чем мистически примирил обе церкви — западную и восточную.

Теперь о поэзии Соловьева.

Мне очень нравятся такие соловьевские строки периода его работы над «Историей Теократии»:

От родных многоводных Халдейских равнин,
От нагорных лугов Арамейской земли,
От Харрана, где дожил до поздних седин,
И от Ура, где юные годы текли, —
Не на год лишь один,

Не на много годин,
А на вечные веки уйди.

Мне вообще очень много нравится в поэзии Владимира Соловьева, всегда мощной, всегда живой, правда, не всегда глуповатой, как завещал нам великий Пушкин.

Поэмы Гомера

Как мечта любого актера — сыграть роль Гамлета, так и для переводчика вершина переводческой деятельности — поэмы Гомера. Но если Гамлета можно сыграть неважно — в конце концов даже у актеров талантливых случаются срывы, — то величайший литературный памятник, переведенный кустарным способом и ради прибыли растиражированный издателем, будет выглядеть, как мозоль на теле, и делать больно разборчивому читателю.

Только двум отечественным переводчикам повезло с переложением классика на родной язык — Гнедичу и Жуковскому. Другие до них как-то не дотянули, хотя потратили не год и не два на работу со знаменитым первоисточником. Другие — это Минский и Вересаев. Переводы их вполне крепкие и вполне филологически правильные, но… Вот в этом-то таинственном «но» и заключается великая разница.

И Жуковский, подаривший нам «Одиссею», и Гнедич, перелопативший «Илиаду», — ни тот, ни другой не считали фотографическую точность главным достоинством переводчика. То есть они вообще не считали дословное воспроизведение первоисточника делом нужным. Жуковский утверждал буквально следующее: «Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах — соперник». Соперник, конечно, автору. И перевел-то он Гомера не с древнегреческого — с немецкого. И мелодии-то у него далеки от эллинских. И все же Пушкин назвал не кого-нибудь а Жуковского «гением перевода».

Гнедич же поражает прежде всего своей мощью. Он придумал архаический мир из слов, и мир этот задышал, зажил. Трудно русскому читателю представить себе другую Древнюю Грецию, чем та, которую нафантазировал Гнедич. Да в общем-то и не хочется. То есть представить можно. Но все равно мы будем возвращаться туда, на дикие берега Илиона, где боги помогают живым, а судьба человеческая не более чем игрушка в божественных закулисных играх.

«Поэмы Оссиана» Дж. Макферсона

Кто не слыхал рассказов Оссиана, не пробовал старинного вина, тому советую настоятельно: во-первых, прочитать эту книжку, а во-вторых, немедленно выпить. Причем именно в последовательности, мною указанной, — сначала прочитать, потом выпить.

А то получится, как у пушкинского Онегина, который наверняка не послушался моего совета из будущего и нарушил порядок действий. В результате, когда Ленский «читал, забывшись, между тем отрывки северных поэм», Евгений, его товарищ по деревенским прогулкам, в поэмах этих почти ничего не понял (см. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», глава вторая, строфа XVI).

В действительности никакого Оссиана в природе не существовало. Этот древний северный автор плод фантазии автора более современного, хоть и тоже довольно старого, — англичанина Джеймса Макферсона (XVIII век). Поэмами сочинения Макферсона называются лишь условно. Это «не что иное, как собрание более или менее ритмически выдержанной и лексически примитивной английской прозы» (В. Набоков).

Что касается содержания поэм и их воздействия на читательское сознание, то опять-таки невозможно не удержаться и не украсть у того же Набокова соответствующее моменту определение. Вот оно:

> Короли Морвена, их синие щиты, скрытые горной дымкой в посещаемых духами зарослях вереска, гипнотизирующие повторы смутных, непонятных эпитетов, звучные, отраженные скалистым эхом имена героев, размытые очертания легендарных событий — все это заполняло романтическое сознание туманной магией, столь не похожей на плоские колоннады классического театрального задника в век «хорошего вкуса» и «здравого смысла».

Вообще же поэмы Макферсона оказали такое фантастическое влияние на русскую литературу и жизнь, что примеров, как благотворных, так и сомнительных, можно привести много.

Самый первый, приходящий на ум, это «Руслан и Людмила» Пушкина, куда перекочевали Оссиановы персонажи — Фингал, ставший в поэме Финном, Мойна, превратившаяся в Наину, Рейтамир, переделанный на Ратмира.

И у Жуковского таких персонажей толпы. И Мальвина в «Золотом ключике» тоже вышла из Макферсоновой поэмы.

Это примеры литературные.

Что касается примеров из жизни — пожалуйста, имеются и такие. Самый яркий — это, конечно, всем знакомый «фингал», иначе «синяк под глазом». Выражение ведет начало от Оссианова героя Фингала, отличавшегося воинственностью и вспыльчивостью, результатом которых были частые кровоподтеки на физиономиях у окружающих.

Вот, собственно, у меня и всё. Остальное узнавайте из первоисточника.

«Правдивое комическое жизнеописание Франсиона» Ш. Сореля.

Авантюрный роман Сореля хорош уже одной своей безыскусностью.

> Была глубокая ночь, когда некий старикашка по имени Валентин, держа под мышкой большой узел, вышел из Бургундского замка в халате и красном ночном колпаке…

Одно начало романа, только что процитированное, вызывает у читателя смех. Во всяком случае, у меня — вызывает. Сразу хочется узнать, куда же этот старикашка отправился в такое мрачное время суток, да в придачу еще в ночном колпаке революционного красного цвета, да плюс еще держа под мышкой какой-то непростой узел.

Отправился же он в сухой темный ров, опоясывающий стену замка, с целью совершить там некий колдовской обряд, имеющий своей целью восстановить утраченную мужскую силу, необходимую ему (а старикашка был не кто иной как управитель оного замка), чтобы удовлетворять по ночам свою молодую жену Лорету. И вот, когда все необходимые ритуалы были соблюдены и оставалось только обнять дерево со словами: «Буду я обнимать свою жену так же бойко, как обнимаю я этот вяз», — некто неизвестный навалился на Валентина сзади и крепко привязал его веревками к дереву.

Конечно же, это был пройдоха и плут Франсион, намеренно давший старому рогоносцу такой нелепый совет исключительно для того, чтобы самому позабавиться в эту ночь с женой управителя.

Но самое интересное впереди. Лорета ждет Франсиона, Франсион взбирается по веревочной лестнице к Лорете, но почему-то попадает в объятья к Катрине, которую управитель совсем недавно из милости взял в служанки. Катрина же оказывается вообще не Катрина, а мужчина, переодетый в девушку. Лорета, поджидая любовника, открывает на стук окно, но принимает вместо Франсиона другого, грабителя по имени Оливье. Тот, воспользовавшись ночной темнотой, не противится тому, что его с спутали с Франсионом, и предается любовным утехам с ничего не подозревающей женой управителя. И так далее, и тому подобное.

Одним словом, комедия ошибок. Грубоватая, озорная,

лукавая, данная в замечательном переводе Ярхо, мастера, подарившего отечественному читателю такие литературные уникумы, как комедии Аристофана, «Сатирикон» Петрония и многие другие шедевры.

«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского

«Лет десять тому назад, — пишет художник Владимир Шинкарев в предисловии к книге-альбому с репродукциями своих работ с выставки с характерным названием „Всемирная литература“, — осенним вечером я увидел у метро картонный плакатик, на котором крупным старомодным шрифтом значилось: „Ужасы Достоевского“. Под плакатиком стояла будка с отверстием, куда зритель всовывал голову и наблюдал ужасы. Желающие посмотреть даже образовали небольшую очередь — заплатив 20 копеек, они несколько секунд созерцали что-то и, заметно повеселевшие, отходили. Естественно, я тоже посмотрел. На маленькой сцене без декораций, на фоне нехитрого задника (окно, комод, кровать) стояла деревянная кукла размером со стандартную Барби, одетая в черное платьице и платочек. Угрожающе урча, как самокат, на сцену выдвинулась другая кукла, несущая в руках топор. Доехав до первой куклы, она передернулась и тюкнулась об нее всем туловищем и топором: раздался звук щелбана, и старуха-процентщица (как догадывался любой зритель) резко наклонилась назад, почти коснувшись головой пола. С довольным уханьем Раскольников попятился и покинул сцену».

Вы понимаете, что художник не просто описывает случайно увиденную уличную картинку. Во-первых, она дала ему толчок к написанию галереи образов, почерпнутых из всемирной литературы. Во-вторых, Владимир Шинкарев, будучи человеком синтетического склада ума, за грубой вещевой оболочкой видит идею вещи.

«Любопытно, — продолжает художник, — что если зачарованный зритель не торопился отходить, он видел повторный наезд Раскольникова на восставшую старуху, что содержало намек на некоторую, скажем, „топорность“ приемов Достоевского, неизменность его штампов, но и на „вечное возвращение“ подобных трагедий…»

Далее с темы Достоевского Шинкарев переходит к теме искусства пластического и искусства концептуального, отталкиваясь опять же от кустарного кукольного спектакля:

> Забота о пластической реализации в «Ужасах Достоевского» шла побоку, что свойственно всем концептуальным проектам. Подобные произведения есть

магистральная линия развития современного искусства, с той разницей, что они не так простодушны, менее похожи на откровенный аттракцион, ибо неинтересны, скучны. Именно по этому параметру «Ужасы Достоевского» не тянули на Венецианскую Биеннале — они были понятны прохожим у метро и не нуждались в кураторе и искусствоведе, которые истолковали бы систему умозрительных понятий и отношений, только и принимаемую во внимание при оценке концептуального произведения искусства.

Теперь скажу от себя. Несколько лет назад (пять? шесть?), когда на выходе из метро «Владимирская» в устье улицы Большая Московская открыли памятник Достоевскому, он сразу же стал излюбленным местом сборищ всех окрестных бомжей. Они под Достоевским спят, едят, выпивают, клянчат у прохожих на выпивку, еду и любовь. Наверное, стоит рассматривать этот симбиоз памятника писателю и примагнитившихся к нему униженных и оскорбленных созданий как некий концептуальный акт. Можно даже брать по пятьдесят долларов с иностранцев, которых специальным автобусом следует привозить на площадь и устраивать комментированный показ. Или приставить искусствоведа — из тех самых, «которые истолковали бы систему умозрительных понятий и отношений, только и принимаемую во внимание при оценке концептуального произведения искусства».

Приключенческая литература

Ночь. На улицах небольшого провинциального городка ни души. В одном из домов на окраине города скрипит выходная дверь. В нее проскальзывает темная фигура и, прячась в тени домов, крадется к вокзалу. Через час поезд уносит тринадцатилетнего беглеца из родного города. В сумке у него географический атлас, маршрут до Владивостока, русско-немецкий словарь и девять рублей денег. В А-ме-ри-ку! — отстукивают колеса поезда. Мысли роем летят в сказочную страну прерий и пампасов навстречу бронзоволицым героям Майн-Рида и железным охотникам Купера.

Через неделю в больнице Новосибирска появился новый больной. Его сняли с тормозной площадки товарного поезда, насквозь пронизанного холодным дождем, измученного, еле держащегося на ногах.

Такой рассказ ждал читателя, открывшего 1-й номер журнала «Вокруг света» за 1928 год. Рассказ печальный и, видимо, взят из жизни. Потому что и до революции так же снимали с поездов начитавшихся Майн-Рида подростков.

Далее, вслед за историей несостоявшегося побега в Америку, автор редакционной статьи подводит итог:

> Что ж, — скажет кое-кто из наших читателей, — вред приключенческой литературы ясен. Он будет прав, этот читатель, но прав только частично. Вред приносит буржуазная старая приключенческая литература. Буржуазия создала приключенческую литературу, целиком приспособленную к интересам старого общества. Железные законы капиталистической конкуренции, этой борьбы «всех против всех», требуют в буржуазном обществе людей жестких, изворотливых и не разбирающихся в средствах, — старая приключенческая литература создала культ такого героя. В буржуазном обществе хорошо может жить только богатый, — старая приключенческая литература облагородила борьбу за золото, сделала эту борьбу уделом всех сильных и смелых. Буржуазии передовых стран нужны рынки, нужны колонии, — старая приключенческая литература сделала благородным героем империалиста-завоевателя, порабощающего, уничтожающего и разлагающего целые народы, так называемых «дикарей». Почти вся старая приключенческая литература именно такая — насквозь

лживая, насквозь лицемерная.

Далее автор редакционной статьи на риторический вопрос гипотетического читателя, которому все же нравится приключенческая литература и он ее хочет читать, но не знает, что выбрать, дает ответ: читайте ее в «Вокруг света». Только в «Вокруг света» и в его приложениях печатается правильная приключенческая литература и нигде более. Вот такая в те годы была реклама.

Что же можно сказать по поводу процитированной журнальной передовицы? Читайте приключенческую литературу — старую, новую, все равно какую. Можете даже, начитавшись, как тот мальчишка, бежать в Америку. Все равно дальше границы не убежите, наши пограничники — народ неподкупный.

«Про Чапая»

Сайт Lenta.ru, новости от 20.12.2000: «Художники-митьки Дмитрий Дроздецкий (Москва) и Михаил Сапего (Петербург) предлагают воздвигнуть памятник Чапаеву. По мысли митьков, он должен представлять собой голову Василия Ивановича, плавающую над водой реки Урал, в которой, по официальной версии, утонул летом 1919 года легендарный командарм. Для того же, чтобы оградить голову от воров и птиц, художники придумали специальную охранную систему…»

Неизвестно, что родилось раньше. Мысль о памятнике или эта книжка. Скорее всего, первая. Потому как, по книжной версии, «совсем не утонул Чапай в седом Урале». А переплыл он его, спрятался от беляков в медвежьей берлоге, а после, по совету старого киргиза, поселился на горе Черная Орлица, чтобы «в нужные минуты, когда бедный народ будут буржуи обижать», выручать его из беды.

Ну а коли не утонул Чапай, то и памятник ему, по идее, не нужен, тем более плавающий в реке. Хотя мысль сама по себе интересная. Но, заметим, не оригинальная. Памятник Муму на Москва-реке, Садко на Волхове, Степану Разину на Волге в районе Астрахани, Чижику-Пыжику на Фонтанке (последний, правда, не плавающий, а установленный на плите из гранита в береговой нише) — такие проекты уже имеются и некоторые даже частично реализованы.

«Про Чернышевского, или Как Чернышевский царские загадки отгадывал»

Это книга о бесстрашии. А где бесстрашие, там непременно смутной тенью за левым плечом героя топчется его ничтожество страх. Мы, читатели искушенные психологической литературной традицией, за всяким героическим действием видим буйную игру антиномий. Ангел божий нам говорит: «Из сердца изгони страх. Бог любит правду, за нее и умри». А дьявол шепчет голосом предателя-Троцкого: «Ну на хрен тебе это надо? В лабаз вон красное с утра завезли, иди, покуда другие не разобрали». В этом чертовом глубинном психологизме, где «да» сражается смертным боем с «нет», беда и слава нашей литературы.

В народных же русских сказках, как в японских, и в африканских, и даже в сказках эскимосов Аляски, любая психология отдыхает. В сказке, если ты зарубил старушку, то иди себе преспокойно дальше и не мучайся вопросами совести. Черное в сказке черное, Кощей — тощий, а Иван — умный, хоть и дурак.

То же в сказке про Чернышевского. Суть ее такова. Русский царь решил доказать, насколько господин Чернышевский далек от народа. Для этого он закатил пир и прилюдно загадал Чернышевскому каверзную загадку. А именно: «Почем ноне свинина?» Ну, думает, опростоволосится сейчас господин Чернышевский, не отгадает. Да не на такого напал. Встает Николай Гаврилыч из-за стола, тычет в царя пальцем и говорит: «Ежели свиньи такие, как ты с царицей, то ни почем». Отгадал, одним словом, загадку на свою голову.

Сказка, как положено сказке, разукрашена сказочными картинками. Если где на картинке царь, так не иначе как с грибом-мухомором, который у него то торчмя торчит из кармана, то лежмя положен между графином и рюмочкой. А если где Николай Гаврилович, так без гриба, зато в штанах и ботинках. Проиллюстрировала сказку про Чернышевского художница Ира Васильева, известная под именем Иваси.

«Про шпионов»

Чтобы дать ясное представление об этой маленькой книжке, приведу в полном виде текст «Инструкции», которая ее предваряет.

Для служебного пользования
Инструкция к чтению

Книга, которую вы сейчас держите в руках, рассказывает о реальных событиях, происходивших в реальной жизни с реальными, живыми людьми — бойцами-пограничниками, командирами воинских частей, их женами, колхозниками, курсантами. Жизнь этих людей, как всякого советского человека, честна, открыта, лишена корысти и лицемерия. Они мирно живут, трудятся, защищают рубежи нашей родины. Но есть другой тип людей, им противоположный, — скрытный, злобный, с маской вместо лица, с ножом за пазухой и с пистолетом в кармане, готовыми в любую минуту ударить в спину из-за угла. Имя этих людей — шпионы. Цель настоящей инструкции помочь читателю разобраться в этом типе людей — кто они такие, как, в чем и зачем проникают на территорию нашей родины, нарушая ее священные рубежи. Внимательное чтение инструкции подготовит читателя книги к объективному ее восприятию и даст ему возможность за скупыми газетными строчками безымянных корреспондентов «Красной Звезды» разглядеть те чувства и настроения, с которыми советские люди совершают свой ежедневный подвиг, бдительно охраняя вверенные им участки границы и объекты государственного значения.

1. Кто такие шпионы и чем они отличаются от разведчиков

Шпионами называют людей, которые с нехорошей целью проникают на территорию нашей родины. Наоборот, если наш агент проникает на вражескую территорию, это не шпион, а разведчик. Шпионы — плохие люди. Другое дело — разведчики. Это люди положительные, хорошие. «Разведчик должен уметь сочинять стихи, решать логарифмы, играть в карты, прогуливать собак и уважать старших», — так наставлял своего молодого друга легендарный ловец шпионов и популярнейший герой советской литературы 40-50-х годов майор Пронин.

2. Во что шпион одевается

Главная шпионская одежда — ватник. Он удобен, практичен, нОсок, согревает в холодное время года, в ватнике легко затеряться в толпе советских людей, ватник не прокусываем собакой, он смягчает удары веслом, лопатой (если плашмя) и предотвращает ушибы при падении с крыши или с балкона.

За неимением ватника, если, например, закапывая парашют в землю, враг закапывает по ошибке и ватник, шпионы надевают костюм. Костюм должен быть в клетку, слегка поношенный, с вшитой в воротник ампулой и многочисленными потайными карманами.

В качестве головного убора удобнее всего шляпа. Поля шляпы бросают на лицо тень, кроме того, шляпу удобно использовать для проявки в полевых условиях микропленки, вычерпывания воды из лодки, записывания шпионских сведений, когда потеряна записная книжка. Цвет шляпы враг предпочитает зеленый — под цвет травы и забора, — для лучшей маскировки на местности.

Обувь используется на широкой подошве, для придания стопе устойчивости на неровной почве. Обязательное условие — толстый, полый внутри каблук. Объем полости, и соответственно размер каблука, зависит от количества засыпаемого внутрь порошка, которое в свою очередь зависит от нюха собаки (у разных пород собак острота нюха разная) и числа километрочасов, необходимых, чтобы уйти от преследования, и вычисляется с помощью специальных таблиц.

3. Как шпионы переходят границу

Сухопутную границу удобнее всего переходить на ходулях, для надежности привязав к ним копыта. Копыта лучше всего применять лосиные, можно — оленьи. Коровьи копыта при переходе границы практически не используются. Как правило, крестьяне, населяющие приграничные села, хорошо знают своих коров и с легкостью определяют по следу, своя это корова или чужая.

Иногда пересекают границу с помощью махолёта на ручной тяге. Ни лодочным, ни велосипедным мотором шпионы при перелете не пользуются — из-за шума и запаха бензина.

Морские рубежи нашей родины враги преодолевают вплавь. В том случае, если шпион не умеет плавать, в качестве плавсредства для доставки его в нужную точку используются подводные лодки, называемые на западе субмаринами. Самое

удобное море для перехода границы вплавь — Черное; море это не замерзает, и не надо с помощью пешни или коловорота продалбливать из-под воды лед.

4. Что делают шпионы на территории нашей родины

На территории нашей родины шпионы: а) отравляют колодцы бактериями азиатской холеры; б) подпиливают опоры моста, чтобы поезд из пункта А не пришел в пункт Б; в) добавляют в конфеты яд и угощают ими пионеров и школьников; г) оборудуют подземные заводы и фабрики для производства тайных запасов оружия, а также склады для их складирования на случай будущего вторжения захватчиков (чтобы им не брать с собой лишнего); д) пытаются выкрасть секрет яблока сорта «Рубиновая звезда» (выращено крымскими садоводами-мичуринцами), увеличивающего продолжительность жизни и излечивающего от многих болезней; е) надеются раскрыть главную тайну советского флота — цели, сроки и задачи строительства подводного корабля «Пионер».

Инструкцию составил ст. лейтенант Александр Етоев.

Добавка про художника этой книжки словами матадора В. Курицына: «Которая „Красного матроса“ („Про шпионов“, 2002 год указан) с картинками, и с замечательными, перышка Виктора Тихомирова».

Виктор Тихомиров очень смешной художник — в смысле, не сам смешной, хоть и носит казацкий чуб, а смешные его картинки. Впрочем, на то он и митёк, чтобы смешно рисовать картинки.

Пруст М.

> Вечером у Кальве в обществе Кокто, Вимера и Пупе, принесшего мне автограф Пруста для моей коллекции. В связи с этим Кокто рассказал о своем общении с Прустом. Тот никогда не давал стирать пыль; она лежала «подобно шиншилле» на всех предметах обстановки. При входе домоправительница спрашивала, нет ли у пришедшего с собой цветов, не пользовался ли он духами и не проводил ли время в обществе надушенной женщины. Его видели чаще всего в постели, но одетым, в желтых перчатках, чтобы не грызть ногти. Он тратил много денег, чтобы в доме не работали ремесленники, чей шум ему мешал. Окна никогда не открывались; ночной столик был заставлен лекарствами, ингаляторами, пульверизаторами. Его рафинированность была не без зловещего оттенка: так, он ходил к мяснику и заставлял показывать, «как закалывают теленка».

Эта пространная цитата из парижского дневника Эрнста Юнгера (запись от 17 февраля 1942 года) — очень хорошая иллюстрация к теме «Писатель в жизни». Действительно, когда читаешь классика, то и представляешь его не иначе как неким эфирным духом, у которого на уме лишь одно высокое. А он, оказывается, и к мяснику ходит, и в комнате у него от пыли не продохнуть, и ногти он грызет, как мальчишка, не думая о глистах и инфекции. Хотя, наверное, какой-нибудь Августин Блаженный или Франциск Ассизский и вправду жили так, как пишут о себе в своих сочинениях. Пруст же — нормальный извращенный парижской жизнью писатель, и в книгах у него нормальная извращенная жизнь нормального французского буржуа, а не буколика в духе Лонга, когда Дафнис и Хлоя хоть и любят друг друга, но не знают, что с этой любовью делать.

«Психология бытового шрифта» О. Флоренской

Собственно говоря, эта книга — часть большого проекта «Русский дизайн», над которым автор его, художница Ольга Флоренская, работает уже много лет и который показывается кусками по мере накопления материалов.

Эстетика русского быта — вот важная и огромная тема, кропотливо разрабатываемая художницей. По сути, и «Бестиарий», и «Таксидермия», и предыдущие книги Ольги Флоренской («Русский патент», «Движение в сторону ЙЫЕ», «Русский дизайн», — все выпущены издательством «Митькилибрис») — части большого целого.

Надписи и объявления на стенах и на заборах («RAP — говно», «ПЛЯЖ ЗАКРЫТ ПРОИЗВОДИТСЯ СБРОС ФЕКАЛИЙ»), уличные таблички, вывески («ПОШЫВ ШУБ»), наклейки и этикетки на упаковках («Мочалка банная. Цена 13 коп. Перед применением ошпарить кипятком»), доморощенные политические лозунги и плакаты («ИУДУ ЕЛЬЦИНА К СТЕНКЕ») — словом, все то, мимо чего человек проходит обычно не замечая, глаз художника выхватывает из жизненного потока и, как бабочку энтомолог, аккуратно накалывает на иглу ученого интереса.

Художница исследует буквы, почерки и слова, чтобы через них проникнуть в душу русского человека, загадочную, по распространенному мнению.

> Русские буквы, кажется, созданы для тренировки христианского смирения: скупые движения корявой рабочей руки, согретой дыханием на морозе, — вот рисунок нашей азбуки… Как весело импровизировать в латинице — у нас же лоб всегда в крови. Одна сомнительная радость, что у нас «ЖЭ — похоже на жука»…

Ода русскому бытовому шрифту — вот что такое эта книжка Ольги Флоренской. И одновременно это плач по нему («Осмеянный и оболганный, он исчезнет под напором пронырливых западных граффити — их первые, еще неловкие образцы уже появились в наших дворах»). И надежда на его новое возрождение.

«Путешествия Лемюэля Гулливера» Дж. Свифта

1.

Лучшее из существующих русских изданий «Путешествий Гулливера» — несомненно довоенные издания «Академии». Академического «Гулливера» все должны хорошо помнить по начальным кадрам замечательного фильма Александра Птушко «Новый Гулливер» 1935 года выпуска — фильма, где впервые, пожалуй, в мировой кинематографии живые актеры играли совместно с мультяшными персонажами. Помните, вожатый у пионерского костра открывает одетый в суперобложку маленький томик Свифта? Так вот, это он и был — «Гулливер» издания «Академии», лучшего издания произведения английского классика, выпущенного у нас в России.

Традиционно роман Свифта относят к жанру фантастики.

Виктор Шкловский в одной из своих работ пишет следующее:

> Лучшими фантастическими романами являются романы Свифта — когда уменьшается или увеличивается герой, и, кроме этой фантастики, никакая фантастика уже не допустима. Эта единственно допущенная фантастика становится методом исследования мира заново. Мы изменяем масштаб мира, и то, что кажется нам почетным, становится ироничным. Мы здесь видим не только ревность и любовь женщины, которая стоит вместе с каретой на ладони Гулливера, но мы исследуем и английский парламент, и борьбу Англии с Францией. Рассматривая крохотного Гулливера на руке великана, мы точно так же исследуем войну, нравственность пороха. Здесь фантастичность математична. Поэтому фантастика, допущенная в романе, должна быть минимальна, строго определенна и максимально нагружена.

То есть фантастический элемент, по мысли Шкловского, должен быть соразмерен с задачей, которую ставит перед собой писатель: он не должен заслонять главного. Кстати, далее, в той же самой статье, критик пишет о книге Адамова «Тайна двух океанов»: «Невнятность романа, облегченная условность показа подводного мира заставляет нас считать книгу Адамова

читательской удачей, а не писательской удачей». В случае же «Гулливера» Свифта удача получается обоюдная — и писательская, и читательская.

2.

Великий роман Свифта задуман и написан как пародия на «Робинзона Крузо» Дефо. Даже не так: это была книга, призванная разоблачить перед читателями обманщика Даниэля Дефо, утверждавшего, что все написанное им в романе про Робинзона — правда. Отсюда и приемы романа Свифта, все его гротеск и гипербола, которые должны были, по замыслу автора, показать абсурдность, абсолютную невозможность подобных историй в жизни и полную несостоятельность их сочинителей. Результат вышел для писателя неожиданным. Читатель после выхода «Гулливера» в свет искренне поверил, что описанные в книге события имели место в действительности. Доверчивые читатели поверили даже в летающие по воздуху острова и в страну говорящих лошадей. Это окончательно убедило Свифта в глупости человечества в целом и отдельных его представителей в частности — таких, например, как Дефо. Создатель Гулливера иначе как «безграмотным писакой» создателя Робинзона не называл. Сохранилось множество свидетельств современников о дьявольском характере Свифта, о его иезуитской въедливости, о постоянном желании уязвить, унизить собеседника, представить того в лице окружающих дураком. Слышать это довольно странно, поскольку Лемюэль Гулливер, литературный герой Свифта, в книге представляет собой полную противоположность его автору. Это добрый, отзывчивый человек, сочувствующий бедным, встающий на сторону униженных несправедливой властью, всегда готовый прийти на помощь. То есть явно имеет место быть парадокс, описанный гениальным Стивенсоном в его «Истории доктора Джекиля и мистера Хайда». Ночной Свифт предстает перед нами в жизни, дневной, в образе добряка Гулливера, глядит на нас со страниц романа. Такие вот бывают в литературном мире истории.

Пушкин В.

Пушкин Василий Львович известен, во-первых, как родной дядя Пушкина и, во-вторых, как автор маленькой поэмки в стихах «Опасный сосед». Сочинение это довольно неприличного содержания, действие его происходит в Москве, в борделе, куда Буянов — он и есть опасный сосед поэмы — привозит основного героя, от лица которого ведется рассказ, соблазнив его тем, что в злачном месте появилась свеженькая красотка.

Сюжет прост: они оба приезжают в бордель, сводня кладет глаз на главного героя и уводит его с собой в номер. Только они собираются заняться любовным делом, как на лестнице раздается шум — это опасный сосед, Буянов, устраивает пьяный скандал. На шум в заведение является полиция, и наш герой, оставив часы и деньги, спасается бегством.

Поэма, кроме всего прочего, носит полемический характер. В ней много забавных реалий литературной борьбы между арзамасцами, у которых Василий Пушкин считался «старостой», и шишковистами, членами «Беседы любителей российской словесности», — архаистами и новаторами, как их назвал Тынянов.

Первым дядю Пушкина, Василия Львовича, издал Плетнев, см. у А. С. Пушкина:

> Ты издал дядю моего:
> Творец Опасного соседа
> Достоин очень был того…

Само собой, «Опасный сосед» в это издание не попал. Он был выпущен раньше, отдельно, на средства автора в 1812 г. в Петербурге мизерным тиражом, затем напечатан в Мюнхене в 1815 и переиздан в Лейпциге в 1855 г. В России массовым изданием поэма вышла в 1901 г. Она была популярна чрезвычайно, и ярлык «создатель Буянова» прилип к автору намертво. Так, например, в «Парнасском адрес-календаре, или Росписи чиновных особ, служащих при дворе Феба и в нижних земских судах Геликона, с краткими замечаниями об их жизни и заслугах», шутливом литературном памятнике, составленном в Арзамасском братстве, Василий Львович Пушкин числится служащим «при водяной коммуникации» и «имеет в петлице листочек лавра с надписью „за Буянова“».

А. С. Пушкин считал поэму дяди шедевром, что очень даже

соответствует истине, и даже позаимствовал Буянова в персонажи для своего «Онегина». Баратынский же в одной из эпиграмм утверждает, что Василий Львович заключил сделку с дьяволом, иначе не объяснить единственной несомненной удачи в его, в общем-то, скромном творчестве.

Об истории издания «Стихотворений Василия Пушкина» читаем в «Комментарии к „Евгению Онегину“» В. Набокова:

> Участие Плетнева в этом деле выражалось следующим образом. В 1821 г. Вяземский написал из Московской губернии своему петербургскому корреспонденту Александру Тургеневу и попросил последнего организовать подписку на печатание стихотворений Василия Пушкина. Тургенев медлил, ссылаясь на то, что, поскольку ему «некогда садить цветы в нашей литературе», когда «надобно вырвать терние, да и не оттуда», он перепоручил это предприятие Плетневу. Хлопотами Плетнева было собрано пятьсот рублей; но лишь к концу апреля 1822 г. (отсрочка, которая чуть с ума не свела бедного Василия Пушкина) удалось найти достаточно подписчиков — в основном усилиями добрейшего Вяземского, — чтобы отдать книгу в печать.

Внешний облик Василия Сергеевича блестяще передает Тынянов в романе о Кюхельбекере:

> К адмиралу (П. И. Пущину, деду Ивана Пущина. — *А.Е.*) подходит щеголь в черном фраке и необыкновенном жабо, крепко надушенный и затянутый. Глазки у него живые, чуточку косые, нос птичий, и несмотря на то, что он стянут в рюмочку, у щеголя намечается брюшко.
>
> — Петр Иванович, — говорит он необыкновенно приятным голосом и начинает сыпать в адмирала французскими фразами.
>
> Адмирал терпеть не может ни щеголей, ни французятины и, глядя на щеголя, думает: «Эх, шалбер» (шалберами он зовет всех щеголей); но почет и уважение адмирал любит.
>
> — Вы кого же, Василий Львович, привезли? — спрашивает он благосклонно.
>
> — Племянника. Сергей Львовичева сына…

В эпиграммах Василия Пушкина недоброжелатели называли

Вздоркиным.

А известный эпиграммист А. Писарев написал о нем так:

Стихи ль приятелям читал —
Приятели смеялись,
На дам ли в чтении плевал —
И дамы утирались.

В комментарии к этому месту эпиграммы сообщается: «В. Л. Пушкин, очень любивший читать свои стихи в обществе; при этом Пушкин немилосердно плевался».

Вот такой был человек Пушкин Василий Львович: сочинял стихи, а когда их читал — плевался.

P

Райкин А.

Один человек рассказывает на пляже другому: «Все артисты ну вроде как мы с тобой — купаются, загорают, а Райкин — нет, его весь день не видать, сидит в номере. А как вечер, выходит Райкин в белом костюме, выпивает стакан вина, берет в руки гитару и идет прогуливаться по Ялте. И как увидит, где что не так — стоп! — глянет, кто нагрубил, проворовался или там взятку взял, и пишет сразу же фельетон. И начальник ты или нет, это Райкину нипочем, все равно пишет. Напишет и опять — блям! — по гитаре и идет дальше».

Такие легенды ходили про этого человека при жизни. Само имя его давно сделалось нарицательным. «Ну прямо Райкин», — говорят про остроумного человека, способного рассмешить публику. Великий человек, великий актер, Райкин как бы и не уходил из жизни, а остался в ней навсегда. Стоит закрыть глаза — и сразу видишь его улыбку, слышишь мягкий, негромкий голос — и все это единственное, неповторимое, райкинское, такого в природе больше уже не будет. Он был учителем, как был учителем Чарли Чаплин, — учителем доброты и смелости, трудолюбия и любви к правде.

И еще он — напоминанье каждому из живущих, что в любые трудные и неспокойные времена самое надежное и спасительное лекарство — смех.

Ремизов А.

У «позднего» Алексея Ремизова есть маленький не то рассказ, не то воспоминание, а может, просто написанная как бы взаправду фантазия про магнит Шахматова. В Московской 4-й гимназии, где учился Ремизов, одной из реликвий был исторический магнит Шахматова. Он был отобран учителем у знаменитого русского языковеда, который, будучи гимназистом восьмого класса, выступил оппонентом на защите магистерской диссертации самого А. И. Соболевского и поразил тем самым весь московский ученый мир. Этот отобранный когда-то у чудо-мальчика Шахматова магнит был спрятан в специальном шкафе, ключ от которого хранился у классного наставника Ремизова чуть ли не на шее, как какой-нибудь сказочный золотой ключик. Так вот, юный Алеша Ремизов в первый свой гимназический год (1884-85) выкрал этот магнит из шкафа. На уроке была устроена массовая проверка, всех заставили выпотрошить ранцы и карманы гимназических курток — всех, кроме тихого ученика Ремизова, на которого из-за его внешнего невзрачного вида даже тень подозрения лечь не могла.

В заключение автор делает некое мистическое сближение, пытаясь объяснить, что же означает этот перешедший к нему предмет: «Шахматов всю свою жизнь притягивал слова и, размещая рядами, искал закон сочетания речевых звуков. Я всю мою жизнь притягиваю слова, чтобы на свой лад строить звучащие, воздушные, с бьющимся живым сердцем мои словесные руды».

Кстати, первый свой рассказ со страшным названием «Убийца» Ремизов сочинил в тот же год, когда похитил магнит. Первый свой роман «Пруд» Ремизов пишет в Вологде, в ссылке в 1901–1902 гг. Тогда же и там же, в Вологде, Ремизов организует свое первое тайное «обезьянье» общество, называвшееся, правда, еще не Обезьяньей великой вольной палатой, а ССА — Союзом свободных алкоголиков. В Союз входили такие небезызвестные исторические фигуры, как П. Щеголев, Б. Савинков, Н. Бердяев, И. Каляев, А. Луначарский и др. Ну а настоящий Обезвелволпал учредился в 1907 году, но это уже отдельная история, рассказывать которую можно долго.

Романов П.

В конце двадцатых годов прошлого века Пантелеймон Романов выпустил два собрания своих сочинений — восьмитомное в 1927 году и двенадцатитомное в 1929-м. Это был пик его популярности, впрочем, как и популярности Михаила Зощенко, сотоварища Пантелеймона Романова по юмористическому литературному цеху.

Умение писать смешно — наверное, прирожденный дар, и не каждому писателю он дается. Это все равно что излагать анекдот. Устно его расскажет даже заика, и смешно получится практически у любого рассказчика. Но стоит коротенькую историю перенести на бумагу, как смех куда-то теряется, будто его и не было вовсе. Главный тут секрет — интонация. Перенести разговорную интонацию в текст рассказика — это замечательное умение.

Писатель Пантелеймон Романов этим умением владел вполне. Далеко за примером ходить не надо. Вот короткий рассказ «Порядок». Сюжет прост: некий человек едет с заработков к себе в деревню. Дома у него больная жена, сам он мучается катаром желудка, но тем не менее по дороге домой упрямо сходит на каждой станции и выпивает по рюмке водки. А после жалуется студенту-попутчику:

> — Это прямо сил никаких нет, — не берет да и только, — сказал он.
>
> — Что не берет? — спросил студент.
>
> — Не пьянею отчего-то. На каждой станции прикладываюсь, и хоть бы что… Вот наказал бог!
>
> — А зачем нужно-то?
>
> — Да домой еду, — ответил рабочий. — Ведь у нас народ какой… ежели ты, скажем, человек работящий, а домой приехал трезвый, тихо, спокойно, со станции пришел пешочком, то тебе грош цена, никакого уважения. А ежели ты нализался до положения, гостинцев кому нужно и кому не нужно привез, да сам на извозчике приехал, тебе — почет и всякое уважение…

В конце рассказа человеку все-таки повезло. На перрон он сошел, шатаясь и горланя пьяным голосом песни. «Чей такой?» — спрашивают мужики на станции. «Семена Фролова из слободки». — «Здорово живет. Ах, сукин сын, погляди, что выделывает!» — «Вот это не даром отец с матерью растили. Сейчас приедет домой — и себе удовольствие и другим радость. А

тут гнешь-гнешь спину… Тьфу!»

Тут, собственно говоря, и комментарий-то никакой не нужен.

«Русский школьный фольклор»

В одной семье жутко любили играть в карты. Купили они как-то новую колоду, сели играть, а пиковая дама возьми да и подмигни сначала папе, а потом маме. Казалось бы, ничего особенного — подмигнула и подмигнула, но родители в ту же ночь исчезли. Их дочка — назовем ее Маша — проснулась и первым делом за карты, такая была в доме привычка. В других семьях сначала моются, чистят зубы, завтракают, а у них, пока не сыграют партию в дурачка, даже думать ни о чём не желают. Маша ждет одна за столом, для разминки раскладывает пасьянсы, а родителей нет и нет. Она начала волноваться, а тут еще пиковая дама ей из колоды подмигивает: жди, мол, доченька, жди, состаришься покуда дождешься. Вызвала тогда Маша милицию, та приехала, девочка им всё рассказала. Милиция засела в засаде. И вот, когда часы пробили двенадцать, стена внезапно открылась, оттуда выскочила Пиковая дама, схватила девочку и потащила с собой. Милиция бросилась за Пиковой дамой, но не успела. Стена закрылась, осталась лишь небольшая дырочка размером с двухкопеечную монету. Милиция посмотрела в дырочку и увидела такую картину: громадный стол, на столе большущий графин, наполненный человеческой кровью, рядом блюдо с человеческим мясом. А Пиковая дама сидит за этим столом, ест человеческое мясо — и кровью запивает. Разломала тогда милиция стену, схватила Пиковую даму и посадила в тюрьму. А девочку наградили почетной грамотой и путевкой в пионерлагерь «Артек».

Самое удивительное — всё в этой истории правда, от первого до последнего слова. Мой знакомый капитан милиции Клюквин (в то время еще сержант) сам лично участвовал в операции по захвату Пиковой дамы, и, как он впоследствии вспоминал, на самом деле все происходило много драматичнее и страшнее.

Жизнь, к сожалению, идет на шаг впереди любого романа ужаса. Сборник «Русский школьный фольклор» — жестокое тому подтверждение. Правдивость его безупречна, всё здесь взято из жизни и основано на действительных фактах. И приведенный выше рассказ о девочке Маше, и многочисленные истории про черную и красную руку, серую табуретку, синенький скромный платочек, желтую подводную лодку и зеленого попугая Кешу. Всё это подлинные свидетельства, увиденные и услышанные глазами и ушами самих участников и оформленные в виде литературных текстов.

C

«Сага о Греттире»

В «Саге о Греттире» есть одно удивительное по выразительности место, которое я очень люблю. Вот оно:

> Так идет осень, и остаются три недели до начала зимы. Тогда старуха попросила отвезти ее к морю… Сделали, как она просила. И, выйдя к морю, она заковыляла вдоль берега, как будто ей кто показывал дорогу. На пути у нее лежала большая коряга… Она взглянула на нее и попросила перевернуть. Снизу коряга была как бы обуглена и обтерта. Она велела отколоть щепочку с гладкого места. Потом взяла нож, вырезала на корне руны, окрасила их своей кровью и сказала над ними заклинанья. Она обошла корягу, пятясь задом, и нашептала над ней много колдовских слов. После этого она велела столкнуть корягу в море и заговорила ее, чтобы плыла она к Скале Острову, Греттиру на погибель… Ветер дул с моря, но старухина коряга поплыла против ветра и быстрее, чем можно было ждать.

Читаешь этот отрывок и ясно представляешь себе сцену на берегу. И дальше ясно видишь это плывущее по черной воде зло, облеченное в прогнившее дерево, направляющееся «к Скале Острову, Греттиру на погибель».

Старые исландские саги много проще и одновременно ярче, насыщеннее, правдивее и пронзительнее бесконечных фэнтезийных писаний, переполнивших современный литературный рынок. Собственно говоря, жанр фэнтези и отпочковался от них, от этих старых северных саг. Расцвел и потихонечку увядает, плодя безвкусные искусственные гибриды. Сами же саги вечны. Они не только литературные памятники. Они живут своей мудрой жизнью и делятся этой мудростью с нами. Этим они и ценны.

Санта-Клаус

Знаете ли вы, как справляется Санта-Клаус с возложенной на него задачей — развезти в Новый год подарки и тихонечко их спрятать под елкой в новогоднюю волшебную ночь? Ведь подумайте только: на нашей родной планете более шести миллиардов человек населения, одних детей около миллиарда, и каждый в новогоднюю ночь ждет подарка. Невозможно, не управляя скоростью движения времени, охватить такую прорву народа. Ну так вот: для того чтобы повсюду успеть, Санта-Клаус использует так называемые обезьяньи часы-клепсидры. Они ему помогают задержать течение времени и даже повернуть его вспять, когда это особо необходимо.

Почему эти часы обезьяньи? Сейчас объясню. Способ измерения времени был придуман в Древнем Египте. Помогли в этом важном деле священные храмовые обезьяны гамадрилы, которые в древние времена считались человеку роднёй. Читаем у П. Флоренского («Философия культа», М.: Мысль, 2004, стр. 90), который в свою очередь цитирует Гораполлона по греческому переводу Филиппа:

> Египтяне у этого животного наблюдали поразительную правильность в мочеиспускании: гамадрил, по мнению египтян, мочится каждый час, и так равномерно, что египтяне были наведены этим явлением на изобретение клепсидров (водяных часов) и на разделение дня и ночи на двенадцать равных частей. Трисмегист, когда был в Египте, своими глазами убедился в том, что гамадрил в течение дня мочится двенадцать раз в правильные промежутки времени, и это ему дало мысль устроить прибор, который искусственно выпускает воду совершенно равномерно, и потому и явилось разделение дня на двенадцать часов.

Тот же Гермес Трисмегист усовершенствовал свое изобретение, добавив в него механизм управления течением времени, т. е. создал первую в мире машину времени. Она-то и перешла в наследство доброму Санта-Клаусу на радость людям и — особенно — нашим детям.

«Сатиры» Саши Черного

Что мне больше всего нравится в этом поэте, так это его фамилия. Мне вообще нравятся поэтические фамилии, сделанные из цветовой гаммы. Андрей Белый, Василиск Гнедов, Борис Рыжий, Серафим Голубой. Это я, конечно, шучу. Саша Черный поэт хороший не только своей фамилией. Сатирик, лирик, автор замечательных «Солдатских сказок» и «Фокса Микки», — за что бы Саша Черный ни взялся, всё у него ладилось и выходило на славу. Я, когда работал такелажником в Эрмитаже, часто, наблюдая за публикой в залах, повторял строчки из его стихотворения «Стилисты»:

«Эти вазы, милый Филя,
Ионического стиля!»
— «Брось, Петруша! Стиль дорийский
Слишком явно в них сквозит…»

Я взглянул: лицо у Фили
Было пробкового стиля,
А из галстука Петруши
Бил в глаза армейский стиль.

А еще мне очень нравится:

Утро. В парке — песнь кукушкина.
Заперт сельтерский киоск.
Рядом — памятничек Пушкина,
У подножья — пьяный в лоск…

А еще… Впрочем этого поэта цитировать можно долго. Он всегда был актуален и современен и остается таковым по сей день. Это свойство хорошей литературы — быть востребованной во все времена, независимо от года создания. А может быть, это свойство общества, которое, что вчера, что сегодня, — не меняется, хоть ты лопни.

Сведенборг Э.

Вот список многочисленных интересов знаменитого шведа Эммануила Сведенборга, кроме, разумеется, основного — практического постижения Бога:

> В Лондоне еще юношей он выучился на переплетчика, столяра, часовщика, наладил изготовление линз и научного инструментария. Еще он рисовал карты для глобусов. Кроме того, он занимался разными естественными науками, алгеброй и новой астрономией Ньютона, с которым хотел пообщаться, но знакомство не состоялось. Он был практик-изобретатель. Он предвосхитил небулярную гипотезу Канта—Лапласа, спроектировал летательный, а также подводный аппарат, предназначенный для военных нужд. Ему мы обязаны способом измерения долгот и трактатом о диаметре Луны. Около 1716 года он затеял издавать в Упсале научный журнал, который красиво назвал «Гиперборейский Дедал», и издавал его двадцать лет. В 1717 году отвращение к занятиям сугубо умозрительного свойства вынудило его отказаться от предложенной королем кафедры астрономии. Во время дерзких, ставших легендарными, войн Карла XII он служил военным инженером. Он разработал и создал приспособление для перемещения кораблей волоком на расстояние более четырнадцати миль. В 1734 году в Саксонии вышли три его тома «Философских и минералогических сочинений». Он писал добротные латинские гекзаметры, и английская литература привлекала его силой воображения. Если бы он не посвятил себя мистике, он стал бы знаменитым ученым. Как Декарт, он хотел найти то место, в котором душа соединяется с телом…

Этот перечень принадлежит аргентинцу Борхесу, а взят он из предисловия к самой знаменитой книге Сведенборга «О небесах, о мире духов и об аде», несколько лет назад переизданной издательством «Амфора».

Что же вдруг такое произошло, отчего блистательный практический ум Сведенборга переклинило на занятия мистикой? Вот что пишет об этом Борхес:

Главное событие его жизни случилось в Лондоне, апрельской ночью 1745 года. Сам Сведенборг назвал его откровением. Ему предшествовали сны, молитвы, периоды неуверенности и воздержания, и, что наиболее характерно, кропотливый научный и философский труд. Какой-то незнакомец молчаливо шел за ним по лондонской улице, как он выглядел, нам неизвестно, потом вдруг зашел к нему в комнату и сказал, что он Бог. Он прямо возложил на него миссию открыть впавшим в грех, неверие, заблуждения людям утраченную Иисусову веру. Он объявил ему, что дух его побывает в Раю и Аду и сможет поговорить с демонами, ангелами и мертвыми.

Результатом этих посещений адских бездн и райских высот и бесед с их обитателями и явились сочинения шведского мистика.

Семиотика

Сфера семиотики включает в себя столько всевозможных явлений жизни, что порой непонятно: данный, конкретный факт — проекция ли он прошлого в настоящее или это нечто, рождающееся всякий раз заново?

Вот, к примеру, кофе в постель. Причуда ли это моды, т. е. вещь, которая переходит из века в век, или же такая привычка организуется у человека естественно? Лично я в таком явлении, как «кофе в постель», вижу скорее проявление «комплекса раба» в человеке, чем его действительное желание. Помните, как в «Сатириконе» Петрония вчерашний раб Трималхион, желая показать, что он тоже не лыком шит, закатывает роскошный пир. Или — правда, в ином контексте, — фолкнеровское описание особняка Сноупсов, где внешне все выглядит очень богато, а на деле золото — лишь выкрашенная в золотой цвет дешевка. Примерно такого же порядка и «кофе в постель»: когда расправившееся с аристократией революционное государство постепенно обуржуазилось и в карикатурном виде стало перенимать манеры своих вчерашних хозяев.

Теперь рассмотрим с точки зрения семиотики такое распространеннейшее явление, как выезд на шашлыки. Я, к примеру, терпеть не могу жареное мясо на вертеле, но никогда от подобных поездок за город не отказывался. И всякий раз, впихивая в себя полусырое, подгорелое мясо, удивлялся: ну что в этом привлекательного? А потом понял: не в мясе дело. Просто выезжающий на природу человек бессознательно воспроизводит в себе настоящем того неандертальца (или питекантропа? Я не специалист, не знаю), которым когда-то был.

Короче: да здравствует семиотика, наука помогающая нам заглянуть в себя и ужаснуться, увидев в зеркале жуткую клыкастую рожу.

«Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею» И. Мятлева

Иван Мятлев был человеком нрава шутливого. Он даже деловые записки умудрялся писать стихами. Вот, например, его записочка князю Вяземскому: «По общем совещании, при общем желании вас в Знаменском видеть и никого лишением этого удовольствия не обидеть, мы сделали выбор, почтеннейший князь, для сего воскресного дня-с…» — и так далее. Мятлев, несмотря на свое высокое положение в обществе (действительный статский советник, камергер, обладатель огромного состояния, владелец нескольких крупных поместий и проч.), имел репутацию шута горохового, юрода, обижаться на которого грех. Он мог на балу в присутствии наследника престола взять у заезжей маркизы букет цветов, искрошить их у себя на тарелке и преподнести в качестве салата адъютанту наследника.

Обыденность он превращал в праздники. Люди умные это понимали и ценили. Лермонтов, например:

На наших дам морозных
С досадой я смотрю,
Угрюмых и серьезных
Фигур их не терплю.
Вот дама Курдюкова,
Ее рассказ так мил,
Я от слова до слова
Его бы затвердил…

Поэма о мадам Курдюковой — самое объемное и значительное поэтическое произведение, оставленное нам в наследство Иваном Мятлевым. Оно было популярно в свое время не менее, чем, скажем, не так давно поэма Леонида Филатова о Федоте-стрельце. «Сенсации и замечания мадам Курдюковой» и по сей день вызывают если не смех, то уж улыбку во всяком случае.

Вот, послушайте:

Кушать мясо с черносливом,
Запивать все это пивом, —
Тотчас будет ля колик.
Немец к этому привык,
Но я русская, не немка!

Все равно, давай поем-ка…

Или это:

Кавалеры а шеваль…
В длинных чекменях казацких,
В киверах полусолдатских,
Маршируют с ла музик,
А напереди — мужик…

Или такое:

А мужчины — немцы тип:
Есть у всякого ла пип…

Догадайтесь, кстати, с трех раз, что такое *ла пип* и где этот самый (это самое? эта самая?) *ла пип* у немцев находится?

Можно смело сказать, что Мятлев был прямым предтечей обэриутов. Вот начало его стихотворения «Фантастическая высказка»:

Таракан
Как в стакан
Попадет —
Пропадет,
На стекло
Тяжело
Не всползет…

Николай Олейников взял свой образ таракана именно отсюда, из 1833 года, когда мятлевское стихотворение было написано.

Мятлев был человек богатый, имел в Петербурге дом на площади близ Исаакия, дружил с Пушкиным, пытался выторговать у солнца русской поэзии медную статую Екатерины Великой, доставшуюся Пушкину по наследству от гончаровской родни, прославлен Лермонтовым в известном четверостишьи и т. д. и т. п. Только такой человек мог позволить себе в серьезном поэтическом деле вольности в духе нынешних Владимира Уфлянда и покойного Олега Григорьева. За что ему наши честь и хвала!

«Сергей Довлатов: время, место, судьба» И. Сухих

Попытку Игоря Сухих прочертить пунктирную творческую биографию Сергея Довлатова можно признать удачной. В книге передан запах времени, вот что главное. Времени счастливцев и неудачников, вольнодумствующих сайгоновских постояльцев, для которых слава в своем кругу была важнее газетно-журнальных почестей (хотя не отказывались и от последних), а бутылка «Агдама», распитая в подворотне с друзьями, была милее тостов в писательском ресторане на Воинова, 19 (хотя, бывало, выпивали и там). То время уже ушло. Оно дало нам Бродского и Довлатова. Уже двух этих имен достаточно, чтобы не считать ушедшее время потерянным и никчемным. По-моему, очень точную характеристику пути поколения Бродского и Довлатова дал в названии своей книги поэт Анатолий Найман — «Славный конец бесславных поколений». Поколение, выразившее себя стихами Бродского и прозой Довлатова, достойно славы и уважения.

Известным Довлатов стал еще при жизни, в пьяные 70-е годы, а вот уровня славы достиг лишь после своей трагической смерти в Нью-Йорке. Ясная простота его прозы доходила до читателей медленнее, чем взрывная сила сочинений большинства его диссидентствующих собратьев.

Это совсем не упрек в адрес отечественного читателя, это нормальное свойство по-настоящему хорошей литературы — двигаться медленно и спокойно в сторону человеческого сердца.

Сейчас Довлатов издан на родине практически весь. Он сделался полноценным классиком новой русской литературы. Я подчеркиваю — «сделался», а не его «сделали»! Довлатова стали проходить в школе. Он стал писателем заповедным, как Пушкин в повести «Заповедник».

Сам писатель, наверное, улыбнулся бы такому контексту, да, наверное, и улыбается сейчас сквозь усы где-нибудь в райских кущах за бутылкой «Агдама», произведенного на эдемском ликероводочном. Ведь сам он знает прекрасно это свойство русской натуры — носить мертвого писателя на руках и пить не за его упокой, а за его здоровье.

Сказка

Вот и Розенбаум туда же! Заявил в одном из своих интервью, что сказка приучает бездельничать и всячески отлынивать от труда. И сослался на Илью Муромца: мол, «тридцать три года валялся на печи, ни черта не делал, даже в спортзал не сходил ни разу, а бухнул водички какой-то и пошел всем плохим накостылял». Так вот — не прав господин Розенбаум! Недавно пресса подробно освещала соревнования среди подростков по отжиманию на руках, традиционно проводящиеся в День защиты детей на Дворцовой площади в Петербурге. Один школьник отжался 1312 (!!!) раз, а когда его спросили, как он сумел добиться такого большого успеха, школьник скромно ответил: «Мне помогли сказки». И рассказал, как, прослушав однажды по радио сказку Пушкина, начал срочно заниматься физкультурой, чтобы взрослеть не по дням, а по часам, и быть полезным любимой родине. А другой мальчик, когда прочитал «Незнайку», не захотел быть таким, как главный герой Носова, повысил успеваемость в школе и заседает теперь в Государственной думе. Поэтому вам мой совет — читайте, слушайте, придумывайте и любите сказки, и вы достигнете в жизни многого.

«Соборяне» Н. Лескова

Один из лучших романов во всей русской литературе двух последних веков, «Соборяне» писались долго, много раз переделывались, сокращались, меняли структуру, название, издателя (первоначально роман печатался частями в разных журналах), выпадавшие из него куски превращались в отдельные произведения, и в результате мы, читатели, получили того Лескова, который и составил ту особую ветвь литературы, из которой родились Ремизов и Замятин, Цветаева, Андрей Белый и много кто еще из больших и малых литературных имен.

«Нельзя любить Толстого за язык, это ведь не Лесков», — обмолвился как-то в одной из своих эмигрантских заметок о литературе Георгий Адамович. В этой его обмолвке и состоит суть явления, имя которому Николай Лесков.

«Соборяне», «Запечатленный ангел», «Очарованный странник» — перечитайте их заново, потому что они написаны удивительным языком. Можно по-разному относиться к идейной проблематике этих произведений. Боль о России — коротко ее можно выразить так. И попытки решения этой больной проблемы, а именно — истинное, а не формальное оцерковление русской жизни, кому-то наверняка покажутся рецептами вчерашнего дня. Но сила образа, но веселость и яркость слова, но ирония, но безупречный авторский вкус…

История трех «соборян» — протоиерея Савелия Туберозова, священника Захарии Бенефактова и дьякона Ахиллы Десницына, простых русских людей духовного звания, на которых стоит, стояла и стоять будет земля русская, говоря словами былины, — вот сюжет романа Лескова. Роман откровенно антиреволюционен. Образы ненавидимых Лесковом нигилистов и нигилисток до предела карикатурны. Своим оружием борьбы с философией и практикой нигилизма Лесков выбирает смех. Политкорректности, как говорят ныне, в романе нет ни на ноготь. И всё это в «Соборянах» уместно, всё это действует, ничуть не раздражая читателя, на какой бы политической кочке он, этот читатель, не сидел.

Через несколько лет после этой книги с ее борьбой за «истинную церковность» Лесков напишет в частном письме: «Прочитай я все, что теперь по этому предмету (Русская церковь, ее современное состояние. — *А.Е.*) прочитал, и выслушай то, что услышал, — я не написал бы „Соборян“ так, как они написаны, а это было бы мне неприятно. Зато меня подергивает теперь написать русского еретика — умного, начитанного и

свободомысленного духовного христианина, прошедшего все колебания ради искания истины Христовой и нашедшего ее только в одной душе своей».

И в этом еще одно ценное свойство писательской натуры Лескова — в литературе он не стоял на месте.

Собирание бабочек и жуков

Собирание чего бы то ни было уже выделяет человека из средней человеческой массы. Оно привносит в его жизнь момент одержимости, уникальности, особенно когда предмет собирательства уникален сам по себе. Впрочем, даже миллионноликая компания собирателей книжных редкостей, причем неважно каких — хоть редких изданий советских детективов 40-50-х годов, хоть «эльзевиров» или народных лубочных книжек позапрошлого века, — привлекает к себе внимание людей далеких от собирательских интересов.

Кстати, в советские времена к собирателям относились чуть ли не как к врагам народа. У коллекционеров картин конфисковывали их собрания живописи, причем более умные нарочно дарили живописные раритеты музеям, чтобы предстать в глазах государства этакими бескорыстными меценатами. А в 70-е годы прошлого века в прессе упорно муссировалась идея о том, чтобы сильной государственной волей изъять у владельцев личных библиотек их книги и передать библиотекам общественным. Между прочим, это было вполне реально. Любая власть в состоянии предсмертной агонии готова пойти на любую гадость, лишь бы показать свою состоятельность и тотальность.

В этом смысле собирать бабочек и жуков было безопаснее, чем книги или картины. Хотя, если вспомнить, в литературе существует один довольно жуткий пример, когда якобы безобидное собирание бабочек закончилось настоящей драмой. Я имею в виду роман «Коллекционер» Джона Фаулза. Помните, главный герой романа в маниакальном стремлении коллекционировать красоту начинает с бабочек, а кончает живым человеком, девушкой, которую и доводит до гибели? Владимир Набоков вроде бы патологией не страдал и не кончил свою жизнь на электрическом стуле, хотя тоже коллекционировал бабочек, о чем пишет во множестве своих сочинений, особенно, по-моему, в «Даре».

Из окружающих меня литераторов я знаю одного достойного человека, собирающего жуков. Это Павел Крусанов, написавший «Укус ангела» и «Американскую дырку». У него дома на Коломенской улице стены завешаны застекленными рамками с этими жесткокрылыми бедолагами. Каюсь, я тоже поучаствовал в прибавлении его коллекции, когда летом 2006 года привез Паше из-под Анапы парочку представителей жесткокрылых.

Я думаю, что из всех болезней, собирательство самая безопасная. Если не брать в расчет редкие случаи патологии —

например, описанный Фаулзом.

Мало того, не было бы на свете коллекционеров — не сохранилось бы большинство из того, что мы видим в современных музеях. Поэтому — да здравствует собирательство!

«Солнечная пряжа» К. Бальмонта

«Я обещаю вам сады…» — пообещал однажды Константин Бальмонт российским читателям.

«Вы обещали нам сады…» — укорял его позже Николай Клюев, перечисляя, что же получили читатели взамен обещанных поэтом садов:

На зов пришли: Чума, Увечье,
Убийство, Голод и Разврат…
За ними следом Страх тлетворный,
С дырявой бедностью пошли, —
И облетел ваш сад узорный,
Ручьи отравой потекли…

Вот такую апокалиптическую картинку нарисовал народник Николай Клюев, а шел в то время по русской земле год 1911-й. Затем были год 17-й и последующие, и новый поэт, пришедший на смену старым, сказал как ножом отрезал: «Я знаю: саду цвесть!» И сад, как всем известно, зацвел. Таким образом, правда Бальмонта восторжествовала. Сам Бальмонт, впрочем, предпочитал этим большевистским садам французские буржуазные виноградники.

Вообще же Бальмонту в поэзии повезло. Во-первых — эпоха. В начале века (двадцатого, разумеется) спрос на поэзию резко возрос, стихотворная продукция стала массовой, и самым популярным среди тогдашних поэтических имен значилось имя Бальмонта. Он был первым из русских поэтов удостоившимся собственного собрания сочинений. Он был первым, чью книгу («Звенья») издали массовым тиражом ценой в рубль, то есть книга была доступна практически любому читателю.

Но везение, как говорится, не бывает на пустом месте. Средненькому поэту может повезти один раз, а далее, сколько бы он ни пыжился, сколько бы ни издал книжек, памяти о нем в народе не сохранится. А вот Бальмонта знают все. И читают, и читать будут. Секрет этого — всего лишь талант. Талант и ничего более.

Сочинения И. Сталина

Я очень хорошо помню школьный двор начала 60-х годов, большую гору бумажных трофеев, которые мы, пионеры 260-й школы Октябрьского района города Ленинграда, добыли у населения близлежащих домов в ходе очередной макулатурной компании. И синие, красные, коричневые и не помню уже какого цвета томики, тома и томищи, увенчивающие этот макулатурный развал. Население освобождалось от груза: съезд партии дал отмашку, и люди с завидной смелостью выбрасывали на метафизическую помойку труды отца всех народов. Представляю сейчас их состояние — это все равно как десятилетием позже манкировать всенародные выборы. Или на собрании трудового коллектива завода сидя слушать государственный гимн.

Сегодня, когда от салатов и винегретов всевозможных политических направлений у любимых моих сограждан испорчены все органы чувств — от вкуса до обоняния включительно, — многие из этих сограждан заискивающе поглядывают назад, на великое наше прошлое, когда люди под сталинскими знаменами маршировали от победы к победе, в то время как мозг страны за дверью своего кремлевского кабинета прокладывал им победный маршрут и думал в одиночку за каждого.

Так вот, товарищи возвращенцы! Все это советское мыло, которым мылили нам глаза и следили, чтобы никто не заплакал, давно уже ушло в водосток вместе с грязной вчерашней пеной. А те томики, тома и томищи, что избежали бумажных мельниц, сделались музейными экспонатами, вроде мумий, динозавров и мамонтов, и кроме чисто созерцательной ценности не имеют больше ценности никакой.

«Социальная грусть» М. Зощенко

Сам Зощенко, правда позже, в самом начале 30-х, заявлял, что готов «печататься на обертках конфет в миллионном тираже». Я думаю, что если бы такое его пожелание осуществилось, сейчас такая обертка ценилась бы среди собирателей на вес золота. Разве, покупая конфеты, человек заботится о конфетном фантике? Ну прочитает он пару печатных строчек, пока развертывает конфету. А после швырк этот фантик в урну, если он человек культурный. Или же швырнет себе под ноги, как делает большинство несознательного населения нашей обширной родины. И где он после этого, этот фантик?

Я вот тоже жалею — был в начале 90-х напиток под названием «Наша водка». И в качестве рекламной уловки на этикетке этой водки печатали мелким шрифтом рассказы Зощенко. То есть можно было купить этой водки, к примеру, ящик, отделить, подержав над паром, наклейки, переплести их в аккуратную книжечку и иметь таким образом собрание рассказов писателя.

Очень, кстати, хорошим ходом с точки зрения повышения культурного уровня населения, практически поголовно пьющего, такая литературная реклама на этикетках является. А то ж от водки только зло и убытки. Как в рассказе «Опасная пьеска» из книжки «Социальная грусть», когда артисты одного уральского театра на сцене по ходу спектакля устроили натуральную пьянку и, хорошо, благородными оказались людьми — другие бы на их месте, «наклюкавшись, стали бы в публику декорациями кидаться».

«Сталин» Г. Леонидзе

В юности Георгий Леонидзе входил в литературную группу «Голубые роги», блиставшую такими звездными поэтическими именами, как Тициан Табидзе и Паоло Яшвили. Его стихотворение «Автопортрет» перевел Мандельштам, когда летом и осенью 1921 года побывал в Грузии.

…Стигматы расы я читаю, как цветы,
Трибун парижских толп и вольный князь картвелов.
Знамена Грузии мне реют с высоты,
И солнце в родовых походах поседело.

Купель поэзии — мне — виноградный чан.
Я душу бросил в яд, как в сусло золотое.
Люблю, близнец Рембо, я сумасбродство злое.
Мне в предки Теймураз и Чавчавадзе дан.

Воскресная газель, косуля молодая, —
Я черный Nevermore последнего трамвая.

И вот Nevermore и близнец Рембо в благодарность за щедрость души великого кремлевского горца, который даровал ему жизнь и оставил при писательских лаврах (в отличие от расстрелянных Яшвили и Табидзе), пишет эпическую поэму, озаглавленную коротко: «Сталин».

В «Прологе» с высоты ангельского полета ретроспективно дана история и география Грузии, затем круг полета сужается, и перед нами центр вселенского мироздания — крепость и город Гори, «родина великого Сталина», как написано на стр. 126 в примечании к стр. 12. Время действия — канун рождения героя поэмы.

Богатей забрал умело,
Льстиво княжий нрав хваля,
И помещичьи поместья,
И дворянские поля.

Такова общественно-политическая обстановка в горной стране. И люди, и сама природа томятся в ожидании героя, который придет их освободить. И вот он приходит, герой,

маленький Сосо Джугашвили, сперва ребенок («Детство»), затем отрок («Отрочество»). Последняя глава книги, написанной «вольным князем картвелов», называется «Разгромим князей!» Книги «Юность», «Зрелость», «Мужественность» и прочие, насколько я знаю, так и не выходили. То ли писатель спекся, не выдержав творческого напора, то ли время переменилось и тема перестала быть актуальной, то ли автору хватило гонорара за «Книгу первую», чтобы медленно дожить до счастливой старости.

(И. Сталин. «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников». Доклад и Заключительное слово на Пленуме ЦК ВКП(б) 3–5 марта 1937 года; «Обвинительное заключение по делу контрреволюционной меньшевистской организации Громана, Шера, Суханова и др.»; «Обвинительные материалы по делу контрреволюционной группы зиновьевцев»; «Обвинительное заключение по делу Бухарина Н. И., Рыкова А. И., Ягоды Г. Г., Крестинского Н. Н. и др.»)

> Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались, троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов шпионов, убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей родине. Это ясно и не требует разъяснений.

Так вождь и отец народов сказал и поставил точку, закрепленную расстрельными списками, бесконечными этапными эшелонами, миллионами километров колючей проволоки и мерзлых зон, безответными письмами жен и родственников несчастных, безотцовщиной и т. д. и т. п.

Книги, предлагаемые вашему вниманию, относятся, во-первых, к области социальной фантастики. Потому как — теперь-то мы это знаем — практически на все сто процентов дела эти высосаны из пальца, умело сфабрикованы Сталиным с одной целью — добиться единоличной власти. Во-вторых, это страшные документы эпохи, которые ни выкинешь, ни забудешь. Берем наугад любое место из любого документа и мурашки бегут по коже.

> В этих преступлениях я руководствовался директивами некоторых участников антисоветской организации правых. В частности, директивами Ягоды.

Именно от Ягоды я получил указание насильственно устранить Максима Пешкова, а затем и Алексея Максимовича Горького.

(Из показаний обвиняемого П. Крючкова, секретаря Горького.)

Бухарин указывал, что Узбекистан и Туркмения должны быть отторгнуты от СССР и существовать под протекторатом Японии и Германии, но что при этом не удастся обойти и Англию и поэтому надо пойти на завязывание связей с англичанами…

(Из показаний обвиняемого Ф. Ходжаева.)

И все это наша история, которая откликается по сегодня. Потому что ложь, на которой строилось «светлое здание коммунизма», в конце концов и сделалась тем бродилом, что разъело и обрушило в результате кроваво-красную вавилонскую башню, бросавшую тень на мир.

Старая Коломна

Петербургская Коломна — такое место старого Петербурга, где грань между фантастикой и реальностью настолько не отчетлива и размыта, что порой нелегко понять, человек перед тобой или призрак, дом или летучий корабль.

Фонтанка, вода канала, краны над кромкой города, тесные пространства дворов, в которых звуки, родившиеся однажды, не умирают, а продолжают жить, — вся эта безумная атмосфера, сдобренная балтийскими сквозняками и белыми туманами по утрам, способствует смещению взгляда в сторону нереального, фантастического.

Где, как не в петербургской Коломне, мог бродить по улицам нос, убежавший от своего хозяина? А герой «Медного всадника», бросивший в лицо истукану решительное «Ужо тебе!..» — в Коломне, и только в ней, мог мечтать о своем призрачном счастье.

Особенно фантастичны в петербургской Коломне утренние часы.

Раньше всех здесь просыпаются портовые краны. Жизнь их медленна, работа почетна. Они стражи городских рубежей, они слушают голос моря, предупреждая о разбойных набегах неуемных варяжских волн.

Вслед за ними просыпаются птицы, окунаются в воздушное серебро и приветствуют счастливыми криками возрожденную после ночи жизнь.

Птицы будят ленивых дворников и украдкой наблюдают с карнизов, как те курят свои ранние сигареты и выкашливают остатки ночи.

Кто в Коломне всегда без сна, так это ее сердце, Фонтанка.

Она душа этой портовой окраины, ее муза, защитница и хранительница. Протекая ночным дозором вдоль холодных гранитных стен, она всюду должна поспеть — здесь утешить, там обнадежить, дать совет или отвести удар.

Лишь зимой, с декабря по март, она уходит на заслуженный отдых — и то если не помешают оттепели. Но и там, под ледяным одеялом, она тревожно вслушивается сквозь сон в шаги и шепоты, в страхи и разговоры.з

А еще — про это знают не все — река добавляет городу, и особенно его коломенской части, тот волшебный, неуловимый дух, наделяющий предметы обыкновенные чудесными, необъяснимыми свойствами. Но об этом рассказ особый.

Стаут Р.

Основная заслуга писателя Рекса Стаута перед детективной литературой бесспорна: он создал незабываемый двойной образ гениального сыщика Ниро (Нерона) Вульфа Арчи Гудвина, который одновременно пребывает в состоянии меланхолической рассудочной деятельности среди своих орхидей и носится сломя голову (в обличье второй своей составляющей) по столице мира Нью-Йорку. Конечно же, писатель шел по конан-дойлевскому пути: пара Шерлок Холмс — доктор Ватсон его вдохновила. Но если Шерлок Холмс был аскет (привычка к опиуму не в счет), то Ниро Вульф, наоборот, сибарит и чревоугодник, и повар Фриц в этом смысле нечто вроде третьей ипостаси этого двуликого божества.

Рексу Стауту, кроме всего прочего, принадлежит следующий афоризм: «Детективные истории не интересуют только одну человеческую категорию — анархистов». В этом он вполне вписывается в модель Честертона, который в качестве преступного материала в основном предпочитал анархистов (см., к примеру, «Человека, который был Четвергом»). То есть эти люди потому не интересуются романами о преступлениях, потому что сами эти преступления совершают.

А еще Рекс Стаут непререкаемо доказал, что доктор Ватсон (Уотсон) у Конан Дойла был женщиной, и даже вычислил ее имя.

Вот отрывочек из его рассуждений на тему половой принадлежности неутомимого помощника Холмса:

> Всего насчитывается шестьдесят рассказов и повестей о Шерлоке Холмсе. Прежде всего мы расположим их в хронологическом порядке и дадим им номера от 1-го до 60-го. Далее, применяя способы расшифровки, которыми так виртуозно владел Холмс и сущность которых раскрыта в повести «Знак четырех», рассказе «Пляшущие человечки» и ряде других вещей, мы отберем те названия, которые стоят под номерами, имеющими определенный кодовый смысл, и получим следующий столбец:
>
> *Исчезновение леди Карфэкс*
> *Рейгетские сквайры*
> *Этюд в багровых тонах*
> *Некто с рассеченной губой*
> *Убийство в Эбби-Грэйндж*
> *Обряд дома Месгрейвов*

Тайна Боскомской долины
Союз рыжих
Одинокая велосипедистка
Небесно-голубой карбункул

И, прочитав начальные буквы по принципу акростиха, сверху вниз, мы с легкостью откроем эту тщательно скрываемую тайну. Ее звали Ирэн Уотсон.

Мало того, Стаут доказал, что на самом деле Ирэн Уотсон была женой якобы холостяка Холмса. И все рассказы о Холмсе написаны именно ей.

То есть писатель Стаут внес не только посильный вклад в литературу, он еще прояснил многие темные места в холмсоведении, за что его не раз благодарили, а бывало и проклинали истые почитатели Конан Дойла.

Стейнбек Д.

«Правда, ничего кроме правды» — первый и единственный принцип работы главного в ныне упраздненном Советском Союзе издательства «Правда».

Это я так, для зачина, чтобы плавно перейти к Стейнбеку.

В одном из писем своему другу и редактору Паскалю Ковичи автор «Гроздьев гнева», «Зимы тревоги нашей» и еще нескольких романов и повестей, написав которые можно со спокойной совестью являться на очную ставку с Господом Богом, рассказывает историю своей безуспешной попытки снять помещение для работы в родном американском городе Монтерее.

— Я хочу снять помещение на пару месяцев, — сообщает писатель владельцу дома, в котором сдается площадь.

— Очень хорошо, — отвечает ему хозяин, — у нас как раз есть несколько свободных контор. Как ваша фамилия?

— Стейнбек, — называет себя будущий нобелевский лауреат.

— А чем вы занимаетесь? — задается очередной вопрос.

— Я писатель, — скромно говорит Стейнбек.

После долгой паузы следует недоуменная фраза:

— У вас есть официальное разрешение на практику?

— Нет, — отвечает Стейнбек. — В моей профессии этого не требуется.

Снова долгая пауза, после которой владелец помещения заявляет:

— Извините, но таким людям мы не сдаем. Мы имеем дело с людьми интеллигентного труда — врачами, дантистами и страховыми агентами.

Если в нашей с вами России еще в не очень давние времена интеллигенция — и техническая, и творческая — исповедовала, в основном, литературоцентризм, то есть строила свою жизненную позицию с оглядкой на большую литературу, то в свободной стране Америке, как следует из стейнбековского рассказа, литераторы почетом не пользовались.

Впрочем, Стейнбек — человек желчный, себя он причислял к партии старых ворчунов и к свободной стране Америке относился не особо патриотически.

> Нынешний печальный парад кандидатур в президенты смешон, если не сказать отвратителен… Кандидаты так стараются, что им впору нашить лычки за высший пилотаж. Возня в Вашингтоне напоминает кошачий сортир в Риме… А демократы! Господи,

> демократы делят шкуру неубитого медведя — ни выдержки, ни идей, ни плана, ни платформы!..

Это о предвыборной кампании 1960 года.
А вот об американцах:

> Люди эти как марсиане. У них нет ни юмора, ни прошлого, а всё их будущее — это новые модели прицепов. Их настоящее точь-в-точь напоминает жизнь кур, откладывающих яйца в инкубаторе. Кажется, я наконец понял. Мы живем в инкубаторе, и всё, что мы производим, не лучше химикалий, которыми нас кормят…

О братьях-писателях Стейнбек также невысокого мнения:

> Сегодня получил письмо от Алисы с вырезкой интервью Билла Фолкнера, от которого меня чуть не вывернуло. Когда наши авторы пускаются разглагольствовать о Художнике Слова, имея в виду самих себя, то мне хочется сменить профессию… Билл заявил, что читал только Гомера и Сервантеса и никогда не читал своих современников. Черт побери! Он лучше Гомера. Гомер не умел ни читать, ни писать, да к тому же старый сукин сын был слепым. Сервантес был нищим — Биллу же это не угрожает, во всяком случае пока он может отправиться в Голливуд и состряпать такую вещь, как «Египтянин».

Вряд ли писатель Стейнбек популярен сейчас в Америке с ее тоскливой политкорректностью. Но если ты назвался писателем, не пугайся в процессе работы причинить кому-нибудь боль.

Стивенсон Р.

Стивенсон — это моя любовь, как и вся большая литература Англии: Филдинг, Стерн, Диккенс, Стивенсон, Честертон, Киплинг, Уэллс… Но Стивенсон среди них едва ли не самый первый. Однажды, когда будущий писатель был маленький, он нарисовал человечка и сказал матери: «Мама, я нарисовал человека. А душу его рисовать?» В этом весь взрослый Стивенсон — в том, что, нарисовав героя, он не может не нарисовать его душу.

Главное для нас сочинение Стивенсона — это «Остров сокровищ». Его можно перечитывать бесконечно. Это самый красочный, яркий и, наверное, самый авантюрный из всех романов писателя. «Пиастры, пиастры!» — кричит попугай с плеча одноногого капитана Сильвера. Юный Джим Хокинс на борту «Испаньолы» сидит в бочке из-под моченых яблок и узнает о пиратском заговоре. А карта, а Берег Скелетов, а холм Подзорная Труба, а ночная атака пиратов… Кажется, все знакомо до мелочей, но руки сами тянутся к этой книге, и невозможно погасить в себе эту тягу.

Образы романов писателя, стоит их прочитать хоть раз, запоминаются на всю жизнь. Фальшивый прокаженный из «Черной стрелы». Бегство Дэвида Бальфура по вересковым холмам Шотландии. Доктор Джекил и мистер Хайд, их меняющиеся, как в голографии, лица. Зимние лунные пейзажи во «Владетеле Баллантрэ»…

Собственно говоря, для того писатель и пишет, чтобы продлить свое бытие во времени. А книги живут вечно только тогда, когда это хорошие книги. И первый тому для меня пример — Роберт Льюис Стивенсон.

«Суер-Выер» Ю. Коваля

«Суер-Выер». Последняя книга Юрия Коваля. Последняя и посмертная.

С обложки на нас глядит автор — взглядом немного грустным, может быть, оттого, что этот его портрет окантован в черное.

«Суер-Выер» — роман особый, это роман-игра. Собственно, он и романом-то не является: роман — это что-то матерое, что-то очень сюжетное, многоликое, величественное, как Лев Толстой. Пергамент — так определяет жанр своего сочинения автор.

Что такое пергамент? Как известно из археологии, пергамент есть гладко выделанная кожа животных, употреблявшаяся в древности для письма. (А в старых словарях есть добавка: «Ныне же идет преимущественно на барабаны».)

Итак — «в древности». То есть мы с вами как бы читатели будущего и держим в своих руках некую музейную редкость, чудом избежавшую труса, голода (раз из кожи), нашествия со- и иноплеменников и так далее. Что-то утрачено, что-то не поддается прочтению, где-то вкралась ошибка — может быть, переписчика, может быть, самого писца, отвлекшегося по причине принятия ежевечерней порции корвалолу.

А к древности — отношение бережное. Можно комментировать, делать примечания, давать сноску, но нельзя ничего менять — теряется аромат времени, пища для желудка ума, материал по психологии творчества. Если «вдруг» написано через «ю» («вдрюг»), «со лба» — «собла», и древний автор, раскачиваясь на стуле, осознает «гулбину» своего падения — то этого уже не исправишь.

Любая мелочь, на которую в обыкновенной книге (если такие вообще бывают!) порою не обращаешь внимания, здесь, в пергаменте, играет роль важную, как в оркестре, где умри какая-нибудь маленькая сопелка, флейточка ли, английский рожок — и музыка перекосится и рухнет, превратившись в трамвайный шум.

Теперь о самой игре, о ее незамысловатых правилах.

Правила очень простые.

Вот корабль, вот море и острова. Надо плыть по этому морю и открывать эти самые острова. Заносить открытые острова в кадастр и плыть дальше. А в свободное от открывания островов время заниматься обычными судовыми делами: пришивать пуговицы, развязывать морские узлы, косить траву вокруг бизань-мачты, варить моллюсков.

Да, чуть не забыли сказать про самое главное: кто в игре

победитель и какая ему с этого выгода.

С победителем просто. Кто первый доберется до острова Истины, тот и выиграл. И в награду ему, естественно, достается Истина.

Правда, странное дело — выиграть-то он, конечно, выиграл, но идет себе этот выигравший по острову Истины, кругом ее, естественно, до хрена, идет он себе, значит, идет, разглядывает лица девушек и деревьев, перья птиц и товарные вагоны, хозблоки и профиль Данте — а за ним (!) тихонечко движется океан. И сокращается островок, съедается, убивает его идущий своими собственными шагами: обернется, дойдя до края, — а сзади уже вода. И впереди и сзади.

Вот такие интересные игры попадаются иногда на пергаментах.

Говоря по правде, игра эта очень древняя. В нее играли еще в те времена, когда мир держался на трех китах, а земля была плоская и загадочная, как вобла.

О путешествиях и невиданных островах писали древние греки и Лукиан, Плиний и Марко Поло. Они описаны у древних китайцев в «Каталоге гор и морей» и в Синдбадовых путешествиях из «Тысячи и одной ночи», в кельтском эпосе и русских народных сказках.

Острова, на которых живут циклопы и тененоги, псоглавцы и царь Салтан; а еще — ипопеды, то есть люди с копытами вместо ног; а еще — бородатые женщины и люди без рта, пьющие через специальную трубочку; а еще — Робинзон Крузо, капитан Немо и Максим Горький. Все они описаны, зарисованы и выставлены на народное обозрение — в сушеном или заспиртованном виде.

Идешь, смотришь, щупаешь, пьешь, закусываешь, берешь еще.

И вроде бы как даже приелось.

Но вдруг из-за какой-нибудь сухой груши выходят два человека: матрос Юрий Коваль и мэтр Франсуа Рабле. Смеются и тебе говорят: ну что, говорят, плывем?

Ты даже не спрашиваешь куда, потому что и так понятно: в руке у мэтра Рабле початая Божественная Бутылка, а матрос Юрий Коваль уже щелкает по ней ногтем, и Бутылка отвечает звонким человеческим голосом: «ТРИНК».

Сухово-Кобылин А.

В Москве 40-50-х годов XIX века в роли великосветской львицы и учредительницы общественных вкусов выступала Надежда Нарышкина, урожденная Кнорринг. Борис Николаевич Чичерин в книге своих воспоминаний («Москва сороковых годов») дает очень яркое описание этой экспрессивной особы:

> Лицо у нее было некрасивое, и даже формы не отличались изяществом; она была вертлява и несколько претенциозна; но умна и жива, с блестящим светским разговором. По обычаю львиц, она принимала у себя дома, лежа на кушетке и выставляя изящно обутую ножку; на вечера всегда являлась последнею, в 12 часов ночи. Скоро, однако, ее поприще кончилось трагедиею. За ней ухаживал Сухово-Кобылин, у которого в то же время на содержании была француженка, m-me Симон. Однажды труп этой женщины был найден за Петровскою заставою. В Москве рассказывали, что убийство было следствием сцены ревности. Кобылин, подозреваемый в преступлении, был посажен в острог, где пробыл довольно долго. Он успел даже написать там «Свадьбу Кречинского». Но кончилось дело тем, что его выпустили, а повинившихся людей сослали в Сибирь…

Проходное упоминание написанной в остроге «Свадьбы Кречинского» («успел даже написать») намекает читателям на случайность, преходящесть этого эпизода в судьбе Сухово-Кобылина. На самом деле это не так.

После Островского — Сухово-Кобылин, может быть, единственный в русской литературе писатель, чьи произведения составляют золотой фонд нашей драматургии. Им сочинены всего лишь три пьесы: упомянутая «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина». Первая откровенно комедийна по содержанию и из всех классических сочинений для русской сцены самая репертуарная и известная. Две последних, по словам автора, рассчитаны «не на то, чтобы зритель рассмеялся, а на то, чтобы он содрогнулся». Если бы во времена Сухово-Кобылина существовал такой термин, как «театр абсурда», и «Дело» и «Смерть Тарелкина» непременно были бы причислены к этому направлению. Они были вне литературной традиции русского реализма. По степени гротеска до них не дотягивают ни Гоголь, ни Салтыков-Щедрин.

Только двадцатый век с его экспериментами в жанрах смог по достоинству оценить Сухово-Кобылина, этого предтечу современного авангарда в литературе.

T

«Тайные тропы» Г. Брянцева

Человек, которому повезло, — наверное, так можно назвать писателя Георгия Брянцева. Верный сталинец — а чекист в 30-50-е годы просто физически не мог быть неверным сталинцем, — тем не менее, книги его дважды попадали в опалу. Первый раз — это «Тайные тропы», попавшие в приснопамятные списки Горлита (Цензурного комитета) и изъятые из всех советских библиотек (поэтому книга и считается библиографической редкостью). Другой раз, спустя год, — это повесть «Следы на снегу», также изъятая, но по другой причине.

Причина, по которой были изъяты «Тайные тропы», — это резкое изменение курса политики коммунистической партии сталинского Советского Союза по отношению к Югославии. Иосип Броз Тито, фактически югославский Сталин, неожиданно впал в опалу, и партизанское движение, им контролируемое, было признано чуть ли не профашистским. Сюжет же романа Брянцева, который, естественно, не мог идти нос в нос с конъюнктурой тогдашних советских политиканов, был завязан на международном интернационализме — в югославских партизанских отрядах работали советские разведчики, во многом поспособствовавшие победе югославов над фашистами.

В 50-е годы прошлого века еще не существовало такого понятия, как политкорректность, но изъятие повести Брянцева «Следы на снегу» вполне подходит под это определение. Действительно, главный шпион и предатель в сочинении Георгия Брянцева — простой советский якут. Политика же страны с начала пятидесятых годов ориентируется на внутрисоветский «интернационализм» (освоение Севера, целины и проч.), поэтому шпионами и предателями могут быть только засланные со стороны агенты. Или притаившиеся и выжидающие своего часа осколки старого мира. Но никак не представители малых народностей нашей неделимой страны.

Почему Брянцеву повезло? Да потому что при Сталине такие вещи, как воспевание предателей (Тито), не проходили ни под каким прикрытием. За них давали одно — расстрел. Брянцеву выпала удача — главный расстрельщик земли советской, незабвенный Иосиф Виссарионович, умер буквально за пару вздохов перед тем, как «Тайные тропы» увидели свет. Не до того было специалистам из Министерства Правды, чтобы разбираться во время кремлевского светопреставления с отдельными ошибающимися личностями. Им хватало других забот.

«Таксидермия», «Смиренная архитектура» О. А. Флоренских

Книга эта — альбом. Но в отличие, например, от альбома татуировок, собранных ветераном Балдаевым, листать ее весело и легко. Во-первых, здесь ни грамма политики. Во-вторых, ее можно показывать детям. Даже нужно, особенно передвижной бестиарий, потому что где еще наши дети могут увидеть, к примеру, русского ресторанного медведя с подносом, вином и фруктами. Ресторанных медведей давно уже упразднили как класс, да и если б они остались, не поведешь же малолетнего человека на экскурсию в пьяный мир. Жаль, конечно, что бестиарий в книге, а не в натуре. Потому что на выставках, где иногда все это зверье экспонируется, можно подержать за перчатку или потрогать за нос чучело австралийского кенгуру-спортсмена с боксерскими перчатками и порядковым номером «28». Или посмотреть на собаку Павлова, чтобы в очередной раз убедиться в правильности учения об условных и безусловных рефлексах — еще бы оно было неправильным, когда из краника в собачьем боку капает желудочный сок, лишь только перед собачьим носом загорается 60-ваттная лампочка.

Книга эта полезна и познавательна. Она научит вас, как правильно набить чучело, например, мамонта или нильского крокодила (О. Флоренская «Таксидермия»). Как устроить башню для фейерверков или мигающий электромаяк (А. Флоренский. «Смиренная архитектура»). В книге много исторических фактов и фотографий — от оголовков вентиляционной шахты бомбоубежища на Английском проспекте до арки с флагами, сооруженной на Невском проспекте по случаю приезда в Петербург путешествующего по Европе Музаффар-ад-ил-Шаха в 1902 году.

Да, чуть не забыл, книга эта настоящий подарок для тех, кто собирается пойти в космонавты, — в ней есть чучело знаменитой собаки Лайки внутри космического аппарата с хронометром на корпусе и электрической подсветкой внутри. Сунул штепсель в розетку и смотри на героическое животное, проложившее человеку дорогу в космос.

Интересно все-таки получается: был человек революционером, занимался антигосударственной деятельностью, собирался убить царя, его за это, естественно, арестовывают, три года держат в Петропавловской крепости, затем ссылают на Колыму, а он там вместо того, чтобы мыть для царя-батюшки золотишко, собирает фольклор, составляет словарь местных народных говоров, посылает свои работы в столичные академические издания, где их с радостью публикуют. Мало того, Русское географическое общество приглашает сосланного государственного преступника участвовать в этнографической экспедиции по Якутии, и тот два года, без надзора полицейских властей, скитается по северной тундре, общается с туземным народом, собирает этнографический материал, пишет, отсылает написанное в столицу, после чего Академия наук специально ходатайствует перед министрами, чтобы ссыльному такому-то разрешили вернуться в Петербург для подготовки к изданию собранных материалов.

Вообще-то, с точки зрения здравого смысла, правильно — если человек занимается в ссылке научной деятельностью, значит, у него просто нет будет времени на занятия революцией. Такую деятельность надо всячески поощрять.

Читая, например, книгу про работу экспедиции Толля (В. Синюков. «А. В. Колчак как исследователь Арктики»), постоянно встречаешься с фактами привлечения к научной работе политических ссыльных. Вот некоторые примеры из книги В. Синюкова:

> Заведующий городским музеем в Якутске Павел Васильевич Оленин — *политический ссыльный* (Здесь и далее курсив мой. — *А.Е.*) — по просьбе Колчака включился в работу по транспортировке вельбота из Тикси к мысу Святой Нос.

> Э. Толль пригласил Воллосовича в качестве начальника вспомогательной партии для изучения четвертичных отложений и организации продовольственных баз на Новосибирских островах по пути следования Русской полярной экспедиции на юг в случае гибели судна… После обследования Новосибирских островов на «Зарю» Воллосович вернулся со вспомогательной партией, в которую входили

ссыльный студент естественник Ционглинский, *ссыльный технолог* Бруснев и каюры-промысловики…

От себя добавлю, что геолог К. А. Воллосович когда-то был тоже политическим ссыльным.

В советские времена ссыльным было не до занятий фольклором народов Севера. Им страна вложила в руки кайло, лопату, огородила их от внешнего мира колючей проволокой, поставила вышки со сменяющейся охраной, вырастила для них в питомниках специальных собак — словом, сделала все возможное, чтобы личный полезный труд сливался с трудом республики.

Кажется, это Солженицын пишет в «Архипелаге», что только ленивый не бежал из дореволюционной ссылки. Не ленивый, а профессиональный революционер-фанат, потому что нормальному человеку на Севере лениться просто не было времени. «Рыбы ловили на каждого в год пудов 60, дров выставляли, в общем, до сотни кубов. Все своими собственными белыми ручками, — кого же заставишь?» — пишет Тан-Богораз о жизни ссыльных на Колыме в конце 80-х — начале 90-х годов XIX века.

За 71 год своей беспокойной жизни В. Г. Богораз (Тан — литературный псевдоним, которым автор подписывал свою беллетристику, научные же работы он подписывал настоящим именем, впоследствии прибавив и псевдоним) сделал для науки и литературы столько, что трудов этих хватило бы на целый научный коллектив какого-нибудь современного института. Большое исследование о чукчах, изданное сперва по-английски, а затем, в 1934 году, по-русски, сделало автора классиком мировой этнографии. Романы Тана — «Восемь племен», «Жертвы дракона», «Воскресшее племя» — переиздаются и читаются до сих пор. Все это рукотворный памятник герою XX века писателю и ученому Владимиру Германовичу Тану-Богоразу, да останется его имя в вечности!

«Татуированный граф» Е. Звягина

Натолкнувшись в книжке на выражение «звягливый граф», я подумал: ну, блин, Звягин дает, уже производными от своей фамилии великий и могучий замусорил. Так ведь каждый… я, например, поставлю в свою повесть или в роман какого-нибудь «етоистого майора», тешась неприличной надеждой, что вдруг такая наглость сработает и не подозревающий подвоха читатель включит мою хамскую отсебятину в свой языковой обиход. Но залезши для порядка в словарь, обнаружил, что «звягой» раньше называли человека шумного, взбалмошного, эксцентричного, короче — такого, как писатель Евгений Звягин, когда он выпивши.

Книжку же, изданную в «Красном матросе», эксцентричный писатель Звягин написал про такого же, как он сам, эксцентричного и шумного графа Федора Ивановича Толстого, прозванного при жизни Американцем. Из книги мы с изумлением узнаем, что не кто иной как вышеупомянутый граф был первым в России человеком, заведшим на теле татуировку. А еще он в стихотворном запале наше всё, Александр Сергеича, назвал Чушкиным вместо Пушкина, ответив таким остроумным способом на оскорбительный выпад первого из хрестоматийного «Послания к Чаадаеву» («Развратом изумил четыре части света…» и т. д.). И вообще он был картежник и хулиган, его даже с корабля ссадили во время кругосветного путешествия — за хулиганство и сожительство с обезьяной, — и он из земли Камчатки добирался до столицы на перекладных, как какой-нибудь персонаж Жюля Верна.

Книжка издана по-матросски, с любовью и с картинками Василия Голубева, повторяющими силуэтную графику, популярную в александровскую эпоху.

P.S. К вопросу об эксцентричности писателя Евгения Звягина. 5 января 2001 года на вечере, посвященном 10-летнему юбилею арт-галереи «Борей», писатель Е. Звягин был награжден банкой квашеной капусты «за активное противодействие антиалкогольной политике „Борея“». Комментарии, как говорится, излишни.

P.P.S. В томе изданных писем Сергея Довлатова в письме в Россию, адресованном не помню кому, Довлатов спрашивает у этого, не помню кого: «Как там Звягин?» Это единственное упоминание Довлатовым имени писателя Звягина, чем последний очень гордится.

Татуировки заключенных, скопированные и собранные ветераном МВД СССР Балдаевым Д. С. с 1948 по 2000 год

Знаете, что такое базар фуфлометов? Это Государственная Дума Российской Федерации на языке уголовного мира. А бурса красных мастурбаторов? Высшая партийная школа при ЦК КПСС. Эти и другие слова и выражения вы найдете в приложенном в конце книги Д. С. Балдаева небольшом словаре. Словарь этот, хоть и небольшой, зато толковый и поучительный. И — неожиданно — актуальный и современный.

Но главное, конечно, сам альбом-каталог нательных произведений живописи.

Татуировки, любовно воспроизведенные в книге, так же любовно прокомментированы. Например, татуировка с Юдифью, попирающей голову Олоферна, комментируется так: «Носитель татуировки, осужденный по ст. 152 УК РСФСР 1926 года за неуплату алиментов на два года лишения свободы, изобразил в сюжете себя и свою жену, подавшую на него в суд и добившуюся его заключения. После отсидки, по его словам, ему уже больше никогда не придется ходить в загранплавание, отныне на всю оставшуюся жизнь его уделом будет „болтаться в каботаже“, т. е. работать на невизированных судах прибрежного плавания».

Вообще комментарии к татуировкам — это своего рода Малая Советская Энциклопедия с краткими сведениям: кто, где, за что и когда оттянул свой тюремно-лагерный срок.

Для любителей литературы здесь тоже найдется кое-что интересное, потому что среди множества нательных изображений нередки и сюжеты литературные. К примеру, старик Хоттабыч (№ 243, «совершил преступление под влиянием наркотиков»). Или портреты популярных на зоне поэта Сергея Есенина (№ 227) и писателя Льва Толстого (№ 228).

Есть в альбоме татуировки, копирующие произведения живописи, — тот же сюжет с Юдифью по картине Джорджоне, или же васнецовские «Три богатыря», или его же «Аленушка» и «Иван-царевич на сером волке».

Есть татуировки — пародии на советские плакаты, например, пародия на «Родину-Мать», где вместо Родины-матери изображен зэк с костылем в руке на фоне лагерной вышки, с подписью: «Советяшка, до сих пор продолжаешь шестерить, лизать жопу, въябывать на КПСС и получать за это ноль целых и хуй десятых и хочешь стать калекой? Подумай!»

Большое количество в книге-альбоме порнографических татуировок, из которых мне особенно нравятся № 379 («Уважайте труд доярок»), № 385 («Продовольственная программа Леньки Брежнева в действии») и № 384 («Фото получишь завтра»).

Вроде бы издателями обещано продолжение этого замечательного собрания. Будет ли оно? Или обещание очередной базар фуфлометов?

Твардовский А.

Что такое для нас Александр Твардовский: это великая книга о русском солдате «Василий Теркин»; это «Новый мир» 60-х годов под его редакторством; и это открытие для русского читателя Солженицына.

Вообще, Александр Трифонович был человек сложный, был человек советский, был человек партийный. Но при всем при том это был человек честный. То есть и советскую власть, и партию он надеялся когда-нибудь увидеть облагороженными — с человеческим, так сказать, лицом. Но в 1970 году от него отняли журнал, и через год поэт умер, так и не разглядев в чертах советского государства человеческого лица.

Когда к Твардовскому, как к главному редактору «Нового мира», попала рукопись «Одного дня Ивана Денисовича», он взял ее на прочтение домой и начал читать поздно, уже в постели. Но буквально после первых страниц понял, что такие книги лежа читать нельзя. Тогда он встал, оделся и, сев к столу, прочитал повесть два раза кряду. И, прочитав, решил: во что бы то ни стало он напечатает Солженицына. Когда Александр Дементьев, его первый помощник, сказал: «Даже если нам удастся эту вещь напечатать, они нам этого не простят никогда, и журнал мы потеряем», Твардовский ему ответил: «А на что мне журнал, если я не смогу напечатать это?»

И напечатал, прожив после этого десять лет и умерев от разрыва сердца.

Твен М.

В автобиографии писателя говорится, что в роду Марка Твена было много людей достойных, самое же свое начало род ведет с седой истории Англии, примерно с одиннадцатого века. Первый из Твенов, ступивший с палубы Колумбова корабля на дикую американскую почву, — был Даусон Морган Твен. Как известно из записей в корабельном журнале, этот Твен взошел на палубу с багажом, состоящим из старой газеты, в которую были завернуты носовой платок с меткой «Б.Г.», два чулка — бумажный и шерстяной (с метками «Л.В.К.» и «Д.Ф.»), — и ночная сорочка с меткой «О.М.Р.» Сошел же он с палубы, имея в руках багаж в размере четырех чемоданов, ящика из-под фарфоровой посуды и двух корзин, в которых носят шампанское. Мало того, через короткое время этот Даусон Твен вернулся на корабль, утверждая, что недосчитался некоторых вещей, и пытался обыскать команду и оставшихся на палубе пассажиров. Когда его выкинули за борт, он умудрился нырнуть на дно и отвязать от каната якорь, который продал впоследствии дикарям.

Еще среди предков писателя был природный индеец Па-го-то-вах-вах-пукетекивис Твен, известный тем, что семнадцать раз стрелял из-за дерева в будущего президента Америки Джорджа Вашингтона и ни разу из семнадцати раз не попал. Также в предках Марка Твена числятся Гай Фокс, барон Мюнхгаузен, капитан Кидд, царь Навуходоносор и Валаамова ослица.

Имея в своем роду столько замечательных представителей, трудно не написать «Гекльберри Финна» или «Янки при дворе короля Артура». Тем более что и король Артур, и Мерлин, и Ланселот также считаются далекими предками Марка Твена по отцовской и материнской линиям.

Тема денег в жизни Некрасова

Тема денег в жизни Некрасова всегда имела первостепенное значение. Поэтом и редактором он был замечательным, но как предприниматель и хозяин самых выгодных в коммерческом отношении российских журналов отличался крайней жесткостью и непомерной скупостью.

> Как все тогдашние предприниматели, он не доплачивал своим сотрудникам, пользуясь их бескорыстием. Его личная жизнь тоже не отвечала требованиям радикального пуританства. Он постоянно крупно играл. Тратил много денег на свой стол и своих любовниц. Был не чужд снобизма и любил общество людей вышестоящих. Все это, по мнению многих современников, не гармонировало с «гуманным» и демократическим характером его поэзии… Но хотя Тургенев, Герцен и большинство современников Некрасова ненавидели, радикалы, работавшие у него, им восхищались, любили его безгранично и отпускали ему и простительные личные, и даже, более того, общественные прегрешения. Его связь с г-жой Панаевой, героиней его лучших и оригинальнейших любовных стихов, продолжалась около десяти лет и стала одним из самых известных романов в биографиях русских литераторов. Некоторое время Некрасов и Панаевы жили втроем («ménage à trois») — жоржсандистский либерализм, популярный среди интеллигенции в середине девятнадцатого века. Обоим — и Некрасову, и Панаевой — эта связь доставила гораздо больше страданий, чем радостей. Хронически больной (в результате своей беспорядочной жизни), Некрасов был подвержен длительным приступам меланхолии и депрессии; при этом он страшно страдал и превращал жизнь своих близких в ад. После разрыва с Панаевой Некрасов жил с любовницами, которых содержал, пока незадолго до смерти не женился на простой девушке из народа… Он умер 27 декабря 1877 года. Похороны его стали самой поразительной демонстрацией популярности, какой когда-либо удостаивался русский писатель.

Этот краткий и очень яркий очерк жизни Некрасова

напечатан в «Истории русской литературы» Дмитрия Святополка-Мирского. Он настолько характеристичен, что я не удержался и привел его практически полностью.

Тихонов Н.

Лучше всего о Николае Семеновиче Тихонове написано в дневниках Евгения Шварца, поистине неоценимом источнике по истории русской культуры советского времени. В записях за 1953 год есть воспоминание о том, как в 1922 году недавно перебравшийся из Ростова в Петроград Шварц попал в студию при Доме искусств, которую вел Чуковский. Вот отрывок из этих записей:

> Разбирали Бунина. Прочел доклад слушатель старшего курса студии с деревянным лицом и голосом из того же материала — Николай Тихонов. В докладе он доказывал, что Бунин — провинциал, старающийся показать свою образованность. Я обожал Бунина, и Буратино с дурно обработанной чуркой на том месте, где у людей обычно находится лицо, с пепельным париком над чуркой — ужаснул меня.

Надо сказать, что эта характеристика деревянности проходит через весь дневник Шварца, когда в нем речь заходит о Николае Тихонове. Вот Шварц пишет о прозе Каверина, о том, что чем старше становится ее автор, тем больше в нем проявляется мальчишеская любовь к романтике. И далее — сравнение с Тихоновым:

> У Тихонова этот процесс развивался в обратном направлении… В «Дороге» Тихонова видна его деревянная, необструганная хохочущая фигура. А в последних стихах и этого не обнаружишь. Обтесался.

А вот воспоминание о предвоенных годах, о поездке в 1940 году после премьеры «Тени» в Дом творчества в Детское Село.

> Жизнь в Доме творчества оказалась проще, чем чудилось… Только Тихонов, хохоча деревянным смехом и посасывая деревянную свою трубку, пытал бесконечными рассказами. Тынянов, которого он пытал на лестнице по пути в умывальную, слушал его, слушал и вдруг потерял сознание…

А вот еще одна запись из дневников Шварца, которую очень хочется процитировать:

Вдруг в газетах появилось сообщение о взятии немцами Крита… Осторожно удивлялся и воспитанный на «Мире приключений» и «Вокруг света», обожающий сенсации и исключительные положения Тихонов. Он больше помалкивал, уже тогда чувствуя себя человеком государственным, но во всем его деревянном существе угадывалось то оживление, что охватывает любителя, увидевшего пожар в соседнем квартале. Но все-таки и он не мог не чувствовать, что какая-то рука готова взломать наш призрачный непрочный мир. Запах гари проникал в Дом творчества, сколько бы мы ни успокаивали себя, сколько бы ни рассказывал Тихонов о Кахетии и Хевсуретии.

Умер Николай Тихонов в 1979 году Похоронен в деревянном гробу.

Толкование сновидений по Зигмунду Фрейду

Интересно, «онегинский» сон Татьяны с точки зрения психоанализа кто-нибудь разбирал? Скорее всего, основатель подобной практики о Пушкине и слыхом не слыхивал. Хотя — нет, Фрейд, наверное, про Пушкина знал. Во всяком случае о Достоевском у него работа имеется, а где Достоевский, там уж и Александр Сергеевич с его «вселенской отзывчивостью» (вроде бы так отозвался крестный отец Раскольникова и Сонечки Мармеладовой на открытии памятника в Москве на Тверском бульваре?).

У меня на антресолях лежит мешок с записными книжками.

Это маленького формата книжечки ценою по 2 копейки (по ценам середины 80-х). В мешке их штук пятьдесят, не меньше, и охватывают они период жизни примерно года в два или три. Так вот, возвращаясь к Фрейду и его толкованиям сновидений. Как бы венский ученый растолковал сон, приснившийся мне в ночь с 7 на 8 ноября 1985 года? Сон такой (воспроизвожу дословно по записной книжке): я иду по дороге и чувствую, как сзади приближается машина. Оглядываюсь: вижу открытый джип, в джипе — наш, советский, солдат подносит ко рту духовую трубку. Такими, наверное, трубками стреляют в Африке дикари. Эту машину преследует другая машина. Джип с солдатом меня обгоняет — слева поворот дороги, машина сворачивает, солдат целится в тех, кто его преследует. Я что-то спрашиваю у солдата и одновременно понимаю, что задав вопрос, становлюсь ненужным свидетелем, и сейчас солдат в меня выстрелит. И он действительно стреляет, причем одним выстрелом поражает две цели: меня и того, кто его преследует. Я чувствую, как на шее сзади под кожей у меня зреет какое-то зерно — то, чем он в меня выстрелил. И я знаю, что непременно умру, потому что зерно это яд, и не просто яд, а что-то живое, вроде личинки, которая мною же и питается. Такой сон.

А моему покойному приятелю Б. Миловидову как-то снилось, что в квартиру из форточки к нему лезет татаро-монгольское иго. Причем сразу всё, скопом.

Собственно, чего ради я все это рассказываю. А того ради, чтобы читатели не ленились, а записывали свои сонные приключения. Во-первых, это интересно, во-вторых — поучительно. В-третьих, у вас появится шанс оказаться в книге какого-нибудь нового Фрейда, который этот ваш сон растолкует.

Хотя подобный способ попасть в историю чреват непредсказуемыми последствиями. Говорил же однажды Ежи Станислав Лец: «Не рассказывайте свои сны — может быть, к власти придут фрейдисты».

Толстой А. К.

В своем брянском имении Красный Рог граф Толстой Алексей Константинович не только писал стихи, романы и трагедии на древнерусские темы. Еще он всерьез занимался столоверчением, причем стол отвечал на вопросы хозяина и гостей непременно ямбами и хореями, ну и иногда, для разнообразия, амфибрахиями. Об этом вспоминает поэт Афанасий Фет, друживший с графом и часто посещавший его краснорожскую вотчину.

Толстой-поэт создал немало стихотворных шедевров. Про хрестоматийные «Колокольчики мои, цветики степные», превратившиеся в народную песню, и стихотворение «Средь шумного бала», музыкально и гениально оформленное Петром Чайковским, не стоит и говорить. Их знают, поют и любят.

Но есть у графа немало других интересных вещей, потише, понезаиграннее. Мне очень нравится, например:

Ты помнишь ли, Мария,
Один старинный дом
И липы вековые
Над дремлющим прудом?..

Или вот это:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча…

Особенно в этих строчках радует меня слово «рубнуть».

Ну и, конечно, хороши у графа Толстого его сочинения о жизни Древней Руси, как стихотворные — «Змей Тугарин», «Старицкий воевода», «Гакон Слепой», «Илья Муромец», — так и в прозе — роман «Князь Серебряный».

Вообще у А. К. Толстого и в мыслях, и в литературных делах заметны пристрастие к Руси Киевской и сильная нелюбовь к Московской. Сам он об этом говорит так: «Моя ненависть к Московскому периоду есть моя идиосинкразия. Моя ненависть к деспотизму — это я сам».

И, конечно же, нельзя не упомянуть ту часть графа

А. К. Толстого, которую все мы знаем под именем Пруткова Козьмы. Тут он просто великолепен.

Вянет лист, проходит лето,
Иней серебрится,
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться…

Или:

Идет прапорщик Густав Бауер,
На шляпе и фалдах несет трауер.

Да, чуть не забыл. Очень сильное влияние оказал наш поэтический граф на обэриутов. Весь Олейников, например, вышел из цикла «Медицинских стихотворений» Толстого.

Доктор божией коровке
Назначает рандеву…

Муха шпанская сидела
На сиреневом кусте…

Ну не Олейников ли? Нет, не Олейников, а Толстой.

Вот какой был замечательный граф, этот самый А. К. Толстой. Ничем не хуже другого графа Толстого — Льва. А в чем-то, может быть, его и получше. Хотя бороды у обоих были очень даже похожи.

Толстой Л. Н.

1.

Не знаю, как сейчас, но в недавние советские времена станция «Астахово», последний пункт жизненного пути великого старца, называлась «Львово-Толстово». Почему топологи того времени не догадались переименовать Черную речку в Пушкинку, а город Пятигорск в Лермонтогорск, тоже не знаю.

Если бы рукопись любого из сочинений Толстого попала к нынешнему редактору, он бы за голову схватился. «Что… что… что» и «который… который… которому» идут с нечеловеческой густотой, как рыба на нерест в верховья сибирских рек. Мой знакомый писатель Святослав Логинов считает глупостью и ошибкой зачисление Льва Толстого в русские классики. Потому что он писал плохо, грязно, с ошибками. Сам Логинов пишет хорошо, чисто и без ошибок.

Пару лет назад я впервые прочитал трилогию «Детство. Отрочество. Юность». Не для того, чтобы проверить утверждение писателя Логинова. Просто решил прочесть. Ведь обидно прожить на свете, так и не прочитав ее. Да: есть у Толстого «чтоканье». И «который… который… которому» тоже есть. Но только если ищешь намеренно, то есть чтобы с наглядными примерами доказать, что Лев Толстой никакой не классик.

Руку на сердце положа, скажу: более живой, более поэтичной, более интересной книги я не читал давно. Вот, не удержусь, чтобы не процитировать.

Про тучи: «К вечеру они опять стали расходиться: одни побледнели, подлиннели и бежали за горизонт; другие, над самой головой, превратились в белую прозрачную чешую; одна только черная большая туча остановилась на востоке».

Ради этого одного «подлиннели» стоит читать Толстого. Про людей и человеческие характеры, населяющие его романы, я даже не говорю.

Толстой заслуживает нашего уважения. И не одними бородатостью и «толстовством».

2.

Очень интересно в литературной (и окололитерататурной) истории то, как тот или иной литератор относился к своим

собратьям по ремеслу. Характерен в этом смысле Лев Николаевич Толстой, чьи высказывания по поводу отдельных писателей и их произведений, мягко говоря, не всегда соответствуют тому образу святочного бородатого Деда Мороза, каким мы часто себе представляем Толстого. Тургенев в поздние годы скажет о Льве Толстом: «Этот человек никогда никого не любил». Но то же самое, слово в слово, записал о Тургеневе и Толстой в Дневниках 1854–1857 годов. Вот еще выписки из его Дневников: «Полонский смешон…», «Панаев нехорош…», «Авдотья (Панаева. — *А.Е.*) стерва…», «Писемский гадок…», «Лажечников жалок…», «Горчаков гадок ужасно…». А вот снова о Тургеневе: «Тургенев скучен…», «Тургенев — дурной человек…» Находим запись о Пушкине: «Читал Пушкина… „Цыганы“ прелестны… остальные поэмы, исключая „Онегина“, — ужасная дрянь…» Не остался без колкой толстовской характеристики и Николай Васильевич Гоголь: «Читал полученные письма Гоголя. Он просто был дрянь человек. Ужасная дрянь…»

А вот его мнение о «любимой» тетушке Ергольской — прототипе обаятельной Сони «Войны и мира»: «Скверно, что начинаю испытывать скрытую ненависть к тетеньке, несмотря на ее любовь. Надо уметь прощать пошлость…»

Теперь процитирую записи Толстого сразу же по его возвращении из-за границы: «Противна Россия. Просто ее не люблю… Прелесть Ясная. Хорошо и грустно, но Россия противна…»

«Прелесть» Ясная, кстати, приносила Толстому ежегодный доход в две тысячи рублей серебром, плюс литературные заработки, которые давали писателю еще около тысячи рублей в год. При таких-то средствах, как у Толстого, Россию можно было и ненавидеть.

«Толстой, — писал Тургенев в Петербург Анненкову, путешествуя вместе с Львом Николаевичем по Франции, — смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича, что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо, — высоко нравственное и в то же время несимпатичное».

Вот такие нехрестоматийные выражения бытовали в русской литературе, таковы ее кухня и мастерская, и, если бы все было иначе, не было бы ни «Войны и мира», ни «Казаков», ни «Отцов и детей», ни открытий, ни взлетов, ни поражений, а была бы одна ровная местность с изредка торчащими невзрачными холмиками мелких Кукольников и причесанных Боборыкиных.

«Три мушкетера» А. Дюма

Несколько раз я слышал странное мнение, что «Три мушкетера» Александра Дюма — книга вредная и ненужная и что ее не следует давать читать детям. Потому что ее герои занимаются черт те чем: пьют вино, дерутся на шпагах, развратничают, воруют бутылки через дырку в потолке магазина, убиваю женщину и так далее и тому подобное. Первый раз такое мнение я услышал на писательском семинаре в Дубултах в 1990 году от кого-то из молодых писателей. Второй раз я услышал такое мнение от одного известного питерского фантаста на Семинаре Б. Н. Стругацкого. Третий раз я услышал аналогичное мнение от старой дамы, профессорши, университетской преподавательницы, в случайно слышанной по радио передаче.

Она вообще выступала за запрещение много чего в русской и нерусской детской литературе: в частности, книги и фильма о Малыше и Карлсоне, потому что Карлсон, во-первых, живет на крыше, а значит — бомж, и уже одним этим подает дурной пример для подростков, во-вторых, он все время врет, без меры ест сладкое, подставляет вместо себя других, когда требуется отвечать за содеянное, и прочее и тому подобное. Запрещению подлежат Буратино и Вини-Пух — практически по тем же причинам, сказка про Машу и трех медведей — за то, что маленькая ее героиня пришла в чужой дом, всё там съела, поломала, а потом убежала от заслуженного наказания.

Вот и мушкетеры Александра Дюма угодили под каблук этой дамы. А такой переворот в ее мыслях произошел после посещения США, где борьба за политкорректность достигла таких масштабов, что в некоторых штатах Америки запретили Тома Сойера с Геккльбери Финном и изъяли все подозрительные места из классических детских книжек.

Так что, дорогие читатели, пока еще на школьных дворах не пылают костры из книг, в которых политкорректность не дотягивает до необходимого уровня, срочно покупайте «Трех мушкетеров» и читайте, перечитывайте, давайте читать другим. Пока не настал День Гнева.

Тургенев И.

1.

У Ивана Сергеевича Тургенева были очень своеобразные литературные вкусы. Вот что он говорил Некрасову, когда тот в «Современнике» напечатал «Полиньку Сакс», первое произведение начинающего тогда А. В. Дружинина, известного впоследствии литературного критика и основателя Литературного фонда:

> Вот это талант, не чета вашему «литературному прыщу» (Достоевскому. — *А.Е.*) и вознесенному до небес вами апатичному чиновнику Ивану Александровичу Гончарову. Эти, по-вашему, светилы — слепорожденные кроты, выползшие из-под земли: что они могут создать? А у Дружинина знание общества… И как я порадовался, когда он явился вчера ко мне с визитом — джентльмен!..

Вообще, проблема «комильфо» и «не комильфо» Тургенева, похоже, волновала больше, чем проблема писательского таланта. На этой, в основном, почве и возникла его знаменитая вражда с Достоевским — вернее, наоборот: Достоевский, сперва раздраженный показным аристократизмом Тургенева, а в дальнейшем прозападным пафосом его сочинений и романом «Дым» в частности, разорвал с ним всякие отношения.

«Не люблю тоже его аристократически-фарисейское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет вам свою щеку. Генеральство ужасное; а главное его книга меня раздражила. Он сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги, состоит в фразе: „Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого убытка, ни волнения в человечестве“», — пишет Достоевский в письме А. Майкову из Женевы в августе 1867 года.

Забавный, но характерный для облика Тургенева эпизод рассказан Авдотьей Панаевой в ее богатых живыми подробностями «Воспоминаниях»:

> Раз, после выпуска книжки (журнала «Современник». — *А.Е.*) у нас собралось обедать особенно много гостей. После обеда зашел общий разговор о том, как было бы хорошо, если бы разрешили издавать сочинения Белинского, — тогда дочь его была бы обеспечена.

— Господа, — воскликнул вдруг Тургенев, — я считаю своим долгом обеспечить дочь Белинского. Я ей дарю деревню в двести пятьдесят душ, как только получу наследство.

Это великодушное заявление произвело большой эффект… Когда восторги приутихли, я обратилась к сидевшему рядом со мной Арапетову и сказала ему:

— Я думала, что уже сделалось анахронизмом дарить человеческие души; однако, как вижу, я ошибалась.

Мое замечание произвело эффект совсем другого рода. Многие из гостей посмотрели на меня с нескрываемой злобой, а Некрасов и Панаев сконфуженно пожали плечами…

Есть литература, есть литераторы. И даже хорошо, что идеалы, которые провозглашают писатели, вытекают из их не всегда идеальных душ. Это утешает читателей, это уравнивает их с властителями человеческих дум, это придает им уверенность в равенстве писателя и читателя. Итак, да здравствуют писательские слабости и пороки!

2.

«Конечно, у Ивана Тургенева все это немножко не так, у него все собираются к камину, в цилиндрах, и держат жабо на отлете… Ну, да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо — что нам жабо! Мы уже и без жабо лыка не вяжем…» Это из «Москвы — Петушков».

«Филофей испуганно тпрукнул…» Это из «Записок охотника».

Немножечко не прав был господин Ерофеев, ведь и у Тургенева не всякий у камина и при жабо. Есть и у него простоволосые народные типы, вроде упомянутого возницы.

С точки зрения нас, современных читателей русской классики, Тургенев не был большим писателем, во всяком случае до уровня Толстого и Достоевского ему было далеко. Зато он «первый русский писатель, заметивший игру ломаного солнечного света и светотени при появлении людей» (В. Набоков).

У Набокова свои критерии отбраковки авторов, у нас — свои. Автор «Записок охотника», «Отцов и детей» и проч. — один из самых читаемых писателей в России 60-80-х годов XIX века, да и вообще всей второй половины века и даже начала следующего. И плевать ему на любые критерии — наши они или ваши.

Причины такой популярности критик Николай Страхов объясняет элементарно просто.

Во-первых, Тургенев ни в чем не отделял себя от среднестатистической массы образованных людей своего времени и никогда не противоречил их вкусам и мыслям. То есть если другой писатель всегда в чем-то отличался от толпы, пусть и образованной, имел собственные ответы на те или иные вопросы и отстаивал их как умел, Тургенев, тот всегда этой толпе потакал и поэтому был ее любимцем.

Во-вторых, язык. Язык Тургенева — это язык образованного русского общества, то есть язык общелитературный, избегающий всяческих отклонений от нормы, шероховатостей, новшеств. У него никто не «ложит», только «кладет». Этим он тоже льстил читателям, считающим себя образцовыми носителями правильной и культурной речи.

Третье — изящество описываемых манер. То, к чему стремился и чего добивался от окружающих образованный класс того времени. То есть все должно быть в рамках приличий. Никто не пукает за столом, не отдыхает лицом в салате, не сморкается и не справляет нужду ни малую, ни большую.

И четвертое, главное. Это герой, которого Тургенев вывел на подмостки романа. Читатель видел в нем себя самого, герой романа был равен герою жизни, то есть ему, читателю. И опять писатель шел нога в ногу с публикой. Публике был нужен идеальный герой, мыслящий точно так же, как мыслила она, публика. И публика получила таких героев. Рудин, Базаров, прочие — это они, читатели, люди образованные, передовые, любящие себя таких.

Вот секреты тургеневского успеха. И вообще — любого успеха. А что «великий» Тургенев писатель или не очень, в сущности какая нам разница. Сказал же умный Розанов в свое время: «Нужна вовсе не „великая литература“, а великая, прекрасная и полезная жизнь».

Тютчев Ф.

1.

Кто бы в наше время знал что-нибудь о математике и философе древности Пифагоре, если бы не ходячее выражение «Пифагоровы штаны». О микробиологе Кохе мы знаем исключительно благодаря «палочке Коха». О Вассермане — по «реакции Вассермана». О Пржевальском — из-за его лошади. Мне однажды приснился сон, что за какие-то непонятные заслуги я удостоен высшей литературной премии — «лопаты Каралиса». Что это такое — лопата Каралиса — хоть убейте, не знаю. Есть пирожное «Наполеон», и, возможно, только благодаря ему имя великого полководца до сих пор на слуху у обывателей. Тютчеву в этом смысле не повезло. Нет ни «тютчевской колбасы», ни водки под названием «Тютчев». А ведь именно по таким параметрам, как присоединение имени человека к какому-нибудь предмету или явлению, судят о популярности той или иной личности.

Итак, Тютчев.

«Пророк в своем отечестве», как назвал Тютчева в книге с одноименным названием литературовед В. Кожинов. На самом деле до 50-х годов XIX века имя Тютчева отечественному читателю практически ничего не говорило. Русские, как известно, не любопытная нация, что же касается русской литературы, то многие во времена Тютчева (и пушкинские, конечно! Ведь основные тютчевские шедевры созданы при жизни первого поэта России) даже не знали, существует ли таковая вообще. Тютчева «открыли» Некрасов с Тургеневым. Через полвека после того, как в пушкинском «Современнике» были напечатаны лучшие стихотворения поэта. «Silentium!», «Еще в полях белеет снег», «Люблю грозу в начале мая» — все эти хрестоматийные ныне вещи тогда прошли незамеченными.

И свалившаяся на поэта слава (когда Тютчеву было уже с лишком за пятьдесят) была скорее политическим актом — литературе нужен был новый Пушкин, а популярный в те времена Бенедиктов на Пушкина не тянул явно, вот Некрасов и Тургенев и вытащили из небытия Тютчева, осенив его всеми возможными для поэта лаврами.

Затем, к концу века, про Тютчева снова стали потихонечку забывать, пока символисты не сделали его знаменем новой русской поэзии и не объявили своим предтечей.

Все эти колебания маятника к самой поэзии отношения не

имеют. Тютчев во все времена оставался и остается Тютчевым. Как поэзия остается поэзией, независимо от прихотей моды.

Дайте Тютчеву стрекозу —
Догадайтесь, почему…

— с такой стихотворной загадки начинает Осип Мандельштам одно из своих известных стихотворений.

2.

На самом деле загадка решается просто. Достаточно не быть двоечником, который в поэзии, кроме «Маленький мальчик гранату нашел», ничего другого не знает, открыть на соответствующей странице книжку стихотворений Тютчева и прочитать такие его замечательные летние строчки:

В душном воздуха молчаньи,
Как предчувствие грозы,
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы…

Федор Иванович Тютчев после Пушкина и Лермонтова входит в малую тройку поэтов, без которых не представима ни русская поэзия вообще, ни, пожалуй, сама Россия. Он, Некрасов и Анненский — вот те отечественные киты, на которых держится вся послепушкинская поэтическая традиция, включая настоящее время.

О Тютчеве-поэте сказано много. О Тютчеве-человеке тоже известно достаточно хорошо. Один из лучших и острейших умов своего времени, автор летучих фраз, и поныне не утративших свою актуальность. Вот несколько примеров тютчевских афоризмов.

О русской истории: «История России до Петра — одна сплошная панихида, а после Петра — сплошное уголовное дело».

О русских цензорах: «Все они более или менее мерзавцы, и, глядя на них, просто тошно, но беда наша та, что тошнота наша никогда не доходит до рвоты».

И т. д.

Кстати, понятие «оттепель» применительно к политической атмосфере России ввел впервые не Илья Эренбург. За столетие до него употребил это слово Тютчев, привязав его ко времени,

наступившему сразу после смерти императора Николая I.

Но гениальнее всего талант Тютчева проявился несомненно в стихах. В них гармонически соединилось то, что современные Тютчеву стихотворцы всячески пытались разъединить, а именно — романтизм и архаика.

После смерти Тютчева (1873) в русской поэзии наступил упадок, и лишь в первые десятилетия XX века, начиная с Анненского, которым, собственно, и открывается так называемый поэтический Серебряный век, последовало ее бурное возрождение.

3.

Умные все же люди служили в советской системе учета кадров, придумывали всяческие анкеты, в которых работник при трудоустройстве обязан был дать внушительный список родственников по прадедов и прабабок включительно, их социальное положение, классовую принадлежность и прочую необходимую информацию, по которой определялось главное качество человека: свой он или чужой. Было бы так при царизме — многие уважаемые тогда и ныне фигуры предстали бы перед публикой в таком неприглядном виде, что, выражаясь языком некоторых героев Зощенко, «хушь плачь».

Вот возьмем для примера такую известную в русской литературе фигуру, как Федор Тютчев, поэт. Знаете, кто был его дед? Не знаете, так сейчас узнаете. Был он незаконным сожителем знаменитого чудовища в юбке, Дарьи Николаевны Салтыковой, более известной под прозвищем Салтычиха. Да, да, та самая Салтычиха, которая раскаленными щипцами выжигала своим крепостным уши и при помощи таких вот садистских методов свела в могилу общим счетом более ста человек дворовых людей. Следственное дело о Салтычихе говорит, что она «жила беззаконно с капитаном Николаем Андреевичем Тютчевым», который и приходится Федору Ивановичу Тютчеву родным дедом. Правда, капитан Тютчев скоро бросил свою возлюбленную и ушел к другой, к Панютиной Пелагее Денисовне. Салтыкова в отместку дает поручение своему конюху поджечь дом очередной дамы сердца неверного капитана, «чтобы оной капитан Тютчев и с тою невестой в том доме сгорели». Конюх отправился на задание, но в последний момент не выдержал и не совершил злодеяния. За что был подвергнут хозяйкой жестоким пыткам. Далее беспокойная Салтычиха подсылает к Тютчеву и его невесте убийц. На Брянской дороге карету, в которой едут

молодые любовники, ждет засада, но им чудом удается спастись.

В родословной поэта, составленной Иваном Аксаковым, очень много и подробно пишется о далеких флорентийских корнях древнего рода Тютчевых, о ближайших же предках говорится кратко, хотя и метко: «Брянские помещики Тютчевы славились лишь разгулом и произволом, доходившими до неистовства».

Писатель Марк Алданов, из очерка которого я и почерпнул эти малоизвестные факты, с присущим ему ехидством замечает: «Свою знаменитую остроту о том, что история России до Петра — панихида, а после Петра — уголовщина, великий поэт, быть может, выводил отчасти из своих семейных преданий».

y

Указы императрицы Екатерины

Женщина, сама себе создавшая «бессмертную славу, какую она приобрела во всем мире».

Закавыченная характеристика императрицы Екатерины принадлежит Андрею Тимофеевичу Болотову, писателю и естествоиспытателю, одному из основоположников русской агрономической науки.

Страннейший же панегирик императрице я нашел в очерке Василия Ключевского, историка, чей критический взгляд на деятелей отечественной истории порою парадоксален и вызывающ:

> Екатериною восторгались, как мы восторгаемся артистом, открывающим и вызывающим в нас самим нам дотоле неведомые силы и ощущения; она нравилась потому, что чрез нее стали нравиться самим себе. С Петра едва смея *считать себя людьми* (курсив мой. — *А.Е.*) и еще не считая себя настоящими европейцами, русские при Екатерине почувствовали себя не только людьми, но и чуть не первыми людьми в Европе. За это не ставили ей в счет ни ошибок ее внешней политики, ни неудобств внутреннего положения, ни поступков с Арсением Мацеевичем или Новиковым, не достойных ни ее ума, ни сана, ни приемов «маленького хозяйства», в котором, по тогдашним рассказам, платилось 500 рублей за пять огурцов для любимца и выходило угля для щипцов придворного парикмахера на 15 000 рублей в год. Общее настроение сглаживало эти неровности, вследствие которых империя последних лет представляла по закону, по общему впечатлению стройное и величественное здание, а вблизи, в подробностях, — хаос, неурядицу, картину с размашистыми и небрежными мазками, рассчитанными для дальнего зрителя.

Ключевский наверняка прав: классические потемкинские деревни тому примером. И все же екатерининский век представляется нам неким золотым периодом русской истории — возможно, оттого, что на троне сидела женщина. Не зря же несколько лет назад питерские пиарщики сделали ставку на Валентину Матвиенко исключительно как на женщину. И — выиграли.

Екатерина же сделала свой главный «пиар» на Просвещении. Эпоха Просвещения в России (правда, несколько припозднившись по отношению к европейским странам) прочно связана с именем Екатерины Второй. «Прежде надобно облагородить ум и сердце людей, а потом улучшить их жизнь, сперва выучить человека плавать, а потом пускать его в воду».

Лучшим из последних исторических сочинений о веке Екатерины я считаю роман В. Аксенова «Вольтерьянцы и вольтерьянки». Правда, он не совсем исторический — роман скорее принадлежит к жанру альтернативной истории, в нем фантастики (впрочем, как всегда у Аксенова) хоть отбавляй, чего стоят хотя бы уходы персонажей в «спокойное настоящее», когда топор палача уже касается шеи положительного героя, а он — шасть — и сидит себе спокойно в каком-нибудь параллельном мире и поплевывает на себя другого, чья головушка в этот момент прощается с грешным телом.

«Уловка водорастов» Белоброва—Попова

Водорасты — это не пидорасты. Это такие инопланетные существа, которые заматывают в себя чужую энергию, как в кинофильме «Джентльмены удачи» заматывают в ковер Доцента—Леонова и как аналогично в фильме «Приключения Шурика» заматывают в обои артиста Смирнова. Короче, они очень плохие, чем в корне отличаются от других инопланетных существ, хвостонуев, которые дружественные и хорошие, а еще они придумали пиво и научили разумных обитателей космоса его пить. Водорасты же придумали разбавлять пиво водой, чем вызвали во Вселенной разброд и смуту. Писательский дуэт Белобров—Попов рассказывают нам трагический случай, когда обыкновенный московский житель отправился по осени по грибы, а в результате стал жертвой коварных водорастов и попал сначала в милицию, а затем в дурдом.

Белобров и Попов хороши на малых дистанциях. Первая их печатная книжка «Арап Петра Великого — 2», маленькая повесть с картинками, просто великолепна. Потом был пародийный роман «Красный бубен», бесконечная история шайки вампиров, терроризирующих население маленькой тамбовской деревни. Читать роман устаешь, после нескольких десятков страниц веселье перерастает в скуку, и я думаю, что редкий читатель добирался до середины его течения.

«Уловка водорастов» — возвращение писателей к малой форме, и возвращение удачное. Лакированная кобылка кича, умело понукаемая авторами, весело подмигивает читателю то призраком утопленницы Муму, то личиком королевы космического секса Татьяны Николаевны Рукавишниковой, а то и откровенным оскалом какого-нибудь очередного вампира, объявившегося на пляже в Крыму.

Картонные масскультовые сюжеты умело препарируются авторами, и незаметно как-то так получается, что смех переходит в слезы, пародия делается трагедией, а газон с искусственными цветами превращается в настоящий луг. И главное — незаметен шов, граница этого превращения.

Конечно — это литература, а не подделка, как скажут некоторые. А название — ну что же название? Ничем не хуже какого-нибудь «Прощания с телом», «Войны и мира» или «Укуса ангела».

«Устные рассказы» М. Ромма

Михаил Ромм о своей работе и жизни сказал так: «Я — человек очень редкой профессии, я — кинорежиссер. Профессия эта необыкновенно занимательна. Она очень трудная, но необыкновенно разнообразна и, следовательно, водит человека по очень забавным, странным и необычным тропкам. И на этих тропках встречаются забавные и необычные явления. Как бы ни казались эти явления иногда незаметными, маленькими, но в них, как в капле воды, отражается наша жизнь, отражается время».

О хождениях по жизненным тропкам и о необыкновенных встречах, на них случавшихся, и рассказывает эта очень живая книга.

Чтобы дать о ней представление, вкратце перескажу рассказ Ромма о том, как показывали в 1949 году его фильм «Ленин в Октябре». Были юбилейные ленинские дни, и в Большом театре по этому случаю готовился праздничный концерт для правительства и избранных почетных гостей. Когда Сталину дали на одобрение программу концерта, он предложил во втором отделении заменить чтение стихов Маяковского и фрагменты из балета «Пламя Парижа» на какое-нибудь кино про Ленина. А раз про Ленина, то, значит, «Ленин в Октябре», и поэтому срочно вызывают режиссера Ромма в сопровождении министра Большакова и председателя Комитета по делам искусств Храпченко к генералу МГБ Власику, отвечавшему за безопасность Сталина. Тот дает установку, что, мол, фильм нужно сократить до 40 минут и в типографии перепечатать программу будущего концерта. «А как назовем? — спрашивает Большаков. — Фрагменты или, значит, отрывки?» — «Фрагменты… — издевательски отвечает Власик. — Кто это поймет эти твои „фрагменты“? Кто там будет сидеть-то? Секретари райкомов будут сидеть. Что они, понимают, что такое фрагменты?» Короче, разобрались с «фрагментами», и уже все собираются расходиться, как Ромм вспоминает, что у него нет билета на концерт. Большаков говорит, что все билеты уже распределены, лишних нет. Тогда Власик достает из кармана билет с печатью «Служебный» и передает Ромму.

В нужный день Ромм приходит в Большой театр, опаздывает, дает билет капельдинеру, спрашивает: «Где тут ложа номер такой-то?» — «Это вам к товарищу полковнику», — отвечает тот и направляет к соответствующему лицу в погонах МГБ. Полковник тщательно Ромма осматривает, особенно приглядываясь к заднему карману брюк. Затем говорит: «Молодец. Хорошо. Твоя

ложа № 13. Сядешь на свободное место. Рядом будет сидеть академик в шапочке. Твой объект». Только тут до Ромма дошло, что с билетом от генерала Власика его приняли за секретного агента, который должен вести наблюдение над древним старичком-академиком в ермолке и с трясущимися руками. В том смысле, что ежели академик задумает стрелять в товарища Сталина, то он, Ромм, должен опередить убийцу и задушить его собственными руками. А похвалил его полковник за то, что пистолета у агента не видно, ордена и Сталинские премии настоящие, костюм пошит хорошо, и сам агент нисколько не похож на агента.

Ф

«Фарфоровый павильон» Н. Гумилева

В Китае Гумилев не был. Был в Африке, был в Европе, а до Китая не смог добраться. И так ему за это было обидно, что он взял однажды в руки перо и написал про Китай книжку. Называется она «Фарфоровый павильон». Это очень интересная книжка. Я ее помню с детства. Когда мы выпиваем с друзьями где-нибудь возле озера, на природе, я всегда после третьей рюмки цитирую из нее любимые строки. Эти:

…И ясно видно в чистом озере —
Мост вогнутый, как месяц яшмовый,
И несколько друзей за чашами,
Повернутых вниз головой.

И эти:

Есть еще вино в глубокой чашке,
И на блюде ласточкины гнезда.

А затем, когда выпито уже достаточно много, я подхожу к какой-нибудь незнакомой девушке и тихонько ей напеваю на ухо:

Девушка, твои так нежны щеки,
Грудь твоя — как холмик невысокий.
Полюби меня, и мы отныне
Никогда друг друга не покинем.

Некоторые отвечают взаимностью, большинство же смотрят на меня как на психа или маньяка и пресекают мои сексуальные домогательства отнюдь не поэтическими словами.

Ферсман А.

Перед тем как рассказать об академике Александре Ферсмане и его книгах, позволю себе процитировать отрывок из сочинения профессора истории и члена Санкт-Петербургской Академии наук Ле Руа «Приключения четырех российских матросов, к острову Шпицбергену бурею принесенных», впервые изданного на немецком языке в 1760 году и неоднократно переводившегося на русский:

> Почти в середине сего острова находится жирная земля или глина, из чего с нарочитою вероятностью заключить можно, что прежде в оной земле была железная руда или со временем оная окажется, а может быть и теперь, ежели бы начать копать, она нашлась.

В примечаниях к сочинению Ле Руа дается комментарий этого места книги, принадлежащий профессору С. В. Обручеву, автору «Плутонии» и «Земли Санникова»:

> Вероятно, здесь имеется в виду железная сметана — тонкочешуйчатая разновидность железного блеска, мягкая и жирная на ощупь, охристый красный железняк или какие-нибудь охристые железистые глины. О-в Эдж сложен свитами триаса, но ввиду наличия здесь интрузий диабаза возможно и нахождение железных руд, связанных с ними; не исключена возможность находки пластов сидерита и в триасе. Все эти руды при выветривании могут дать охристые массы.

Так вот, для простого читателя, каким являюсь, например, я, нужно давать дополнительный комментарий к комментарию, мной процитированному. И лучшим комментатором, который бы мне помог, является академик Ферсман и его книги. Он знает про камень все. Мало того, в самом описании минерального мира, переданном словами Ферсмана, заключена самая настоящая живая поэзия, данная непосредственно, а не высосанная из пальца. Вот топаз: «бесцветный или винно-желтый, золотисто-желтый, оранжевый, розовый, голубоватый, зеленоватый, синеватый». Вот солнечный камень, «проросший тонкими чешуйками железного блеска». «Винно-желтый», «проросший чешуйками»… Этим словам место в поэзии Мандельштама и Гумилева. То есть я хочу сказать что: книги Ферсмана это поэзия

камня, и читать их можно не только с познавательной целью, но и просто как стихи или хорошую прозу.

Фет А.

Самое точное и замечательное название к сборнику своих сочинений придумал поэт Иннокентий Анненский — «Тихие песни». Перечитывая недавно Фета, я подумал, что это определение Анненского как никакое другое подходит к автору «Вечерних огней». И я не понимаю Осипа Мандельштама, написавшего про «жирный, больной одышкой карандаш» Фета. Сихи его (Фета. Впрочем, и Мандельштама тоже) состоят из воздуха, земли и воды — то есть из тех животворящих начал, которые составляют всякую настоящую поэзию. «Тихого» поэта Фета я читаю выборочно. У него хороши строчки, а не стихотворение в целом.

Вот очень короткая выборка из того, что нравится:

> В сияньи полночи безмолвен сон Кремля.
> Под быстрою стопой промерзлая земля
> Звучит, и по крутой, хотя недавней стуже
> Доходит бой часов порывистей и туже…
>
> *(Эх, шутка-молодость!..)*
>
> Персты румяные, бледнея, подлиннеют…
>
> *(«Ее не знает свет…»)*
>
> Люблю ее степей алмазные снега…
>
> *(«Тебе в молчании я простираю руку…»)*

И так далее.

Хорошо о Фете написал Георгий Адамович в своей книге «Комментарии»:

> Краска стыда на лице у Фета. Впрочем не Фета подлинного, не Афанасия Афанасиевича, *которого надо бы еще прочесть и перечесть по-новому,* а Фета нарицательного, того, который возвеличен в пику Некрасову, то есть Фета как олицетворение поэтичной поэзии, со всеми позднейшими Фофановыми и Бальмонтами, за которых он частично ответствен.

Курсив в выписанной цитате — мой. Прочесть и перечесть по-новому! Фет этого стоит.

Кстати, о Марине Цветаевой. Самое ее любимое стихотворение во всей (!) русской поэзии было фетовское: «Сияла ночь. Луной был полон сад…»

«Фимиамы» Ф. Сологуба

«Никогда не доверяйте симпатичным людям. Надо доверять только несимпатичным».

Этот афоризм принадлежит большому русскому поэту и автору одного из самых сильных романов русской литературы Федору Кузьмичу Сологубу.

Когда вышел первым изданием «Мелкий бес», Сологуб, как вспоминал Добужинский, «имел весьма патриархальный вид лысого деда с седой бородой, что как раз не вязалось с изысканностью и греховностью его стихов и было, в сущности, его загадочной маской».

«Тогдашний облик, — вспоминает художник далее, — мне больше был по душе, чем тот, который он принял несколько лет спустя, когда уже был женат на Настасье Чеботаревской. Он стал бритым, причем обнаружилась большая бородавка у носа».

Эта бородавка, кстати, хорошо видна на портрете Ф. Сологуба работы К. Сомова, который сам поэт считал лучшим своим портретом («Там я совсем похож»).

Сологуб много кого и чего не любил в литературе и в жизни: Блока («хороший поэт, но не русский, — немец»), Щедрина (не было более бранного слова для Сологуба, чем Щедрин), Андрея Белого, роман которого «Петербург» он на дух не переносил, Рабле и Свифта, которые, со Щедриным наравне, были самыми нелюбимыми у Сологуба писателями, О. Генри…

«Профессионально злой», — назвал Сологуба Вл. Пяст в своей книге воспоминаний.

1921 год, год выхода «Фимиамов», был для Сологуба самым трагическим годом всей его жизни. 23 сентября жена его, писательница и переводчица Анастасия Чеботаревская, в остром приступе психостении бросилась с дамбы Тучкова моста в реку Ждановку и утонула. Нашли ее только весной, когда вскрылся лед. Все это время поэт не верил в гибель жены и каждый день ставил для нее обеденный прибор, ожидая ее возвращения.

«Она отдала мне свою душу, и мою унесла с собою», — напишет он в письме к Мережковскому.

И добавит: «Но как ни тяжело мне, я теперь знаю, что смерти нет».

И уже умирая, зимою 1927 года, он говорил в бреду: «Она ждет меня, она зовет меня…»

Унесла мою душу
На дно речное.

Волю твою нарушу,
Пойду за тобою…

«Для русской литературы 5 декабря 1927 года — такой же день, как 7 августа 1921 года (день смерти А. Блока. — *А.Е.*), — скажет Е. Замятин на панихиде по поэту Федору Сологубу. — …В каждом из них мы теряли человека с богато выраженной индивидуальностью, с своими — пусть и очень различными — убеждениями, которым каждый из них оставался верен до самого своего конца».

X

«Хазарский словарь» М. Павича

Внешняя закрытость «Хазарского словаря», подчеркнутая уже названием, на самом деле закрытость кажущаяся. Игра в отпугивание массового читателя входит в планы хитроумного автора. Книга рассчитана в равной мере на читателя массового и читателя элитарного. Каждый возьмет из нее свое: элита — возможность очередной раз задрать вверх подбородок и воспарить над человеческим муравейником, массовый же читатель — сборник емких остросюжетных историй в духе псевдонародного хоррора.

Автор благосклонно предупреждает, что каждый волен читать эту книгу с любого места и в любом месте оборвать чтение. Но сам же при этом намекает на песочные часы, вставленные в переплет книги, которые дают знать, когда нужно остановить чтение и продолжить его в обратном порядке. Тогда-то, мол, и откроется тайный смысл «Хазарского словаря». А через страницу лукаво замечает, что современному читателю «не нужны песочные часы в книге, которые обращают его внимание на то, чтобы переменить способ чтения, ведь современный читатель способ чтения не меняет никогда». Это очередная провокация автора, рассчитанная исключительно на упрямство читателя, который хотя бы из чувства противоречия сделает так, как задумал создатель книги.

Если брать литературные аналогии, я бы в параллель «Хазарскому словарю» поставил сочинения Умберто Эко, например его «Имя Розы». Между прочим, эти романы пересекаются даже в некоторых частных деталях. Я имею в виду образ книги-убийцы, доминантный и там, и там. Мифологизированная история, или историзированная мифология, — называйте это явление как хотите — стала общим культурным местом в так называемой литературе постмодернизма. И все же эти два автора (Эко и Павич), формально причисляемые к «ядовитому жупелу» современной культуры, на самом деле столь же обособлены от него, как, например, Борхес от сочинений Пригова или же «Остров мертвых» Бёклина от «Сестрицы Алёнушки» Васнецова.

Самая, пожалуй, постмодернистская статья «Словаря» — это та, в которой рассказывается история д-ра Сука, археолога и арабиста, проснувшегося апрельским утром 1982 года (за два года до выхода «Хазарского словаря» в свет) с волосами под подушкой и болью во рту. Здесь явная игра-угадайка, в результате которой выигравший получает в подарок книгу Франца Кафки

«Процесс» и «Ослепление» Элиаса Канетти в придачу.

Что же это такое — роман Павича «Хазарский словарь»? Чем же он так мил сердцу мирового читателя? Или все дело в профессорской глубине (Милорад Павич — профессор), с которой автор подошел к теме? Как в случае с профессором Толкином, написавшим «Властелина колец», одну из самых народных книг за всю историю XX века. Но гадай не гадай, а факт остается фактом: книга Павича стала знаменитой везде — и в Европе, и в Америке, и в Японии, и на островах Зеленого Мыса. А теперь и у нас, в России.

Мои друзья по цеху фантастов непременно причислят Павича к своему профессиональному кругу. И будут правы. Смешение истории и фантастики, постоянное смещение реального действия в область потустороннего и таинственного, древняя хазарская секта «ловцов снов», живущая в чужих снах как в собственном доме и путешествующая из прошлого в настоящее. Эти и еще много других примет дают право поставить книгу на одну полку с шедеврами мировой фантастики.

Друг мистики им ответит: отойдите, это моё! И докажет как дважды два, что всё, что в этой книге написано, — правда и только правда. Тем мистика отличается от фантастики, что мистический опыт — живой и его участником воспринимается совершенно серьезно, я бы сказал, опасно серьезно, а фантастика, с точки зрения людей серьезных, — это всего лишь красивый (или уродливый, как хотите) литературный кокон.

Действительно, через книгу протянулись цепочки символов — мистических, алхимических, каббалистических и тому подобных. Они, как старинные верстовые столбы, задают чтению определенный ритм. Соль, зеркало, буква имени, волос, искусственный человек — голем… Можно выписать десятки примеров, где эти символы обыгрываются в романе. Больше всего, пожалуй, рассыпано по роману знаков, связанных с каббалой, магией буквы, слова.

> Сидя в клетке, он писал — выгрызал зубами буквы на панцире раков или черепах, но прочитать написанное не умел…
>
> Скила вставал перед зеркалом и в те места, на которые приходились зеленые точки, втыкал себе в лицо китайские иглы. После этого боль проходила, а раны заживали, оставляя на коже лишь какой-нибудь китайский иероглиф.
>
> Монах понял, что архангел говорит, пропуская

существительные. Потому что имена — для Бога, а глаголы для человека.

Он чесал его (колено. — *А.Е.*) и оставлял на коже написанные буквы, которые потом можно было читать. Так они переписывались.

И так далее.

Слово в книге Павича существо материальное, осязаемое — опять же, примеров этому можно найти десятки Читатель, не поленившись, может сам заняться выборкой из текста цитат, я же ограничусь одной:

…Кусочек имени, выплюнутый, лежал у нее на губе и был немного испачкан кровью.

Особенно порадует книга любителей всяческих парадоксов и загадочных словесных конструкций: целый словарь метафор, поражающих своей необычностью, подарил читателю автор.

В одной из комнат, где пахнет замочными скважинами…

Рядом молчал еще кто-то, но молчал не на его языке.

Он знал язык своих славянских подданных с бородатыми душами, которые зимой для тепла носили под рубашками птиц.

От коней разлеталось по сторонам облако черных мух и было видно, что кони белые.

А сколько ярких, афористичных подробностей почерпнет из «Хазарского словаря» любитель славянских древностей! Вот что сказано в статье «Словаря» о святом Кирилле Солунском, основателе письменности славян:

Век его прошел главным образом среди диких племен, где после того, как пожмешь кому-нибудь руку, следует на своей пересчитать пальцы.

Или следующее, о нем же:

Сам он держался другого пути и как все моряки был уверен, что в качестве еды умные рыбы вредны для желудка и жестче, чем глупые. Так что только глупцы

> едят и глупых и мудрых, а мудрецы выбирают и ищут глупых.

И, наверно, должны схватиться за головы панславянисты, ревнители чистоты расы, прочитав о своих богоносных предках такие неутешительные слова:

> Глаза они носили на том месте, где когда-то росли рога, и это еще было заметно, подпоясывались змеями, спали головой на юг, выпавшие зубы забрасывали на другую сторону дома, через крышу… Шепча молитвы, ели то, что выковыривали из носа. Ноги они мыли, не разуваясь, плевали в свою тарелку перед обедом…

Как же все-таки читать эту книгу? Вот как пишет об этом автор: «Чтение, взятое в целом, дело очень подозрительное». Поэтому каждый читатель должен принимать эту книгу в частности и оценивать ее по своим личным меркам, не оглядываясь на мнение других.

Ибо «мы и наши мысли — это море и течения в нем: наше тело — течение в море, а мысли — само море. Так тело, прорываясь сквозь мысли, завоевывает себе место в мире Душа же — русло и того и другого…»

Хармс Д.

У писателя Даниила Хармса есть коротенькое стихотворение, которое написано про меня. Вот оно:

Мы знаем то и это,
мы знаем фыр и кыр из пистолета,
мы знаем памяти столбы,
но в книгу спрятаться слабы.

Почему про меня? Объясняю по пунктам:

1. Кто лучше меня знает то и это? Никто, я выяснял специально, опрашивая многих людей, как у нас в России, так и в странах дальнего и ближнего зарубежья.

2. Фыр и кыр из пистолета мне знакомы не только по компьютерным играм-стрелякам и видео- и телебоевикам. Будучи офицером запаса старой, еще Советской армии, я стрелял в тире в каком-то гулком подвале в Купчино из настоящего пистолета, не помню какой системы.

3. Про памяти столбы даже и говорить стесняюсь. Уж кому, как не мне, знакомы наперечет каждый столбик, каждая выбоина и яма на бесконечной дороге памяти.

4. Попытки спрятаться в книгу я проделывал в жизни неоднократно. И всякий раз чья-нибудь безжалостная рука вытаскивала меня или за ухо, или за более важные части тела из этого обманчивого убежища.

Потому-то мне и нравится Хармс, что, когда он говорит «мы», я вижу за его «мы» себя. Наверное, я не один такой.

Хемингуэй Э.

На одной из встреч со студентами Уильям Фолкнер на вопрос: «Кого бы вы назвали в числе пяти самых выдающихся писателей современности?» — ответил так: «1. Томас Вулф. 2. Дос Пассос. 3. Хемингуэй. 4. Кэзер. 5. Стейнбек». И, конкретизируя, Фолкнер высказался о Хемингуэе: «Он не наделен храбростью, никогда не спускался на тонкий лед и никогда не употреблял слова, которые заставили бы читателя обратиться к словарю, чтобы проверить правильность их употребления». Слова Фолкнера попали в прессу, и Хемингуэй, прочитав такой о себе отзыв, в сильной обиде попросил своего друга, бригадного генерала Лэнхема, передать Фолкнеру, как он, писатель Хемингуэй, вел себя под огнем. Лэнхем написал Фолкнеру, что Хемингуэй все время, начиная с высадки во Франции и до зимы 1944 года, в качестве военного корреспондента был в его 22-м пехотном полку, выказав при этом «исключительный героизм». Причем перечисление военных заслуг Хемингуэя заняло целых три страницы письма. Так что смелость писателя была зафиксирована документально.

На самом деле Фолкнер имел в виду храбрость не в человеческом смысле этого слова. Он имел в виду храбрость литературную, тягу к эксперименту, словесной игре и прочим вещам, которыми часто грешила и продолжает грешить любая литература мира.

Хемингуэй прост намеренно. Его знаменитые пространные диалоги, состоящие из обычных слов, с помощью которых общаются миллионы людей на свете, притягивают читателя именно своей простотой, своим приближением к жизни. Это очень важная штука — умение завоевать читателя, приблизить его к себе, показать ему, что книга эта о нем, про него, говорится его словами.

А сказать простыми словами о главном, поверьте, — непростое искусство.

28 октября 1954 года писателю была присуждена Нобелевская премия по литературе. Вот что пишет Хемингуэй своему другу генералу Дорман-О'Гоуену по этому поводу:

> Ты знаешь, я никогда не был мрачным субъектом, но этот шведский гонг не доставил мне ни радости, ни веселья. Деньги неплохие, пригодятся для уплаты налогов, а так это только дает всем сомнительное право бесцеремонно вмешиваться в твою личную жизнь. Вчера

разделывал и упаковывал для заморозки мясо черепахи и рыбу, пойманную во время морской прогулки, в которую мы отправились, чтобы избавиться от телефонных звонков, и тут заявились представитель ныне покойного баскского правительства, а с ним португальский генеральный консул и его китайский коллега. Вода и электричество были отключены, так что я с удовольствием протянул им свою пропахшую черепашьим мясом ладонь и пожелал «бог в помощь»…

В этом весь Хемингуэй. Все, что ограничивает писательскую свободу, — от лукавого. Включая и литературные премии. Дай бог каждому писателю иметь такое же свободное мнение. Или не иметь?

Хлебников В.

Великие горные вершины открываются взгляду только в редкие, счастливые дни. В Армении, в Аштараке, маленьком городке в Араратской долине, где я работал когда-то в археологической экспедиции, городке, о котором поэт Мандельштам писал: «Какая роскошь в нищенском селеньи — волосяная музыка воды…» — так вот, в нищенском городке Аштараке библейская гора Арарат проявлялась в воздухе очень редко, густая атмосфера долины была театральным занавесом, прячущим ее от докучного взгляда зрителей и поднимавшимся только тогда, когда у человека была спокойная совесть.

Так и поэзия. Она имеет свои вершины, открывающиеся человеку вдруг, в спокойные и ясные дни. Вершины эти существуют вне человека, вечно. Когда они родились, не важно. Во времена ли Гомера или в наши смутные дни. Они в мире и выше мира. Мы знаем, что они есть, но значение их затеняется буднями. Вчера мелькнуло что-то высокое, проблеск некоего горнего света, сегодня жизнь обложили тучи и светлая секунда ушла, словно ее и не было. Но это обман, питаемый суетой повседневности. Если ты однажды увидел и понял высокое существо поэзии, то уже обречен навеки возвращаться в ее владения.

Люди неблагодарны к поэтам. Частью это происходит от природной человеческой глухоты. Частью — от подспудной борьбы, ведущейся между духом и телом. Дух стремится поднять человеку веки, заставить его разглядеть окружающую красоту. Плоть же, наоборот, притягивает человека к земле, чтобы, подобно Вию, а вернее, пародии на него, человек стал ее придатком.

Поэт Мандельштам писал:

> О, чудовищная неблагодарность: Кузмину, Маяковскому, Хлебникову, Асееву, Вячеславу Иванову, Сологубу, Ахматовой, Пастернаку, Гумилеву, Ходасевичу, Вагинову… Ведь это все русские поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда.

Велимир Хлебников. Опять цитирую Мандельштама:

> Когда прозвучала живая и образная речь «Слова о полку Игореве», началась русская литература. А пока Велимир Хлебников погружает нас в самую гущу

русского корнесловия, в этимологическую ночь, любезную уму и сердцу умного читателя, жива та же самая русская литература, литература «Слова о полку Игореве».

И далее в той же статье:

Хлебников возился со словами, как крот, — между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие.

Гонимый — кем, почем я знаю?
…
Бегу в леса, ущелья, пропасти
И там живу сквозь птичий гам.
Как снежный сноп, сияют лопасти
Крыла, сверкавшего врагам…

Жизнь Хлебникова прошла в скитаньях. Москва, Петербург, Россия: Поволжье, Астрахань, Украина, Баку, Кавказ, революционный поход в Иран. Он нигде не задерживался подолгу, переезжая с места на место и кочуя в своих творениях из прошлого в будущее и обратно. Поселить прошлое и будущее в сегодня, создать Государство Времени была его творческая и жизненная задача. Последнюю остановку он сделал на Новгородчине, в деревне Санталово, 28 июня 1922 года.

Когда умирают кони — дышат,
Когда умирают травы — сохнут,
Когда умирают солнца — они гаснут,
Когда умирают люди — поют песню.

Сказанное выше — приглашение в поэзию Велимира Хлебникова, и не более. Главное — в его творчестве.

Хожение за три моря Афанасия Никитина

Скоро путешественники достигли земли, при входе в которую было написано: «Индия».

Примерно такая фраза запомнилась мне из китайской классики — романа «Путешествие на запад». Почему я ее привел? Наверное, по ассоциации: и в романе китайского автора (У Чэньэня), и в рукописном дневнике русского купца Афанасия Никитина конечный пункт путешествия совпадает — таинственная страна Индия.

Ибо «не счесть алмазов в сказочных пещерах» царства Индийского, как нам живо напоминает в опере «Садко» Римский-Корсаков.

В Индию плыл Колумб (а попал в Америку). В Индию отправился Марко Поло (а попал в Китай). Вот и «некто Афанасий Никитин, Тверской житель, около 1470 года был по делам купеческим в Декане и Королевстве Голкондском», — сообщает в «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзин.

По одним предположениям купец Афанасий Никитин посетил Индию («Королевство Голкондское») по торговым, то есть личным делам. Другие исследователи доказывали, что Никитин был чуть ли не секретным агентом, посланным Иоанном III с политической миссией. Последнее очень ярко показано в старом советском кинофильме 1958 года «Хождение за три моря», где против русского купца плетет интригу некто Мигуэль, португалец, прообразом которого является Васко да Гама, известный мореплаватель, один из первооткрывателей Индии.

«Я расскажу всем, что не ты, а я дошел сюда первым. Я! Я!» — истерически кричит Мигуэль.

То же самое мог кричать и Стефенсон братьям Черепановым, и Маркони Попову, и многие их признанные путешественники и изобретатели нашим непризнанным, сведи их на экране в 50-е годы какой-нибудь патриотический режиссер.

Политика политикой, а литература — литературой. Потому что, с точки зрения литературной, «Хожение» Афанасия Никитина представляет собой уникальный образец авторского стиля и по образности и любопытным частностям ничуть не уступает ни «Путешествиям» Давида Ливингстона, ни «Приключениям барона Мюнхгаузена».

Вот, прочтите и оцените хотя бы этот отрывок:

> Пробыл я в Бидаре четыре месяца и сговорился с индусами пойти в Парват, где у них бутхана — то их

Иерусалим… На праздник съезжается к той бутхане вся страна Индийская. Да у бутханы бреются старые и молодые, женщины и девочки. А сбривают на себе все волосы, бреют и бороды, и головы, и хвосты…

«Хроники Нарнии» Клайва Льюиса

Жил-был в Англии человек. Звали этого человека Клайв Стейплз Льюис. Был он человек мудрый, а мудрые люди знают, что если хочешь рассказать другим что-то очень важное, расскажи им об этом в сказке.

Начать ее можно по-разному. Например, так: «Жили-были на свете четверо ребят, их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси…»

И рассказать дальше про чудесную страну Нарнию, про доброго волшебника льва Аслана, про Белую Колдунью, насылающую на землю холод, и про тысячу приключений и подвигов, совершенных в этой стране детьми — ведь Нарния такая страна, куда попасть могут только дети.

Клайв Льюис был человек верующий и, кроме книги о Нарнии, написал еще много книг. Проповеди, богословские трактаты, литературоведческие исследования, фантастические романы. Но сказочный цикл о Нарнии в творчестве этого писателя-проповедника занимает очень важное место.

В книге писатель всегда больше, чем идеолог и проповедник. Проповедник рассчитывает на подготовленный человеческий материал, на людей, которые пришли слушать Бога через уста человека божьего. Но Бог, говорящий через писателя, понимает прекрасно, что слова должны быть веселые и живые, чтобы они не убивали и не отпугивали, а именно воскрешали людей, именно приобщали их к тем мудрым и простым истинам, которые Он подарил миру. В этом смысле читатели — те же дети, и писатель для них не грозный бог Саваоф, грозящий и сыплющий на головы молнии. Нет, это Санта-Клаус, это русский Дед Мороз, краснощекий и с мешком за плечами, в котором — читатель знает наверняка — не отрубленные головы нечестивых, а подарки, карнавальные маски, мандарины в серебристой фольге, хлопушки и бенгальские свечи.

«Шутки, как и справедливость, рождаются вместе с речью», — читаем мы в одной из повестей цикла.

Эта истина проповедуется писателем постоянно и постоянно подтверждается в текстах. Льюис как никто другой понимает, что нельзя говорить о вещах великих слишком серьезно и уж тем более наставительно и напыщенно.

Когда Диккенс в своих «Рождественских повестях» говорит о вере и Боге, у него это выходит естественно, как дыхание, и написано богато и живо. Но берешь в руки его же «Легенды о Христе» и чувствуешь, как замирают слова, как они осторожничают и бледнеют, боясь неверного шага.

Все дело, видимо, в том, что величие самой фигуры Христа заставляет писателя усомниться в достоинстве слов, которыми эта фигура описывается. Писатель бессознательно пишет бледно и с оглядкой на крест, распятие, а не на чудо с вином в Кане Галилейской.

Доходчивость христианских проповедей достигается шуткой и простотой. Угрюмым везде не очень-то верят.

В этом смысле куда доходчивее те простые русские попики, перемежающие слова проповеди народными присказками и байками. Как в «Соборянах» Николая Лескова.

И наверное, ближе к Богу все-таки жонглер Богородицы, а не угрюмый проповедник с крестом. Льюис в «Нарнии» такой же жонглер. Он, не задумываясь, играет словами, перемешивает одной поварешкой христианство и языческий миф, переворачивает вверх ногами людей и в переносном, и в прямом смысле. Вспомните, как в «Племяннике чародея» говорящие звери сажают дядюшку Эндрю в землю и поливают, чтобы он не умер от жажды.

В Оксфорде, где Льюис преподавал, он был дружен со знаменитым профессором Дж. Р. Р. Толкином, автором «Властелина Колец», входил с ним в университетский кружок «Инклингов» и в литературе исповедовал толкиновский принцип «создания вторичных миров».

Но в творчестве Льюис был все-таки ближе к Кэрроллу, к поэтической традиции нонсенса, к Алану Милну и его «Винни-Пуху». Вспомним хотя бы «утешительные» прогнозы квакля-бродякля из «Серебряного кресла»:

> …Далеко на север нам не пройти, особенно сейчас, когда близится зима… Тем более, что зима предстоит ранняя. Но не падайте духом. Мы встретим столько врагов, столько раз собьемся с пути и голодать будем, и ноги в кровь сотрем — что нам будет не до погоды. И наверняка мы не найдем принца…

Или:

> Гибель в этой ловушке имеет и хорошую сторону. По крайней мере, родные сэкономят на наших похоронах.

Ну чем не рыцарь печального образа ослик Иа-Иа из Винни-Пухова окружения?

Почему в Нарнию путь открыт только детям? Потому что вера есть обличение вещей невидимых, а дети умеют и из песка в песочнице построить сказочную страну, и из простого куска коры

— Колумбову каравеллу. Девочка Люси из «Принца Каспиана» видит волшебного льва Аслана, другие его не видят. Вот это место из повести:

> — А остальные тебя увидят?
>
> — Не сразу, не сразу, — отвечал лев. — Может быть, потом.
>
> — Они же мне не поверят!
>
> — Это неважно, — сказал лев. — …Ступай, разбуди своих товарищей и вели им следовать за тобой. Если же они откажутся, тебе придется идти одной.

Нарния — это мир иной. Даже на поверхностный взгляд, здесь все проникнуто библейской символикой. Есть здесь и райский сад с древом познания добра и зла, есть и змей искуситель. Есть Ветхий завет и Новый. Венчают книгу суд над грешниками и нарнийский Армагеддон — Нарния погибает. Но поражение Нарнии оборачивается ее победой. Верные попадают в рай. Рай — это та же Нарния, не замутненная злобою и коварством. Конец печальный и светлый. Во внешнем мире герои последней повести погибают, в волшебном царстве Аслана они продолжают жить.

Главное в книге Льюиса — это воспитание в человеке веры.

Как известно, чем больше маленький человек тянется вверх, тем меньше предметы внешнего мира, которые его окружают. Другое дело — предметы веры.

> — Аслан, — сказала Люси, — ты вырос!
>
> — Это потому, что ты стала старше, — отвечал он.
>
> — А ты?
>
> — Я такой же, как был. Но с каждым годом ты будешь взрослеть, и я буду казаться тебе все больше.

То, что заложено в человека в детстве, с возрастом преумножается и растет. Вот мысль, которую раскрывает Льюис.

Сила слова уже есть чудо. А слово праведное сильнее стократ. Оно, как божественный голос льва, возрождает на Земле жизнь.

> Аслан вдруг поднял голову, тряхнул гривой и зарычал. Звук подымался и креп, покуда от него не задрожали земля и воздух. Он плыл над всей Нарнией, и побледневшие от страха солдаты хватались за оружие. А еще ниже, из ледяных вод Великой реки показались головы и плечи нимф, а за ними — огромная бородатая голова речного бога. За рекою, в полях и лесах, кролики

вылезли из нор и подняли свои чуткие уши, птицы вытащили из-под крыльев свои сонные головы. Заухали совы, затявкали лисы, заворчали сурки, заколыхались деревья… А далеко на западе, проснувшись от львиного рыка, выглядывали из темных ворот своих замков горные великаны.

И позвольте закончить этот краткий рассказ о Нарнии словами героя одной из повестей цикла — квакля-бродякля, существа непонятной полулягушачьей породы, но преданного и достойного уважения:

> Допустим, мы и впрямь увидели во сне или придумали — деревья, траву, солнце, луну и звезды, и даже самого Аслана. В таком случае вынужден заявить, что наши придуманные вещи куда важнее настоящих. Предположим, что эта дыра — ваше королевство — и есть единственный мир. В таком случае он поразительно жалкий! И если подумать, выходит очень забавно. Мы, может быть, и дети, затеявшие игру, но, выходит, мы, играя, придумали мир, который по всем статьям лучше вашего, настоящего. И потому я — за этот придуманный мир. Я на стороне Аслана, даже если настоящего Аслана не существует. Я буду стараться жить, как нарниец, даже если не существует никакой Нарнии.

Ц

Циолковский К.

Калужский мечтатель Циолковский уже в 14 лет от мечты приступает к делу и сооружает свой первый, пока еще игрушечный, бумажный аэростат и надувает его водородом. В 16 лет он производит расчеты, каким должен быть воздушный шар с металлической оболочкой и с людьми на борту. На основании этих расчетов ученый делает в 1900 году доклад в московском Техническом обществе, тема доклада: «О построении металлического аэростата». После управляемого дирижабля Циолковский приступает к разработке и расчетам полетов управляемых ракетных снарядов, способных преодолевать притяжение Земли. Он придумывает ракетные поезда — соединение нескольких реактивных приборов, последовательно отделяющихся друг от друга, чтобы сообщить единственному оставшемуся необходимую для выхода в космос скорость.

Следующим этапом творчества Циолковского было создание проекта небесного дома-коммуны для возможности жизни в космосе.

Задумывается ученый и о проблемах Земли. Он создает глобальный перспективный план переустройства планеты. Океаны он предлагает укротить и подчинить человеку с помощь строительства гигантского плота во всю длину береговой линии и постепенного наращивания площади этого плота все дальше от берега. Таким образом уменьшится испаряемость и, соответственно, уменьшится облачность. За счет этого повысится средняя температура планеты, и не только умеренные, но и полярные страны будут иметь нормальную температуру воздуха. На плотах будет процветать земледелие, а население Земли увеличится до 5 биллионов человек.

Не менее грандиозный план предлагает ученый для преобразования суши планеты.

Даже сейчас многие замыслы и идеи ученого представляются научной фантастикой. Что же говорить о тех временах, когда Циолковский пытался донести их до умов современников. Тогда на него смотрели как на безумца и долго вертели у виска пальцем, когда ученый покидал очередной начальственный кабинет.

Ч

Чаадаев П.

Все мы читали про такое странное явление, как «англицкий», а позже и «русский сплин». Сплин был моден и по сути не был болезнью, как об этом говорили врачи. Хотя от него лечились, ездили на воды, путешествовали в желании развеяться и прочистить себе легкие и мозги свежим ветром гор и морей.

Главная проблема, породившая явление «сплина», конечно же, философская. Бог, несправедливо устроивший нашу земную жизнь, и наша земная жизнь, несправедливо устроенная Господом Богом. Выход из состояния сплина многие искали в вине, другие (например, Байрон и декабристы) — в революции против существующей власти, третьи — в вере. Искали и находили. Или не находили.

Петр Яковлевич Чаадаев, друг и юношеский наставник Пушкина, тоже прошел все стадии этой философской болезни. И выбор, чтобы от нее излечиться, остановил на вере. При этом и здесь показал свое всегдашнее вольнодумство — выбрав не православие, а католичество.

Во всей истории XIX века Чаадаев был фигурой страннейшей. За публикацию «Философического письма» высочайше объявленный сумасшедшим, он как бы ушел в подполье, но тем не менее оказывал на всех окружающих особое магнетическое влияние. И либерал, и консерватор одновременно, человек, напрочь отвергающий силу в решении политических вопросов, тем более силу революционную. И тем не менее вошедший в историю русского либерализма как один из виднейших его представителей.

Человек-миф, человек-загадка — как только Чаадаева ни называли. На самом деле суть чаадаевского учения в том, что все земное, и политика в том числе, лишь проявление высшей нравственной идеи, замутненной, искаженной нашим непросветленным сознанием. В этом смысле он платоник чистой воды. И человек, болеющий за государственную идею, основанную на высших ценностях.

Чарская Л.

Существование таких писателей как Лидия Чарская в литературе совершенно необходимо. Они своего рода лакмусовы бумажки, датчики состояния вкуса основной читающей массы. Напрасно с ними вели борьбу Корней Чуковский и советская критика 30-х годов. Пока люди читают Чарскую и смотрят многолетние сериалы из жизни латиноамериканских мачо, мир устойчив и далек от потопа…

Что-то получается как у Шкловского. Фразы-формулы. Фразы-определения. Лучше уж цитировать Чарскую.

> Иглы страха мурашками забегали по моему телу… Липкий пот выступил на лбу… Волосы отделились от кожи, и зубы застучали дробным стуком во рту… Мои глаза сомкнулись от ужаса…

Нет уж, здесь слишком страшно. Попробуем из другого места:

> Ледяной ужас сковал мои члены.

Что-то мне не везет с цитатами.

> Ужас заледенил все мое существо.

Надо бы чего-нибудь поспокойнее.

> Я громко вскрикнула и без чувств грохнулась на пол. Бесчуственную, меня вынесли на руках.

Уже лучше, листаем дальше.

> Я громко вскрикнула и лишилась чувств.

Дальше, один обморок уже был — нет, два.

> Я потеряла сознание.

Хватит обмороков, лучше вот это:

> У него ноги аристократа по своему изяществу и миниатюрности. Скромный фасон ботинок не может скрыть их форму.

А вот здесь про победу над супостатами:

> Русские бежали по пятам, кроша как месиво бегущих.

И далее:

> Началось крошево.

А за крошевом еще одно крошево:

> Красавец-атаман ни на минуту не переставал крошить своей саблей врага.

Даже по приведенным цитатам можно сделать сразу несколько выводов. Чарская — опытный мастер с помощью нехитрых повторов нагнетать атмосферу страха. В этом смысле опыт писательницы может быть успешно использован начинающими авторами романов ужаса, наравне с сочинениями Стивена Кинга, Клайва Баркера, Дина Кунца. Еще ее книги учат нас открытости чувств, то есть не замкнутости в себе, ведущей к болезням психики, а прямодушию, детской непосредственности, всему тому, что Иисус Христос вложил во фразу: «Будьте как дети». Многочисленные обмороки и падения в сочинениях писательницы есть не что иное как проявление этой самой открытости, показанное на доходчивом уровне. И, конечно же, описывая победы русских, Чарская нас учит патриотизму.

Что касается пункта о русском патриотизме, то, как написано в журнале «Задушевное слово», № 20 за 1912 год: «Книги г-жи Чарской должны быть приобретены в каждой семье, имеющей какое бы то ни было соприкосновение с кавалерией». Думаю, это последняя точка, поставленная мною над «і», которая обязана убедить читателя в непреходящей ценности книг писательницы Лидии Чарской.

Черный юмор

Черный юмор как черный перец — без него жизнь пресна и безвкусна в наши нервные и хлопотливые времена.

Вот пример из сегодня. В стране свирепствует эпидемия гриппа, умерло уже с десяток людей. Включаю 31-го января радио и слушаю рекламную передачу: «Лучше болеть на мягкой удобной тахте, чем на дедушкином разбитом диване». Реклама спальной мебели, приуроченная к нагрянувшей эпидемии.

Прослушал я эту рекламу и подумал: очень даже неплохо. От паршивой овцы, я имею в виду эпидемию, хоть шерсти, как говорится, клок.

Сразу вспомнилась реклама галош из анекдота про человека, упавшего с 9-го этажа. Помните? Человек разбился, а галоши как новенькие. Мораль: покупайте резиновые изделия ленинградской фабрики «Треугольник»!

Далекий пример из прошлого. Алгебраическая задача из старого задачника издания 1881 года. Про корабль, на котором через 30 дней после выхода в море открылась болезнь, уносящая ежедневно по три человека. Спрашивалось: сколько пассажиров прибыло в порт живыми?

Немного солнца в холодной воде — вот что такое наш отечественный черный юмор. Без него мы и дня не продышим. И не выживем при какой-нибудь очередной эпидемии.

Честертон Г. К.

1.

За что я люблю Честертона? Да хотя бы за удивительные обстоятельства его появления на свет:

Парили рыбы в вышине,
На дубе зрел ранет,
Когда при огненной луне
Явился я на свет.

Или за его понимание дружбы:

Мы были не разлей вода,
Два друга — я и он,
Одну сигару мы вдвоем
Курили с двух сторон.
Одну лелеяли мечту,
В два размышляя лба;
Все было общее у нас —
И шляпа, и судьба.

Если честно, то я и английский выучил только за то, что на нем разговаривал Честертон.

Поразительное писательское явление — всё, что я читал Честертона, мне нравится. И романы, и рассказы про отца Брауна, и книжка про Диккенса, и его замечательные эссе, и стихи, и даже богословские сочинения. Все я могу читать и перечитывать по нескольку раз, нисколько при этом не утомляясь. Пожалуй, даже не назову никого другого из авторов, кто столь абсолютно соответствовал бы моим читательским интересам.

Некоторые, возможно, заметят, что мыслил Честертон старомодно, черпая свои идеалы из прошлого, был патриархален, как Авраам, ругательски ругал социалистов и технократов — и вообще не прочь был возродить средневековое рыцарство в отдельно взятой островной Англии.

Ну и что, отвечу я скептикам. Чем хуже Дон Кихот, пусть и новый, какого-нибудь современного плутократа, нашедшего себе идеал в выкачивании народных денежек да запудривании

народных мозгов рекламой слюновыделительных средств. Да лучше он его в тысячу раз. Хотя бы тем лучше, что черное видит черным и библиотека для него не затхлое хранилище пыли, а место, где в один прекрасный момент можно из простого библиотекаря превратиться в настоящего рыцаря и отправиться на битву с драконом.

2.

Честертон из тех благодатных авторов, влюбившись в которых однажды, возвращаешься к ним потом всю жизнь. Принадлежал он к типу людей, которым сам же писатель и дал точнейшее из определений, а именно: «В мире есть три типа людей. Первый тип — это люди. Их больше всего и, в сущности, они лучше всех». Какую его книгу ни возьми, все они написаны с блеском, хотя, в принципе, все они написаны об одном. Говоря словами Толстого, суть его книг следующая: «Чем жив человек?» Вот так, не много и не мало: для чего и ради чего живет человек в мире.

> Идеализированное Средневековье и самодельная утопия на будущее, на скорую руку слепленный детективный сюжет и громогласные риторические периоды статей — разнообразные способы подступиться к этому главному, сообщить ему наглядность. Подход Честертона аллегорический, басенный, и он оправдан тем, что мораль басни вправду волнует его. Неистощимый, но немного приедающийся поток фигур мысли и фигур речи, блестки слога, как поблескивание детской игрушки, — и после всего этого шума одна или две фразы, которые входят в наше сердце. Все ради них и только ради них.

Так написал о Честертоне один из его читателей, покойный Сергей Аверинцев.

И еще писатель неудержимо весел, о каких бы высоких и важных предметах он ни размышлял на бумаге. Даже Кафка, уж на что беспросветный по части юмора в собственных сочинениях автор, не удержался и написал: «Честертон так весел, что иногда кажется, будто он и впрямь обрел земной рай». И чтобы хотя бы чуточку приобщиться к благодати Эдема, перечитайте «Человека, который был Четвергом», или «Перелетный кабак», или любой сборник рассказов об отце Брауне. Перечитайте, ей-богу, это пойдет вам в радость.

Чехов А.

Писателя Чехова можно ставить в пример любому современному (и не только современному) литератору, считающему свое творчество неким бесценным даром и строящему при жизни нерукотворный памятник самому себе.

Все вышедшее из-под собственного пера писатель Чехов называл «рухлядью», «ерундой», «дребеденью», «жеваной мочалкой», «увесистой белибердой», «канифолью с уксусом» и тому подобными «лестными» именами. «Степь» он называл «пустячком», такие свои знаменитые рассказы, как «Злоумышленники», «Скорая помощь», «Произведение искусства», объявлял «плохими и пошлыми», пьесы именовал «паршивенькими», «пресловуто-глупыми».

Когда какая-то писательница польстила Чехову, назвав его «гордым мастером», писатель без смущения ей ответил: «Горды только индюки».

Лично мне в связи со сказанным выше забавно читать, например, стихотворение Игоря Северянина, посвященное Чехову, зная, что его автор скромностью, в отличие от объекта своего посвящения, явно не отличался («Я гений Игорь Северянин»). Впрочем, не удержусь, процитирую северянинское посвящение, опустив из него середину:

Не знаю, как для англичан и чехов,
Но он отнюдь для русских не смешон,
Сверкающий, как искристый крюшон,
Печальным юмором серьезный Чехов.
…
Как и тогда, как много лет назад,
Благоухает наш вишневый сад,
Где чувства стали жертвой мелких чувствец…
Как подтверждение жизненности тем —
Тем пошлости — доставлен был меж тем
Прах Чехова в вагоне из-под устриц…

Вот такая «канифоль с уксусом».

Читатель и писатель

Читатель устал читать.

Книг много, читать не хочется.

Идеи читателя не интересуют. Прошло время идейных книг.

Читателю хочется успокоиться. Развалиться на промятом диване, и чтобы вокруг дивана не было никакой суеты.

Пришло время жалеть себя. Не хочется тратить жалость на рефлексирующих литгероев.

Так-то вам, господин писатель. И ничего не попишешь.

Можно не замечать читателя. Можно положить на него с прибором.

Можно работать на будущее: придет время, народится умный читатель — тогда и вспомните обо мне, недоумки, не читающие меня сегодня.

Все можно писателю самой нечитающей страны в мире.

Писатель устал от читателя.

Писатель устал без читателя.

Писатель втройне устал, заеденный сволочным бытом.

Писателя охватила растерянность. Он как богатырь на распутье. А перед ним камень с двумя стрелками-указателями: «Проблемность» и «Занимательность». Направо пойдешь, налево пойдешь…

Писатель постоит, постоит, опершись задницей о гранит — ну вылитый Александр Сергеич! — а после улыбнется нематерно и, перепрыгнув через шапчонку моха, пойдет между рукавами дорог по тропке посередине.

И правильно, господин писатель. Петляй себе по тропинке и забудь о каменном стрелочнике. Ты сам себе господин.

«Что делать?» Н. Чернышевского

Три главные вопроса, занимавшую русскую творческую интеллигенцию во все времена, это «Что делать?», «Кто виноват?» и «Что такое хорошо и что такое плохо?»

На первый вопрос исчерпывающий ответ дал Николай Гаврилович Чернышевский в своем одноименном романе. Строить трудовые фаланстеры по типу Фурье, в которых царят и мир, и согласие, и душевный покой, и здоровый коллективистский дух, и через них-то, через фаланстеры, люди достигнут того великого будущего, которое им предназначено.

В четвертом сне Веры Павловны, главной женской героини романа, пример такого трудового грядущего показан ярко и с детальной прорисовкой подробностей.

«Нужно только быть рассудительными, — говорит Вере Павловне царица грядущего, показывая ей свои восхитительные владения, — уметь хорошо устроиться, узнать, как выгоднее употребить средства».

Эти три составляющие и определяют залог успеха в деле благоустроительства жизни. Люди будущего это понимают прекрасно.

> Они стали умны, стали обращать на пользу себе громадное количество сил и средств, которые прежде тратили без пользы или и прямо во вред себе… Трудно было людям только понять, что полезно, они были в твое время (В 60-е годы XIX века. — *А.Е.*) еще такими дикарями, такими грубыми, жестокими, безрассудными, но я (Царица грядущего. — *А.Е.*) учила и учила их; а когда они стали понимать, исполнять было уже не трудно.

Все-таки напрасно принижали писательские и человеческие качества Чернышевского Набоков и Розанов. Был он человек славный, мечтательный и всячески пропагандировал алюминий как главный строительный материал будущего. К тому же в своих мечтах он правильно перенес Россию в терраформированные пустыни Аравии, засаженные финиковыми пальмами, виноградом, сахарным тростником и смоквой.

Потому что польза и рассудительность, кроме прочего, включают в себя и такое важное понятие, как общественное питание…

III

Шагинян М.

Одной из любимых книг моего детства была веселая приключенческая безделка, «роман-сказка» «Месс Менд, или Янки в Петрограде» Мариэтты Шагинян. Это была детгизовская, конца 50-х годов, переделка старого, 1924 года, пародийно-фантастического романа, автор которого скрывался под псевдонимом Джим Доллар. Собственно говоря, не скрывался даже — просто звучное, нарочито американское имя было игровой составляющей этой веселой книжной мистификации. Роман писался как пародия на западные детективные штампы, на лубочные книжки про Ника Картера, Ната Пинкертона, поддельного Шерлока Холмса и другую переводную макулатуру, которой в первое десятилетие советской власти торговали чуть ли не на каждом углу. Даже термин такой существовал в литературе тех лет — «красный Пинкертон». Дать читателям своего, революционного, «красного» Пинкертона, понимающего классовые задачи и нужды пролетарского населения. И отвадить таким образом неразборчивого отечественного читателя от бульварных детективных поделок.

Были среди образчиков «красного Пинкертона» и действительные шедевры. «Зеленый фургон» Казачинского, например.

Главной отличительной чертой Шагинян была природная глухота. Эта ее глухота упоминается во всех мемуарах. Пройдя вместе с ее носительницей долгий литературный путь (первый сборник символистских стихов писательницы вышел в 1903 году), глухота Мариэтты Шагинян из порока физического превратилась в порок моральный, о чем также упоминают мемуаристы.

Лучшие воспоминания о Шагинян принадлежат Владиславу Ходасевичу:

> Мне нравилась Мариэтта. Это, можно сказать, была ходячая восемнадцатилетняя путаница из бесчисленных идей, из всевозможных «измов» и «анств», которые она схватывала на лету и усваивала стремительно, чтобы стремительно же отбросить. Кроме того, она писала стихи, изучала теорию музыки и занималась фехтованием, а также, кажется, математикой. В идеях, теориях, школах, науках и направлениях она разбиралась плохо, но всегда была чем-нибудь обуреваема. Так же плохо разбиралась и в людях, в их отношениях, но имела доброе сердце и, размахивая

картонным мечом, то и дело мчалась кого-нибудь защищать или поражать. И как-то всегда выходило так, что в конце концов она поражала добродетель и защищала злодея. Но все это делалось от чистого сердца и с наилучшими намерениями.

Восемнадцать лет Мариэтте Шагинян было в 1906 году, а вот кусочек из того же Ходасевича о Шагинян начале 20-х:

> В конце 1920 года, уже в Петербурге, однажды мне показали номер тогдашней «Правды» с отвратительнейшим доносом на интеллигенцию, которая, чтобы насолить большевикам, сама себя саботирует — припрятывает продукты, мыло, голодает и вымирает назло большевикам, а могла бы жить припеваючи. Подпись: Мариэтта Шагинян.
>
> Через несколько дней встречаю ее. Спрашиваю, — как ей не стыдно. Говорю, что пора бы уж вырасти. Она хватается за голову:
>
> — Донос? Что я наделала! Это ужасно! Я только что из Ростова, я ничего не знаю, как у вас тут. Я хотела образумить интеллигенцию, для нее же самой. Все мы в долгу перед народом, надо служить народу. Массы… Маркс… Иисус Христос… Товарищ Антонов…

И еще, в связи с Гумилевом:

> Она готова была куда-то помчаться, протестовать, вступаться за Гумилева… А когда Гумилева убили, она не постеснялась административным путем выселить его вдову и занять гумилевские комнаты, вселив туда своих родственников…

А вот о той же Шагинян середины 20-х годов, но словами Н. Мандельштам:

> …Глухая зануда, размышлявшая о Ленине и Гете и находившая прямую связь между ‹…› полезной деятельностью Фауста и знаменитым планом электрификации нашей молоденькой социалистической страны.

Мариэтта Шагинян прожила до 1982 года (родилась в 1888), лауреат Сталинской премии (1950) за книгу очерков «Путешествие по Советской Армении» и Ленинской — за

четырехтомную эпопею о Ленине («Семья Ульяновых» и т. д.).

Шаляпин Ф.

Когда Шаляпин не пел — а не пел он, когда был пьян, — вместо него на сцену выпускали дублера Власова. Так вот, по этому поводу Константин Коровин рассказывает такую историю. Ехал как-то Шаляпин на извозчике выпивши из гостей. Ехал-ехал и вдруг спрашивает извозчика: «Скажи-ка, — говорит, — ты поешь?» — «Что вы, барин, — отвечает ему мужик. — Только разве что когда крепко выпью». — «А вот я, когда крепко выпью, — хвастается в ответ Шаляпин, — за меня тогда поет Власов».

Вообще, любые воспоминания о Шаляпине, кроме прославления его как артиста, в основном рассказывают читателям о его ссорах, скандалах на публике, издевательстве над людьми, зависти, мелочности, жадности, грубости и прочих проявлениях характера, которые человеку не знаменитому обычно вменяются как порок. В случае же с великим Шаляпиным эти свойства человеческой личности переходят лишь в разряд анекдота.

Сам Шаляпин свои пороки считал наследием тяжелого детства и несчастливой юности:

> Трудно давался мне пятачок. Волга, бродяжные ночлеги, трактирщики, крючники, работа у пароходных пристаней, голодная жизнь… Я получаю теперь очень много денег, но, когда у меня хотят взять рубль или двугривенный, — мне жалко. Это какие-то мои деньги. Я ведь в них, в грошах, прожил свою юность…

А вот как Шаляпин оправдывал свои грубость и нежелание прощать кому бы то ни было былые обиды:

> Помню, как одна антрепренерша в Баку не хотела мне заплатить — я был еще на выходах, — и я поругался с ней. Она кричала: «Гоните в шею эту сволочь! Чтобы духу его здесь не было!» На меня бросились ее прихвостни. Вышла драка. Меня здорово помяли. И я ушел пешком в Тифлис. А через десять лет мне сказали, что какая-то пожилая женщина хочет меня видеть: «Скажите ему, что он пел у меня в Баку». Я вспомнил ее и крикнул: «Гоните в шею эту сволочь!» И ее выгнали из передней.

Вот такой был непростой человек, этот Федор Иванович Шаляпин.

Шейнин Л.

Все книжки Льва Шейнина обучают искусству бдительности. Писать он начал еще в двадцатые, еще до следственно-прокурорской деятельности, которой занимался без малого тридцать лет (с 1923 по 1950), публикуется также с конца двадцатых. Говорят, это он посадил в 1941 году писателя Льва Овалова, разболтавшего в своей книге о майоре Пронине некие государственные секреты. В моей библиотеке есть небольшая книжечка «Берегись шпионов!» (ОГИЗ—Политиздат, 1943), по сути представляющая квинтэссенцию творчества этого популярного в 50-60-е годы автора.

«Это случилось летом 1942 года», — с такой незамысловатой фразы начинается книга.

Далее рассказывается о том, как усталые бойцы на подходе к линии фронта устраивают привал, валятся в траву, и тут… «Вдруг где-то недалеко запела скрипка… Ей тихо вторил баян. Несмотря на усталость, бойцы потянулись на музыку — так приятно было вдруг услышать вальс „На сопках Манчжурии“». Музыкантов было двое — «совсем седой, плохо одетый старик и средних лет женщина, по-видимому его дочь». Женщина играла на скрипке — «скрипка под ее ловкими пальцами пела нежно и ласково». Зато у старика, игравшего на баяне, со звуком получалось не очень. Инструмент хрипел, голос у баяна был «странный, какой-то сдавленный». Сыграв бойцам «На сопках Манчжурии» и получив от них в награду хлеб, сухари и деньги, старик объяснил солдатам, что они с дочерью спасаются от немцев, пробираются в город К. к родственникам. Политрук Иванов, сопровождавший солдат, поинтересовался стариковским баяном: «А почему он у тебя на переборах срывается?» — и предложил баян починить: «Большой я в этом деле любитель». Старик баян починить не дал, упорный политрук стал настаивать, женщина встала между Ивановым и стариком, и наконец политрук сдался. Сошлись на том, что музыканты сыграют для бойцов что-нибудь напоследок и отправятся дальше. «Это можно, — добродушно ответил старик и вытер грязным платком сразу вспотевший почему-то лоб. — Машенька, сыграем „Железняка“». Когда они кончили играть, политрук подошел к старику и резко вырвал из его рук баян. «Из лопнувших мехов старой гармонии вывалился немецкий радиопередатчик».

Поняли, кем на самом деле были эти мнимые папаша и его дочка? Гитлеровскими шпионами, под видом музыкантов собирающими сведения о красноармейских резервах, вот кем.

Далее у Шейнина идет короткое резюме: «Беженцы, слепцы, гадалки, добродушные с виду старушки, даже подростки — нередко используются гитлеровцами для того, чтобы разведать наши военные секреты, выяснить расположение наших частей, направления, по которым продвигаются резервы. Одним из методов, наиболее излюбленных немцами, является засылка лазутчиков под видом раненых, бежавших из плена, пострадавших от оккупантов, вырвавшихся из окружения и т. п.».

Таких шпионских историй в книжке Шейнина несколько. Особо драматичен рассказ об Адаме Иваныче, клубном работнике, руководителе драмкружка в маленьком городке недалеко от границы. Этот одинокий старик из родственников не имел никого — «кроме внучки Тамуси, десятилетней девочки-пионерки, оставшейся сиротой после смерти дочери Адама Иваныча, погибшей от туберкулеза». Весь город восхищался любовью этого человека к сиротке-внучке. Но восхищение это длилось не вечно. Однажды, рассказывает нам Шейнин, Адам Иваныч вернулся домой с работы, когда девочка уже спала.

> Адам Иваныч подошел к ее кроватке, поправил сбившееся одеяло и потушил лампу. Потом прошел в свою комнату, плотно притворил дверь, закрыл ставни и сел к столу. Минуту Адам Иваныч сидел в кресле, закрыв глаза и вытянув ноги. Потом поднялся, включил какой-то провод, пропущенный незаметно под пол через ножку стола, и стал возиться с рычажком передатчика…

Вот вам и дедовская любовь к сиротке! Оказывается был этот Адам Иваныч никакой не Адам Иваныч, а матерый немецкий шпион, заброшенный в Россию еще в 1913 году и окопавшийся в маленьком городке с запасом ампул с ядовитыми веществами, которые в нужное время он должен был пустить в ход.

Но передавая фашистам сведения, «Адам Иваныч, сам того не замечая, стал вслух произносить все, что передавал. „Дедушка, что ты делаешь?“ — внезапно раздался взволнованный крик Тамуси. Адам Иваныч оцепенел. На пороге комнаты стояла внучка. Глаза ее были широко раскрыты от ужаса, она дрожала, как в приступе лихорадки. Она слышала все». Далее, после секундной заминки, «этот высокий худой старик, изогнувшись, прыгнул к ребенку, и цепкие пальцы сомкнулись вокруг горла девочки, рухнувшей под тяжестью его тела. Потом он медленно поднялся и вытер руки, испачканные детской слюной».

На этой жестокой сцене обрываю затянувшуюся цитату. Урок бдительности закончен. Спасибо, товарищ Шейнин.

Шекспир У.

Был Шекспир веселый малый,
Зря бумагу не марал,
Не давал проходу юбкам,
Громко песенки орал.

Этот образ весельчака-поэта прочно вошел в культуру 70-х годов, когда впервые был прочитан по-русски «Заповедник гоблинов» Клиффорда Саймака. Понятно, это ничуть не значит, что, прочитав Саймака, люди моего поколения тут же бросились покупать Шекспира и читать взахлеб его сочинения. Тем более что не всё у Шекспира громкие веселые песенки и нескромные простонародные шутки. Хотя и этого, конечно, хватает. Люди поколения постарше воспринимали Шекспира в основном через актера Иннокентия Смоктуновского, сыгравшего в кинофильме Гамлета. И еще — через народного любимца Владимира Высоцкого, Гамлета которого хоть и не любому отечественному зрителю посчастливилось наблюдать на сцене, но знали про которого все. У Высоцкого был Гамлет с гитарой, положивший на простые аккорды философские стихи Пастернака.

Все это свидетельствует о том, что Шекспир современен любой эпохе, любое поколение читателей воспринимает его как своего парня, вроде барда Высоцкого или странного, пусть с тараканами в голове, но все же милого и любимого Смоктуновского.

На Западе Шекспир свой, мы западного Шекспира не знаем. То есть знаем по отдельным кинокартинам, но они проходят как-то бесследно и не очень-то западают в душу.

У нас одних только шекспировских переводчиков наберется несколько сотен. Как всякий уважающий себя человек сцены мечтает сыграть роль Гамлета, так и всякий уважающий себя переводчик желает перевести Шекспира.

Вот еще светило мира!
Кетчер, друг шипучих вин, —
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.

Так писал в свое время Иван Тургенев по поводу переводов английского классика, выполненного Николаем Кетчером, врачом

по профессии и другом Белинского и Герцена.

На русский Шекспира перепирали, наверное, все врачи, писатели и поэты, владевшие хоть малость английским. А не владевшие переводили с подстрочника.

Лучшее издание последнего полувека — это восьмитомник 1957 года, выпущенный «Искусством», который вобрал в себя лучшие переводы классика, проверенные временем и читателями. Жаль, в нем только нет Пастернака. В те годы Борис Леонидович был опальным поэтом, нобелиатом, что приравнивалось к измене родины.

Шишкин И.

Отец художника Константина Сомова пишет сыну в феврале 1889 года:

> На ваше декадентское направление я смотрю только как на резкий протест против того бесчувственного фотографирования природы, которому в течение сорока лет предавались наши художники, например, Шишкин, Крамской и иные…

Действительно, все новое русское искусство конца XIX — начала XX века было намеренным выпадом против натурализма в искусстве живописи, представляемого художниками-передвижниками. Шишкин был ярчайшим представителем натуралистической школы.

Споры эти остались в прошлом. Для меня и моего поколения Шишкин с его «Медведями» (не помню точного названия картины), растиражированными на конфетных обертках, стал таким же архетипом сознания, как маленький Владимир Ильич на октябрятской звездочке, которую мы носили, или Юрий Гагарин в шлеме с надписью «СССР».

Сам Шишкин был человеком замкнутым, любил выпить и не любил людей. Люди, в отличие от природы, которую он всю жизнь рисовал, были непредсказуемы и назойливы при его-то нелюдимом характере. Примечателен исторический анекдот о поездке художника в Париж, где устраивалась выставка работ передвижников. Он как заперся в гостиничном номере, так ни разу оттуда не вылезал, написав на двери следующую гениальную фразу: «Здесь пьет русский художник Шишкин. Просьба без дела не беспокоить».

Шишкин давно уже стал символом нашей родины. «Утро в сосновом лесу» — несомненный его шедевр. Что ни говори, а русская природа у Шишкина нас трогает и волнует не меньше чем знаменитые есенинские березки. Или саврасовские грачи. Или айвазовские волны бушующего Черного моря.

Шкловский В.

Революционер формы и автор теории остранения, Виктор Борисович Шкловский приезжал в Куоккалу в гости к Корнею Ивановичу Чуковскому не как все, по железной дороге, а на лодке по морю из Сестрорецка. Лодка у него была собственная, и, пока он гостил на даче, лодку, оставленную без присмотра на берегу, у Шкловского всякий раз крали. Действовали грабители своеобразно, но всегда одинаково, — отводили лодку в другое место, вытаскивали на берег и перекрашивали. После чего Шкловский долго бегал по берегу в поисках своей похищенной собственности.

Так вспоминает об отце русского формализма сын Чуковского Николай Корнеевич. Правда, ни знаменитой лысины, ни знаменитых «ZOO» и «Сентиментального путешествия» тогда, в 1916 году, у Шкловского и в помине не было. Лысина появилась в девятнадцатом, три года спустя, а две его первые книги прозы — еще позже, в 23-м году, в Берлине.

Отец Шкловского был учителем На Надеждинской в Петрограде, на доме, где отец жил, висела вывеска: «Школа Б. Шкловского». Иначе как «кретинами», «дураками» и «дурами», своих воспитанников Шкловский-старший не называл, но науку вдалбливал в их головы крепко.

Учителем в прозе был у Шкловского Велимир Хлебников. В этом он признается в «ZOO»: «Прости меня, Велимир Хлебников… за то, что я издаю свою, а не твою книжку. Климат, учитель, у нас континентальный». И эпиграф к «ZOO» длинный, из хлебниковского «Зверинца»: «О Сад… где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в Часослов Слово о Полку Игореве».

Шкловский парадоксален и современен. Проза его отрывочна и кинематографична. Это стиль Розанова, всех его знаменитых записочек на манжетах, папиросных коробках и «выйдя на лестницу покурить». Недаром «русскому Ницше» (так говорили о Розанове современники) Шкловский посвятил отдельную книгу.

Возьмите «ZOO», «Третью фабрику», «Гамбургский счет», что угодно. Это частокол афоризмов, каждому из которых позавидовал бы не только Розанов, но и великий острослов Тютчев.

> Государство не отвечает за гибель людей, при Христе оно не понимало по-арамейски и вообще никогда не понимает по-человечески. Римские солдаты, которые

прибивали руки Христа, виноваты не больше, чем гвозди.

Лучше других смысл редкого художественного явления под названием «Виктор Шкловский» передал его товарищ по историко-литературному цеху Борис Эйхенбаум:

> Шкловский совсем не похож на традиционного русского писателя-интеллигента. Он профессионален до мозга костей — но совсем не так, как обычный русский писатель-интеллигент. О нем даже затрудняются сказать — беллетрист ли он, ученый ли, журналист или что-нибудь другое. Он — писатель в настоящем смысле этого слова: что бы он ни написал, всякий узнает, что это написал Шкловский.

За долгую свою рабочую жизнь (1893–1984) чего только Шкловский не писал — чего и о чем: статьи и книги по теории и истории литературы, фантастические романы («Иприт» в соавторстве с Вс. Ивановым, 1926) и исторические повести («Минин и Пожарский», «Житие архиерейского служки», «Марко Поло»), мемуары («О Маяковском», «Жили-были») и книгу об Эйзенштейне, рецензии, газетные очерки и так далее.

Он не мог и не умел писать об одном; ему нужно было меняться, иначе труд превращался в гнет.

> Как корова съедает траву, так съедаются литературные темы, вынашиваются и истираются приемы… Писатель не может быть землепашцем: он кочевник и со своим стадом… переходит на новую траву.

Шкловский первый ввел в литературу понятие «гамбургский счет», назвав так самую, может быть, лучшую свою книгу.

> Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы.
>
> Они борются при закрытых дверях и занавешенных окнах.
>
> Долго, некрасиво и тяжело.
>
> Здесь устанавливаются истинные классы борцов — чтобы не исхалтуриться.
>
> Гамбургский счет необходим в литературе.
>
> По гамбургскому счету — Серафимовича и Вересаева нет.
>
> Они не доезжают до города.
>
> В Гамбурге — Булгаков у ковра.

Бабель — легковес.
Горький — сомнителен (часто не в форме).
Хлебников был чемпион.

Чтобы быть постоянно в форме, нужно много и упорно работать.

Лидия Гинзбург рассказывает, как Борис Эйхенбаум после одного московского литературного диспута отправился к Шкловскому ночевать. «А знаешь, Витя, хорошо бы было чего-нибудь выпить», — намекнул Эйхенбаум Шкловскому. «Да у меня ничего нет. И поздно теперь. Вот приедешь в следующий раз — я тебе приготовлю горшок вина», — ответил Эйхенбауму Шкловский. И сразу же после ужина начал укладываться спать. Эйхенбаум, который на другой день уезжал, удивленно ахнул: «Помилуй, ведь мы еще не успели двух слов сказать!» — «Ты как знаешь, а я должен выспаться», — категорически сказал ему Шкловский.

«Вот человек, который не может быть несчастным», — сказала о Шкловском актриса Рина Зеленая.

Та же Лидия Гинзбург в своих записях 1920-1930-х годов пишет о Шкловском: «Совершенно неверно, что Шкловский — веселый человек (как думают многие); Шкловский — грустный человек. Когда я для окончательного разрешения сомнений спросила его об этом, он дал мне честное слово, что грустный».

Как-то грустный человек Шкловский, работая в дирекции 3-й Госкинофабрики, телеграфировал в Ленинград Тынянову: «Все пишите сценарии. Если нужны деньги — вышлю. Приезжай немедленно». На что Тынянов ему ответил: «Деньги нужны всегда. Почему приезжать немедленно — не понял».

Что касается веселья и грусти, то однажды некий читатель прочел «Третью фабрику» и растрогался. Потом увидел плотного и веселого автора — и обиделся.

Сам Шкловский в «Третьей фабрике» говорит:

> Если перед смертью я оторвусь на минутку к делу, если я напишу историю русского журнала как литературной формы и успею разобрать, как сделана «Тысяча и одна ночь», и сумею еще раз повернуть свое ремесло, то, может быть, возникнут разговоры о моем портрете в университетском здании.
>
> Вешайте мой портрет, друзья, в университетском коридоре, сломайте кабинет проректора, восстановите окно на Неву и катайтесь мимо меня на велосипедах.

Эти фразы вовсе не значат, что Шкловский отрицал

университет. Просто, как он сам признавался, «университет работал не по моей специальности. Здесь не проходили теории прозы, а я над ней уже работал».

«Поступив в университет, — пишет Шкловский в мемуарном сборнике „Тетива“, — я написал для Семена Афанасьевича Венгерова анкету на тему, что хочу сделать: заявил, что собираюсь основать новую литературную школу, в которой среди прочих своих достижений в первый раз докажу, что работа Венгерова не нужна».

В этом много от картинной непримиримости Маяковского, с которым Шкловский был дружен и которого высоко ценил как революционера поэтической формы.

> Мы работали с 1917 по 1922-й, создали научную школу и вкатили камень в гору.

«Мы» — это Шкловский, Тынянов и Эйхенбаум, веселый триумвират, создавший новую науку о литературе.

> Нас язвительно называют «веселыми историками литературы».
>
> Что ж? Это не так плохо Быть «веселым» — это одно теперь уже большое достоинство. А весело работать — это просто заслуга. Мрачных работников у нас было довольно — не пора бы попробовать иначе?

Это формула жизни Шкловского. И формула для любой работы, для любого человека и дела, применимая для любой эпохи.

А «если ты не согласен с эпохой — охай», как говорил Тынянов.

Щ

Щеголев П.

Про Павла Елисеевича Щеголева, историка и писателя, автора множества книг о политической истории дореволюционной России, о революционном движении, его палачах и героях, начиная с декабристов и кончая узниками Алексеевского равелина предреволюционной эпохи, трудов о Пушкине, подложного «Дневника Анны Вырубовой», издателя журнала «Былое» и прочая, и прочая в том же роде и духе, можно говорить много. Фигура его действительно уникальна. Но самые человеческие слова о Щеголеве сказал писатель Евгений Шварц. Процитирую их дословно, они стоят, чтобы их послушали заново. Чтобы они были лучше понятны, скажу, что перед этим Шварц рассказывает о жизни на широкую ногу писателя Алексея Толстого, первого советского барина.

Итак, Шварц о Щеголеве.

> Жил, как хотел, и Павел Елисеевич Щеголев, огромный, большеголовый, седой, с внимательным лицом и жадными губами. И Щеголев разрешал себе больше, чем другие. Однажды ему позвонила домой знакомая и стала отчитывать за то, что не платит он гонорар одной молодой сотруднице за статью в «Былом». Щеголев стал жаловаться на дела. «Хорошо, я дам вам взаймы три рубля», — сказала знакомая, желая уязвить прибедняющегося. «Вот спасибо!» — ответил Щеголев спокойно. Он зарабатывал ухватисто, не стесняясь тем, что ученый и профессор… Но Щеголеву прощалось многое за талант, за классическую «Дуэль и смерть Пушкина», за монументальность фигуры, за смелость. Рассказывали с восторгом, как за ужином, раздраженный площадной бранью одного писателя, он встал и обрушился на скандалиста всем своим ростом и дородством, подмял под себя, как медведь, и основательно поучил… С «серапионами» («Серапионовы братья» — литературное объединение, основанное в 1921 году при петроградском Доме искусств. — *А.Е.*) отношения у него были сложные, он, рассчитываясь за книжки, которые издал у себя, учел ужины, которыми угощал их в шашлычной. Они хохотали, но не обижались.

Согласитесь, что такая характеристика стоит больше, чем

сухой пересказ литературных и ученых успехов любого деятеля отечественной культуры.

€

Эккермановы «Разговоры с Гете»

Приобщиться к славе великих — дело тонкое, и дается оно немногим. Кого можно вспомнить из людей, прославившихся за счет известных мастеров слова за последнюю сотню-другую лет? Маковецкого, ходившего по Ясной Поляне, наступая на босые пятки Льва Николаевича Толстого, и писавшего свои «Яснополянские записки». Из недавних — Александра Гладкова, конспектировавшего мысли и слова Пастернака и издавшего их впоследствии отдельной брошюрой. Был кто-то, секретарствовавший у Франса, — к сожалению, не помню имени, — и написавший книжку «Анатоль Франс без халата». Были Вера Муромцева и сын Лескова Андрей.

Но самым главным, самым помнимым, переиздаваемым и читаемым остается, несомненно, Иоганн Эккерман, вернее — его «Разговоры с Гете».

Эккерман был человеком настойчивым. Очень долго он подбирался к классику, сам будучи по сути никем, всего лишь скромным почитателем и читателем. Папаша Эккермана был коробейником, сам он был пастухом, солдатом, военным писарем и чуть-чуть поэтом. Первый поход Эккермана в Веймар окончился неудачей. Гете как раз был в отъезде, а может, делал вид, что в отъезде, таким способом ограждая себя от назойливых толп паломников.

Тогда Эккерман предпринимает следующий тактический ход, а именно: подготавливает собственноручно сочиненную рукопись, называет ее «Мыслями о поэзии», наполняет ее исключительно ссылками на Гете и посылает в Веймар.

И надо же такому случиться, что как раз в это время Гете позарез требовался помощник для подготовки и редактирования собственного собрания сочинений. Словом, выбор пал на Иоганна Петера Эккермана. Вот так историческая случайность сделала человеку имя.

Надо сказать, несмотря на мои иронию и сарказм по отношению к личности сочинителя, эккермановские «Разговоры с Гете» — чтение действительно занимательное. Наверное, энергетика всякого великого человека передается и на его окружение. И независимо от способа передачи — в виде ли дневника или мыслей, записываемых по ходу дела кем-либо из этого окружения, — книга о таком человеке сама есть аккумулятор энергии и благотворно действует на любого, кто способен ее вдумчиво прочитать.

Эренбург И.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов самой популярной и дефицитной книгой в среде интеллигенции города Ленинграда были мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Это понятно: страна в то время резко сменила курс с политики хрущевских разоблачений на брежневский откат к сталинизму, а «Люди, годы, жизнь» были памятником эпохи оттепели с ее резким антикультовским пафосом и массой разоблачительных материалов. В книжном виде на ту пору мемуары были изданы всего дважды — отдельное совписовское издание в трех томах и несколько томов в худлитовском Собрании 1964 года, — и других изданий не предполагалось. У меня был (есть и сейчас) трехтомник уменьшенного формата, который я проработал с карандашом в руке. Всё, что касалось сталинских репрессий, я помечал на полях чертой. Забавная характеристика времени: когда мемуары с этими моими пометками взял у меня почитать знакомый (имени не упоминаю), то сразу же мне их и вернул — видимо, боялся, что кто-нибудь увидит пометки, сочтет их сделанными его рукой и настучит в органы.

Еще мне памятно предисловие Ильи Эренбурга к изданному в Кемерово в 1966 году «Избранному» Исаака Бабеля. Там впервые акты сожжения в Советском Союзе конца 30-х годов репрессированных книг были приравнены к аналогичным сценам на площадях фашистской Германии.

Естественно, не всё, написанное Ильей Эренбургом, останется в вечности. Многие из его романов читать сейчас, мягко говоря, скучновато. Хотя в свое время (двадцатые годы) сочинения его гремели по всей России — правда, и критика секла писателя почем зря, что, впрочем, не сильно отразилось на его успешной во всех смыслах карьере.

В предвоенные и военные годы Эренбург был главным официальным антифашистом. Он клеймил не только гитлеровскую военщину, но и пассивную западную буржуазию, отлынивающую от борьбы с оккупантами. Помню, в одной из изданных перед войной книг Эренбург, упоминая, кажется, о Ренье, описывает в духе Петрония нравы тогдашней французской литературной знати. Как в ресторанах, перед тем как подать на стол, закапывают в землю гуся, и гусь там, в земле, гниет. Гуся при этом зарывают не целиком, голова птицы остается снаружи. Степень готовности этого оригинального блюда определяется так: повар время от времени дергает за гусиную голову, и, когда она свободно отделяется от закопанной в землю тушки, блюдо

считается готовым к употреблению. Это описание — как бы метафора гнилости всего класса буржуазии.

Еще у моего приятеля Миши Сапего («Красный матрос») есть военная книжечка Эренбурга, с названием, коротким, как выстрел: «Убей!» Названия емче и убедительнее я ни до, ни после этого ни у кого из писателей не встречал.

«Это случилось у моря» К. Селихова

Почему-то особую жестокость в шпионской литературе вражеские агенты проявляют к детям. Возможно, подобной шоковой терапией они заставляют себя забыть, что когда-то тоже были детьми. Вот повесть писателя Кима Селихова «Это случилось у моря» (М.: Детская литература, 1978). Сюжет разворачивается в пионерском лагере на берегу Черного моря. Здесь вместе с советскими пионерами отдыхает мальчик Хуан, отец которого томится на острове Слез в застенках некой южноамериканской хунты. Отца пытают «огнем и водой, электричеством и палкой», но стойкий революционер молчит.

— Он должен заговорить! — требует шеф. — От его признания зависит безопасность хунты!

И тогда молодая шпионка Хильда (она же агент Удав), проходящая на острове Слез шпионскую практику, предлагает коварный план: выкрасть из пионерского лагеря сына революционера.

— Это превосходно, Удав! — похвалил ее шеф. — Тащи сюда этого красного ублюдка. Хунта не пожалеет денег на такую операцию. Мы будем пытать его на глазах у отца. Такого он не выдержит!

Вот собственно говоря и все. Приведенный пример — убедительное доказательство бесчеловечности фашистских режимов.

«Эфиоп» Б. Штерна

Моя б воля, я бы этот роман издавал массовым тиражом к каждому юбилею Пушкина. И раздавал бы его бесплатно на всех площадях и улицах, носящих и не носящих имя поэта. Потому что этот роман достоин имени Пушкина. Сам Александр Сергеевич катался бы на диване от смеха с книжкой Штерна в руках. Ведь Пушкин не был пушкиноведом. И слава Богу, потому что пушкиноведы «Эфиопа» никогда не прочтут. Они и Пушкина-то читают за деньги — работа у них такая: читать Пушкина. А если прочтут — вполне вероятно, повторится та же история, что и с книгой Абрама Терца. Жаль только, что сам Боря Штерн никогда уже больше не посмеется над их «праведным всенародным гневом».

Между прочим, Штерн был не только прекрасным писателем, еще он был замечательным знатоком, историком и ценителем литературы. Правда, и тут он не мог обойтись без смеха — и в этом был абсолютно прав. Ибо история литературы слишком серьезна и поучительна, чтобы смотреть на нее слишком серьезно и поучительно.

Пушкин, Чехов, Уэллс, Гумилев… Тот, кто Штерна читал, может сделать длинный список имен, который сам по себе вызовет уважение к писателю.

Штерн литературен насквозь, ибо литература много больше, интереснее и — увы! — опаснее жизни. Действительно, что мы в жизни? Ходим, ездим, глупо и плоско шутим, вечно залезаем в долги… А живем, то есть дышим, любим, отчаиваемся, ненавидим по-настоящему, именно в книге, в литературе. И литература нисколько не слепок, никакое не отображение жизни. Наоборот Жизнь — слепок с нее. Помните, что сказано у евангелиста? В начале было Слово. И не просто слово, а с большой буквы Слово. Потому что Слово есть Бог. Так вот — литература подобна Богу, и тот, кто для нас ее делает, удостоен божественной благодати. И Боря Штерн — среди первых, кому даровано это счастье. К сожалению, не на земле.

Ю

Юмор

Юмор бывает черный, белый и никакой.

Черным юмором лучше всего владеют, конечно, негры и вообще люди со смуглой кожей. Это их расовая особенность.

Белым юмором владеет белая раса, исключая выцветшие по причине географической маргинальные народности Севера и задворков бывших больших империй.

Юмор же никакой — это когда кто-нибудь пытается говорить смешно, а у него, хоть зарежься, не получается.

Еще один признак юмора никакого — когда человек рассказывает вроде бы смешную историю и сам при этом смеется, как идиот. Или выдает фразу, смешную лет сто назад, но по причине своей затертости превратившуюся в такую окаменелость, что один ее нечеловеческий вид пугает человека чувствительного. Кстати, удивительная особенность массового юмористического психоза: помнится, еще на стыке 60-70-х (двадцатого, естественно, века) в переполненном общественном транспорте самой ходовой шуткой считалась: «Держись за воздух!» Так вот, прошло сколько лет, а это «держись за воздух» работает по сю пору. Должно быть, фразу эту придумал гений.

Теперь, читатель, зажмурь глаза, сосчитай до трех и разжмурь их снова. Потому что все, только что сказанное про юмор, не более чем глупая шутка. Особенно расистская фраза про чернокожих. Кстати, негров на свете не существует, существуют — афроамериканцы.

Ну а про черный юмор, о котором я наговорил всякой чуши, см. специально написанную статью в разделе на букву Ч.

Я

Японские поэты + Герман Лукомников («Бабочки полет»)

Художник Владимир Шинкарев, переведя выдающиеся произведения мировой литературы на язык живописи, прокомментировал это дело так:

> Механизм перевода прост: пишу до тех пор, пока ощущение от картины не совпадет с ощущением от литературного произведения. Во многих случаях я его и не перечитывал — ведь тогда это будет «изучение», и пыльца ощущения сдуется.

Что касается пыльцы ощущений, то в книжке Лукомникова «Бабочки полет» этой пыльцы хватает. И ощущений, и переживаний, и вообще — бабочек. Потому что бабочка есть любимое японское насекомое отряда чешуекрылых, прославленное в стихах и прозе. Тексты книги автор скомпоновал так: оригинальное японское хокку в переводе Веры Николаевны Марковой с добавлением четвертой строки, сочиненной Германом Геннадьевичем Лукомниковым и выделенной прописными буквами. Сочетания получаются необычные и порою очень даже забавные.

Ударил я топором
И замер… Каким ароматом
Повеяло в зимнем лесу
И КТО МЕНЯ КРОЕТ МАТОМ?

Вместе с хозяином дома
Слушаю молча вечерний звон.
Падают листья ивы.
ДИН, ПОНИМАЕШЬ, ДОН…

Из нашего села
Корову, что я продал,
Уводят сквозь туман
ВРАГИ ЯПОНСКОГО НАРОДА.

Обычно большинство своих сочинений поэт Герман

Лукомников дает в двух вариантах — цензурном и бесцензурном, то есть матерном и нематерном. То же самое имеем и здесь: в книжке есть специальное приложение — одиннадцать художественных открыток, вложенных в почтовый конверт, вложенный в свою очередь в книжку. Цитировать я эти хокку не буду. Хотя — одно процитирую, самое приличное из одиннадцати:

Примостился мальчик
На седле, а лошадь ждёт.
Собирают редьку.
ДОЖДИК, БЛЯ, ИДЁТ.

Приложение
ПУШКИНОЕДСТВО
Краткий опыт пушкиновидения

Мы своей любовью даже ТАМ его достали.

Ф. Раневская

Короткое предисловие

Век прошедший сменяется веком нынешним. Проходят юбилеи, миллениумы. Проедаются гранты и гонорары. Лето кончилось, проходит зима. Пушкину же все нипочем. Мы стареем, он продолжается. Мы уходим, он остается.

Единственный способ остаться в вечности — примазаться к его немеркнущей славе. Что я и попытался сделать в меру своих малых обывательских сил.

Поколение Пу

В одной петербургской школе был проведен опрос. Произвольно выбрали десять старшеклассников и попросили каждого из них назвать любимое стихотворение Пушкина.

Результаты были такие.

Половина не назвала ничего. Один молодой человек три минуты мучительно вспоминал, на четвертой минуте вспомнил: «Я из лесу вышел, был сильный мороз». Другой, вернее, другая (девочка) продекламировала две первые строчки из лермонтовского «На смерть поэта». И лишь трое назвали правильно: «Я помню чудное мгновенье» — два человека, и несколько строчек из «Утопленника» («Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца») — один.

Когда этих же самых школьников попросили назвать любимые сорта пива, спектр ответов был радужнее, чем радуга.

Один модный современный писатель назвал поколение 80-х поколением Пе — то есть выбравшим для себя «Пепси».

По аналогии с этим определением поколение 90-х, включая нынешнее, смело можно назвать поколением Пи. Оно выбирает пиво.

Что же сказать о нас — о поколении 60-70-х? Что мы за поколение такое?

Я думал, думал и, наконец, придумал: мы — поколение Пу.

Мы выбрали для себя Пушкина.

Великий маленький Пушкин

Спросите у любого из нашего поколения, кого из знаменитых русских людей мы одинаково хорошо помним и маленьким, и большим. Естественно, не в живую, а по портретам.

Половина назовет сперва Пушкина, потом Ленина. Другая половина, наоборот, — начнет с Ленина, а Пушкиным кончит.

Последовательность роли не играет.

Действительно, кто из вас помнит, как выглядел в детстве Достоевский или Толстой? А ведь фигуры эти для русской жизни не менее значительные, чем Пушкин. Во всяком случае, по серьезности. Так нет же — Пушкина помнят все, а Толстого, сколько ни вспоминай, кроме бороды и лаптей, в памяти не всплывает ни пуговицы.

Кстати, про Ленина. Память о его детском облике увековечилась в нас исключительно благодаря маленькой октябрятской звездочке, которую все мы бережно носили на левой половине груди. Помните, в белом круге юный русоволосый мальчик, а от него во все стороны расходятся рубиновые лучи?

А вот значков с Пушкиным мы не носили точно. Но почему-то его вьющиеся короткие локоны и упирающийся в подбородок кулак вспоминаются без всякого напряжения.

«Пушкина убил диатез»

«Пушкина убил диатез», и в 1937 году партия и весь советский народ торжественно отмечали столетие со дня гибели национального гения. Отмечали юбилей бурно. Во-первых, загодя провели чистку — отделили достойных от недостойных, то есть тех, кто жил по-пушкински, честно, не вредил, перевыполнял план, от других, кто лишь носил маску праведника, а сам был волком в овечьей шкуре. Недостойных, тех — кого постреляли, кого сослали в отдаленные лагеря. Когда же почва для юбилея была расчищена, приступили к материализации прочих планов. Скульпторы ваяли скульптуры. Художники школы Палеха артельно рисовали лубки на сюжеты пушкинских сказок. Писатели писали романы. Поэты сочиняли стихи. Издатели издавали книги. К юбилею были выпущены несколько капитальных собраний сочинений поэта, два из них — издательством «Academia»: полное, желтокожее, с тисненым профилем Пушкина на переплете, в шести томах, под редакцией М. Цявловского, и миниатюрное, тоже полное, но серенькое, без профиля, зато в девяти томах, это, кажется, подготовил Ю. Оксман.

«Academia» — издательство знаменитое. Славно оно, во-первых, своим подходом к изданию классических авторов. Издавало оно скрупулезно, постоянно заботясь о мелочах, из которых, как ни крути, состоит жизнь не только малых мира сего — нас с вами, — но и великих, таких, как Александр Сергеевич Пушкин. Вот, к примеру, был в истории случай: проходил как-то Пушкин по Невскому в два часа ночи. Видит — стоит извозчик. Пушкин спрашивает: «Свободен?». А извозчик, которого звали Парчук, отвечает: «Занят». И поскольку был он сильно уставши, тут же как ответил, так и заснул. В «Академии» к юбилею выходит пушкинский том «Звеньев», был такой литературно-исторический альманах. И там читателю дается возможность ознакомиться с мемуарами внучатого племянника извозчика Пурчука, в которых случай на Невском со слов деда выглядел так:

> Сумеркалось. Поев щец, я отвез моего барина в Собрание и тут же получил по морде от одного гвардейского офицера в капитанских чинах, с аксельбантами. Сижу я после этого на козлах, и вдруг подходит ко мне один мужчина в бобрах и говорит, как сейчас слышу: «Извозчик, свободен?» Кажись, это и был Пушкин. А может, и кто другой из поэтов либо военных.

Потом я переехал в Ростов, а оттуда в Могилев, где и шил в рассрочку.

Далее идут 382 страницы убористого текста с описанием Пурчука-деда в качестве портного, отца и соседа. Со снимками его мастерской, огорода и первых сшитых в рассрочку брюк. Также дан поясной портрет внучатого племянника извозчика.

Лично мне такой подход нравится — узнаёшь много нового о великих, расширяешь свой зауженный кругозор. Вот и Аркадий Бухов, рассказавший мне про случай с извозчиком, думает тоже самое.

Пушкин, Чапаев и пустота

Есть старый анекдот про скелет Чапаева в музее истории гражданской войны. Помните? В витрине стоят два скелета — большой и маленький. Экскурсовод показывает на большой и говорит экскурсантам: «Посмотрите, пожалуйста, сюда — перед вами скелет Чапаева». — «А этот чей?» — спрашивает кто-то из посетителей, показывая на скелет рядом. «А это Чапаев в детстве».

Про Пушкина такой анекдот просто не мог возникнуть. Странно, но Пушкин вообще остался вне анекдотов (литературные в расчет не беру). Единственное, что с трудом приходит на ум, связано с Александром Сергеевичем очень косвенно. Я имею в виду байку про аса Пушкина, автора книжки про летчиков.

Дело тут даже не в святости, не в какой-то особой любви народной — как известно, для русского человека святость — палка о двух концах. Сколько скабрезнейших анекдотов рассказывают про Иисуса Христа, про деву Марию — а уж святее этих фигур, кажется, и придумать трудно.

Да тот же незабвенный Владимир Ильич — похабных баек про него придумано столько, что из них запросто можно составить собрание, по объему перекрывающее ленинское.

А вокруг Пушкина — пустота. Нейтральная полоса, не истоптанная ничьими ногами.

Пушкин и Буся

Кто сказал, что Пушкин остался без анекдотов? Да отрежут лжецу гнусный его язык! Есть про Пушкина анекдоты, есть! Один, во всяком случае, существует точно. Я его услышал однажды от актера Михаила Боярского в телепередаче «Белый попугай». Привожу его целиком.

Пушкин, Буся и Гоголь играют в прятки. Гоголь водит, Пушкин и Буся прячутся. Спрятались они под кровать. Гоголь ищет, ищет, всё уже обыскал, а найти их никак не может. Наконец он сдается и спрашивает: «Пушкин, где ты?» А Пушкин отвечает из-под кровати: «Я и Буся под кроватью».

Пушкин как святой мученик

Помните привязанного к столбу, бледного, истыканного стрелами святого мученика Себастьяна с известной эрмитажной картины?

А помните, кто у нас вечный ответчик за всякое чужое нехорошее действие?

Бросит кто-нибудь, к примеру, на пол окурок. У него спрашивают с упреком: «А кто убирать будет?» Ответ однозначен: «Пушкин».

То же и с взятыми в долг деньгами. Долг будет отдавать Пушкин.

Пушкин выучит невыученные уроки, доделает недоделанную работу, ввинтит вывинченную лампочку в подворотне, спасет девочку из огня.

Потому что это удел великих — быть ответчиком за чужие грехи.

Пушкин как святой мученик (продолжение)

Кстати, насчет ответчика. Отсылка к Пушкину как к некой фигуре, обреченной отбывать за других любую трудовую повинность («Пушкин сделает»), психологически легко объяснима. Занятия литературой, и поэзией в частности (а если шире — то любым видом творчества, от музыки до выжигания по дереву), с точки зрения человека нетворческого всегда считались отдыхом, баловством. Сам Пушкин иронизирует по этому поводу много раз. Помните, как в одном из писем к жене он описывает взгляд обывателя на свою поэтическую работу: стакан хлопнет, потом еще, потом стихи попишет, потом снова стакан. Естественно, и относились к этой деятельности окружающие как к хитрой разновидности отдыха. Любой нынешний литератор это вам подтвердит. Кому в семье идти в магазин? Ему. Кому выносить мусор? Конечно, ему, бездельнику. Кому детей провожать и встречать из школы? Ему, кому же еще.

Вот и Татьяна Москвина мне поддакивает. В ее романе «Смерть это все мужчины» герой спрашивает главную героиню:

— Ты что, могла бы спокойно видеть мужика, который сидит порожняком в углу и часами рисует грибы и зверушек, как пятилетний?

Неважно, что ответила героиня. Дело в самом вопросе.

И так было, есть и будет во все века, пока у некоторых особей в человечьей породе существует потребность в творчестве.

Пушкин и русский спорт

Пушкин был не только гениальным поэтом, он был еще и гениальным спортсменом.

Занимался английским боксом, в самом широком месте мог переплыть любую из русских рек, хорошо прыгал с шестом, играл в шахматы, был искусным мастером фехтования, ему не было равных в технике верховой езды. Если перечислять все спортивные достижения Пушкина, они займут много больше места, чем прославленный дон-жуанский список.

В память о заслугах Пушкина перед национальным спортом в Петербурге на Черной речке каждый зимний пушкинский юбилей, начиная с 2005 года, устраивается специальный заплыв членов Союза писателей России и Санкт-Петербурга, обычно разобщенных по причинам отнюдь не творческим.

Пушкин примиряет непримиримых.

Спасибо ему за это.

Пушкин в наколках

Писать о Пушкине вообще легче легкого. Потому что можно написать о чем хочешь, а получится все равно о Пушкине. Он наше всё, по меткому и точному выражению поэта и философа-почвенника Аполлона Григорьева. А следовательно, про что ни напишешь, во всем можно обнаружить хотя бы частицу Пушкина.

Но сейчас я вам расскажу не про что-нибудь, а непосредственно про самого Пушкина. Вернее, про нательную живопись, связанную с его бессмертным именем. Короче — Пушкин в татуировках.

Наколки с изображением Пушкина — явление достаточно частое. В 30-е годы двадцатого, теперь уже прошлого века их делали в основном в Москве. Начало этой традиции положил Евдоким Махотин, вор в законе, видный криминальный авторитет, в уголовном мире тех лет известный под прозвищем Черномор. Вдохновленный миниатюрами палехской школы, он первый украсил грудь изображением Пушкина в лодке, обнимающим юную Гончарову на фоне плавающих в пруде лебедей.

Часто среди подобных татуировок встречается сцена дуэли на Черной речке, причем иногда фигура Дантеса стилизована под лагерного охранника, у которого вместо дуэльного пистолета в руке пистолет Макарова.

Есть нательные изображения Пушкина на охоте, стреляющего из двустволки в зайца.

Редко, но попадаются изображения Пушкина-летчика, сидящего в кабине пилота. Характерно, что на фюзеляже машины нарисованы пятиконечные звезды, говорящие о количестве сбитых вражеских самолетов. Такие татуировки обычно делали военные летчики, во время или после войны волею трагических обстоятельств оказавшиеся в сталинских лагерях.

Излюбленная тема татуировок: Пушкин в кулачном бою. Особенно они были популярны у молодежи рабочих окраин Москвы и в Подмосковье.

Не менее популярная тема: Пушкин, гарцующий на коне на фоне Кавказских гор. Прообразом к этому изображению послужила знаменитая картинка на папиросах «Казбек», которая в свою очередь является воспроизведением работы художника Евгения Лансере.

Многократно в текстах татуировок приводятся цитаты из Пушкина и о нем, иногда забавно переиначенные незадачливыми любителями поэзии. Например: «С винцом в груди и жаждой в

месте». При этом стрелочки-указатели проведены к соответствующим участкам тела.

Между прочим, в подобном переиначивании нет ничего обидного по отношению к светлому имени нашего национального гения. Наоборот, это свидетельство всенародной любви к поэту. Он свой, а со своими и поступают всегда по-свойски. Свой на своего не обидится.

К очень редким татуировкам следует отнести сцену, изображающую Пушкина-шахматиста. При этом противником Пушкина всегда выступает черт. В зависимости от исторического контекста в физиономии рогатого персонажа легко угадываются черты современных государственных деятелей — от Брежнева до Путина и Чубайса.

Недавно в рамках Пушкинского проекта при участии фонда Сороса в петербургском издательстве «Лимбус Пресс» выпущен большой альбом-каталог, который так и называется — «Пушкин в татуировках». Книга подготовлена известным специалистом в области накожной графики ветераном МВД СССР Д. Балдаевым.

Лучше Пушкина может быть только Пушкин…

…хуже Пушкина может быть любой.

Эту аксиому не надо доказывать Достаточно посмотреть вокруг. На себя, на людей, на книги, которые мы читаем, на писателей, которые для нас эти книги пишут, на строителей, которые строят для нас дома, на торговцев, которые нас обсчитывают и обвешивают, на водителей городского транспорта, которые норовят захлопнуть перед нашим носом дверь трамвая или автобуса и обдать нас из лужи грязью…

Но мы на поэта не обижаемся. Должен же быть кто-то, кто лучше нас, лучше самого среди нас лучшего.

Свой среди своих.

Пушкин свой в любом обществе, в любом коллективе. Где бы ни собрались два русских человека, первым делом они говорят о Пушкине, вторым делом — о водке, но в основном совмещая два этих разговора в один.

— Ты Пушкина уважаешь?

— Уважаю. А ты Пушкина уважаешь?

— Я Пушкина уважаю. А ты Пушкина уважаешь?

— Я Пушкина уважаю. А ты…

И так далее, пока кто-нибудь из двоих не забудется и не ляпнет что-нибудь про политику. После этого обычно начинается мордобой. Потому что из двух один, как правило, бывает за коммунистов, второй — за рыночных демократов.

Он памятник себе воздвиг

Однажды в «Литературке» я прочитал такую заметку. В одной из столичных музыкальных школ ведущая на вечере объявляет: «Слава Пушкину. Слова Пушкина. Сочинено в 1899 году к столетнему юбилею поэта». Затем на сцену выбегают маленькие участники представления и хором поют: «Ты памятник себе воздвиг нерукотворный…» Допев стихотворение до конца (и по ходу соответственно заменив «я» на «ты»), дети троекратно скандируют: «Слава Пушкину!»

После этого мне почему-то вспомнились три совершенно разных примера.

Первый: старая карикатура, уж и не помню, где мною виденная. На ней изображены стройные шеренги Наташ Ростовых, целеустремленно шагающих нога в ногу, по-моему — по лоснящемуся паркету.

Второй — это фильм режиссера Мамина «Бакенбарды». Там уже не робкие Наташи Ростовы своими бальными туфельками бесшумно шелестят по паркету. Там жестким военным шагом маршируют штурмовые отряды — в пушкинских цилиндрах и в бакенбардах, размахивая железной тростью и скандируя гениальные строки под казенную барабанную дробь.

Третий пример — тоже связан с кинематографом. Это «Кабаре» Боба Фосса. Сладкоголосый мальчик из «гитлерюгенда».

Печальные ассоциации, правда?

Пушкин и коммунизм

Пушкин и коммунизм — сочетание довольно дикое. Посудите сами: во-первых, коммунизм, по определению, начисто отметает всяческие родовые заслуги и привилегии. Пушкин же — потомственный дворянин, дворянством своим гордившийся; за ним числилось столько-то душ крестьян — то есть он был явным крепостником, человеком, паразитирующим на подневольном труде работников и нимало этим обстоятельством не смущавшимся.

Опять же, умер он, заметьте, не за идею, а… Но предоставим слово голосу из народа, а именно вахмистру Коровкину, который по случаю юбилея Пушкина в 1899 году в «Сельском вестнике», самой читаемой в России газете, писал: «Покойный Пушкин смерть получил через женский пол. Следовательно, он не достоин ни юбилея, ни памятника на Тверском бульваре, ни царствия небесного; в Священном писании сказано: пьяницы, тати и блудники не наследят царствия небесного, а он за женский пол душу свою отдал в руки дьяволу».

Правда, другой крестьянин на это ему ответил: «Таких вахтеров, как Коровкин, у нас много, а про известного писателя А. С. Пушкина каждый скажет, что он был единственным человеком на всем земном шаре».

Хотя, если честно, Пушкин был далек от народа. Так, в том же 1899-м, юбилейном, году, русские крестьяне отзываются о Пушкине: «В нашей местности (Калужская губерния. — *А.Е.*) о писателе Пушкине имеют понятие, во-первых, те, которые получили хоть небольшое образование в народных училищах, а во-вторых, некоторые из наших земляков видели в Москве народный праздник в честь его, когда поставлен был ему памятник на Тверском бульваре, потому что у нас очень многие, от малого до старого, проживают в Москве по кирпичным заводам, — вот они хорошо помнят это торжество. Кроме того, у нас молодые ребята хорошо разыгрывают на гармонике его „Утопленника“».

Старая, еще советская критика, понятно, называла Пушкина в числе тех деятелей отечественной культуры, которые задолго до коммунистической революции предсказывали ее безоговорочную победу. В доказательство ссылались на завершающую сцену «Бориса Годунова» — место, где после после предательского призыва к народу князя Мосальского: «Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!» — следует выразительная ремарка: «Народ безмолвствует». В этой ремарке

Пушкин, по мнению критиков, зашифровал призыв к революции: безмолвствие народа — кажущееся, оно не более чем затишье перед грядущей революционной бурей, которая сметет с земли всех угнетателей — примерно, как на плакате первых революционных лет «Ильич железною метлой сметает нечисть с мостовой».

При таком вымученном подходе Пушкин и коммунизм — явления друг с другом связанные. Точно так же, как конспиративное имя «Ленин» связано с великим романом Пушкина «Евгений Онегин» Ведь среди множества подражаний пушкинскому роману в стихах был и стихотворный роман Н. Муравьева «Ленин», первая глава которого, «Котильон», вышла в 1829 году. При определенном способе доказательства не трудно протянуть ниточку от Пушкина через Муравьева к Ленину. И прилично себе на этом заработать. Удивляюсь, почему при советской власти никто до этого не додумался. И я в том числе.

«Я умираю вором!..»

Покойный Андрей Синявский в своей книге «Голос из хора» приводит следующую лагерную легенду.

Когда суки положили Пушкина на железный лист и начали подпекать на костре, он прокричал стоящим поодаль зрителям: «Эй, фраера! Передайте людям, что я умираю вором!..»

«Фраза, лучше которой я не смог бы выбрать в эпиграф, если бы только счел достойным ее повторить», — комментирует эту легенду автор.

Счел достойным ее повторить…

Так-то, господа ксенофобы.

Пушкин в ссылке

(песня на стихи автора)

Я товарищу скажу: «Постой,
посиди со мной, потом иди».
Заведу я разговор простой,
все про то, что ждет нас впереди.
Он прервет: «Ну что о том тужить,
горевать, давай-ка, брат, нальем!
Нам цыганка нагадала жить,
и живем — украдкой, но живем».
Как поет шипучая струя,
золотится легкая струя!
Нас теперь немного: ты и я,
впрочем, это много — ты и я.
Нам судьба такого наплетет,
что потерям потеряем счет…
Друг сердечный, милый мой, ну вот —
собираться! Посиди еще.
Я тебе не рассказал всего,
что хотел, да видно не судьба!
Петербург, я не любил его,
но он тянет и сведет с ума.
До свиданья, ненаглядный мой!
Где-то свидеться придется вновь?
Да, еще — мне снился сон чудной:
кони, снег и — почему-то — кровь.

Пушкин-сатирик

Пушкин был остёр на словцо. Если он кого припечатывал, так уж припечатывал насмерть. За это его ненавидели люто. Фаддей Булгарин, он же Видок Фиглярин, стрелял в него из духового ружья.

Князь Дондуков-Корсаков пытался отравить его ядом. Кюхля вызывал его на дуэль. Гнедич ударил поэта по голове тяжелым томиком «Илиады».

В этом и проявляется настоящий талант сатирика — когда за меткую фразу рискуешь собственной жизнью.

Пушкин-юморист

Пушкин написал самую остроумную во всей мировой поэзии фразу:

> Опершись на плотину, Ленский
> Давно нетерпеливо ждал.
> Меж тем, механик деревенский,
> Зарецкий жернов осуждал.

Если кто-то не видит здесь ничего смешного, этому человеку можно лишь посочувствовать.

Между прочим — пушкиноведы, внимание! — из этой строфы отпочковалось знаменитое «Опершись жопой о гранит» из поэтической рецензии на картинки к «Евгению Онегину», напечатанные в «Невском альманахе» за 1829 год.

А помните замечательную загадку, загаданную юношей Пушкиным поэту Гавриилу Державину на выпускном экзамене? «Чем разнится поэт Херасков от поэта Шумахера?» — спросил Державина Пушкин. Когда Державин недоуменно пожал плечами, юный Пушкин ответил: «Тем же, чем парикмахер от херувима».

Автограф Пушкина

Один мой знакомый купил на Андреевском рынке автограф Пушкина. То есть сперва он не знал, что автограф принадлежит Пушкину. Даже когда узнал, долго не мог поверить. Поверил он лишь тогда, когда уже было поздно. Книжку с автографом он забыл в троллейбусе, возвращаясь домой с получки.

Приобрел он этот автограф так. Какая-то сумасшедшая бабка продавала на Андреевском рынке всякий бумажный хлам — трепаные игральные карты, позапрошлогодние календари, бумажные стаканчики для напитков. И среди этого ненужного хлама затесалось несколько книжек. Одна из них была книжка Пушкина «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», выпущенная Гослитиздатом в 1947 году с иллюстрацией художника Кузьмина на обложке. Собиратели должны эту книжку знать: на картинке изображен поэт, что-то пишущий вдохновенно на белом листке бумаги толстой поршневой авторучкой. Мой приятель хотел пройти мимо, но бабка ему не дала. Она нагнулась, схватила книжку, открыла ее на титуле и сунула моему приятелю в нос. «Грамотный?» — спросила она. Мой приятель кивнул и прочитал следующую любопытную фразу: «Любе от дяди Саши». И внизу подписано: «Пушкин».

Мой приятель пожал плечами и недоуменно взглянул на бабку. Та молча показала ему три пальца, что значило 3 рубля — рубль за книгу и два за автограф. Мой приятель взял и купил. Из жалости и для смеха. Принес он эту книжку домой, а жена его как раз перелистывала академический томик Пушкина — подыскивала цитату для диссертации. Он случайно заглянул на страницу и увидел на чистом поле очень знакомый росчерк, факсимильно воспроизведенный в книге. Точно такой же росчерк был на купленных «Повестях Белкина». Он показал покупку жене, они, конечно же, посмеялись и поставили «раритет» на полку. Поставили и забыли.

А ровно через неделю у приятеля был день рождения. Я на нем присутствовал тоже, поэтому выступаю как очевидец. Еще на день рождения пришел наш общий знакомый — некто Геннадий К., которого мы по-свойски все называли Геком. Этот Гек работал в Пушкинском доме. И вот, после пятой или шестой рюмки, мой знакомый вспомнил про книжку и решил своего приятеля «удивить».

Когда смех за столом утих, Гек говорит моему знакомому: «Знаешь, — говорит Гек, — порадую-ка я своих на работе. Покажу им автограф классика». Знакомый мой человек добрый и книжку

дал.

Через день звонит возбужденный Гек и срывающимся голосом говорит, что автограф подлинный. Знакомый мой, естественно, не поверил.

О дальнейшем я рассказал вначале.

Такая вот загадочная история.

Книжки Пушкина и даже о нем

У меня дома тоже имеются книжки Пушкина и даже о нем.

Очень трогательную книжку-буклет купил я в свое время в Калинине. Называется она «Александр Сергеевич, здравствуйте». Далее следует посвящение: «От комсомольцев и молодежи Верхневолжья — Пушкину». За посвящением следует текст «От автора».

Вот выдержки из него:

> Партийные и советские организации Калининской области позаботились о том, чтобы сохранить и увековечить память о пребывании А. С. Пушкина в Верхневолжье. Бессмертна любовь миллионов к светлому гению Пушкина. Не случайно день ежегодного Пушкинского праздника стал важным культурным событием в жизни калининцев. Поклониться памяти А. С. Пушкина в Калинин, Торжок, Берново, Малинники приезжают люди со всех концов нашей Родины. И кажется, что вместе с ними по дорогам Пушкинского кольца катит бойкая тройка, отсчитывая «версты полосаты». Рядом с ямщиком в небрежно накинутой крылатке сидит веселый поэт. Он торопится к «милому берегу», к друзьям, к работе. Радостно приветствуют его не только люди, но речка Тьма, и сосна на горке «Парнас», вся наша земля. И вспоминаются слова другого великого сына России — Владимира Маяковского: «Александр Сергеевич, здравствуйте!»

Я долго искал, кто же автор этих трогательных, поэтичных слов, поскольку ни на титуле, ни на обложке имени автора не указано. Поначалу я даже было подумал, что те самые комсомольцы и молодежь Верхневолжья этот автор и есть.

Потом все-таки я автора отыскал. Меленько, в выходных данных, значится: «Художник и составитель С. Ржеутский». Рядом с именем организации, которая этот буклет издала, — Калининского областного комитета ВЛКСМ.

Лицо и маска поэта

Пушкинист Борис Модзалевский в известной своей работе «Пушкин в донесениях агентов тайного надзора» приводит любопытнейшие примеры поведения Александра Сергеевича в быту. Взяты эти примеры, как и следует из названия книги, из донесений тайных агентов.

> Пушкин… принят во всех домах хорошо, и как кажется, не столько теперь занимается стихами, как карточной игрой и променял Музу на Муху, которая теперь из всех игр в большой моде.

Это из донесения начальника 2-го жандармского корпуса генерал-майора А. Волкова Бенкендорфу от 5-го марта 1827 года.

А вот сентябрьское (1826 г.) сообщение агента фон-Фока:

> Пушкин, сочинитель, был вытребован в Москву. Выезжая из Пскова, он написал своему близкому другу Дельвигу письмо, прося прислать ему денег с тем, чтобы употребить их на кутежи и шампанское. Этот господин известен всем за мудрствователя, который проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как и к добродетелям, наконец — деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себе житейские наслаждения ценою всего самого священного. Это честолюбец, пожираемый жаждой вожделений и, как примечают, имеет скверную голову, что его необходимо будет проучить при первом удобном случае…

Вот такой, оказывается, был Пушкин. А мы: «наше всё», «солнце русской поэзии», «гений литературы». Честолюбец он, пожираемый жаждой вожделений. И давно надо «нашим всем» объявить Булгарина или Кукольника и не морочить головы и без того замороченному населению нашей больной страны.

Пушкин народный

Ленин на сочинениях Гоголя только одни пометочки делал (см.: М. В. Нечкина. «Гоголь у Ленина», М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1936), а вот Пушкина книги он целовал и бережно к своему сердцу прикладывал. Это есть непреложный факт, и поведали нам об этом факте записи народных рассказов, бережно собранные писателем Борисом Шергиным и неоднократно публиковавшиеся.

Вот еще из тех же рассказов:

> Пушкин курил ли, не курил?.. Не курил. Выпивать выпивал, а не курил. Нету на портретах-то ни с трубкой, ни с папиросой.

Вот о Наталье Николаевне:

> Глаза грубы, волосы как ящерицы, грудешко голо. Эку бы только на выставку, на показ стоя возить.

И о смерти на Черной речке:

> Упал наш Олександрушко, за елочку захватился:
> — Рости, рости, елочка, без верха; живи, живи, Россиюшка, без меня!

Приведенные мной цитаты единственно говорят о том, что народность Пушкина подлинная, а не навязанная пушкиноведами в штатском. И Пастернак был не совсем прав, когда писал в своих «Отрывках о Блоке»:

> Никто бы не знал, может статься,
> В почете ли Пушкин иль нет,
> Без докторских их диссертаций
> На все проливающих свет.

Был Пушкин в почете, был — и в Архангельске, и в Москве, и в Сибири, и даже в нашем провинциальном Санкт-Петербурге.

Пушкин и мыло

Известно, что во времена военного коммунизма к множеству существовавших тогда дефицитов добавился дефицит на мыло. Рассказывают, что однажды в гости к знаменитому пушкинисту Лернеру зашел не менее знаменитый пушкинист Гершензон, работавший тогда над книгою «Мудрость Пушкина». Когда Гершензон ушел, Лернер вдруг обнаружил, что из ванной пропало мыло. Хозяин мигом выскочил из квартиры и бросился догонять Гершензона. «Михаил Осипович! Михаил Осипович! — кричал он на бегу на всю улицу. — Вы случайно…» — «Да, мыло взял я! — ответил Гершензон с вызовом. — Я работаю с черновиками поэта и не могу прикасаться к святыне немытыми руками».

Пушкин — это наше всё

Я вырезал этот известный аполлонгригорьевский афоризм ножницами из какого-то лакированного журнала, собираясь сделать коллаж — что-нибудь в духе Родченко или студенческой стенгазеты времен загнивания социализма. Ну, знаете — вырезается этакий толстомордый кот из рекламы кошачьей пищи, берется обрывок цепочки от сливного бачка, рисуется дерево типа дуб, всё это крепится на листе картона и сверху надписывается: «Лукоморье».

Коллаж я так и не сделал, а однажды, придя с работы, обнаружил у себя на столе мелкие полоски бумаги. Постарался кто-то из близких — искромсал священную фразу на отдельно порезанные слова и беспорядочно разбросал их по столу. Орудие преступления — ножницы с приставшими к ним следами бумаги — молчаливо лежало рядом.

Механически я собрал кусочки, соединил их вместе и прочитал:

«Всё, Пушкин, это наше!»

Знаки препинания появились исключительно у меня в голове, на бумажках их, естественно, не было.

Я покрутил головой, отгоняя вздорные мысли, и переложил бумажки со словами по-новому. Вот что у меня вышло на этот раз:

«Пушкин, это всё наше».

Если в первый раз какой-то хамоватый урод лишал Пушкина права собственности — хватит, мол, повладел и будет! — то теперь во фразе появилось какое-то вроде бы беспокойство: а не саданёт ли в ответ гений нашей поэзии заявителя по голове тростью.

Я заново переставил слова.

Теперь фраза звучала так: «Наше это всё, Пушкин», — с ударением на первом слове. Появился оттенок демократичности. Ты, мол, не обижайся, мы тоже люди, тоже хочем пожить.

Следующая комбинация лишала поэта не только какой-либо собственности, но даже воздуха, который всех нас окружает:

«Наше — это всё, Пушкин».

Тут терпение мое лопнуло окончательно, я смахнул бумажный сор со стола и сжег его на чугунной сковороде. Потом открыл бочонок амонтильядо, выпил и спокойно заснул.

Пушкин, путешествующий во времени

В один трудный понедельник конца XX века мне приснился ужасный сон. Что Александр Сергеевич Пушкин на велосипеде времени попадает в 1999 год и видит двух печальных людей — мужчину и женщину, — понурив головы, бредущих по улице, а в руке у них у каждого по корзине. Пушкин подъезжает к ним ближе и с удивлением заглядывает в корзины. В корзинах вещи — мужские и женские. Пушкин поднимает глаза и читает на лицах этих людей из будущего строки законопроекта, который был разработан депутатами Государственной думы, о минимальной потребительской корзине.

«Каждый российский мужчина, — читает Пушкин, — должен обходиться 5 парами трусов в течение 2 лет, 1 майкой — в год, 1 свитером — в 5 лет, 1 брюками — в 4 года, 4 парами ботинок (по 1 на каждый сезон) — в 5 лет, верхнюю одежду менять раз в 8–9 лет. Женщине необходимы 5 пар трусов и 6 колготок на 2 года, 2 бюстгальтера на 3 года, 1 юбка и 1 платье на 5 лет».

Пушкин, конечно, не понимает, что такое майка, свитер, бюстгальтер, трусы, колготки — эти слова попали в русский язык, уже когда поэт умер, — но он прекрасно осознает, что значит взрослому человеку четыре года проносить не снимая одни-единственные штаны.

Люди проходят дальше, а опечаленный Александр Сергеевич долго глядит им вслед. Потом бешено вращает педали и уносится в свое беспечное настоящее.

Я кричу ему вдогонку: «Постойте! Проект не приняли! Не все у нас дураки!»

Но Александр Сергеевич уже далеко, его курчавый завиток бакенбардов исчезает в воронке времени, как ворсинка в уличном водостоке.

Клуб Александр Сергеичей

Каких только необычных клубов ни бывает на белом свете. Клуб ветеранов Метростроя. Клуб поклонников Джона Леннона. Клуб любителей 13-го портвейна.

Но мало кто из современников знает, что существовал в недалеком прошлом клуб Юрий Иосичей. Основали его три человека: Юрий Иосифович Коваль, Юрий Иосифович Домбровский и Юрий Иосифович Визбор. И тот, и другой, и третий — ныне фактически уже классики, и говорить о их значении для русской культуры — все равно что объяснять человеку в возрасте, кто такой, допустим, Юрий Гагарин. Хотя, возможно, для юного поколения имеет смысл о них коротенько и напомнить.

Юрий Иосифович Коваль — путешественник, художник, писатель. Это о нем сказал Ролан Быков, что таких писателей, как Юрий Коваль, надо срочно заносить в Красную книгу, пока такие, как он, не вымерли.

Юрий Иосифович Визбор — журналист, актер, классик авторской песни и вообще — человек-легенда.

Юрий Иосифович Домбровский — писатель, поэт, лагерник, автор «Хранителя древностей» и «Факультета ненужных вещей».

В клуб входил еще один Юрий Иосич, четвертый, который скромно оставался в тени: это был водитель такси, подвозивший однажды Юрия Коваля домой и тогда-то, в машине, и обращенный в святое братство Юрий Иосичей. О нем история в дальнейшем умалчивает.

Наверное, это был очень веселый клуб, судя по тем талантам, которыми не обделил Господь Бог троицу его основателей. Жаль, что никто не вел хронику клубной жизни.

Но вот ушли потихонечку один за другим — сперва Домбровский, потом Визбор, за ними — Юрий Коваль. Не стало их — не стало и клуба. Вот так всегда — любителей 13-го портвейна хоть пруд пруди, а талантливых Юрий Иосичей — раз, два, три и обчелся.

И я подумал, почему же не соберутся в какое-нибудь одноименное братство нынешние Александр Сергеичи, сделав своим бессменным лидером нашего поэта номер один. Ну пусть не все Александр Сергеичи, а, скажем, только жители Петербурга. Даже здесь можно ограничить круг, допустим, членами Союзов писателей.

Для интереса я навел справки и обнаружил, к своему удивлению, что в писательских организациях Петербурга

Александр Сергеичей всего трое. В Союзе писателей Санкт-Петербурга это Александр Сергеевич Мыльников. А в Союзе писателей России (петербургское отделение) — Александр Сергеевич Люлин и Александр Сергеевич Акулов.

Я не знаю, что они написали, да это, господа, и не важно. Потому что, объединившись в клуб и имея благословение Пушкина, можно столько всего сделать для блага родины уже по самой простой причине — под знаком Пушкина схалтурить нельзя.

Пушкин и праздник первого огурца

Весной, в самом ее начале, много разных удивительных праздников. День бабушек, например.

Празднуют его во Франции, 5-го марта. Все французские бабушки в этот день ходят гордые и счастливые, молодежь им уступает дорогу и места в общественном транспорте, внуки помогают нести из магазинов авоськи с шампиньонами и картошкой. Театры и кинотеатры, планетарий и зоосад для бабушек в этот день открыты. Еще для бабуль открыты все Парки культуры и отдыха по всей необъятной Франции. Любая бабушка, сколько хочет, может прыгать с вышки на парашюте, мерить на силомере силу и смеяться над своим отражением в павильоне кривых зеркал.

Жаль, конечно, что у нас такого праздника нет. Зато у нас есть праздник Первого огурца. Учредила этот весенний праздник петербургская фирма «Лето».

Представляете, в теплице, под искусственным солнцем, рождается весеннее чудо — первый питерский огурец. Однажды даже совпало так, что огурец родился 23 февраля, немного не дотерпев до весны. Посвятили его защитникам отечества.

Это символично — ведь зеленый цвет не только цвет молодости и надежды. Еще это цвет пограничных войск, хранителей рубежей нашей родины.

Вы спросите: а причем здесь Пушкин? Я отвечу: Пушкин всегда причем. Он же — Пушкин, в этом все дело.

Пушкин как тип книжного собирателя

У Пушкина была большая библиотека. Но книг он читать никому не давал. Книга для Александра Сергеевича всегда была священным предметом, и пускать ее по рукам считал он надругательством над святыней.

В этом плане Пушкин своим примером породил целый тип книжного собирателя-скопидома.

Назовем наугад нескольких ярких представителей этого нелицеприятного племени.

Василий Розанов. Сравнивал отданную в чужие руки книгу с проституткой, торгующей своим телом.

Валерий Брюсов. Известен случай, когда Бунин попросил у Брюсова дать ему на несколько дней какую-то книгу, тот ответил на это резко и строго: «Никогда и никому не даю ни одной из своих книг даже на час».

Джон Леннон. Покупал книги в трех экземплярах. Один читал сам, другой давал читать знакомым, а третий хранил в девственном виде, не раскрывая, как коллекционный экземпляр.

И так далее, и так далее, и так далее.

Пушкин как миротворец

В Йемене, однажды сообщили по радио, два селения дерутся из-за колодца — не поделили. Столько-то человек убито, столько-то человек ранено. Национальная армия, пытаясь угомонить сражающихся, вынуждена применить артиллерию. Против армии со стороны враждующих группировок открыт ответный огонь. Столько-то убитых и раненных.

Йемен — это еще не Африка, но уже близко.

В детстве мы пели такую песенку:

За кусок батата
Убивают брата…

К чему я все это говорю? А к тому, что был бы сейчас Александр Сергеевич жив-здоров, не сидел бы он так, как мы, равнодушно у карты мира и не похохатывал так, как мы, над отдельными неразумными племенами. А встал бы во весь свой рост, как стоит на аникушинском пьедестале, и жег бы гневным глаголом ледяные сердца людей.

Пушкин № 35

В кондитерском отделе гастронома возле Аларчина моста в Петербурге, неподалеку от дома, где одно время располагалось знаменитое издательство «Fanta Mortale», я увидел роскошную коробку конфет с портретом Натальи Гончаровой на крышке. Под портретом стояла подпись: «Набор шоколадных конфет № 33». Цена 66 рублей 40 коп. Рядом лежала такая же точно коробка, но уже с изображением самого Александра Сергеевича. Она была подписана как и первая, только значилась под номером 35. И цена была немного дешевле — 64 рубля 10 коп. Промежуточный номер отсутствовал — видимо, «Набор шоколадных конфет № 34» уже раскупили. Я стоял возле витрины и думал. Если номер 33 — Гончарова, а номер 35 — Пушкин, то чье же, интересно, изображение напечатано на номере 34? Думал, думал, мучался, мучался, но так ничего и не придумал. Может, кто из читателей мне подскажет?

Пушкин и водка

Слышал на улице, как один человек говорит другому: «Купил водку „Пушкин“, выпил — не понимаю! Как такую отраву мог пить великий поэт?!!»

Я тоже купил бутылку и, перед тем как ее открыть, прочел надпись на этикетке: «Овес, который вырос на псковской земле и впитал в себя красоту русской поэзии, умягчает водку и передает ей неповторимую атмосферу пушкинских мест».

Я открыл и выпил четыре стопки. Водка была хорошая, Пушкин запросто мог такую пить.

Пушкин и словесность

Пушкин — гений.

Словесность живет независимо от усилий гения.

Просто гений — единственный, кто эту ее независимость может тихонечко подчинить себе.

Что Пушкин и сделал.

Короткое послесловие

Про Пушкина можно писать бесконечно долго, тратя время и свое и читательское. Лучший способ остановить перо, это процитировать кого-нибудь из великих. После этого писать уже как-то боязно.

Итак — классика! Из поэмы уже упоминавшегося выше «другого великого сына России» Владимира Маяковского «Александр Сергеевич Пушкин»:

> Пушкин и теперь живее всех живых —
> Наша слава, сила и оружие.

Теперь всё.